АНДРЕЙ
МАКАРЕВИЧ
БЫЛО, ЕСТЬ, БУДЕТ...
ВСЕ ЕЩЕ САМ ОВЦА
ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЗВУК
ЕВИНО ЯБЛОКО
ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
ВНАЧАЛЕ БЫЛ ЗВУК
+ CD
АУДИОКНИГА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Проза Андрея Макаревича уже стала особым явлением в современной культуре, которое так же интересно, как и другие грани таланта Художника, Музыканта и Поэта. В этой книге собраны все изданные на сегодняшний день литературные произведения Андрея Вадимовича. Мудрые философские «Живые истории», заметки музыканта «Вначале был звук», лиричная повесть «Евино яблоко» – каждое произведение открывает новую сторону таланта Макаревича-писателя. Также в сборник вошла автобиографическая повесть «Все еще сам овца», в которой бессменный лидер группы «Машина времени» – внимательный наблюдатель и непосредственный участник многих ярких событий в современной культуре, – делится воспоминаниями и впечатлениями о судьбоносных встречах и творчестве.

- Андрей Макаревич
  - Все еще сам овца
    -
    - Предисловие
    - Все еще
    - Всё очень просто
    - Дом
    - Послесловие
  - Вначале был звук
    -
    - Барабаны
    - Про бас
    - И еще раз про гитару
  - Евино яблоко
    -
    - Вместо предисловия
    - Послесловие
  - Живые истории
    -
    - Новогоднее
    - Живые истории
    - Хорошие песни
    - Умище не скроешь
    - Почему мы такие злые
    - Студенческое
    - Про красоту
    - Анатомия памяти

- Герои рок-н-ролла
- Еще раз про любовь
- В. П. Аксенову
- Манхэттен
- Система
- А. Я. Розенбауму
- 21.12.12
- Рекомендации лучших стоматологов
- Ко дню святого Валентина
- Однажды в Америке
- Еще раз про евреев
- О природе смешного
- Лас-Вегас
- О патриотизме
- Любовь и нелюбовь
- Чудо фотографии
- На этюды
- Научный подход
- Мой друг художник
- Жизнь в раю
- Последняя рыбалка
- О раздражении
- О несбыточном
- Вот ведь штука
- О прекрасных внезапностях
- Запахи детства, или еще раз про оливье
- Иконы
- Песни про любовь
- По поводу совести
- В режиме

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Андрей Макаревич
Было, есть, будет…

Все еще сам овца

Предисловие

Книжку «Сам овца» я закончил бог знает сколько лет назад. Вам интересно когда? В две тысячи первом году. Это очень давно.

Журналисты (наши, разумеется) обожают спрашивать у музыкантов: «Как вы думаете, вы меняетесь с годами?» И музыканты, конечно, отвечают – нет, что вы, мы не меняемся, вот разве что взрослеем (вариант: стареем)…

Врут, конечно. Все мы меняемся. С каждым годом. С каждым днем. С каждой секундой. Потому что мир вокруг нас меняется. Меняется воздух, которым мы дышим. И мы можем сколько угодно думать, что это на нас не влияет. Как это не влияет? Мы же живые – пока! Не меняются только те, кого уже нет с нами.

По себе, конечно, не видно. Потому что не хочется. Еще потому что мы видим себя в зеркале по десять раз на дню и перемены незаметны. А встречаешь друга, которого не видел год, – господи! И он про тебя подумал то же. И сказал – ты прекрасно выглядишь!

И вы думаете, что, если внешность наша так меняется, внутри мы неизменны? А как же единство формы и содержания? Да нет, мы по-прежнему любим хорошую музыку и не любим плохую, и список наших любимых книг не сильно изменился, как и круг друзей (уходят, уходят…), и по-прежнему считаем, что Божьи заповеди – самое простое и мудрое, что получило в наказ человечество. Но вот дальше… В фильме «О чем говорят мужчины» это изложено досконально.

В этой связи у меня возникло почти медицинское желание перечитать «Овцу» и посмотреть – насколько и в чем я изменился за двенадцать лет.

А потом подумал – а вдруг это интересно не мне одному?

Простите мне мою самонадеянность.

Андрей Макаревич, 13 августа 2013 года, 23 часа 5 минут

Все еще

Исключение опровергает правило

Когда я был совсем маленьким, моему отцу доставляло огромное удовольствие, посадив меня к себе на колени, заговорщическим тоном промолвить: «Молодец – против овец. А против молодца?..» И я, замирая от восторга, торжественно произносил: «Сам овца».

Это необыкновенно радовало моих родителей. Мне же в ту минуту виделась картина, не имеющая никакого отношения к истинному смыслу пословицы.

А видел я бескрайнее туманное поле – поле предстоящей битвы. Слева располагалось русское войско – на конях, в островерхих шлемах, как в фильме «Александр Невский». Справа до горизонта мрачно теснились овцы. От человеческого воинства отделялся и выезжал вперед Молодец – витязь-богатырь вроде Микулы Селяниновича. Навстречу ему из стада овец выдвигался их предводитель – мощное и свирепое животное: Сам Овца. Они медленно сближались.

Поединок Молодца и Самого Овцы определял исход всей дальнейшей битвы. Картина получалась грозная и торжественная.

Только много лет спустя мне вдруг открылось общепринятое прочтение этой крылатой фразы. И я, надо сказать, был сильно разочарован ее убогой назидательной мудростью.

Конечно, в детстве я был не один такой странный. Два моих товарища в разное время признались мне, что первая строчка русской народной песни «Шумел камыш, деревья гнулись» вызывала в их сознании образ некой мыши-шумелки, которая, видимо, шумела так, что гнулись деревья.

Эстрадная песня со словами «Долго будет Карелия сниться, будут сниться с этих пор остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер» читалась моим другом Максимом Капитановским следующим образом: «Долго будет Карелия сниться, будет сниться с этих пор: остроконечно ели ресницы над голубыми глазами озер».

Макс в детские годы боялся этой песни. Действительно, если кто-то ест ресницы, да еще как-то остроконечно, – согласитесь, это, в общем, жутко, и даже задушевный вокал Марии Пахоменко не спасает ситуации.

Мне артистка Пьеха примерно в то же время загадывала другую загадку: в строчке «К цветку цветок сплетай венок – пусть будет красив он и ярок» я никак не мог понять, кто такой униярок

и почему его красота зависит от плетения венка, хотя логика подсказывала, что венок в результате наденут на униярка и именно это придаст ему красоты.

Историй таких можно вспомнить множество. И очень жаль, что с годами наше ухо теряет способность различать эти волшебные вещи в потоке общепонятных банальностей. Хотя бывают, конечно, исключения.

> Сравнительно недавно в песне группы «Би 2», где периодически звучали слова «О-о, кончится пленка», я услышал «Кончи цыпленка», и в обратную сторону у меня уже не переворачивается. По-моему, так гораздо лучше.

Однажды мы сидели за столом с Александром Градским и пили шампанское, не помню уже по какому поводу. Вдруг Градский поднес бокал с вином к уху, глаза его затуманились. Потом Градский сказал: «А ну-ка, Макар, вот мы сейчас проверим – поэт ты или не поэт. На что похож звук?» С этими словами он поднес шипящее шампанское к моему уху. Звук действительно напоминал что-то знакомое. «Может быть, шум стадиона?» – неуверенно предположил я. «Ну совсем ты не композитор! – расстроился Александр. – Вода в бачке так журчит!»

Эта история связана для меня с двумя незабываемыми ощущениями: ясным ощущением ангела за плечами и чувством внезапного острейшего счастья. Возможно, вещи это взаимосвязанные. Во всяком случае, первое обычно влечет за собой второе.

Происходило это дело, кажется, в 86-м году.

Мне предложили записать на фирме «Мелодия» мой первый сольный альбом – «Песни под гитару».

То есть он уже был до этого записан – на полуподпольной студии у Володи Ширкина, – без всякой, кстати, надежды на дальнейшее его издание. А тут благодаря очаровательной молодой редакторше Нине Кацман, звукорежиссеру Андрею Ветру и всяким перестроечным настроениям (никто толком не знал, насколько открутят крантик, но каждый надеялся на большее) было решено попробовать эту пластинку выпустить, переписав предварительно для лучшего качества звучания – действительно, техническое оснащение «Мелодии» это позволяло. То было золотое время, когда всяческие худсоветы, которые привыкли блюсти идеологическую, а отнюдь не художественную наполненность произведения, из-за происходящих в стране событий совершенно потеряли классовую ориентацию. Я, не

скрою, испытывал мстительную радость, когда те же самые товарищи, которые годами до этого заворачивали мои, и не только мои песни (сейчас, кстати, уже совершенно непонятно за что, – тогда еще с некоторым усилием можно было понять) теперь с испуганной улыбкой или со словами: «Ну вот, совсем другое дело!» – подписывали к изданию эти же песни, практически не читая.

В общем, я получил студийное время и Андрея Ветра в придачу, который, питая, по-моему, искреннюю симпатию ко мне и к тому, что я делаю, грозился создать с моим участием шедевр звукозаписи.

> Поразительное дело: как стремительно это техническое студийное великолепие – аналоговые ламповые пульты, большие залы с правильной акустикой, магнитофоны с широкой пленкой – ушло в прошлое, вытесненное новейшей электроникой, цифровой записью, компьютерными программами – казалось, навсегда! Ан нет: разыскивают, бережно восстанавливают, сдувают пыль – оказывается, настоящий-то звук здесь! Объелись электроникой. Все-таки человечество катится вниз – со всеми своими новомодными игрушками.

Я сам попросил утренние часы – я вообще больше люблю работать с утра. Началась работа – спокойная и не очень сложная. Так как все песни уже были однажды записаны, приходилось заниматься практически повторением пройденного. Все вроде получалось, я успокоился, восторженный студийный трепет, обычно мне свойственный, исчез.

И день на третий вышло так, что я оглушительно напился. То есть не днем, конечно, а ближе к ночи. Не знаю уж, что этому способствовало – то, что я жил на этом отрезке абсолютно холостой жизнью, или внезапный заезд каких-то старых друзей, или моя успокоенность по поводу работы, или что-то еще, – не помню. Что-то точно было, иначе не стал бы я так напиваться, тем более в дни записи. Короче говоря, пробуждение мое походило на пробуждение Степы Лиходеева из известного романа, причем настолько, что не вижу никакого смысла описывать это состояние вслед за классиком.

На часах было без четверти десять, а в десять начиналось мое студийное время. Я вывалился на улицу к своим «Жигулям», благо одеваться было не надо. Две чудовищные мысли заслоняли все мое сознание. Первая: я опаздываю. А больше всего на свете я не люблю опаздывать. Даже пятиминутное мое опоздание на

скучную деловую встречу меня же и выбивает из колеи на целый день, а уж опоздание на такое святое дело, как запись, – это просто невозможно себе представить. И второе – даже если я дотяну до студии, смысла в этом не будет, так как нахожусь, по образному выражению одной моей подруги, в кондиции «ни петь, ни рисовать». И вообще, стоит ли в этом случае появляться на людях в таком виде.

Мучимый этими проблемами вкупе с тяжелейшим похмельем, я все же умудрился доползти до «Мелодии», не попав по пути в аварию. Видимо, всю дорогу я молился. Я не видел выхода из ситуации и, очевидно, просил Небо о чуде.

Когда я открыл дверь студии, часы показывали четверть одиннадцатого. Потребовалось некоторое время, чтобы понять: это не у меня в глазах темно – темно в студийном коридоре. По мистическому стечению обстоятельств за пять минут до моего появления на студии пропало электричество. Я осмелел настолько, что посетовал на плохое состояние коммунальных служб столицы и даже иезуитски поинтересовался, скоро ли устранят поломку – что-то внутри говорило мне, что не скоро. И правда – не раньше, чем к вечеру, ответили мне.

После чего я подошел к очаровательной редакторше Нине, взял ее за руку и предложил пойти попить пива. И не куда-нибудь, а в «Жигули» – это тогда было главное пивное заведение Москвы.

Очаровательная редакторша с печальной улыбкой посмотрела мне в глаза и сказала, обнаружив неожиданное знание вопроса, что в это время в понедельник в «Жигули» попасть невозможно – разве что отстояв часовую очередь.

Был и правда понедельник, и большая часть трудовой Москвы поправляла там с утра свое здоровье. Но я уже знал, что чудеса будут продолжаться. И торжественно пообещал редакторше, что никакой очереди мы не увидим и что в «Жигулях» нас ожидает не только свежайшее пиво, но и дефицитная вобла. Меня не покидала странная уверенность, что именно так все и будет. Это было похоже на ясновидение.

Именно так все и произошло. Подходя к заведению, девушка даже предположила, что оно закрыто – ну не бывает в понедельник утром у «Жигулей» ни одного человека! Но двери гостеприимно распахнулись, нас усадили в прохладном зале, а к свежайшему пиву помимо дефицитной воблы подали еще совсем уж невероятных раков. Девушка скоро исчезла, а я сидел, восхитительно медленно приходя в сознание и стараясь запомнить это ощущение ангела за плечом.

Я вспомнил историю, которая произошла лет за десять до

этого, еще в институте. Как и у всех нормальных людей, предметы у меня делились на любимые и нелюбимые. К нелюбимым относились точные науки – математика, сопромат и им подобные. (Туда же входила история КПСС, но по другим мотивам.) Дело было не просто в нелюбви – при попытке заняться математикой спустя пятнадцать минут я впадал в тяжелое полулетаргическое состояние, из которого вывести могло только немедленное прекращение попытки и кардинальная смена обстановки. Сейчас нечто подобное я испытываю, открывая всякого рода технические инструкции – по обращению с компьютером, например. А тогда утешал лишь тот факт, что после сдачи последнего экзамена по математике уже никакая сила в мире не заставит меня вернуться к постижению этой науки.

Для сдачи экзаменов по нелюбимым предметам я разработал метод, основанный на психологическом проникновении в душу преподавателя. Как правило, было видно, что экзамен доставляет педагогам не больше удовольствия, чем нам, студентам. На дворе стоял июнь, экзамены часто выпадали на выходные дни, и я просто физически ощущал, как хочется нашим профессорам быстрее закончить всю эту бодягу и поехать, скажем, на дачу. Студенты же нервно толпились у дверей аудитории, подталкивали вперед друг друга, держались в коридоре до последнего, а потом часами безнадежно потели над билетом – словом, тянули время.

В коридоре очень важно было выяснить – злой сегодня экзаменатор или не очень. Я же понимал, что злым он становится именно в результате происходящего. И тогда я выбрал прямо противоположную тактику.

С утра я надевал красивый пиджак (у меня был единственный пиджак – но зато с изумрудным отливом, небесной красоты) и смело заходил в аудиторию первым. Я брал билет и, не заглядывая в него, небрежно произносил: «Можно, я без подготовки?» Верите или нет – я всегда ощущал в этот момент флюиды благодарности, исходившие от преподавателя. Может, и не умом, а сердцем теплел он оттого, что хоть один из этих засранцев бережет его время. Я же понимал, что никакого проку от моего сидения над билетом все равно не будет – знаний не прибавится, а шпаргалки меня никогда не вдохновляли.

Дальше происходило по-разному, но во всяком случае на переэкзаменовку меня не отправляли никогда.

Так вот, я пришел на последний в моей жизни экзамен по математике. От остальных экзаменов по точным наукам он отличался, пожалуй, тем, что там я хоть что-то знал. Набрал побольше воздуху и проделал обычную процедуру. Вопросы в

билете с таким же успехом могли быть на китайском языке. Я не помню, что и как я отвечал. Возможно, кто-то говорил за меня моим голосом. В себя я пришел в тот момент, когда преподаватель выводил в моей зачетке «отл». Я вышел в коридор, и сокурсники, зная мою любовь к математике, обступили меня с вопросами: «Ну как?», «Ну что?», «Злой?». Я вынул у кого-то изо рта бычок, сладко затянулся и отправил его в полет щелчком. Пролетев через весь коридор метров двадцать, бычок упал в урну. «Отлично», – произнес я и вышел на улицу.

Удивительно, что в тот момент у меня не было ни малейшего сомнения: окурок попадет в урну. Если бы я захотел, он бы еще мог описать в воздухе какую-нибудь восьмерку. Позже я специально пытался повторить этот бросок. Я не только не мог попасть в урну – бычки до нее просто не долетали.

Я допил пиво и вышел на Арбат. Была середина мая, падал реденький майский дождик, и небо, затянутое полупрозрачными облачками, имело какой-то необычно розовый оттенок. Ясно было – вот-вот выглянет солнце.

А на Арбате было пусто, и посреди улицы стоял джаз-диксиленд, состоящий из пожилых пьющих мужчин, и перед ними на брусчатке – коробочка из-под кефира для денег. Музыканты играли весело и чуть-чуть грустно. Кто-то из них улыбнулся и кивнул мне.

И во всей этой картине с дождиком, Арбатом, музыкой и моим похмельем была такая могучая гармония жизни, что я опять ощутил плечом присутствие ангела и понял, что он специально мне это показывает. Хотелось радоваться и плакать, и это было счастье. Я высыпал музыкантам в коробочку остатки своих денег и, стараясь не расплескать счастье, осторожно поехал домой.

Кстати, проведя некоторое время в поисках определения счастья и не удовлетворившись ни одним из прочитанных, я вывел свое собственное:

Еще можно рассматривать жизнь как последовательную цепь разочарований.

Человек, только что родившийся, ничего еще не узнавший, не может быть ни в чем разочарован. Первое разочарование приходит вслед за первым знанием (хотя бы в его неабсолютности). В общем,

И свое формируя сознанье
С каждым днем от момента рожденья,
Мы бредем по дороге познанья,
А с познаньем приходит сомненье.

(Совершенно ужасно цитировать самого себя, но это только потому, что я об этом очень давно размышляю – стих был написан лет двадцать назад.)

Детские разочарования – самые яркие. Наверно, потому, что каждое из них – первое. Падать больно, красивая оса жалит, а молоко бывает горячим.

Кстати, лет до пяти я был уверен, что мужчина, как и женщина, дает молоко, так как соски не могут быть просто для красоты, и то, что у меня пока нет молока, – это вопрос возраста, а отнюдь не пола. Периодически я пытался дотянуться губами до собственной груди (по-моему, мне это даже удавалось) и проверял – не пошло ли молоко. Молоко не шло, и скорее вырасти хотелось еще больше. Не останавливал даже страх высоты.

Когда отец брал меня на руки, это было очень высоко и страшно. При этом я понимал, что взрослые все время смотрят на мир именно с этой высоты, и дивился их мужеству.

В первом классе нам показали какой-то учебный фильм про производство колбасы. Помню, фильм меня совершенно потряс.

Конечно, я не думал до этого, что колбасы растут на деревьях или бегают по лесу, но в моем представлении они никак не подходили под категорию продукта деятельности человеческих рук, как, скажем, банка консервов. Банка явно сошла с конвейера и была совершенно обезличена – ничем не отличалась от сотен таких же. Каждый же батон колбасы (особенно копченой) всегда слегка асимметричный, по-своему обмотанный веревкой, как будто его связали, еще когда поймали, а потом уже привезли в

магазин, а еще то, что его надо было взвешивать – они и по весу отличались! – все это давало абсолютное ощущение того, что колбаса – создание природы, а никак не мясокомбината. Я долго ходил, выбитый из колеи.

В подтверждение тезиса «Я разочаровываюсь – следовательно, существую» (ничего, кстати говоря, пессимистичного в нем нет, если разобраться) приведу наугад еще несколько примеров.

В детстве кажется, что вот среди твоих сверстников есть умные и дураки, а взрослые – умные все. Просто не можешь представить себе взрослого дурака.

С годами, постепенно перебираясь в стан взрослых, с ужасом понимаешь, что тут-то дураков гораздо больше.

> Ну на самом деле соотношение практически такое же. Дурак – не возрастная категория.

Принято считать, что по тому, как женщина танцует, можно определить, какая она в постели. Это, оказывается, не так. По тому, как женщина танцует, можно определить лишь, что она о себе думает. Думает она, как правило, совершенную ерунду.

Казалось, что провинция – это только у нас, такое чисто русское понятие, а там, в Европе, – везде Европа, а в Америке – везде Америка. И это не так. Весь мир на 95 процентов состоит из провинции, и такая же она провинциальная и в Европе, и в Америке, и у нас, разве что там на тротуары не харкают и не какают мимо унитаза.

(В чем тут дело – не пойму. Не в благосостоянии же! Оно ведь на меткость не влияет. Ну прицельсяты и попади!)

Долгое время жили среди всего дешевого. О дорогих вещах ходили легенды. Казалось: дорогое, в отличие от дешевого, не ломается. Оказалось – точно так же ломается. Оно просто дорогое.

Оказывается, обманываешь себя, оставляя что-либо на «потом».

Например, покупаешь какую-нибудь книгу и думаешь, что когда-нибудь потом, когда работы будет поменьше, а свободного времени – побольше, очень приятно будет ее почитать.

Никакого «Потом» не будет. Время идет быстрее и быстрее, и свободного времени будет меньше и меньше, а потом сразу умрешь. А если, не дай бог, не сразу – все равно будет уже не до книжек.

Так что «Потом» – это утешительная форма «Никогда». И если чувствуешь, что не будешь читать эту книгу сегодня, – не покупай ее. Таким образом можно сильно сократить количество ненужных вещей.

Хотел бы я этому научиться.

> Не научился. Количество книг растет, затрудняя передвижение по дому. Появились так и не прочитанные – раньше я себе такого не позволял. К тому же многие прочитанные не оправдали ожиданий – а все равно стоят. Периодически охватывает бешенство, и кажется, что в этом состоянии можешь выкинуть все, что угодно. Бежишь в кабинет, хватаешь одну книгу, другую, а над третьей замираешь – ну как можно? И все.
>
> Интересно, что молодое поколение этой болезни, кажется, не подвержено. Мой сын Иван может прочитать книгу, принести ее мне и забыть о ней навсегда – она ему больше не нужна. Смотрю на свои полки и думаю – много ли на них книг, к которым я готов возвращаться (словари, справочники не в счет)? Нет, совсем немного. Взять бы да избавиться от остальных – не могу! Тут – издание шестидесятого, и прямо пахнет оттепелью, эта – подписана автором, а эту откроешь – интереснейшая, обязательно надо прочитать! И не дай бог оказаться на книжной ярмарке – еще два мешка в дом!

Казалось бы, с опытом, который неизбежно приходит с годами, поток разочарований должен постепенно иссякать. Ничего такого не происходит – просто сам предмет меняется.

Одно из сильнейших разочарований постигло меня году в 87-м – это был год тотального выхода из подполья нашей рок-музыки. Ошалевшие от внезапной свободы рокеры (не знаю, как другие, а я-то был совершенно уверен, что постылая советская власть простоит еще лет сто – даже смерть какого-нибудь Брежнева производила сильнейшее впечатление, казалось, что он, как библейский персонаж, будет жить восемьсот лет) кинулись записывать альбомы, греметь по стадионам и изумлять заграницу. И мне казалось – вот он, момент истины, сейчас наш замордованный идеологией народ разует наконец-то уши и отвернется с негодованием от кастрированной советской вокально-инструментальной эстрады и двинется с песней за БГ или «Наутилусом».

И действительно, сам факт выхода из подполья (а вовсе не музыка) какое-то время вызывал общенародное изумление. Потом народ зевнул и потянулся к родному.

Нет, конечно, залы не опустели. Но мы-то ждали глобального поворота сознания.

С рокерами осталась та часть людей, которая любила их и до того. С Софией Ротару людей осталось больше. А потом появился «Ласковый май» с фанерой в зубах, и все вообще встало на свои места.

Нет, не ревность душила, клянусь вам, а жуткая обида за зрителя, которого мы вчера считали своим (не своей собственностью, но своим по убеждениям!), – за зрителя, который сегодня с таким наслаждением позволяет себя дурачить.

Удивительное дело, человек, который пишет песни, рисует картины – словом, делает что-то, что собирает вокруг него других людей, – постепенно оказывается в плотном кольце этих людей, искренне им восхищающихся. Человек не может определить толщину этого кольца – он видит только первые ряды. Рано или поздно у него возникает ощущение, что кольцо это не имеет внешних границ и толпа его почитателей простирается до горизонта. А на самом деле кольцо всегда имеет толщину, и, как правило, не такую уж значительную, а дальше – разрозненные кольца других людей вокруг каких-то других деятелей, и между ними – пустые безжизненные пространства.

(Увидев это один раз, я понял, что застрахован от обольщения на всю оставшуюся жизнь.)

Здесь, однако, не следует впадать в другую крайность – иногда кольца самым причудливым образом пересекаются, и уж тут – неисповедимы пути Господни.

Нам свойственно переносить на слушателя все тонкости нашего собственного вкуса. То есть если ваш товарищ, как и вы, любит чеснок, то он обязан любить и варенье, потому что его любите вы. Мало того – он обязан, как и вы, ненавидеть груши.

Это большое заблуждение.

Ваш товарищ ничем вам не обязан и будет с наслаждением жрать груши у вас на глазах. А чеснок вы с ним съедите вместе.

Однажды на рынке ко мне подошла пожилая женщина.

Честное слово, я не люблю, когда меня узнают на улице, – не потому, что узнают, а потому, что приходится с улыбкой выслушивать в сотый раз одни и те же слова. Но это была очень приятная интеллигентная женщина, и я остановился.

Она сказала: «Андрюшенька, неужели это вы? Вы извините, что я вас так называю, – разница в возрасте позволяет, а потом, вся наша семья уже много лет любит вас и ваши песни! И я сама, и дочка, и оба внука моих – я ведь уже бабушка! И календарь ваш у нас на стене висит, и почти все пластинки есть, и в доме всегда звучит ваша музыка!»

И когда я уже совсем растаял, добавила: «Ваша и Славочки Добрынина».

Покажите мне человека, который в детстве не мечтал жить вечно! Нет такого человека. Даже если бы желание это не подогревалось всякими сказками – представляете, как это здорово?

Жить вечно, и не стареть, и увидеть, что наконец будет с миром и с человечеством и чем все это кончится, и даже тогда не умереть, потому что ты бессмертный, а значит, это только у человечества все кончается, а у тебя будет что-то еще. В детские годы мне это казалось высочайшим счастьем.

Потом я забыл про это и долго на эту тему не размышлял. Вспомнил, посмотрев фильм «Горец». (Страшно завидую тем, кто смотрит это сегодня в свои двенадцать лет. Почему у нас всего этого не было? За детство счастливое наше спасибо, родная страна!)

А сейчас мне кажется, что такое бессмертие было бы пыткой и выдержал бы ее сегодняшний человек недолго – во всяком случае, ненамного дольше, чем ему было бы отпущено природой в обычном, так сказать, режиме.

Судя по Библии, первые люди жили гораздо дольше нас: по шестьсот-восемьсот лет. Охотно верю. Видимо, настолько же медленней была их жизнь, и событий происходило за шестьсот лет не более чем сегодня за шестьдесят, и так же медленно шло накопление информации. Один темп соответствовал другому.

«Ну да, – скажете вы, – а что же в Древней Греции они жили всего до сорока?» Тут я сощурюсь, сделаю паузу и спрошу: «А вы можете представить себе страну с населением, равным одному микрорайону Москвы, которое всего за триста лет подарило грядущему человечеству практически все, чем оно пользуется по сегодняшний день, – философию, эстетику, поэзию, театр, архитектуру, скульптуру, геометрию? (Думаю, масса вещей, таких как, скажем, музыка, просто до нас не дошли.)

Причем подарены были не азы, а недосягаемые и сегодня образцы!

Уверен, что жители этой страны должны были жить чрезвычайно насыщенной жизнью!» И вы отойдете, посрамленный.

Пока мы молоды, мы находимся на переднем фланге происходящего, то есть создаваемого.

Совершенно не важно при этом, пишешь ты книги или читаешь написанное другими. Создающие вкупе с потребляющими образуют некий общий культурный слой –

толщиной примерно лет в двадцать. За это время обычно успевает созреть новое поколение, которое родит свою эстетику, основанную, конечно же, на отрицании вашей, предыдущей.

Вы оскорблены до глубины души, в которую эти юнцы вам плюют, – вы ведь творили и для них и очень на них рассчитывали! Вы уже забыли, что двадцать лет назад вы были точнехонько на их месте и ничем от них не отличались – только вы тогда все были в белом, а они теперь в голубом. И старшее поколение очень неодобрительно тогда на вас поглядывало. И казалось оно вам тогда скопищем заскорузлых пердунов, давно забывших свет Истины, а сама Истина в этот момент трепетала если не в ваших руках, то во всяком случае где-то очень неподалеку.

А сегодня поделки этих мальчиков кажутся вам бездарной ахинеей, и вы уже всерьез рассуждаете об общемировом кризисе современного искусства (музыки, литературы, живописи – какая разница!).

Бросьте, товарищ! Это вы просто защищаете эстетику своей юности – охраняете свою поляну. Вам хочется, чтобы ваша юность длилась вечно. Оставьте – ничего не бывает вечно.

Какое-то время нас спасает (и здорово, кстати, обманывает) круг наших старых друзей – мы не замечаем их морщин, они не видят наших. (Правда, если встречаться раз в год, то и это не помогает – все видно.) А еще лет через двадцать, если только эстетический маятник не качнулся обратно и вы не услышали вдруг что-то родное в новомодных напевах, вы уже плохо понимаете, что происходит за окном. И покидаете этот мир в полной изоляции и с некоторой обидой на неблагодарную и деградировавшую молодежь.

Простите меня за такую мрачную картину – я несколько сгущаю краски, и не так все печально, и придут к вам пионеры с цветами и будут, затаив дыхание, слушать ваши рассказы о боевой юности. А потом пойдут слушать свои песни – те самые, которые вы ненавидите. Не сердитесь на них – они ничуть не хуже нас с вами.

А по поводу мирового кризиса – это, по-моему, иллюзия. Вспомните – и в ваше время дерьма вокруг создавалось предостаточно. Хорошего было меньше, а лучшего – совсем немного. И вот спустя годы осталось это лучшее и еще чуть-чуть хорошего. А нам уже кажется, что только из этого все и было сделано. Дерьмо как-то забылось. Забудется и дерьмо сегодняшнее, а останется совсем немного лучшего и, бог даст, чуть-чуть хорошего. Что именно – посмотрим.

Большой я был, однако, оптимист. Ох, мало чего останется! Если останется вообще. Я об искусстве. Наверно, оно не может, да и не должно, рождаться равномерным потоком из века в век. Бывают промежутки. Ангелы отдыхают. Наверно, появляется что-то в другой области – науке, например.

Однажды Митяев привез меня в гости к Окуджаве. Я сомневался, удобно ли – не так уж близко мы были знакомы, но Митяев сказал, что все обговорено и нас ждут.

Знакомство с Окуджавой долгие годы было заочным и односторонним. У нас дома был маленький катушечный магнитофон – как в фильме «Семнадцать мгновений весны», – вещь по тем временам совершенно невероятная. Отец привез его из какой-то загранкомандировки.

Первым делом он пошел с ним в кино и записал всю музыку фильма «Серенада солнечной долины» – там играл оркестр Гленна Миллера. На вторую пленку были переписаны у отца моего друга Димки Войцеховского песни Окуджавы вперемежку черт знает с чем.

Настоял на этом, правда, Димкин отец – мой как-то не интересовался песнями под гитару, он любил джаз.

На пленке были: «Синий троллейбус», «По Смоленской дороге», «Вы слышите, грохочут сапоги», «Ленька Королев» и «Как просто быть солдатом» (очень она тогда казалась антисоветской). С этих песен я и начал чуть позже игру на гитаре – до битлов было еще далеко. Не могу даже сейчас сказать, чем эти песни отличались от того, с чем они были перемешаны (я и не знаю, кто на этой пленке пел какую-то полублатную бузню), просто они были очень хорошие, а все остальные – нет, и в мои восемь-девять лет это было яснее, чем дважды два.

В самом конце семидесятых Лена Камбурова взяла меня на концерт Окуджавы в Студенческий театр МГУ на улице Герцена. (Чудно вспомнить: и улица была еще – Герцена, и театр МГУ – театром, а не церковью.)

Мы пропихнулись через невероятную толпу по парадной лестнице на второй этаж, добрались до своих мест в зале.

Больше всего я боялся, что концерт отменят – это тогда было самым нормальным явлением. Концерт начался, Окуджава замечательно пел, время от времени откладывая гитару и отвечая на вопросы из зала.

Развернув очередную записочку, он вдруг прочитал: «Как вы относитесь к музыке „Машины времени“?»

Окуджава пожал плечами и сказал, что то, что он слышал,

ему не близко.

Мне показалось, что весь зал смотрит на меня, я сидел красный как рак.

А Окуджава снова посмотрел в записочку и дочитал до конца: «Ее лидер Андрей Макаревич находится в зале» – и рассердился, видимо, на ситуацию и на себя. «Какая вообще разница, как кто к кому относится?» – сказал он раздраженно. И концерт продолжился. Вторую половину я запомнил хуже.

А потом, спустя много лет, меня представили Булату Шалвовичу (кажется, это было уже на его семидесятилетии). И первое, что он мне сказал: «Ради бога, извините меня за ту дурацкую историю с запиской на концерте!»

Я вам клянусь – это было одно из самых сильных потрясений в моей жизни. Я-то этот случай помнил, но чтобы помнил он, я не мог даже предположить.

Потом был прекрасный день рождения на маленькой сцене «Театра современной пьесы» – даже не поворачивается язык назвать его юбилеем, настолько все было непафосно. И в конце выяснилось, что на бульваре под театром стоит толпа людей, не сумевших попасть внутрь, и Окуджава позвал Шевчука и меня, и мы втроем вышли к ним на балкон, как прямо совсем уж не знаю кто, и мы с Шевчуком даже что-то такое пели – я все это не к тому вспоминаю.

Прошел еще год, и мы с Митяевым поехали в гости к Окуджаве. Окуджава сидел один в маленьком дачном домике в Переделкине. Он непрерывно курил, тяжело кашлял. Разговор, как это бывает между не очень близкими знакомыми, шел обо всем понемногу.

Я не мог отделаться от ощущения встречи с Учителем, я смотрел на фотографии в рамочках над письменным столом и думал, что и у меня точно так же висят над столом фотографии друзей в рамочках и что как это хорошо и естественно – подняв глаза от работы, видеть любимые лица.

А на другой стене висело множество колокольчиков, и я думал, что и у меня в доме много колокольчиков, только висят они не на стене, а над входом. И что вот сейчас мы сидим рядом с человеком, который гораздо старше и гораздо мудрее нас и который написал гениальные песни, и что сидим мы так в первый и, может быть, последний раз, и надо попытаться услышать и запомнить все, что он нам скажет.

А Окуджава сказал, что последнее время не очень хорошо понимает, что происходит вокруг. Разговор коснулся политики, и Булат Шалвович спрашивал у нас: «А Чубайс? Он вроде толковый, да? А Гайдар?» Он спрашивал у нас! И это было мое второе

потрясение.

Нет-нет, он совершенно не производил впечатления слабеющего умом старика – упаси бог! Он просто сознавал, что Время за окном для него уже движется настолько быстро, что не все детали различимы.

Я все это рассказываю не для того, чтобы похвастаться знакомством с Окуджавой, а к тому, с чего начал. Если мудрейший человек нашего века к концу жизни признается себе (и нам) в этом ощущении, то что же тогда говорить о нас, остальных? Страшно как раз не это – это нормально. Страшно, когда человек, не желая осознавать своей неспособности угнаться за Временем, выносит приговор Времени, а не себе. Хотя винить не стоит ни Время, ни себя.

Вообще мне кажется, что изобретение хронометра нас сильно сбило с толку. Время – гораздо более сложная, многомерная и необъясненная вещь, и пытаться измерить его с помощью равномерно ползущих по циферблату стрелок или мигающих электронных циферок – все равно что пытаться измерить объем Мирового океана с помощью ученической линейки.

Во всяком случае, то, что оно для каждого движется по-своему и зависит это движение от возраста, места, ситуации и еще массы обстоятельств, не вызывает у меня никакого сомнения. И дело тут не в субъективности ощущений, вы мне поверьте.

Кстати, по поводу юбилея – со слов Беллы Ахмадулиной. Накануне семидесятилетия Окуджава позвонил ей и с тревогой спросил: «Как ты думаешь, мне не могут насильно дать какой-нибудь орден?»

Наш дом на Волхонке был совершенно замечательный. Говорю «был», потому что сейчас на его месте стоит его муляж – видимо, по распоряжению Лужкова о сохранении памятников архитектуры Москвы его разрушили и затем воссоздали – увы, только внешне.

С применением, так сказать, новейших технологий.

А дом пережил пожар 1812 года (он принадлежал князьям Волконским, или, по московскому просторечию, Волхонским) и на моей памяти находился в том состоянии, когда ничего нового с ним произойти, как казалось, уже не может. Дважды выселяли из него всех жильцов, а потом и организации, занявшие их место, на предмет крайней аварийности. А дом стоял и стоял. Когда его брались ремонтировать, под желтой штукатуркой открывалась дранка, уложенная крест-накрест и замазанная глиной, и видно было, что дом внутри – деревянный.

В канун одного из таких ремонтов я как раз научился

рисовать пятиконечную звездочку не отрывая руки и всюду, где можно, оставлял за собой этот нехитрый знак, самоутверждаясь таким образом. Так вот, дом штукатурили, а я пролез между ног рабочих (было мне года четыре) и прутиком начертал на сырой стене несколько кривоватых звезд. Стена высохла, и звезды продержались удивительно долго – лет двадцать. До следующего ремонта. В доме уже давно никто не жил, а я приходил иногда проведать свои звезды.

Цоколь дома красили в серый цвет, а стены – в желтый и старательно белили балюстраду полукруглого балкончика на втором этаже. На балкончике этом, видимо, вечерами пили чай дочки князя Волхонского, поглядывая вниз на гуляющую публику. При нашей жизни этот балкончик уже не открывался и никто на него не выходил. Жалко.

Да и парадный подъезд, как водится, был заколочен наглухо и густо замазан масляной краской – в десять слоев. Жильцы пользовались черными ходами, которыми раньше ходила обслуга. Удивительное плебейство советской власти! Или это сохранившаяся в подсознании боязнь хозяев, которых выгнали из их домов?

Сегодня и этого, бокового подъезда, выходившего на Колымажный, уже нет – он заделан. После того как расселили коммуналку, в доме сидела какая-то контора, и я, проезжая мимо, все хотел зайти и просто посмотреть – что там теперь на месте нашей кухни, наших комнат? Так и не зашел. А потом дом в одночасье срубили под корень и на удивление быстро слепили точно такой же – из бетона. С одной только разницей – тот, настоящий, как и все московские домики тех лет, был немножко кривоватый: все прямые были проведены не по линейке, а как бы от руки. Конечно, это были следы времени – просадок, ремонтов (без приставки «евро»). Эта легкая повсеместная кривизна придавала старой Москве исключительно живописный вид: дома были живые. Сегодняшние безукоризненно ровные и весело раскрашенные их макеты вызывают у меня ощущение декорации. Хотя, наверно, я слишком многого хочу.

Теперь в нашем доме филиал Пушкинского музея, собрание частных коллекций. Пошел смотреть Рембрандта, а сам все время думал: вот тут стояла моя кроватка с никелированной спинкой, а тут был коридор. Пришел замечательный бородатый дядька – кажется, директор – и подтвердил мои предположения – только

внешние стены повторяли очертания былого дома. Да и то не все – дом разросся вбок и перекрыл стеклянной галереей часть двора, где был крохотный садик в два дерева и будка дворника дяди Гриши. Зато во время реконструкции под домом обнаружились сводчатые подвалы чуть не четырнадцатого века. Там теперь музейный сортир. Поразительно – жили и не догадывались! Знать бы мне тогдашнему, шестилетнему, что под нами такое!

А по Волхонке ходил трамвай, и магазин «Продукты» назывался не «Продукты», а – «Бабий магазин», а овощная лавка во дворе за ним – «Дядя Ваня», по имени продавца. Кто сейчас знает, как зовут продавца в овощной лавочке?

А если подойти к краю Волхонки (она ведь, наверное, одна из самых коротких улиц Москвы!), то на углу напротив библиотеки Ленина виднелась не покрытая плешивой травой пустошь, а – аптека. В аптеке работала кассиршей тетя Вера Бендерская – наша соседка по парадному. Один раз она дала мне покрутить ручку кассового аппарата. Аппарат назывался national и являл собой произведение архитектуры – с башенками, колоннами и пилястрами, и все это в сверкающем металле. При повороте ручки в готическом окошечке возникали цифры, раздавался волшебный звук, и на серебряное блюдечко выпадал чек, отпечатанный на толстой синей бумаге. Это было волшебство. Очень хотелось стать кассиром.

А прямо напротив наших окон – там, где теперь какие-то «Соки-воды», – располагалась парикмахерская. Парикмахера звали Абрамсон. Двери всегда были открыты настежь, и седой Абрамсон выносил на улицу стул и сидел на нем, покуривая. Он не был перегружен работой.

Парадное наше находилось напротив Музея изобразительных искусств и имело три каменные ступеньки сразу за уличной дверью. Внутри пол был покрыт асфальтом (вот странно!), прямо по курсу – дверь в квартиру на второй этаж (туда, где балкончик). Я так и не знаю, кто там жил. Слева – тетя Вера из аптеки. И справа – наша дверь.

Черный круглый звоночек с белой эмалированной кнопочкой. К нам – два звонка. Отдельный звонок – к Герчиковым. Они жили особняком. Открыв дверь, вы попадали в длинный и причудливо изогнутый коридор. Стены его были покрыты желтым мелом и в районе телефонного аппарата сплошь исчирканы номерами и именами.

Телефонный аппарат висел на стене и был черным,

продолговатым и железным. Хромированный диск его, вращаясь в обратную сторону, издавал удивительно приятный звук.

Нынешние пластмассовые телефоны при всем желании такого звука издать не могут.

А номера были шестизначные и с буковкой впереди. Наш номер – К4–19–32.

На стенах коридора висели велосипеды, банные шайки и жестяная детская ванна – моя.

Еще по левую руку стоял гигантских размеров черный комод (не знаю чей), а по правой стене шли двери.

За первой дверью жили Марины – баба Лена, дядя Дима, тетя Лена и сын их Генка.

Баба Лена была маленькая согбенная старушка с коричневым лицом и вся в каких-то коричневых платках. Она почти не говорила, появлялась беззвучно, непрерывно курила папиросы и кашляла мужским басом ночью за стенкой.

Она, наверно, была ведьма. Но об этом – позже.

Дядя Дима работал водителем грузового троллейбуса. (Вы знаете, что такие бывают? Я видел!) Был дядя Дима огромен, слегка небрит, хрипл и добр; может быть, по причине постоянного выпивания.

Я тогда не вдавался в такие тонкости.

С дядей Димой связаны у меня три очень ярких воспоминания.

Во-первых, как он катал меня однажды на своем грузовом троллейбусе вокруг Музея изобразительных искусств (поскольку Музей изобразительных искусств был имени Пушкина, то и звали его все для простоты – Музей Пушкина). Меня поразило, что троллейбус может, оказывается, ехать и без проводов, сложив на спине дуги, – с помощью аккумуляторов. Я не знал, конечно, что такое аккумуляторы, но заочно проникся к ним колоссальным уважением.

Потом дядя Дима однажды на кухне палил над газом курицу, и, хоть убейте меня, у этой курицы были четыре ноги. Тогда меня этот факт не очень удивил, но позже я совершенно безуспешно старался найти ему какое-то объяснение. Мне пытались навязать версию, согласно которой это был кролик. Возможно, но в таком случае это был крылатый кролик.

А еще однажды я заболел ячменем. Коммуналка наша была весьма дружная (не считая Герчиковых), и ячмень мой переживали сообща. Дядя Дима тоже пришел смотреть на ячмень, приблизил свое лицо к моему и вдруг совершенно неожиданно и коварно плюнул мне в глаз. Плевок пах луком и табаком, и я очень расстроился. Кажется, ячмень прошел.

Со здоровенным Генкой – сыном дяди Димы и тети Лены – мы дружили, хотя Генка был года на два старше, а в этом возрасте это огромная дистанция.

Вторая по счету дверь была наша, а за следующей жила тетя Роза Герзон и дочь ее Галя. У них в комнате как-то по-особенному пахло.

Я вообще в детстве прежде всего замечал запахи.

Приходила к маме подруга ее тетя Вера – и я с диким трудом переносил ее приближение и, не дай бог, поцелуй – у нее был какой-то неправильный запах. А на коленях бабушкиной сестры тети Эммы я готов был сидеть вечно – так замечательно от нее пахло.

Только не подумайте, что от кого-то воняло, а кто-то благоухал (слово «дезодорант», кстати, тогда еще не было известно прогрессивному человечеству!) – речь шла о каких-то очень тонких вещах, и вполне возможно, что, кроме меня, этого вообще никто не чувствовал.

Так вот у Герзонов пахло правильно, и я к ним часто заходил под разными предлогами нюхать этот запах. Обои в комнате были синие с крупными алыми розами, и это мне тоже нравилось. На стене висела «Неизвестная» Крамского, которую называли «Незнакомкой». Мне давали играть мраморных слоников и удивительные блестящие металлические штуковины, из которых я сцеплял длинные составы и возил их по полу. Об истинном предназначении штуковин я не задумывался. Впоследствии жизнь показала, что это были такие специальные подставочки под столовые ножи. Чтобы, значит, не гадить на скатерть.

За следующей дверью находилась комната Герчиковых. Там жили Алла Петровна и сын ее Алик. Алла Петровна, кажется, была артисткой и находилась в состоянии войны со всей остальной коммуналкой.

Очевидно, это было обязательное явление для любой коммуналки – кто-то с кем-то должен был воевать.

Из кухни постоянно несся крик Аллы Петровны – у нее был густой поставленный голос. Тихие Герзоны так ее боялись, что выходили готовить еду ночью. Время от времени Алла Петровна писала жалобы в товарищеские суды на всех жильцов, включая нас. Суды, видимо, происходили и ничем не кончались.

Рядом с покоями Герчиковых располагались две фанерные дверки – в туалет и в ванну.

Я знаю, что следует писать «в ванную», то есть в ванную комнату, но это была дверь действительно прямо в ванну, никакой комнаты вокруг не было – только серая щербатая раковина.

За соседней дверкой находился серый и пятнистый, как жаба, унитаз и рваная на кусочки газета в клеенчатом карманчике. Запиралось это дело изнутри на неверный крючок, и в остававшуюся щель можно было свободно увидеть, кто же там так долго сидит. Висело тут же два расписания (написанные, видимо, рукой моего отца – твердым архитектурным шрифтом). Одно из них делило утренние часы пользования ванной между жильцами, а второе указывало, какая семья когда моет полы в коридоре и на кухне.

Кухня начиналась сразу, если повернуть налево от двери в ванну. Была она большая, низкая и имела два окна во дворик. (Я их очень любил – всегда было видно и слышно, кто гуляет.)

Еще там были чулан и сени в черный ход. В сенях лежали дрова – дом наш отапливался печами, и во дворе стояли сараи для дров, у каждого своя секция с отдельной дверью, и привозили дрова на подводе, в которую была впряжена настоящая лошадь.

Стояли на кухне четыре газовые плиты – у каждой семьи своя. Я сидел на окне и смотрел во двор, а на плитах что-то варилось, пеклось, булькало, соседи делились впечатлениями от похода в «Бабий магазин», одалживали друг у друга муку и спички, строили планы обороны от злокозненной Аллы Петровны. Жили дружно. Это было сорок с небольшим лет назад.

Да нет – пятьдесят пять. С небольшим.

Наша дверь вела не сразу в комнату, а сначала в узенький темный коридорчик. При всей его узости он еще был забит вешалками с пальто, какими-то сундуками и хламом. Освещался коридорчик тусклой-тусклой лампочкой, но до выключателя я не дотягивался, а окон в коридорчике, естественно, не было.

Я садился в темноте на сундук и боялся щуку.

Щука была нарисована в книжке «Русские народные сказки». Ее держал над прорубью русопятый Емеля, и была она жирная и зеленая, как гусеница. Глаз ее неприятно сверкал.

Я чувствовал, что щука водится где-то в районе коридорчика – возможно, затаилась у стены за вешалкой. Чтобы все обошлось, надо было или очень быстро миновать гиблое место, или уж застыть, не дыша, в полной неподвижности. Неподвижность почему-то гарантировала благоприятный исход в подобных ситуациях. Я расскажу об этом чуть позже.

Так вот, если удавалось проскочить коридорчик, то попадешь в комнату, из которой шла дверь в еще одну – мы по причине многочисленности имели две комнаты.

В двух комнатах жили: я, мои мама и папа, мамина сестра Галя и моя бабушка Маня.

Жила еще, как правило, моя няня. Няня приглашалась не для роскоши – просто мама работала и училась, папа работал, тетя Галя училась, баба Маня работала, и оставлять меня днем было не с кем.

Няни приезжали из деревни и время от времени сменяли друг друга. Сначала была тетя Маша Петухова, потом Катя Корнеева из деревни Шавторка Рязанской области, потом ее сестра Нина.

Как я сейчас понимаю, это был один из немногих способов молодой деревенской девушке попасть в город. Просто так паспорта в деревнях на руки не выдавали, для этого нужно было основание – временная прописка.

А тут уже няня выходила замуж за какого-нибудь солдата, и ее сменяла следующая.

Проводил я с ними дневные часы, но ничего особенно светлого не запомнилось. Помню, как тетя Маша уронила меня с рук на тротуар. Помню вкус разбитой губы и пыльного асфальта. Было мне года два с половиной. Еще помню, как строгая Нина ставит передо мной миску с самой ненавистной моей едой – творогом, растертым в кефире, – и будильник. Чтобы через пять минут все было пусто! В кефире плавают комки от творога, и от них кого угодно может вырвать. Нина исчезает на кухне, и я в полном отчаянии перевожу стрелки аж на полчаса назад и сижу обреченно, не дыша и с творогом за щекой.

Нина, видимо, была не очень сильна в часовой технике, и прошло какое-то время, пока она разгадала мой маневр.

Крики переносил безропотно, но в душе переживал страшно. Я вообще в детстве ненавидел есть. Ненавидел иезуитский прием, с помощью которого меня пытались пичкать. Коровка паслась на лугу, крестьяне ее доили, потом из молочка сделали творог, привезли в город, отец работал на работе, заработал деньги, купил творог в магазине, а ты, сволочь, есть не хочешь? Я мог спокойно принести из детского сада макароны за щекой. Но в детский сад меня отправили позже.

В первой комнате располагались: диван с тяжелыми жесткими подушками и двумя валиками (я любил с ними бороться), черная рифленая печь до потолка, буфет с архитектурными излишествами – тогда других не было, хрущевская мода на «современное» еще не наступила. Потом – окно на Волхонку, потом – пианино «Красный Октябрь» в сером чехле и на нем – телевизор «КВН» с линзой.

Вся квартира (кроме Аллы Петровны, естественно) приходила к нам смотреть телевизор. Что показывали, было совершенно неважно – сам факт какого-то движения на экране являл собой чудо и вызывал радостное изумление.

Еще посреди комнаты стоял старый дубовый стол со стульями. У стола были массивные квадратного сечения опоры, и я очень любил ходить под этот стол пешком – особенно когда приходили гости. Меня не было видно, а мне все было слышно; кроме того, я мог спокойно рассматривать всякие интересные ноги сидящих за столом.

Во второй комнате стояли комод с зеркалом, кровать мамы с папой, кровать моя, письменный стол и раскладушка тети Гали.

Как это все помещалось на десяти метрах, я не понимаю.

Впрочем, раскладушку на день убирали.

Одну стену целиком занимала книжная полка, вторую полку над моей кроватью строили уже при моей жизни.

Одно окно выходило на Музей Пушкина, другое – полукруглым выступом – на угол Волхонки. Дом наш имел очень толстые стены, и подоконники были очень глубокие – почти в метр.

Меня загоняли или относили спать, целовали на ночь, некоторое время я боролся со сном, силясь расслышать, о чем говорят взрослые в соседней комнате, потом проваливался в сон, и, как укладываются родители и тетя Галя, я уже не слышал.

Ночью я просыпался оттого, что в комнате происходило страшное. На полукруглом подоконнике за моей головой шла таинственная жизнь. Во-первых, там обитали «огоньки» – маленькие существа, похожие на чаинки в стакане чая, если его размешать ложечкой. Они светились оранжевым светом, беззвучно роились над подоконником на фоне черного окна и иногда неожиданно небольшой стайкой перелетали ко мне на одеяло. Еще на этом подоконнике жили какие-то маленькие матросики – помню, что они были в матросской форме. Они надували небольшие цветные шарики, и у них там шел некий праздник. Они всегда гуляли сами с собой и подоконника не покидали – можно было, скосив глаза и затаив дыхание, наблюдать за их ночным весельем.

Это все были нестрашные обитатели. Но страшные таились рядом, и я это чувствовал. Они всегда входили через дверь и уходили через нее, причем я точно знал, что в нашей второй комнате они не задерживаются, а сразу идут через коридорчик в общий коридор и куда-то дальше. Самый страшный был маленький и очень толстый усатый дядька в красной турецкой шапочке – Тартарен из Тараскона с обложки одноименной книги. Он приходил искать меня, и вот тут-то надо было замереть, не дыша, и не дай бог, если руки остались поверх одеяла. Я замирал, жители подоконника меня не выдавали, и дядька в конце концов уходил, переваливаясь, недовольный. Какое это было облегчение!

Являлась еще соседка баба Лена (не сама она, конечно, а ведьмино ее воплощение). Эта находила меня безошибочно и норовила лечь на меня поверх одеяла, чтобы придушить. Я делал движение, задыхаясь, и она беззвучно соскальзывала с моей кровати и исчезала в дверях. При этом далекий хор пел что-то вроде «Старушка ушла». Я даже знал ее имя: ее звали Старая Яга Календа. Помню, меня очень интересовало, выдаст ли баба Лена себя наутро каким-нибудь неосторожным взглядом. Но наутро она, как правило, не появлялась, кашляла за стеной.

Однажды, проснувшись утром, довольно долго видел перед собой овальный портрет медведя на ярко-зеленом фоне в богатой золотой раме. Портрет висел в воздухе минут пять и, когда проснулись родители, неохотно растаял.

Все эти ночные чудеса не имели никакого отношения к снам – я бодрствовал, находился в полном сознании и мог, например, разбудить родителей. Я просто понимал, что делать этого ни в коем случае нельзя. Двери в другой мир, которые кто-то приоткрывал для меня, могли захлопнуться с непредсказуемыми последствиями, и я это очень хорошо чувствовал.

Впрочем, если было нужно, эти ночные соседи легко путешествовали в мои сны и обратно. Однажды, когда я болел ангиной (за этим занятием я провел большую часть детских лет), мне приснилось, что я в пижаме сижу на краю стола, передо мной стоят мама с папой и требуют, чтобы я ел мед из пол-литровой банки. В банке сидит маленький чертик, но я, как обычно, не имею права сообщить об этом родителям. Я могу только до последнего момента препятствовать тому, чтобы банку открыли. Так как предлоги мои совершенно неубедительны, банку в конце концов открывают, и чертик молниеносно прыгает ко мне за воротник, скатывается под пижамой вниз и больно кусает в ногу. От своего крика я просыпаюсь, прибегают из соседней комнаты родители, и на моей ноге довольно долго потом держится укус с четкими отпечатками маленьких зубов.

Кстати, совсем необязательно нужна была ночь, чтобы увидеть скрытое. Если я глядел не мигая какое-то время на свет (скажем, на небо), то начинал видеть, что воздушное пространство состоит из великого множества крохотных прозрачных шариков, которые носятся туда-сюда, как молекулы под микроскопом (ни о каких молекулах я еще слыхом не слыхивал), и я точно знал, что это тоже живые существа.

Я мог бы вспомнить множество таких историй. Но вот что мне интересно сейчас. Никогда это не были покойники, привидения или, скажем, наоборот – ангелы в белых одеждах. Это были жители близкого нам параллельного мира – мира эльфов,

троллей и домовых, и, видимо, на этом отрезке жизни мне было дозволено иногда видеть их и слышать их голоса.

Вновь посетило меня ощущение этого мира недавно (ничего себе недавно – лет пятнадцать назад!) во время путешествия на остров Пасхи. Нам посчастливилось оказаться там с Туром Хейердалом – великим путешественником, который этот остров фактически открыл. Боюсь думать, какое туристическое чудо остров представляет собой сегодня – тогда там не было ничего: взлетная полоса (самолеты, пересекавшие океан, садились на дозаправку), общежитие для археологов, в котором мы жили, – через фанерные стеночки можно было вполголоса беседовать с жильцами любой комнаты, грунтовые дороги. В отдалении от общежития располагался ресторан, и когда мы спросили, можно ли вызвать такси, чтобы туда добраться, нам ответили: «Можно. Но оно сейчас занято». На острове жили восемьсот жителей и тысяча двести моаи – гигантских статуй. Статуи поражали не столько размерами, сколько своей эндемичностью – так людей больше не изображали ни в одной точке мира. Еще были эвкалиптовые рощи, от запаха которых кружилась голова – других деревьев на острове не росло, – задумчиво бродившие повсюду лошади, и океанский прибой, мерно ударявший в черные лавовые скалы. Все.

Мы приземлились поздно ночью. Сарайчик, исполнявший обязанности аэропорта, освещался одиноким фонариком. Все остальное пространство уходило во мглу. Высокие аборигены с растатуированными лицами подняли Хейердала на руки, увили его цветами, запели что-то торжественное и растворились вместе с ним во мраке – он тут был чем-то вроде живого святого. Накрапывал дождик, где-то вдали очень по-нашему брехала собака, тянуло прохладой. Я прошел несколько метров наугад в полной темноте и уткнулся в плетень – он ограждал летное поле. Было полное ощущение, что мы не на таинственном острове с названием «Пуп Земли», на самом ее краю, а где-то в воронежской глубинке.

Хейердал водил нас по местам былых раскопок – он начал их здесь пятьдесят лет назад. Показал самые огромные статуи, так и оставшиеся лежать в кратере вулкана, где их высекали, – так до конца и неизвестно,

что произошло, все вдруг остановилось. Рассказал, как их поднимали и перемещали к морю – без всяких инопланетян и потусторонних сил, с помощью камней и канатов. Мне страшно хотелось самому найти что-то древнее – я спросил Хейердала, насколько это возможно. Хейердал сокрушенно развел руками и сказал, что за полвека тут так все перекопано, что шансов никаких. Я расстроился.

Все, что рассказывал Хейердал, было интересно, но недостаточно. Он и сам знал не все. Кто эти моаи – умершие вожди, идолы, боги? Статуи манили к себе. И мы с моим другом Марком Гарбером решили отправиться к ним ночью. Мы выбрали место, где они стоят в ряд на одном стилобате спиной к океану – человек восемь, один огромней другого. На нашем арендованном джипе удалось проделать только половину пути – дальше дорога уходила вбок. Статуи возвышались впереди силуэтом на фоне абсолютно черного звездного неба, и нас разделяло поле, покрытое двухметровыми валунами. Мы еле доковыляли до цели в полной темноте. Не покидало ощущение чего-то недозволенного, хотя ничего недозволенного в наших действиях не было. Мы выбрали себе статуи – каждый свою – и уселись на постамент у их подножия. Статуя Марка была через одну от моей, и нас с ним разделяло метров пятнадцать – мы могли переговариваться.

Постамент, на котором я сидел, был теплый и шершавый, как слон. К статуе я прислонился спиной и, подняв голову, мог видеть ее силуэт на фоне невероятного звездного неба. Звезды были крупными, отчаянно яркими – и я впервые увидел, как Земля вращается: весь небосвод медленно, очень медленно двигался относительно каменного истукана – на фоне черного неба он выглядел еще чернее, и казалось, что это, наоборот, мы с ним плывем куда-то. Начинала кружиться голова.

Я заметил, почувствовал спиной, что статуя теплее постамента, как будто она живая, и подумал, что должно было бы быть наоборот – если камень хранит солнечное тепло, то горизонтальные поверхности должны были нагреться сильнее. Впрочем, мысли эти бродили где-то по самой периферии сознания – все мое существо было охвачено чувством какой-то небывалой вселенской гармонии – я был крохотным атомом мира и плыл с этим

миром, исполняя мудрый и неведомый закон жизни и вечности. От статуи за спиной исходило добро, я чувствовал это физически.

Прошло минут двадцать – а может, сорок, времени не существовало. И вдруг в одно мгновенье все изменилось. Как будто кто-то огромный сказал: «Все! Уходите!» Гармония рассыпалась, от камня потянуло холодком, стало страшно. В этот момент я услышал, как Марк говорит: «Ты почувствовал?» Больше мы не говорили – мы спрыгнули с постамента и побежали прочь. Именно побежали – не знаю, как мы не сломали ноги о валуны в полной темноте.

Наутро был последний день нашего пребывания на острове. Я один отправился в кратер потухшего вулкана, где когда-то высекались статуи, и нашел на самом открытом месте две аккуратно сложенные кучки инструментов – каменных рубил и ножей из кремня для резки канатов. Я выбрал три рубила и один нож – больше не мог унести, – вернулся в лагерь и показал их Хейердалу. Хейердал был потрясен – уже много лет на острове ничего такого не находили – здесь побывало около пятидесяти археологических экспедиций, и уж такие очевидные места, как этот кратер, были исследованы до камушка. Он хотел немедленно отправиться туда со мной, но у нас оставался час до самолета.

Рубила лежат у меня дома. Я знаю, что этот подарок я получил еще ночью, когда небо медленно вращалось над нами. И не надо попрекать меня дешевой мистикой. Знаю, и все!

С нечистой силой в виде домового, кстати, я столкнулся уже в зрелом возрасте. Жил я к тому времени на Ленинском проспекте совершенно самостоятельной жизнью. То, что разнообразные мелкие предметы то и дело исчезали в дому непостижимым образом, а потом находились в самых неожиданных местах, меня не особенно удивляло. Всегда легче списать на собственную рассеянность, чем на домового, и я не очень-то над этим задумывался.

Хотя веревочку к ножке стола со словами «Домовой-домовой, поиграл и отдай!» привязывал постоянно.

Однажды среди ночи приснилось, что мама, лежа на диване, отчитывает меня за что-то, как водится, а я стою перед ней понуро. От огорчения я внезапно проснулся, не открывая глаз, и

через секунду понял, что сна уже нет, а мамина нотация продолжается, причем читают ее прямо над левым ухом и голос почему-то мужской. Это было так неожиданно, что я открыл глаза и резко повернулся. На кровати около моей головы сидело существо, размерами более всего напоминавшее присевшего на задние лапы кота. Оно было покрыто густой темной лохматой шерстью (мне показалось в темноте – коричневой). Существо испугалось гораздо больше, чем я, и запрыгало по кровати, и я понял, что оно гораздо тяжелее кота таких же размеров. Оно соскочило со стуком на пол и громко ускакало по коридору на кухню, завозилось там в чем-то и затихло.

Интересно – то, что это домовой, я понял как-то сразу, и страха не было. Я встал с кровати и пошел смотреть, где он живет.

Я вычислил это место сразу. В дальнем углу кухни стояли холодильник и узкий шкаф-колонка, в котором хранились всякие крупы и специи. За шкафом в стене располагалось узкое окошко, этим самым шкафом закрытое, а потому нерабочее, то есть функции окна для меня не выполнявшее. Под окошком находились батарея и небольшая ниша, совершенно мне недоступная. Там было тепло, темно и пыльно. Конечно, парень жил там. Я очень хорошо представил себе, как он сидит вечерами на невидимом мне подоконнике и смотрит на улицу – долго и без особого смысла. С тех пор я старался во время редких уборок обходить этот угол стороной и даже пару раз оставлял молоко в блюдечке на полу.

Хотите верьте, хотите нет, но кражи мелких предметов после этого прекратились.

С лешим была такая история.

В начале семидесятых мы любили своей компанией ходить в Карелию.

Началось с того, что про Карелию Юрка Борзов случайно прочитал в журнале «Наука и жизнь» десятилетней давности – брошенные деревни, пустые деревянные погосты, озера, полные рыбой, и в каком месте надо развести костер, чтобы с того берега приехал на лодке пастух и перевез тебя.

Мы двинулись по описанному маршруту – на поезде до Петрозаводска, оттуда на «Ракете» мимо Кижей (тогда еще заброшенных и совершенно не потоптанных экскурсиями) до Великой Губы, далее – пешком через лес. С собой было взято только самое необходимое – ружье, рыболовные снасти, соль, сахар, чай, вермишель, водка, спички. Пропитание предполагалось добывать самостоятельно, так что никакой это

был не туризм, а самое настоящее путешествие.

Часа через два продирания сквозь северный ельник мы вышли наконец на берег огромного Яндомозера. На далеком противоположном берегу виднелись покосившаяся бревенчатая колокольня и черные срубы. Мы разложили костер, накидали в него травы, повалил дым, и с того берега действительно затарахтела моторка. Это было невероятно – мы пользовались инструкциями десятилетней давности!

В лодке сидел пастух. Звали его Женька, и выглядел он совершенным ковбоем – в шляпе невнятной формы, темных очках и с трубкой. «Вина есть?» – воскликнул он радостно. Это звучало как приветствие, и только раза с четвертого мы поняли, что это вопрос и что «вина» на местном наречии – это, по-видимому, водка.

Бутылка «вина» была тут же распита, пастух Женька полюбил нас как братьев и перевез к себе на тот берег, где он жил один среди брошенных невесть когда деревянных домов, оказавшихся вблизи огромными – в два-три этажа, с въездом для телеги на второй этаж, с резными наличниками удивительной красоты. Часть домов наполовину развалилась, и оставшиеся стены держались неизвестно на чем, а часть выглядела почти целыми. Женька погремел связкой ключей и велел нам выбирать дом для жилья.

Началась прекрасная жизнь. Я ловил рыбу и готовил еду (тогда-то все и началось), Юрка Борзов исследовал местность, а Кавагое охотился. Первую утку стреляли с большой боязнью – непонятно было, можно ли здесь охотиться, есть ли поблизости лесник, да и вообще был не совсем сезон. Выстрел раскатился над озером длинным эхом, и утка пошла в суп. Вечером, как всегда, заглянул пастух Женька – на стаканчик «вина».

(Вел он себя с удивительной деликатностью, вообще для северных людей свойственной, – после первой встречи на берегу ни разу не намекнул на «вина», а когда предлагали – отказывался, впрочем, очень недолго – ровно столько, чтобы мы не успели передумать.)

«Стреляли тут, – сказал он, прищуриваясь и неторопливо раскуривая трубку, – слыхали?»

«Слыхали», – дипломатично ответил Кава. И в свою очередь спросил погодя: «А что, Жень, егерь-то тут есть?»

«Егерь-то? – задумался Женька. – А есть егерь, конечно, как не быть».

«А кто?»

(Надо сказать, что беседа была истинно северная – шла через очень большие паузы.)

«Кто? (Пауза.) А я, наверно, и буду егерь. (Пауза.) Ты, что ль, стрелял? Да стреляй, ради бога!»

Так вопрос с мясом был решен.

День на третий Кава сбил очередную утку, и я посчитал, что она будет хороша в лапше с грибами. За ними я и пошел в лес.

Лес начинался прямо по берегу озера, примерно в километре от деревни. Чтобы не заблудиться, я все время держал озеро в поле зрения – оно было слева от меня. Идя по лесу, поглядывая на озеро, я обошел подряд три заливчика – полукруглые, заболоченные, с березками по берегам, очень похожие друг на друга, каждый метров по пятьдесят шириной. Корзинка была уже тяжелая, день – жаркий и безоблачный, комары и слепни гудели громко и уныло, и я решил искупаться. Я быстро разделся на каменистом берегу, отмахиваясь от кровососов, вошел в темную воду и нырнул – головой вниз.

Глубина начиналась от берега сразу, вода была теплой только на поверхности, а внизу – ледяная, у меня зазвенело в ушах, и вдруг я услышал, как поют русалки. Пели они без слов, но это была песня про всех утонувших в этом озере – за тысячи лет. Голоса под водой звучали так неожиданно и страшно, что я пулей вылетел на поверхность. Над водой никто не пел, лес смотрел на меня мрачно и неприветливо. Я оделся, стараясь не смотреть по сторонам, и заспешил в сторону дома.

Ощущение тревоги не проходило. И деревья, и озеро, и синее небо без облачка – все стало каким-то нехорошим. Довольно быстро я достиг первого заливчика, обошел его почти бегом, спотыкаясь о торчавшие между кочек березовые корни, за ним – еще один и еще один. Дальше должна была начаться прямая дорога к деревне – по берегу. Но на пути возник еще один заливчик – четвертый. Я проскочил его не думая и уперся в пятый. В легкой панике обогнул и его и, выйдя к шестому, понял, что это – второй. Я узнал его по высохшей березе, свисавшей над самой водой. Меня пробил холодный пот.

Озеро все время маячило с одной стороны (теперь, на обратном пути, справа), и хождение кругами исключалось. Это было страшно, может быть, особенно потому, что необходимые элементы мистики и ужаса – полная луна, косматые туманы, вой ветра и уханье филина – отсутствовали напрочь. Я был в полном сознании и абсолютной трезвости, и часы на руке показывали четверть второго пополудни.

Я полез на дерево. Затея дурацкая с учетом того, что я не мастер лазать по деревьям, к тому же в северном лесу все деревья практически одной высоты. Я ободрался об иголки, измазался в смоле, чуть не свалился вниз и ничего не увидел. И тогда я

стиснул зубы и решил следовать логике – тупо идти вперед, держа озеро справа, сколько бы глупостей на пути мне ни подкинули. Обошел проклятый заливчик с березой, потом еще один, и вдруг они кончились, и кончился лес, и замаячила вдали родная деревня. Выглядел я, наверно, убедительно – мокрый, растрепанный и возбужденный невероятно. Рассказ мой восприняли с недоверием, но я настоял, чтобы мы немедленно отправились в заколдованное место и установили истинное количество заливчиков. Кава плюнул и поплелся за мной, чертыхаясь.

Заливчиков, конечно же, оказалось три.

Наш двор на Волхонке, начинавшийся за окнами кухни, тянулся в три стороны, был необъятен, загадочен и манящ. Недавно (совсем недавно – лет десять назад), зайдя туда, я поразился – до чего же он, оказывается, маленький.

Так вот, двор был необъятен. Из окон кухни виделся палисадничек с двумя деревьями. По одному из них было удобно залезать на крышу. Левее – у самых ворот – стояла деревянная будочка, пристроенная к дому. Там жил дворник дядя Гриша.

Вправо от ворот тянулись сараи с дровами. Сараи имели множество дверей, запертых на висячие замки. Внутрь можно было проникнуть через крышу, но, собственно, кроме дров, ничего интересного в сараях не было. Интереснее было под стропилами самого дома – там жили голуби, стояли какие-то сундуки, пахло таинственно. Мы залезали туда по пожарной лестнице или по дереву – однажды родители меня застукали, и мне здорово влетело.

Напротив кухонных окон через двор располагался дом Грибоедова. Только тогда еще никто, по-моему, не знал, что он – Грибоедова. Пребывал он в полуразрушенном состоянии, и темные его сводчатые подвалы я хорошо помню. Чуть позже у нас там находился штаб.

А дальше двор перетекал в три рукава. Один вел к высокой решетчатой ограде – за ней жили детдомовские. Мы смотрели на них через прутья – как они там гуляют. Контактов не было.

Средний рукав мимо полуподвальных окон, за которыми жил Серега Дундич, вел к низкому и длинному клубу, где бывали лекции, суды, собрания и иногда после них – кино.

> Поразительно – вот этот дом, где жил Серега Дундич, остался (пока) в совершенно прежнем состоянии – единственный. Стоит он древним кривым потрескавшимся кораблем среди наштукатуренных

новоделов, по-моему выселенный, и по нему можно получить очень хорошее представление о том, как выглядел весь двор в те годы. Зайдите, посмотрите.

Третий рукав вел мимо пожарной лестницы, подъезда, где жили Алька Лебедев и Вовка Деготь, в арку и выходил на Волхонку в самом ее начале – на травяной склон у «Бабьего магазина».

Я предпочитал играть в ближней части двора – рукава казались мне бесконечными и не лишенными опасностей. Однажды в кирпичной стене дома я нашел застрявшую в ней пулю от трехлинейки.

Захаживали во двор точильщик и старьевщик. Оба предваряли свое появление странным гортанным, почти нечеловеческим криком. Крик повторялся с равной периодичностью и больше всего был похож на древнее злое заклинание.

Мне тогда и в голову не приходило, что это какие-то русские слова. Уже сильно потом, проигрывая их в голове, я понял, что в одном случае это было «Старье берем!» (в одно слово, естественно), а во втором – «А вот точить ножи-ножницы-мясорубки!».

Точильщик нес на плече точильный станок – деревянную станину с круглыми точильными камнями на оси и педалью. Выходили из домов хозяйки, выносили пучки ножей, точильщик замедлял ход, ставил свой аппарат на землю, давил ногой на педаль, камни вращались, из-под ножей летели искры – это было безумно красиво. В это время точильщик не кричал, а других, человеческих, слов он, видимо, не знал – молча отдавал хозяйкам их ножи, принимал свои копейки, вскидывал станок на плечо и двигался дальше, и уже откуда-то из-за угла снова раздавался его страшный крик.

Мне всегда очень хотелось увидеть его в тот момент, когда он кричит, – чем он это делает и какое у него при этом выражение лица – но ни разу так и не удалось. Все слышали, как поет соловей, но никто не видел, какая у него при этом морда.

У старьевщика можно было выменять на старье или купить (нереально! на что?) пугач. Пугач – недостижимая мечта. Это наган, отлитый из олова, он тяжелый и очень похож на настоящий – особенно когда он захватается руками и потемнеет. Он стреляет специальными пробками. Пробки сделаны из глины, заполнены в середине красной серой, похожи на маленькие ватрушки с вареньем. Выстрел по грому, обилию огня и дыма напоминает небольшой взрыв. Но поскольку пробки на вес золота, выстрел

производится в исключительных случаях и при максимальном скоплении народа.

> С детских лет я испытывал необъяснимую любовь к пистолетам и особенно револьверам – не знаю почему, но это было больше, чем просто мальчишеское восхищение оружием: мы, конечно, играли в войну, но чувство было прежде всего, как я сейчас понимаю, эстетическим: маленький, безупречно нарисованный грозный предмет. Я знал все модели пистолетов и револьверов: ТТ, браунинг, вальтер, наган, кольт, смит и вессон. Я настолько любил пистолеты, что однажды уговорил милиционера, дежурившего в полосатой будочке у Музея Пушкина напротив наших окон, показать мне настоящий пистолет. Убедившись, что вокруг никого, милиционер расстегнул кобуру, достал пистолет и даже дал мне за него подержаться. Я чуть не умер от волнения. Самое обидное, что никто во дворе так и не поверил. Советские игрушечные пистолетики из «Детского мира» вызывали отвращение: они были жестяные, легкие, коряво сделанные и непохожие на настоящие. К тому же пистоны, которыми они заряжались, издавали больше вони, чем звука. Совсем уже глупость – пистолет (очень приблизительно напоминающий ТТ) с винной пробкой на короткой веревочке: вставишь пробку в ствол, взведешь затвор – пук! За кого они нас принимают? Пугач был ближе к оригиналу – хотя бы по весу, но все равно это был слепок, барабан в нем не крутился. Однажды отец привез мне из загранкомандировки (они случались раз в два года) сразу два невероятных револьвера – очень похожих на настоящие, один вороненый, второй хромированный, с вращающимися барабанами, и стреляли они специальными капсюлями, издававшими натуральный грохот. Счастью не было предела. Приехал мой двоюродный брат Лешка, и мы отправились с ним гулять с револьверами наперевес – хвастаться, разумеется. Кончилось это скверно – я вернулся домой, а к Лешке привязался какой-то хлюст, втерся в доверие, вероломно вырвал у него револьвер из руки и дал деру. Лешка вернулся весь в соплях. В первый же день я лишился половины сокровища! До сих пор жалко.

Еще во дворе ценились три вещи: свинчатка (она же битка), карбид и цветные стеклянные камни. Битки делались из

расплющенной свинцовой изоляции кабеля. Огромные катушки с этим кабелем стояли тут и там – Москва телефонизировалась. Катушки были деревянные и очень напоминали катушки для ниток – только великанские. Из куска кабеля вынималось нутро, свинцовая кожура его плющилась, складывалась в несколько раз и плющилась снова. Получалась битка. Истинного ее назначения, по-моему, никто не знал (использование в драке для утяжеления кулака я не считаю), но ценилась она весьма высоко. Видимо, предыдущее поколение играло ей в расшибалочку. Мы уже не играли, но память о ценности предмета сохранилась.

Карбид валялся на стройках социализма, которые кипели повсюду, и имел другое длинное название – негашеная известь. Во-первых, кусок карбида можно было кинуть в лужу, и он начинал пузыриться и при этом очень лихо пах. Это уже само по себе было интересно. Во-вторых, можно было поджечь (этим, правда, занимались ребята постарше). Ну а самые дерзкие набивали карбид в бутылку, заливали водой, затыкали пробкой и ждали, когда рванет. Полученные при взрыве раны являли собой знаки мужской гордости и демонстрировались нам, малолетним, снисходительно.

Стеклянные камни – вещь совершенно особенная. Храм Христа Спасителя к тому времени уже взорвали, а бассейн «Москва» еще не построили, но уже собирались. Котлован был вырыт, и на его откосы привезли и вывалили горы песка. Мы сигали с вершин этих гор в котлован, скатываясь кубарем по песчаному склону и унося значительную часть стройматериала в одежде, ботинках и волосах. Так вот, в этом песке (был он необыкновенно желт) попадались оплавленные куски цветного стекла – не знаю уж откуда. Мы с кропотливостью археологов выкапывали их и собирали коллекции. Существовала шкала цен: помимо разницы в размерах учитывался цвет и чистота. По самому верху шли голубые – они встречались реже всего. За голубой можно было выменять три-четыре желтых или коричневых или, скажем, хорошую битку. Моя коллекция хранилась в коробке из-под диетических яиц и была самым большим моим сокровищем.

А самокаты? Я ведь совсем забыл про самокаты! Они грохотали тогда по всей Москве. Теперь они уже насовсем ушли в прошлое, как игра в чижа или в колдунчики.

Конечно, это были не самокаты в нашем сегодняшнем понимании. Делались они своими руками, точнее, руками родителей. Для изготовления самоката требовались два подшипника – они становились передним и задним колесами. Я не знаю, где обычный человек может взять подшипник. Сегодня,

наверно, пойти и купить в каком-нибудь подшипниковом магазине. Тогда таких магазинов не было, но подшипники все где-то находили. По-моему, они просто валялись.

(Они и вправду валялись! Я сам находил их неоднократно – просто во дворе! Что такое, откуда?)

Кроме подшипников, нужны были две дощечки и дверная петля, с помощью которой они соединялись буквой Г. Сверху прибивалась перекладина – это был руль. Один подшипник ставился в нижнюю часть доски с перекладиной, а второй – в конец второй доски. Получался самокат. Особенно здорово было на нем лететь вдоль ограды Музея Пушкина в сторону Волхонки – улица имела уклон, самокат разгонялся как бешеный, и подшипники его гремели не хуже настоящего мотоцикла.

У меня довольно долго не было своего самоката, и приходилось выстаивать длинную очередь, чтобы прокатиться на чужом. А так как я был самый маленький во дворе (и по возрасту, и по росту), то и оказывался я в самом хвосте. Я упрашивал отца сделать мне самокат, но он возвращался с работы поздно и у него все не доходили руки. И вот однажды он вдруг сколотил самокат на моих глазах. Я плясал вокруг него с нетерпением – очень хотелось скорее во двор со своим самокатом. А папа, закончив механическую часть и проверив машину на прочность, взял черную тушь и кисточку и нарисовал на рулевой дощечке лисью морду и под ней две буквы – «АМ». Это можно было истолковывать и как мои инициалы, и как звук, издаваемый лисой в момент охоты. Такого вообще ни у кого не было! Гордость моя не знала границ. Теперь уже ко мне выстраивалась очередь – покататься. Помню, я очень боялся, что мой легкий, изящный самокат проломится под огромным Генкой Мариным. Но отказать ему не мог.

Из прочих радостей имелся большой зеленый железный грузовик, который дребезжал, как настоящий. (Вообще большая часть игрушек были железные. Появившиеся чуть позже пластмассовые ни уважения, ни доверия не вызывали – они были какие-то ненастоящие.) Остальные игрушки (было их немного) имели домашний характер и на улицу не выносились. Не потому, что мне не велели. Что, например, можно делать на улице с плюшевым медведем?

У плюшевого медведя, кстати, была плохая судьба. Сшит он был, по-моему, из той же ткани, что и диванные валики (да и сам диван), и я был не первым его хозяином – если не мама, то уж тетя Галя владела им в детстве наверняка. Видимо, задолго до моего появления перелицовывали диван, осталось немного

тряпки, и из нее получился медведь. Внутри у него, как у всякого порядочного медведя, находились опилки.

Мама моя, будучи сотрудником института туберкулеза, компенсировала малое количество моих игрушек кое-какими медицинскими инструментами. Нравились они мне безумно и, конечно, были интереснее любой игрушки – они были настоящие. В моем распоряжении находились стетоскоп, шприц, пара иголок к нему, пинцет, какие-то зажимы. (Еще в доме было два скальпеля и страшная хирургическая пила для пилки костей, но их мне не давали по причине остроты – скальпелем папа точил карандаши, когда работал над проектом, а пилой пилил дрова.)

Утром все уходили на работу, молодая моя деревенская няня убегала пококетничать с солдатами, я оставался один (что мне очень нравилось) и играл во врача. Лечить приходилось медведя – больше было некого. На протяжении года, наверно, я прослушивал его, назначал инъекции и сам же выполнял предписание. (Если бы мне доверили ланцет, я бы, конечно, вскрыл зверя и он прожил бы еще меньше.) Вакцина представляла собой воду – в чистом виде либо подкрашенную акварелью. Уколы делались по-настоящему, иногда по нескольку раз в день. В результате опилки распухли от влаги, медведь заболел внутренним гниением, и продолжающиеся инъекции только ускорили его конец.

Советских яслей я так и не хлебнул – спасали деревенские нянечки. А вот в детский сад меня все-таки отправили – по-моему, не удавалось найти очередную, а все предыдущие выходили замуж с пугающей скоростью. Помню, пришла наниматься какая-то пожилая тетка, и очень она мне не понравилась. Я не мог объяснить, чем именно, и вышел даже скандал с мамой – она считала, что я капризничаю. А прав оказался я – тетка исчезла на следующий день с нашими чайными ложечками.

Я помню, как меня впервые вели в детский сад. Точнее, меня несли. Несла меня баба Маня, которая работала судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом на Петровке, 38, характер имела железный и в нашем доме была безусловным командиром. Не исключено, что именно она решила отправить меня в детсад – приучать к общественной жизни. Спорить с ней было бессмысленно, тем не менее я ревел всю дорогу, умолял не отдавать меня в детсад и, как только баба Маня пыталась опустить меня на землю, разворачивался и бежал в сторону дома.

Я вообще не мог оторваться от дома до тринадцати лет – в пионерлагере я прорыдал весь месяц. Потом исполнилось

четырнадцать, и вдруг все прошло. Странно, что это была тоска не по родителям, а именно по дому – находясь дома, я, например, очень любил оставаться один, пока все были на работе, можно было лазить по взрослым ящикам в комоде, смотреть всякие интересные штуки. Говорят, собаки сильнее скучают по дому, чем по хозяевам.

Детсад находился неподалеку – прямо у Александровского сада, в доме, где в свое время проживала Инесса Арманд. Внутри были высокие сводчатые потолки, воспитательница Жанна Андреевна и неправильный запах. Пахло чем-то медицинским и очень недомашним.

> Чем-чем медицинским? Карболкой, конечно, чем же еще?

Этот запах и отчаяние оттого, что я должен слушаться весь день не маму и папу, а какую-то Жанну Андреевну, преследовали меня все полгода, пока меня туда водили.

По истечении полугода из детсада меня вытурили. И вот почему.

Больше всего на свете я тогда ненавидел есть. Наверно, потому, что меня все время нещадно пичкали чем-то полезным. В доме у нас никогда не относились к еде как к удовольствию – подход был исключительно медицинский, готовили по необходимости и, в общем, невкусно. (Исключение составляли Новый год и дни рождения, когда вертелись всякие салаты – обязательный оливье, лосось из банки с рисом и майонезом, свекла с чесноком, печень трески с яйцом и луком, и было очень здорово наутро после гостей залезть в холодильник и приобщиться ко вчерашнему взрослому празднику. Но бывало это три раза в году.)

> Пытаюсь вспомнить повседневную нашу еду. Это прежде всего запеканка: вареные макароны – серые, толстые, с дырками – клались в глубокую сковороду, заливались яйцами и запекались в духовке. Елось как в горячем, так и в остывшем виде. В горячем еще ничего. Гречневая каша с молоком: если в молоке пенки – это смерть. А как их может не быть, если холодную кашу заливали горячим молоком? Ну, еще картошка, тушенная до состояния полной размазни с какими-то мясными обрезочками, и суп с крупой на дне. В общем, правда гадость.

Мама со своим сливочным маслом, няня с творогом в одной

руке и будильником в другой – все это было ужасно. Но это все-таки был дом – с индивидуальным подходом (ко мне) и с человеческим началом. А тут я попал в советское учреждение, где все должны были быть как все. Прием пищи превратился во что-то вообще невообразимое.

Во-первых, пища была нехороша. Не в смысле, скажем, несвежести – она была приготовлена с большой нелюбовью к тем, кто ее должен был есть. Обязательной дозой рыбьего жира поливали второе (не давать же каждому с ложечки, в самом деле). От запаха рыбьего жира меня рвет до сих пор.

Со сливочным маслом поступали еще лучше – его клали каждому в стакан кофе с молоком или какао (странно, что не в чай), оно там таяло и плавало сверху прозрачной желтой блямбой. Добраться до кофе, не хлебнув при этом масла, было невозможно. Вы хорошо представляете себе вкус этого продукта? Скоро я насобачился быстро, пока Жанна Андреевна отвернулась, вычерпывать масло ложкой и сливать под стол (ложку надо было незаметно оставить, когда убирали тарелки от супа).

С котлетами было сложнее. Сброс их под стол не проходил – за этим делом меня поймали, я был наказан, и после этого следили за мной пристально (насколько это было возможно в условиях – одна воспитательница на двадцать детей). И тогда я придумал и отработал другую тактику. Я поддевал ненавистную котлету на вилку и резким движением отправлял ее в полет через голову – на шкаф, который стоял за моей спиной. Шкаф был очень высокий, и даже Жанна Андреевна не могла заглянуть на его крышу. Операция по метанию котлеты занимала доли секунды, и не промахнулся я ни разу.

Где-то через месяц в столовой запахло покойником, но долго еще работницы детсада не могли понять, в чем дело.

Избавившись от котлеты, я обреченно сидел над макаронами, с которыми ничего уже нельзя было поделать: всех уводили на мертвый час, а я должен был очистить тарелку. Я набивал макароны за щеки, как хомяк, и запросто мог прийти вечером домой с полными от обеда защечными мешками.

Иногда, оставаясь в столовой один, я пел – от ужаса и безысходности. Благодаря высоким сводам в столовой была потрясающая акустика – как в церкви.

Все это не могло не закончиться. На шкафу обнаружили склад позеленевших котлет, меня вычислили, я был с позором изгнан из детского сада, и мучениям моим пришел конец.

До школы оставался целый год, и меня отдали «в группу». Это было частное предприятие, содержала его милейшая еврейская старушка Мария Моисеевна.

Выглядело это так. Утром нас, детей (а было нас человек семь-восемь), родители приводили на Гоголевский бульвар, где Мария Моисеевна ждала нас, сидя на лавочке. Каждый приносил с собой бидончик с обедом. Мы гуляли на бульваре до полудня, потом Мария Моисеевна вела нас к себе домой (она жила в большой старой квартире на Арбате, ходу было пять минут). Там она разогревала каждому его обед, кормила нас и укладывала на мертвый час – у кого была кровать, у кого – кушетка, у кого – раскладушка. В пять часов мы вставали, пили чай, и Мария Моисеевна выводила нас на бульвар – к той же лавочке, откуда нас и разбирали спешащие с работы родители.

Конечно, это был совсем не детский сад. Никто на нас не орал, Мария Моисеевна была доброй, уютной и вообще не повышала голоса, в квартире ее замечательно пахло и похожа она была на комнату наших соседей Герзонов, где я любил бывать, а еда из бидончика являла собой ту частичку дома, которая не давала успеть по нему соскучиться. Поэтому тоска меня не мучила, под лавочкой Гоголевского бульвара мы играли в капитана Немо, и подлавочное пространство было – Наутилус. (К тому времени баба Маня уже подарила мне полное собрание сочинений Жюля Верна в двенадцати томах в великолепном ароматном сером коленкоре. Она думала – на вырост, но я кинулся их читать тут же. Я рано научился читать.)

В конце бульвара вокруг памятника Гоголю стоят четыре фонарных столба. Каждый столб упирается в шар, а шар лежит на львиных спинах. Между передними лапами львов существует маленькая наклонная поверхность – как горка для катания. Помню, я очень любил этих львов и скатывался с горки на заднице бессчетное количество раз. Недавно я пробегал мимо памятника, остановился и подошел к одному из львов. Знаете, какой величины эта горка?

Отношение к Богу складывалось постепенно. Семья наша была отнюдь не религиозная, включая бабушек-атеисток, поэтому разъяснительной работы со мной не вел никто. Церковь в детстве ощущал как что-то неизвестное, возможно, не лишенное интереса, но практически запретное. Ощущение запрета исходило не от родителей, конечно, а от советской атмосферы в целом.

Наверно, если бы у меня тогда возникло желание пойти и посмотреть, что это такое, никто запрещать бы мне это не стал – сводили бы и показали. Но желания не возникало. Впервые в храме оказался, уже учась в шестом классе, когда с родителями поехал на теплоходе по Ладоге и Онеге. Деревянные церкви Севера производили впечатление, но скорее художественное.

(Может быть, я смотрел на них глазами отца, а он, конечно, восхищался ими как архитектор.) К тому же лишенные иконостасов и пребывавшие в состоянии застывшего полуремонта, они и напоминали скорее памятники архитектуры, чем живые храмы.

Дома у нас стояла фарфоровая туристическая статуэтка Будды – улыбающийся лысый дядька с длинными ушами и толстым голым животиком. Отец привез его из какой-то командировки. Я не знал, что это Будда, и про себя звал его Аллах. Перед тем как уснуть, лежа в постели, я каждый вечер мысленно вел с ним диалоги, обсуждая поступки, совершенные в течение дня. При этом Аллах располагался где-то надо мной – не скажу, что в небе, но определенно выше, чем я, и беседовать приходилось, глядя вверх. Тон беседы всегда был дружественный, он никогда не поучал меня, и улыбка не покидала его круглого лица – просто он мягко высказывал свое мнение относительно проделанных мною действий. Помню, пару раз я с ним даже не соглашался – из принципа. Это был первый опыт общения со Всевышним.

Крестился я уже в зрелом возрасте, полном сознании и по собственному почину; правда, в домашних условиях – дело было еще при советской власти. Мой тогдашний приятель, довольно известный в Москве баптистский проповедник отец Самуил, сказал мне, что в принципе это допустимо. Для совершения обряда был приглашен православный батюшка – молодой, но очень строгих правил. Все человечество он делил на православных и чекистов, и сбить его на какие-то полутона не представлялось возможным. По ходу дела выяснилось, что мой крестный отец Самуил – протестант, и между священниками возник диспут, чуть-чуть не перешедший в конфликт. Момент был выбран очень неудачно – я уже стоял в тазике со святой водой. Сошлись они в конце концов на том, что в детстве и отец Самуил был крещен православной церковью, так что, в общем, ничего страшного нет. С тех пор не одобряю разногласий между христианами всего мира.

Несколько лет в детстве был подвержен странной привычке – произнося любую фразу, я обязательно повторял ее чуть слышно шепотом, почти про себя, еле шевеля губами. Если бы было наоборот – сначала про себя, а потом вслух, – такую репетицию я бы еще мог как-то объяснить. А тут я как будто рассматривал внимательно, пробовал на вкус уже произнесенные слова. Это могло войти в пожизненную привычку, но однажды мой дачный приятель Димка Войцеховский заметил эту мою странность и

высмеял меня безжалостно. Было страшно стыдно – как будто открылась какая-то моя сокровенная тайна, – и я бросил повторять слова, хотя сначала было трудно, как будто я лишился удобной опоры при ходьбе.

К снам всегда относился уважительно и даже с восхищением; правда, без мистического экстаза. Не сомневаюсь в том, что иногда сны – это неистолкованные письма из будущего, но всяческие сонники, которыми завалены сегодня прилавки, вызывают разве что раздражение. Нас пытаются научить разбирать микроскоп с помощью молотка. Фрейд, впрочем, тоже не убеждает.

В раннем детстве часто видел один и тот же сон – мы с родителями катаемся на лодке по озеру, внезапно я падаю за борт спиной вперед и сразу ухожу под воду – глубже и глубже. (Много лет спустя, находясь под водой с аквалангом и глядя наверх, я поразился, насколько я видел тогда во сне точную картину – по свету, цвету и т. д.) Это был не страшный сон, наоборот – какое-то сладкое состояние перехода в иной мир и одновременное пробуждение.

Годах в семидесятых мне на протяжении нескольких лет снились рыбы – каждый день. Нет, я отнюдь не был на них помешан и рыбалкой увлекался в меру, и аквариума-то у меня не было. Вернее, была попытка завести рыбок совсем давно, еще на Волхонке. Мне даже купили маленький аквариум, потом долго промывал песок, отстаивал воду, потом с каким-то дядей Сережей мы поехали на Птичий рынок и приобрели самых простых рыбок – меченосцев. Мы привезли их домой в стеклянной баночке из-под майонеза, выпустили в мой аквариум, и через пять минут они все умерли. Очень я тогда плакал.

Так вот – рыбы снились еженощно в самых разных ипостасях: я разговаривал с ними, ловил их, наблюдал за ними, смотрел, как их ловят другие. Прочитал в каком-то идиотском соннике, что рыбы снятся к беременности, и сильно поразился. Спустя года три рыбные сны так же внезапно прекратились, как и начались.

Несколько раз мне показывали удивительно яркие, запомнившиеся на всю жизнь сны. Вот два из них.

Первый. (На дворе – 1975 год.) Я собираюсь ехать в Париж (в семьдесят пятом такое даже не снилось – в буквальном смысле). Мой товарищ Саша Катамахин советует мне не ходить с экскурсией по общеизвестным местам, а посмотреть мосты – они в Париже совершенно особенные. Очень точное ощущение погоды – конец марта, снег почти сошел и лежит кое-где серыми кучами,

а трава уже начинает зеленеть. Я легко сбегаю с экскурсии и хожу по реке, любуясь мостами. Мосты действительно невероятно хороши – они выполнены из красного декоративного кирпича, как музей Ленина, и то, что я сначала принимаю за отражение в воде, оказывается не отражением, а подводной частью моста, зеркально повторяющей надводную. Вода в реке прозрачная, медленно развеваются длинные зеленые водоросли (как у Тарковского), и я вижу, что под ними все дно реки усеяно сундучками, ларцами, сумками – некоторые из них совсем древние. Я знаю, что существует обычай, по которому после смерти человека то главное, что после него остается – суть его жизни, – укладывается в сундучок и бросается в воду. Мне страшно хочется заглянуть в какой-нибудь такой сундучок, но я знаю, что делать этого нельзя. Поэтому я дожидаюсь, пока на набережной никого не окажется, быстро спускаюсь по газону к реке и сую руку в ледяную воду. Но сундучки лежат глубже, чем мне казалось. Помню неприятное ощущение от намокшего рукава куртки. Потом я оказываюсь в каком-то дворике с круглым фонтаном. Фонтан не работает, но бассейн его наполнен водой, и я вижу на дне те же ящички и мешочки. (Людей умерло столько, что рек уже не хватает, и используется все, что приближается к водоему.) В фонтане уже неглубоко, и я почти готов ухватить что-нибудь со дна, но тут появляется пенсионер в черном пальто – такие сидят на бульварах. Он угадывает мои преступные намерения и начинает гнать меня из дворика, мотивируя это тем, что здесь сейчас будет какое-то мероприятие и вообще нечего мне, иностранцу, тут делать. «Сейчас или никогда!» – думаю я, выхватываю из фонтана первое, что попадает под руку, и взлетаю вверх – невысоко, метров на шесть, чтобы дед меня не достал. В руках у меня черный портфель из искусственной кожи с латунным замком. Из него льется вода. Старик беснуется внизу и, грозя мне кулаком, выкрикивает фразу, смысла которой я много лет потом не мог понять: «Кто сделает это, тот от смерти подарка не дождется!» Чувствуя, что дело зашло слишком далеко, я страшно тороплюсь довести его до конца и открываю портфель. Я ожидаю увидеть там что-то значительное – скажем, книгу или какие-нибудь старинные монеты. Но внутри лежит выеденная половинка ананаса – размокшая шкурка – и алюминиевая вилка из столовой с гнутыми зубьями. От неожиданности я выпускаю из рук портфель, он шлепается прямо под ноги старику, обдавая его брызгами, и тот теряет дар речи от такого святотатства, а я просыпаюсь в сильнейшем смущении.

Второй. (Происходило уже позже – в наше время.) Ангелов на свете столько же, сколько и людей. Они мечтают поселиться на

Земле – на одной половине, поделив ее с людьми. Возможно, это произойдет после конца света, когда на Земле останется вдвое меньше людей. А пока ангелам строжайше запрещено посещать Землю и вступать в непосредственный контакт с людьми. Но ангелы страшно любопытны и тайно нарушают запрет, хотя за это их ждет смертная казнь. Для этого существует специальная служба при церквях – это бабки в монашеских одеяниях. Ангел похож на ребенка в возрасте десяти-двенадцати лет, но величиной с куклу, поэтому его можно забить ракеткой для бадминтона или просто мокрым полотенцем (с этими предметами в руках монашки и шастают по городу). Правда, после смерти ангела человек, которому этот ангел покровительствовал, тоже умирает. Ангела звали Ира. Он нес мне записку от какой-то человеческой Иры, то ли художницы, то ли певицы. Я видел краем глаза, что ангел следит за мной, но боится подлететь, рискуя быть замеченным. Я очень сочувствовал ему и боялся за него, но поделать ничего не мог – дело происходило днем в центре города, вокруг была масса людей. Наконец мы очутились в каком-то парке, где народу почти не было, и ангел уже двинулся ко мне, но тут появились бабки-монашки с полотенцами. Они пару раз взмахнули ими, и от маленького создания в белом платье на асфальте осталось мокрое пятно. Почти сразу мне позвонила Ира и между делом сказала, что она не очень хорошо себя чувствует, но это ничего – она полежит денек дома, и все пройдет. Я уже знал, что ничего не пройдет, но не мог сказать ей об этом.

Проснулся с тяжелейшим ощущением непоправимого. Все бы ничего, но одна моя знакомая Ира действительно неожиданно умерла.

> Спустя много лет могу добавить сюда забавное наблюдение: если дело происходит в доме, никогда мне не снится дом, в котором я живу сейчас, хотя живу я в нем уже давно, – всегда это какие-то дома из далекого детства или юности, и вижу я их в мельчайших подробностях. А я при этом сегодняшний, более чем взрослый. Это вот к чему такое? Я вообще-то совершенно не склонен к ностальгии.

С каждым годом я замечаю, что все больше и больше становлюсь похожим на отца. Я говорю что-то и вдруг слышу, что говорю его голосом, его интонациями. Я смотрю на свою фотографию – и вижу его выражение лица. (Правда, что касается похожести голосов, то это у нас обнаружилось давно, и отец очень любил поговорить по телефону с какой-нибудь моей подругой, пока меня не было дома, от моего имени. Фантазию свою он при

этом не сдерживал, подруги совершенно терялись, и ни разу потом мне не удавалось убедить их в том, что это был не я.)

В жизни каждого человека есть вещи, которые он не в состоянии оценить объективно, так как даются они один раз и сам факт сравнения невозможен. У меня, например, в школе был прекрасный учитель литературы – Давид Яковлевич, и литература была у нас самым страшным и интересным предметом. Я считал это само собой разумеющимся и только много лет спустя вдруг понял, как нам повезло и каким мучением была литература для подавляющего большинства советских школьников.

Мы не можем сравнить наших родителей ни с кем – они у нас одни и для каждого самые лучшие. И все-таки мне невероятно повезло с родителями. Родом семья отца происходила из Западной Белоруссии, из хутора в Пружанском уезде. В Москву они переехали в конце двадцатых годов, когда отцу надо было идти в школу.

Отец, помню, много мне рассказывал о тех местах – в основном о волшебной природе, – и я все мечтал там побывать вместе с ним, а побывал совсем недавно – увы, без него. Снималась программа «Моя родословная», и я поехал со съемочной группой в хутор Малеч, Пружанский уезд, станция Погодино (до революции – Блудень).

Была очень морозная, снежная и солнечная зима, хутор, когда-то большой, стоял наполовину брошенным. Население состояло из Макаревичей и Антончиков, тоже наших родственников. Деда моего уже никто не помнил – слишком много лет прошло. А еще на хуторе жили евреи – до войны, и было их процентов шестьдесят. Немцы вывезли и убили всех до одного. Белорусов не тронули.

В Погодино мне показали храм, настоятелем которого был отец Антоний Усаковский, мой прадед. При храме отец Антоний построил приходскую школу, в которой познакомились его дочка Лида (боя бабушка Лидия Антоновна) и мой дед Григорий Андреевич – и она, и он там преподавали.

Во время Первой мировой отец Антоний организовал обслуживание эшелонов с ранеными – они останавливались в Погодино на десять минут. За это время успевали перевязать и накормить весь состав – сколько их там было?

После революции отец Антоний был посыльным,

несколько раз выполнял поручения чуть не самого патриарха, и году в восемнадцатом-девятнадцатом следы его теряются – боюсь, прадедушку моего расстреляли. Все собираюсь зайти в архив Лубянки и попытаться что-нибудь разузнать. Все собираюсь, собираюсь…

Деда своего Григория я не застал – он умер до моего рождения (как и второй мой дед – Марк, мамин отец). Говорят, дед Григорий был очень строгий, неулыбчивый человек пуританского склада. В семье его слушались и боялись. Мрачность эта, надо сказать, не передалась моему отцу ни в коей мере. До революции дед работал на Александровской железной дороге (у меня сохранилось его удостоверение личности тех лет), потом был учителем, а после революции стал профсоюзным деятелем. В тридцать седьмом году случилась вещь невероятная – деда арестовали, продержали в камере несколько суток и вдруг выпустили, так ни разу и не допросив.

Мой отец был практически непьющим человеком, но несколько раз, когда он немного выпивал, он задавал мне один и тот же вопрос: не считаю ли я его старым? Когда я однажды поинтересовался, почему его это так волнует, он сказал, что его отец всегда казался ему очень старым человеком, а разница в возрасте у нас была примерно одинаковая.

(Недавно я поймал себя на том, что задаю этот вопрос своему сыну: не старый ли я? «Так, староватый», – дипломатично ответил этот негодяй.)

Мой отец никогда не казался мне старым, хотя ровесником своим я его тоже, конечно, не ощущал. Постарел он вдруг сразу в последние годы жизни – после смерти матери.

За мамой он ухаживал со школы – они оба учились в 57-й школе, рядом с нашим домом на Волхонке, мама на два класса младше. А жила семья отца на другом берегу Москвы-реки, прямо напротив нас – между Домом на набережной (он назывался – Дом правительства) и фабрикой «Красный Октябрь». Удивительно, что все там давно сломали, а этот маленький домик барачного типа остался – стоит один-одинешенек.

Стоит до сих пор! Правда, на барак он уже совсем не похож – весь в евроремонте, и сидят внутри какие-то конторы, – но по очертаниям – он, и даже дверь на том же месте! Я помню.

Учась в пятом классе, отец катался на лыжах на берегу Москвы-реки – скатывался на лед (гранитных ограждений еще не было). Лед проломился, и отец, по идее, должен был утонуть, но

он умудрился, опираясь на лыжи, выбраться из полыньи и пришел домой, где его страшно выпорол мой дед Григорий. Вообще ему в детстве, как я понимаю, доставалось от отца.

Мама его – моя баба Лида – прожила очень долго. Была она худенькая и очень небольшого роста. Дед Григорий был у нее не первый муж. Она показывала мне фотографию первого мужа. На фотографии стоял на одном колене могучий человек с огромными усами, одетый в майку-борцовку, а через грудь шла шелковая лента, увешанная медалями. Он и был какой-то борец.

Наверно, баба Лида в молодости была необыкновенно хороша собой. Она работала учителем биологии и всю свою жизнь отдала школе и станции юннатов. Имела звание народного учителя СССР и, между прочим, орден Ленина.

> Бабушка и меня пристроила на станцию юннатов – мы только переехали на Комсомольский проспект, я учился в третьем классе, а станция располагалась в парке прямо за метро «Фрунзенская», он назывался почему-то «Парк Мандельштама» – чудны дела твои, Господи! Я обожал зверей, все было жутко интересно. У нас жили орлы, пеликаны, медвежата, барсуки, мелкие птицы – целый зоопарк. Мне для исследований была выдана пара хомячков, я должен был содержать их в домашних условиях, наблюдать ежедневно и презентовать журнал наблюдений на станции. Хомячки жили в аквариуме, безбожно воняли, и наблюдать было особенно не за чем. Вдобавок хомячиха неожиданно родила маленьких голых розовых хомячат и сама же их сожрала – я еще не знал тогда, что это довольно обычное явление, сильно расстроился, и с научной работой временно было покончено.

Отец окончил школу и поступил в Московский авиационный институт. Он был помешан на самолетах, все время рисовал их и вырезал из липы точные копии. Эта любовь к самолетам осталась у него на всю жизнь – из заграничных командировок он первым делом привозил сборные модели военных истребителей разных стран (у нас это тогда не продавалось), и мы склеивали их в четыре руки и вешали на стену, чему страшно противилась мама – у нее были свои представления об эстетике жилища. Коллекция наша насчитывала около двух сотен боевых единиц и, кстати, жива до сих пор – ее хранит моя сестра.

Из института отца и забрали в армию в сорок первом году. Скоро он стал лейтенантом и командовал артиллерийским расчетом – как я понимаю, ему только-только исполнилось

восемнадцать лет. Я не знаю, сколько мой отец пробыл на фронте – теперь уже некого об этом спросить, а сам он не любил рассказывать о войне. Знаю только, что где-то в районе Лодейного Поля на реке Свирь его расчет подорвался на мине, и отца с тяжелым ранением отправили в госпиталь. Произошла какая-то путаница, и домой пришла похоронка. Баба Лида рассказывала мне, что, когда она получила эту бумажку, не дававшую никаких шансов (это даже не без вести пропавший), она ей не поверила – почувствовала, что что-то не так. И через несколько месяцев он вдруг вернулся домой – с орденом, на одной ноге и с деформированными кистями рук.

(Я видел эти руки с детства и был убежден, что они такие и должны быть – и у меня такие будут, когда вырасту.)

Однажды я случайно нашел его записную книжку – он вел ее в госпитале. Там были рисунки самолетов, несколько цитат из книги Каверина «Два капитана» и очень горькие его мысли – он не знал, как показаться моей будущей матери инвалидом, и не был уверен, что она примет его. Ничего подобного вслух я от него никогда не слышал. Но переживал он напрасно. Ей-богу, я очень немного видел людей, которые бы так любили друг друга, как мои отец и мать, – всю жизнь. А сейчас, по-моему, так вообще не бывает, вы уж меня извините. Что-то изменилось в воздухе.

> Я теперь знаю что. Это было – Время. Каждый отрезок Времени, каждая глава этой книги жизни (а листается она, увы, быстрей и быстрей) хранит в себе только ей присущий запах, только ей свойственные изгибы линий и виньеток. И вот уже Эролл Гарнер кажется нам архаикой – да нет, плохое слово – милым ретро. А попробуй сыграть как он – похоже, да не то. Крохотное расстояние – а не перепрыгнуть. Воздух другой, звуки другие.

В общем, отец перебрался через Москву-реку в домик на Волхонке. На Соколе находился специальный завод, где ему сделали протез. Однажды, когда мне было лет пять, мы ездили туда вместе – протез надо было менять раз в год – там что-то снашивалось. Ночью протез лежал под кроватью, и я обожал с утра его рассматривать – ненастоящая нога! Он был очень красивый: деревянные части изумительно желтого цвета, металлические детали сверкали хромом, а крепилось все это к человеку широкими ремнями из настоящей толстой кожи.

(Однажды, много позже, я не удержался и сделал из этого ремня ремень для гитары – очень уж мне нравилась эта кожа, ничего подобного нигде нельзя было взять. Я вообще не устаю

удивляться, как же быстро человек привыкает к хорошему – ведь ничего нельзя было купить, кроме товаров, необходимых для кое-какого поддержания жизни на биологическом уровне. Все остальное можно было только достать. Или – нельзя достать. Чаще второе.)

Отец вставал утром, пристегивал ногу, надевал сверху брюки и превращался в свободно ходящего человека. Меня, маленького, это всегда радостно поражало. Отец только чуть-чуть хромал, и практически никто не знал, что нога – ненастоящая. Он даже катался на коньках и учил меня – у меня получалось хуже.

В госпитале, где отец лежал после ранения, каким-то образом оказалось пианино, и он научился на нем играть – сам. (Мама, в отличие от него, отучилась восемь лет в музыкальной школе, но к инструменту на моей памяти не подходила – только один раз, когда я потребовал достать ноты песни из кинофильма «Последний дюйм», фильм шел у нас в Доме культуры и техники на Волхонке, и я умудрился посмотреть его за неделю девять раз. У песни была недежурная и какая-то не наша гармония, и как мы ее с отцом ни подбирали – все получалось чуть-чуть непохоже. Отец достал ноты, и мы с ним попросили маму сыграть нам песню по нотам – отец нот не знал. Песня, кстати сказать, оказалась в до-миноре – не самой удобной тональности для начинающих. Долгое время потом я подбирал что-то и вообще музицировал исключительно в этой тональности.)

Так вот, отец совершенно замечательно играл на пианино. Пианино, как я уже рассказывал, стояло слева у стены, было покрыто серым чехлом и называлось «Красный Октябрь». Подозреваю, что это было не лучшее пианино в мире. Но сравнить его было не с чем. (Вообще массу вещей в детстве не получается реально оценить из-за отсутствия возможности сравнения. Возможность такая приходит позже, и тут-то начинаются разочарования.) Игру отца мне тоже тогда сравнить было не с чем – это происходило позже и постепенно и никаким разочарованием не пахло.

Сейчас я могу сказать, что по манере это больше всего напоминало Эролла Гарнера – наверно, поэтому отец так полюбил его, когда услышал много лет спустя. Он играл все – «Темную ночь», «Опавшие листья» Ива Монтана, Гленна Миллера (то, что звучало в «Серенаде солнечной долины»), фрагменты из Второго концерта Рахманинова – это было его любимое произведение. Все это игралось с легким свингом и переплеталось друг с другом самым причудливым образом. С этого для меня и начинался день – отец, проснувшись, обязательно садился за пианино.

(Мама вставала раньше и всегда в дикой спешке убегала на работу – ей надо было успеть на электричку, институт туберкулеза находился на станции Яуза. Я в это время еще дремал и наблюдал мамину спешку сквозь сон. Удивительное дело – я не помню ни одного утра, чтобы мама не опаздывала, и ни одного утра, чтобы отец суетился и спешил, хотя он тоже всегда уходил на работу – просто она у него начиналась позже.)

Игра отца была чем-то неуловимо непохожа на все, что я слышал до сих пор. Когда я стал старше, мне очень хотелось научиться играть так же – легко и свободно, все, что захочешь, и без всяких нот. Я и научился в результате, но все равно не так, как он, – что-то в его манере было неуловимое.

Еще в доме постоянно играли пластинки – отец заводил музыку, как только возвращался с работы, а годам к семи я научился это делать сам. Сначала это был зеленый и овальный, как мыльница, проигрыватель «Юность», потом отец купил и, помню, с огромным усилием притащил домой радиолу «Эстония» – последнее слово техники. Она, безусловно, была мебель – огромная, с полированными деревянными боками и горящим круглым зеленым глазом. Над клавишами, переключавшими диапазоны приемника, находилась черная стеклянная шкала, и на ней – крохотные окошечки ступеньками вверх, и рядом с каждым – название далекого заграничного города: Осло, Рейкьявик, Люксембург – душа замирала от одних этих названий. Под шкалой двигалась светящаяся красная палочка – стрелка настройки. Много раз я подгонял эту палочку к квадратику с именем какого-нибудь сказочного Копенгагена в тщетной надежде услышать его неведомый голос – ничего, кроме помех и «Говорит Москва», не получалось.

А пластинок в доме было множество. Они назывались – «миньон» (меньше диска-гиганта, но больше сорокапятки – вы понимаете, о чем я говорю?), на всех была одинаковая голубая этикетка с надписью «Мелодия, 33 1/3». Эта скорость вращения пластинки появилась совсем недавно, и в самой надписи виделась некоторая гордость за отечественный технический прогресс.

Серия называлась «Вокруг света». Свет делился следующим образом: Болгария, Польша, Чехословакия, опять Польша, опять Болгария, иногда – Франция, и в конце – что-нибудь американское или английское – одно. Естественно, либо народное, либо в исполнении певцов протеста. Сейчас я понимаю, что редкие сподвижники, тайно проникшие в идеологические дебри «Мелодии», специально навешивали ярлык «певец протеста» на какого-нибудь американского артиста, не подозревавшего о присвоении ему этого мужественного звания в

далекой России, так как понимали: это единственная возможность протащить его пение на отечественный винил.

Даже в 1968 году, когда – о чудо! – на аналогичном сборнике появилась песня «Битлз» «Girl» (записанная английскими артистами всего за три года до этого) – против нее значилось: «Англ. нар. Песня». Ну не было другого способа обмануть бдительность засранцев, стоявших на страже советской идеологии. Поэтому я снимаю шляпу перед этими обманщиками – это благодаря им мы в детстве узнали, что есть в мире еще что-то, кроме классики, отечественной эстрады и, пожалуй, еще более уродливой из-за беспомощных дерганий в сторону Запада эстрады наших братьев-социалистов.

В принципе, одной песни «Шестнадцать тонн» на сборнике было достаточно, чтобы понять, насколько плохо на нем все остальное. Песня запиливалась до дыр, звучала на всех танцплощадках, к ней сочинялись какие-то немыслимые русские слова.

> Великая песня! Это, наверно, был для меня первый и самый сильный урок, просто я этого тогда не осознавал: в чем чудо, почему именно это сочетание звуков завораживает, заставляет отвлечься от всего и против воли начать притоптывать в такт? Простой, как шпала, ритм, три самых элементарных аккорда, примитивная, казалось бы, мелодия, и что-то еще неуловимое, но самое главное, делающее из всего этого чудо? И хочется слушать и слушать это чудо бесконечно, а вокруг пиликают скрипки, стараются оркестры, простирают руки к микрофонам певцы и певицы – не то, не то! Все мимо! И пропасть эту не преодолеть! Второй раз в жизни я почувствовал это через несколько лет, уже услышав битлов.

Я так и не могу понять, чем объяснялась моя невероятная детская привязанность к дому и родителям. Не могу сказать, что родители меня как-то слишком баловали или сюсюкали, – напротив, мать довольно часто бывала строга. С отцом это случалось реже, но боялся я его сильнее. Не могу сказать, что я не в состоянии был вообще расставаться с родителями, – оба пропадали на работе, и это было нормально. Я как раз обожал оставаться дома один – особенно когда не было ненавистной няньки (это уже происходило ближе к школе). Можно было спокойно рыться во взрослых ящиках буфета и письменного стола – они были набиты всякими интереснейшими штуками. Однажды в платяном шкафу я нашел огромную плитку шоколада – отец

привез ее из какой-то заграницы, и мама тут же ее спрятала – до торжественного случая.

(Мама вообще не могла сразу использовать привезенную вещь и сделать из этого праздник – все сразу пряталось до какой-нибудь даты или для подарка. Лежать это могло годами, и мы с отцом это ее правило очень не любили, но переспорить ее не могли.)

Шоколадина была невероятных размеров – с полменя, в яркой желтой обертке.

Вы вообще себе не представляете, какое впечатление производили те редкие предметы, которые чудом попадали к нам из-за кордона. Глаз был прочно настроен на отечественное – журналы, ботинки, игрушки, машины, пластинки, конфеты, карандаши, носки, рубашки, надписи на вывесках магазинов, – ибо другого не было. Все эти вещи составляли собой плотную и весьма однородную среду. И когда вдруг какой-нибудь предмет оттуда пробивал этот серый занавес, как метеор, – со свидетелем этого чуда мог случиться шок.

(Вы не помните, как толпился народ вокруг первых иномарок на улицах Москвы? Это было совсем недавно. Меня в таких случаях поражало то, что при общих функциях назначения – и наша, и заграничная машина – чтобы ездить, – сходство тут же и заканчивалось бесповоротно, и бессмысленно было тратить время на поиски хотя бы одного одинакового винтика: и винтики были совсем другие, и цвет, и звук, и руль, и сиденья, и фары, и ладно бы просто другие, они были безнадежно лучше, и даже пахло от машины иначе – инопланетно и маняще.)

Как кот, я перевел дух, понюхал шоколадину через обертку и нашел в себе силы положить ее на место, решив, что хватит мне и владения этой тайной – мама не знает, что я знаю, какое у нас спрятано сокровище. Пару раз я этот клад со вздохом навещал, а потом по телевизору показали фильм «Повесть о настоящем человеке». Мересьев полз по заснеженному лесу с перебитыми ногами, и плитка шоколада из боевого запаса практически спасала ему жизнь.

Фильм произвел впечатление. Все последующие дни, оставаясь дома один, я играл в Мересьева. Я ползал по квартире и, какое бы ни выбирал направление, неизбежно утыкался в шкаф с заветным шоколадом. Поскольку к этому моменту я уже детально изучил плитку снаружи и знал, что обертка довольно плотная, я решил однажды, что, если ее развернуть аккуратно, отломить один квадратик и снова завернуть, не помяв, видно не будет.

К тому же правила игры в Мересьева просто требовали есть шоколад. Я развернул, отломил, завернул – видно не было.

Дни летели незаметно, игра в Мересьева, подкрепленная заморским шоколадом, не кончалась, и опомнился я примерно через месяц, когда плитка вдруг оказалась вся пустая внутри. Обмерев, я положил пустоту в обертке на место. Было ясно, что игры в Мересьева кончились и грядет что-то страшное. Но пустотелая плитка пролежала в шкафу еще почти полгода (мама была очень запасливая), пока не пришли какие-то очень важные гости. Случился конфуз.

Я так долго с ужасом ждал наказания, что даже не помню, каким оно было.

> Вспоминаю в этой связи еще одну совершенно позорную детскую историю. Как всякая история, она имеет свою предысторию. Учась в первом и втором классе, я раз в неделю шел после школы обедать к тете Гите – сестре моей бабушки Мани. Тетя Гита жила на Ордынке – рядом со школой. Обед был неизменно одинаков – куриный бульон с фаршированной шейкой (до сих пор вспоминаю вкус, никогда потом такого не ел), котлетка с картофельным пюре, компот. После обеда мне всегда выдавалась шоколадная конфета – одна. Либо «Мишка на Севере», либо «А ну-ка, отними!». Видимо, процедура выдавания одной конфеты засела в моем неокрепшем подсознании.
>
> В общем, к нам пришли гости, и ближе к концу вечера мама попросила меня принести шоколадных конфет – они почему-то хранились в спальне в платяном шкафу. Я сосчитал гостей по головам (про себя, разумеется), вытащил из пакета соответствующее количество конфет и раздал каждому в руки – по одной. Ужас.
>
> До сих пор стыдно.

Все это я вспомнил к тому, что я легко и с радостью оставался дома один, зная, что родители все равно где-то

неподалеку и вечером вернутся. Но стоило отцу собраться в командировку, я чувствовал, что близится горе. Он уезжал примерно раз в год на месяц-полтора. И даже сознание того, что он привезет из-за границы (наверно, правильней было бы – «из заграницы») волшебные подарки, не спасало ситуацию. Я крепился до последнего, считал дни (это ужасное занятие – слишком много времени проходит между соседними цифрами), но, стоило уткнуться носом в какую-нибудь отцову куртку и вдохнуть запах – слезы брызгали из глаз и остановиться было уже невозможно.

В пионерлагере, куда меня ссылали дважды, я проревел беспрерывно: летом – месяц и зимой – две недели. Это притом что ехал я туда с самыми радужными надеждами – все только и рассказывали, как это здорово, и лагерь, как я сейчас понимаю, был замечательный – Художественного фонда – и находился в Тарусе, посреди удивительной природы, на берегу Оки. Я уже был довольно большой мальчик (13 лет!) и в короткие перерывы между слезами пытался понять, что же меня так расстраивает. Ничего не получалось. И лес был волшебный, и дети не такие уж глупые, и вожатые не такие уж строгие и противные, а еда меня вообще не волновала… Но нет, удаленность дома красила все это в черный цвет. Я был как улитка, которую вытащили из ракушки, а ракушку спрятали.

Я смотрю на сына, который с радостью едет в лагерь и с ней же на лице возвращается, и думаю, что не во всем мы с ним так уж похожи. Наверно, это детская истерическая привязанность к дому впоследствии отозвалась другим концом на нем.

Теперь я очень люблю путешествовать и уезжать люблю гораздо больше, чем возвращаться. За день до возвращения голова уже улетает домой, и все время кажется, что там ждут какие-то неожиданные и неприятные хлопоты. (Чаще всего так потом и оказывается. Идеальная мечта – длинное путешествие из страны в страну без заезда домой. Люблю жить в гостинице. Как Набоков.)

Наверно, дело еще было в том, что я не очень легко находил контакт с другими детьми. К тому же они почему-то всегда оказывались чуть старше меня, а в этом возрасте «чуть» значит очень много. Да еще я был мелок и застенчив и, конечно, никого особенно не интересовал.

Однажды я оказался в какой-то инфекционной больнице. В палате кроме меня было еще пятеро детей, и то, что мы все лежали и болели чем-то одним, нас как бы уравнивало. Во всяком случае, я почти почувствовал себя в компании. И тут случилось ужасное. Вечером после ужина добрая нянечка гасила свет, и

начинались страшные истории – их рассказывали по очереди. В основном это были истории про Шерлохомца. (Думаю, никто не знал, кто такой Шерлохомец, но виду не подавали, и диковинное это имя произносилось с небрежным уважением. Спустя лет десять я узнал, что это был сильно измененный дворовым детским сознанием Шерлок Холмс.) Кроме него в рассказах фигурировали три седых волоска, отрубленные пальцы и прочая нечисть – Конан Дойлем и не пахло.

Если же Шерлохомец как главный герой отсутствовал, то рассказ принимал совершенно бытовую окраску – и это было еще страшнее. Помню чудовищное повествование про нарисованного на стекле дядьку.

«Отцу сосед рассказывал – была у них на стройке история. В общем, пришла комиссия принимать одну новую квартиру, и никто не заметил, что на окне на стекле нарисован дядька. Ну, вселилась семья, и в этой комнате стал спать муж. А ночью он проснулся и видит – дядька сходит со стекла, заходит по стене на потолок и начинает показывать страшные фокусы. Ну, и муж все! – умер от разрыва сердца. А утром пришли – ничего понять не могут: муж мертвый, а дядьку на стекле опять никто не заметил. Ну, и стала там теперь жена спать. А ночью – опять: просыпается она и видит, что нарисованный дядька сошел со стекла, залез на потолок и давай показывать страшные фокусы. Ну и у жены тоже разрыв сердца. Утром глядят – мертвая. Тогда в ту комнату старшего сына положили. Утром глядят – мертвый. Ничего понять не могут. И в общем, вся их семья так поумирала. Тогда смотрят – что-то тут не так. И решили оставить в этой комнате на ночь милиционера. Милиционер лег в кровать, притворился спящим, а сам не спит. И среди ночи видит – дядька сходит со стекла, лезет на потолок. Милиционер был храбрый – у него разрыва сердца не случилось, он просто сознание потерял и страшных фокусов не увидел. А утром проснулся, вспомнил все, видит – на стекле дядька, взял и разбил это окно. Ну, и все кончилось тогда. Взаправду была история».

(Интересно, что былинный образ доблестного милиционера встречался в этих ночных рассказах довольно часто даже в сочетании с Шерлохомцем – как гарант подлинности. Да, упал с тех пор в детских глазах престиж советской милиции.)

Но бог с ним, с милиционером. Я лежал в своей койке и умирал от ужаса.

Ужас был вызван не только самими историями, хотя и ими, конечно, тоже: я понимал, что очередь неотвратимо приближается и скоро мне придется что-то рассказывать, а я ничего такого великолепного рассказать не смогу. Это был ужас

неотвратимого – наверно, самый тяжелый из ужасов.

И когда наконец момент настал и все затихли в ожидании (меня ведь уже почти приняли за своего!), я закрыл глаза, натужился и произнес: «Жили-были дед да баба». Повисла тяжелая пауза. Для меня она была длиной в жизнь. Потом старший уныло сказал: «Ну ладно, спим».

Ощущение этого позора не покинет меня до последних моих дней. А ведь ерунда вроде бы, правда?

Поразительно, какой неожиданный приступ горя я вдруг испытал, когда у меня родилась сестра. (Я посчитал бы себя моральным уродом, если бы не наблюдал потом то же самое у других детей.) Мне было девять лет, и мы были на даче, и был вечер, и бабушка радостно сообщила мне, что у меня родилась сестренка.

Я как-то не придавал значения маминой беременности, не думал, чем все это кончится.

И убежал на улицу, потрясенный свалившимся на меня несчастьем.

При этом я совершенно не мог объяснить себе причину этого несчастья – я просто чувствовал, что отныне и навсегда родительская любовь принадлежит уже не только мне, а в первую очередь какому-то непонятно откуда взявшемуся неизвестному мне существу. Я впервые чувствовал себя преданным, брошенным во Вселенной и был безутешен.

Еще раз повторяю – голова в этом процессе совершенно не участвовала, все было на уровне абсолютно животных ощущений. Бабушка так и не смогла понять причину моих слез.

Ощущение горя довольно быстро прошло, хотя любви к сестре первые годы я не испытывал.

На первом году ее жизни случилась дикая и необъяснимая история. Я сидел в комнате на диване (мы уже переехали с Волхонки), а мама несла сестру из ванной в спальню и должна была пройти мимо меня. По мере того как она приближалась, я с ужасом понимал, что сейчас подставлю ей ножку. Я ничего не мог сделать – как будто дьявол двигал моей ногой. Мама споткнулась, полетела вперед и только чудом не упала. Как же меня отлупили! А я был счастлив, что опять могу сам командовать своими ногами и что все удачно обошлось. Очень хорошо помню это ощущение внезапно вселившегося беса и полной своей беспомощности.

Кстати, по поводу бесов и ангелов. Не так давно ко мне в гости приехал из Америки замечательный писатель и добрый мой товарищ Юз Алешковский.

По случаю его приезда мы решили устроить праздник и

поехали на рынок. Юз обожает ходить по рынку, и я тоже, так что вдвоем мы уже получали как бы четверное удовольствие. Мы не спеша, обсуждая, что и как мы будем готовить, выбрали и купили мяса, зелени, приправ, молодой картошки, загрузили все это в мой джип и выехали с рынка. Настроение было превосходное, и, выруливая на Дорогомиловку, я произнес что-то восторженное насчет того, как все здорово, и какая дивная погода, и как мы сейчас замечательно все сделаем, и придут друзья, и выпьем, как люди.

С этими последними словами я и въехал в зад одиноко стоящего на светофоре «жигуленка».

Улица была пуста, скорость моя близка к пешеходной, и объяснить произошедшее чем-либо, кроме вмешательства потусторонних сил, я не могу. От слабого удара джип мой не пострадал, но «Жигули» распались на части, как в фильме «Братья Блюз», и открылся крепко держащийся за руль потрясенный их водитель. И он, и «Жигули» его были сильно немолоды, и понятно было, что это первый и последний автомобиль в его жизни.

После того как мы все опомнились, утешили хозяина «Жигулей», пообещав ему склеить его машину на лучшей станции, и отъехали с места катастрофы, Юз посмотрел на меня очень серьезно и сказал: «Запомни…[1]: ангелы слышат мысли, а бесы – слова. Поэтому о хорошем достаточно подумать, трендеть необязательно».

Изо всех сил стараюсь с тех пор так и поступать – никак не научусь.

Мой отец не был диссидентом. Я даже не могу сказать, что он был антисоветчиком. В коммунистическую партию он вступил задолго до моего рождения, и вполне по убеждению, и даже одно время был членом партбюро Архитектурного института, в котором преподавал. Из партбюро его, правда, попросили – на закрытых партсобраниях он тосковал и развлекал себя тем, что рисовал шаржи на прочих заседающих – а шаржи он рисовал гениально. Обычно после собрания выходила стенгазета, где эти шаржи и вывешивались…

Архитектурный институт был очень демократичным заведением. Несмотря на это, однажды секретарю партбюро не понравился шарж. Отца попросили, а заодно и закрыли стенгазету.

Я вообще не понимаю, как эти вольности могли терпеть какое-то время. Советская власть не переносила проявлений чувства юмора, а в особенности – насмешек над собой.

Удивительное дело! Почему тоталитарный режим не терпит

улыбки? Ведь именно это его в конце концов и губит. Мне всегда казалось, что, если бы твердокаменные наши вожди позволяли хоть чуть-чуть улыбаться и иногда чуть-чуть улыбались сами, их режим мог бы продержаться дольше. Власть сохраняла железобетонное выражение лица, а к людям искусства испытывала глухое и мрачное недоверие.

А поскольку с этой средой нельзя было совсем уже не общаться, то выбирался один Главный Художник в каждом направлении – в живописи, скульптуре, литературе, музыке – и через них власть общалась (в одностороннем порядке, разумеется) со всей остальной творческой интеллигенцией. (Сегодня, кстати, ничего в этом плане не изменилось, во всяком случае в скульптуре и живописи – не буду называть фамилий, ладно?)

У нас в доме лежала большая и яркая книга – «Польский плакат». Отец и привез ее из Польши – у нас такое даже в дружественном польском исполнении не дозволялось. Я обожал эту книгу рассматривать вместе с отцом. Плакаты были разные – кино-, театральные, социальные и даже политические. Но все они поражали изобретательностью идей, условностью исполнения и – улыбкой. Они были живые.

> Поразительное дело! Я все время вспоминал эту книжку, и в этом году моя сестра вдруг принесла ее мне – на день рождения. Не такую же, а ту самую! Как-то она у нее сохранилась. Я открыл ее – и вот это было самое настоящее путешествие в детство! Я, оказывается, помнил не только каждую картинку – я помнил их порядок, я узнавал каждую складку, каждое пятнышко на странице. Насколько же лучше мы впитываем информацию в юном возрасте!

А у нас страна была залеплена чудовищными рабочими и колхозницами с яростными взглядами и слоноподобными руками, из которых торчали транспаранты, хлебные колосья и прочие плоды труда. (Я уж не говорю про портреты обоих Ильичей – какой пласт изобразительной культуры ушел в прошлое!)

Недавно в какой-то хронике я увидел Москву семидесятых, уделанную всем этим, и как же стало тоскливо! Юмор же сводился к борьбе с недостатками. Недостатки в основном были зарубежного свойства, и тогда юмор назывался сатирой.

Придворный карикатурист Бор. Ефимов рисовал скрюченных капиталистов, державших в когтистых лапках то мешок с надписью «100 000 000», то атомную бомбу, похожую на дыню. Из

оскаленных их ртов вместе со слюнями вылетали слова «ложь», «клевета», «холодная война» и «реванш». Тут же, на карикатуре, присутствовала широченная красная ручища, либо сжатая в кулак, либо с указующим перстом – прочь, мол, с картинки, то есть с нашего земного шара. Это было не смешно.

Аркадий Райкин в жутких масках то бюрократа, то склочника, то бракодела боролся с недостатками внутренними – и это был предел дозволенного смеха. (Когда он снял маску и попытался делать то же самое с человеческим лицом, у него тут же начались проблемы.)

Так что если нормальные люди и смеялись, то чему-то очень своему и очень в своих компаниях. На людях следовало не смеяться, а – радоваться. Успехам нашей самой передовой в мире державы, например.

Так вот, отец не был диссидентом.

Хотя я очень хорошо помню (я еще был совсем маленьким), как он возмущался по поводу какого-то фильма: почему если американский, то – шпион, а если наш – то разведчик? «Прикуси язык!» – кричала баба Маня. Она жила на свете дольше отца и знала, чем кончаются такие рассуждения.

Я представляю, сколько отцу приходилось терпеть от партийных идиотов, курировавших советские экспозиции на международных выставках. Отец и делал эти экспозиции – то была его вторая работа помимо преподавания в Московском архитектурном. Организация называлась – Государственная торговая палата. Одной из функций этой организации являлась демонстрация мощи нашей страны на мирном международном рынке; с этой целью в разных странах как дружественного социализма, так и загнивающего капитализма устраивались выставки, для их художественного решения требовался архитектор, в качестве которого в числе прочих и приглашали моего отца.

Примерно раз в год он уезжал в загранкомандировку – делать выставку.

Тогда загранкомандировка значила нечто большее, чем сейчас. Мать складывала в чемодан отцу консервы, консервный нож, вилку, кипятильник – платили за границей только суточные, а всем надо было привезти подарки. Месяц проходил в мучительном ожидании, и вот отец возвращался (мы ездили его встречать) – на чемодане заграничные наклейки, а внутри!..

С каким же трепетом я лез в этот чемодан! Я нюхал вещи, приехавшие из другого мира, – это был совершенно незнакомый и прекрасный запах. Шмотки меня мало интересовали – я получал

сначала ковбойские револьверы (предварительно заказанные, естественно, причем со всеми деталями – какой ствол, какой барабан, какая ручка да чем стреляет – дети удивительные сволочи!), чуть позже – модели самолетов для склеивания, потом – пластинки, струны, гитары и даже усилители. По-моему, отец все свои суточные тратил только на меня.

Но я не об этом. Я помню, как на одной из выставок (кажется, в Канаде) было необходимо повесить над входом в павильон какую-то брежневскую цитату. У отца она была написана белыми буквами по голубому фону. За день до открытия выставки приехал искусствовед в штатском и потребовал, чтобы цитату переписали – она должна была быть белым по красному, и никак иначе.

Я понимаю, сейчас это как-то даже не смешно. Тогда это было совсем не смешно – командировка могла стать последней.

По-моему, отца спасало чувство юмора. Помню, с каким смехом он рассказывал, как в павильон в раздел пушнины пожаловал сам министр пушной промышленности и распорядился, где что расположить: тут соболя, тут – чернобурка, а тут – онтадра. «Не онтадра, а ондатра», – возразил отец.

Министерская свита замерла. «Ну что вы, Вадим Григорьевич, – снисходительно ответил министр, – я двадцать лет руковожу отраслью. Конечно, онтадра!» Они поспорили, к ужасу министерских шестерок, – никто из них за двадцать пять лет министра ни разу не поправил.

И все-таки неприятие советской власти возникло у отца совсем по иной причине – сейчас я в этом не сомневаюсь. Внутри у отца был идеальный камертон, настроенный на красоту. Отец не мог провести некрасивую линию – она бы у него просто не получилась. Надо видеть его рисунки, чтобы это понять. И у отца в голове никак не складывалось: если мы дети самого передового в мире учения, то почему все вокруг такое некрасивое? Почему машины, дома, одежда, фонарные столбы, почтовые конверты, эстрадные певицы, мебель, вывески магазинов, обложки журналов, партийные транспаранты и портреты Ленина – почему все такое уродливое? Это было неприятие советской власти на эстетическом уровне.

Я думаю, что тест на красоту – самый верный тест, чтобы определить, все ли правильно в доме. А вот видеть красоту можно научить только в детстве.

Увы.

Вам никогда, пардон, не казалось, что в словосочетании «альтернативное искусство» заложено что-то не то? Впрочем, так можно скатиться к выяснению вопроса, что мы понимаем под

словом «искусство», и проорать друг на друга весь остаток жизни. У меня на этот счет есть собственное определение, но оно исключительно субъективно. Раздражала меня всегда не новизна и революционность формы – это как раз только радовало. Раздражало, что за всем этим делом гораздо легче спрятать собственную бездарность. При работе с формой традиционной этот номер не проходит.

Занимаясь много лет музыкой, я часто замечал с некоторой печалью, что очень немного людей отличают хорошую музыку от плохой. Один мой товарищ, старше меня на пару лет (замечательный, кстати, человек), любил группу «Ласковый май» и все время заводил ее в своей машине, а на мой вопрос, не сошел ли он с ума, отвечал: «А мне нравится!» – и диалог заходил в тупик. Просто в детстве его никто не научил отличать хорошую музыку от плохой. При этом, как ни странно, в других областях все может быть в относительном порядке.

С изобразительным искусством, кстати, еще хуже. Принцип Чехова «и лицо, и мысли, и одежда» тут, к сожалению, не работает. Я часто встречаю образованных людей, они одеваются со вкусом, разбираются в театре, читали все, что нужно, и при этом дома на стене у них висит нечто чудовищное. Я в таких ситуациях смущаюсь и ухожу от разговоров о живописи – ни врать, ни расстраивать людей не хочется, да и никто не просил меня воспитывать их.

Один весьма известный искусствовед по-дружески объяснил мне, что сегодня живопись или графика сама по себе никого не интересует. (Говоря «никого», он, конечно, хотел бы подразумевать все прогрессивное человечество, хотя речь на самом деле идет о довольно узком круге людей, именующих себя продвинутыми и задающих тон. Малопонимающим боязно от них отстать – в их представлении это будет отстать от современности.) Итак, сама картина никого не интересует – нужен перформанс. Вот ежели рядом с этой картиной будет играть на арфе карлик и рожать женщина, а на саму картину будет какать попугай – сенсация (в продвинутом кругу, разумеется) обеспечена. Только очень важно, чтобы карлик был лысый, потому что блондин был неделю назад у Иванова (Петрова), и тот играл на лютне, а какали голуби. Все здорово, только не понимаю, нужна ли тут картина, особенно если она никуда не годится, а если она вдруг хороша, то неясно, зачем ей такие костыли.

Советская власть записывала в леваки всех уклонявшихся от принципа социалистического реализма, и они уже вызывали сочувствие и симпатию как смелые люди и борцы с режимом. Это

был некий фронт, и кто как рисовал, было вроде не самым главным. Квартирные выставки, подпольные мастерские, километровая очередь в павильон «Пчеловодство» – как же меня туда тянуло!

Советская власть сдохла, и вдруг стало ясно, что никаких индульгенций в плане искусства борьба с режимом не дает. И что фронт – не един, а есть там художники хорошие, а есть – разные. Это, оказывается, очень тяжело, когда не с кем бороться. Продвинутые, не мысля себя вне борьбы, принялись бороться с формой. (Это проще, чем с советской властью, – она не дает сдачи.)

Вся эта тусовка вокруг прогрессивного искусства напоминает мне какой-то садик. Там свои правила, свой язык, свои игры и небывалое высокомерие по отношению ко всем стоящим за оградой. Интересно, что, как только кто-то из садика начинает вдруг интересовать широкую общественность – скажем, его работы появляются на других выставках или вдруг начинают хорошо продаваться – его тут же с негодованием выпихивают из садика за забор – он стал коммерческий, и я слышу в хоре негодования нотки зависти. То, что при этом художник ни на йоту не изменил своим работам, совершенно неважно – важно, где он с ними оказался. Какая-то в этом есть гадость, ибо видели ли вы художника, который не хочет, чтобы его работы покупали? А если ты действительно этого не хочешь – зачем выставляешься? Выставляйся дома.

Очень похожее происходило в середине восьмидесятых в так называемой Московской рок-лаборатории – последней судорожной попытке умирающего комсомола сплясать кадриль с неформальной молодежью. Чтобы попасть в эту рок-лабораторию, надо было быть альтернативным во всех проявлениях и с презрением относиться, скажем, к «Машине времени» как к зажравшимся и продавшимся ретроградам. Умение петь, играть или сочинять музыку было отнюдь не первостепенной важности вещью. Стоило группе «Браво» обрести популярность, выходящую за рамки этой песочницы, как их дружно облили фекалиями и выгнали из садика – они продались. Оказывается, важно не что и как поешь, а – с какой поляны.

Все-таки страшно интересно – это отголоски классовой борьбы или просто от зависти?

Имел я длинный спор с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Речь шла об одном очень ловком молодом человеке, который вдруг взял и стал концептуальным художником, очень удачно попал в красную волну, которая накрыла Америку, умиленную словами Gorbachoff и Perestroyka (и схлынула, кстати,

через пару лет, оставив американцев в некотором недоумении).

Я печалился по тому поводу, что прокатились на этой волне за океан самые ушлые и шумные, убедив на время наивных американцев в том, что они и есть соль русского современного искусства. Они заслонили собой многих действительно хороших художников, которые в это время сидели и рисовали. Соловьев мне отвечал, что победителей не судят и что талант – это не просто нарисовать занимательную картинку, но еще и добиться того, чтобы человечество ее полюбило. Наверно, сегодня дело именно так и обстоит. Но мне все-таки кажется, что это два каких-то разных таланта. И если первый отсутствует, то самые невероятные проявления второго вызывают у меня разве что чувство неловкости за его обладателя.

Победителей, кстати, тоже судят. Их судит Время.

А если вас интересует сугубо мое определение искусства, то звучит оно примерно так: «Искусство есть стрельба в неведомое, где степень точности попадания соответствует степени приближения человека к Богу».

Вот так высокопарно, господа. И если стоящий рядом со мной метко пускает стрелу в цель, мне все равно, какую при этом эстетику он исповедует и какой ширины у него брюки. Тем более мне это безразлично, если стрелы его уходят в «молоко». Согласитесь, господа, что второе мы наблюдаем куда чаще.

> Перечитал эту главу и расстроился: написано-то давно. Чуть не двадцать лет назад. Ничего не изменилось. Меньше всего мне хочется в этой истории выглядеть замшелым ортодоксом и ретроградом. И искусство по-прежнему разное – и «актуальное», как его называют его апологеты, отказывая в актуальности остальным, и всякое прочее – искусство вообще. И во все времена гениального были крупицы, а хорошего – куда меньше посредственного. И пусть цветут все цветы. Просто не люблю жуликов.

Интересно, что мы с отцом никогда не говорили на эту тему. И тем не менее, когда я пишу это, я слышу в голове его голос. Для него не существовало заборов, разделяющих направления и жанры, но искусство от неискусства он отличал моментально и безошибочно. Он не видел противоречий между Модильяни и Рембрандтом – он видел противоречие между ними и Глазуновым.

Еще одна вещь, которая меня поражает, – деление искусства на прикладное и чистое. (Следовательно, прикладное – уже

нечистое, понимаете? То есть как бы второго сорта.) О чем вы, господа? О какой такой чистоте? Я, например, не знаю неприкладного искусства.

Потому что музыка – это чтобы слушать. Картина – чтобы повесить на стену и смотреть на нее. Книга – чтобы читать. Я что-то упустил?

Мало того, почти все великие произведения искусства писались на заказ: и мессы Баха, и фрески Сикстинской капеллы, и «Святая Троица», и великий художник никогда не отличался в глазах человечества от великого ремесленника каким-то свечением над головой – этот нимб ему приделали не так давно, лет сто пятьдесят – двести назад. И импрессионисты, которые смели классицистов, так же мечтали продавать свои работы, как и их растоптанные предшественники. (Не всегда сразу получалось – это другой вопрос.) Я не верю художнику, который пишет картины, складывает их за шкаф и говорит, что пишет для Вечности и ничье мнение его не интересует. Я сам иногда повторяю эту фразу (мол, сам знаю, что у меня получается, а что – нет), но, сделав что-то новое, спешу это показать – сначала друзьям, а потом всем остальным. С этого момента моя вещь уже становится прикладной, верно?

Отец, кстати, выставлялся как художник всего один раз – в Архитектурном институте, на выставке работ преподавателей. Среди прочих работ он вывесил портрет негра. Выставку, естественно, принимала комиссия, какой-то идиот спросил: «Зачем нам негр?» – портрет сняли. Я думаю, это очень ранило отца, больше он не выставлялся, отшучивался: «На фиг мне это надо?» А графика у него была потрясающая, с невероятно точной линией, в необычной технике и очень по тем временам не соцреалистическая.

Отец подолгу не рисовал – не было времени, потом вдруг садился и выдавал залпом работ двадцать – на одном выдохе. И все-таки зрители были – в первую очередь наша семья и школьный его друг дядя Соля, полковник медицинской службы, и работы его становились прикладными к нам. Работ было очень много, мать пилила отца, чтобы он наконец выхлопотал мастерскую, потому что и так повернуться негде. Для мастерской нужно было собрать какие-то бумажки, а отец больше всего на свете не любил собирать бумажки и ходить с просьбами. Мать в конце концов победила, отец собрал бумажки, получил мастерскую где-то у черта на рогах, отвез туда свои работы, но рисовать по инерции продолжал дома. Потом в мастерской лопнула труба, и почти все работы погибли.

Впрочем, все это в качестве примера не годится – рисование

не было основной профессией отца, оно вообще не было его профессией, он работал архитектором и оформителем, и это отнимало все силы и время, а рисовал он действительно больше для себя. И все же года за два до смерти – у меня была какая-то выставка моих работ – полушутя сказал: «Может, и мне с тобой выставиться?» Теперь я понимаю, что ему этого очень хотелось. И мне страшно жаль, что мы не успели это сделать.

> Я сделал это совсем недавно, в маленькой, удивительно уютной галерее «РозаАзора». Мы с сестрой собрали почти все оставшиеся отцовские работы. В основном это были женские портреты. Мы повесили их в первом зале, а мои картинки – во втором. Я очень волновался. Наверно, было видно, что откуда выросло. Наверно, было видно, что наши работы роднит и что различает. И что совершенно точно было видно – Время, нас разделяющее, Время, водившее нашими руками, – такое разное.
>
> Мне кажется, мой отец был доволен.

У американских индейцев был такой музыкальный инструмент – индейская скрипка. Она представляла собой гриф с одной-единственной струной. Конец грифа зажимался зубами, и голова играющего становилась резонатором. Скрипка звучала – но только внутри головы скрипача, снаружи было тихо. Инструмент давал шанс стать Паганини для самого себя.

Других примеров чистого искусства я не знаю.

Еще были праздники.

Детская жизнь вообще вспоминается как цепь сплошных праздников. И не потому, что мы так хорошо жили, – просто о несчастьях не сообщалось и о них никто не знал. Это сейчас нам о них талдычат с утра до ночи со всех страниц газет и по всем телепрограммам, думая, очевидно, что таким образом можно уменьшить их количество, а скорее всего, ничего не думая.

А тогда несчастья если и происходили, то – в странах капитализма. А наша жизнь состояла из радостных трудовых будней и – праздников. Народ с огромным воодушевлением встречал решения съезда, вставал на трудовую вахту, перевыполнял план, а в праздники – рапортовал. Все понимали, что на самом деле все не так, подтрунивали над этим (в основном в меру дозволенного), но на атмосферу в целом такая безоблачность сильно влияла. Изредка только умирал какой-нибудь член политбюро, и то никто по нему взаправду не скорбел, и даже голос диктора по радио звучал излишне траурно, и казалось даже, что он втихаря подмигивает, пользуясь тем, что

его не видно.

Да и сами события, в общем, заслуживали праздников – все было впервые. Международный фестиваль молодежи и студентов в моей детской памяти не отпечатался – от него осталась только газовая косыночка с легкомысленными картинками и надписями «Мир» на всех языках – она накрывала телевизор. А вот как запустили первый спутник – помню отлично.

Мир натурально сошел с ума. Дикторов распирало от торжественности, все ликовали и братались. А тут еще практически следом запустили второй – с живой собакой Лайкой внутри! – и потом, почти сразу, – какой-то уж совсем невероятный третий. Так их и изображали на плакатах, транспарантах к парадам, в детских книжках и на подстаканниках – земной шар весь в параллелях и меридианах, иногда с добрым и умным лицом, и из него торчат три дуги: на первой – первый спутник (шарик с четырьмя антенками), на второй – второй, и из него торчит счастливая собачья морда в круглом прозрачном шлеме, и на третьей – третий, самый большой, в виде конуса с хвостиками и крючочками. Модели спутников были выставлены в скверике у Большого театра, во втором было проделано специальное окошечко, чтобы все видели, как там помещалась собака-космонавт. У спутников была толпа. Мы с отцом ходили смотреть, и он сажал меня к себе на плечи, чтобы мне все было видно.

А потом вдруг сразу – Гагарин! Вот это было да! Все верили, что кого-нибудь запустят, но никто не думал, что так скоро. Было совершенно ясно, что космическая эра берет бешеный разгон, что коммунизм наступит завтра-послезавтра и что Америку мы обогнали навсегда. То, что все это происходило на фоне наших коммуналок и очередей в баню, никого не смущало.

Нас отпустили с уроков, и мы побежали смотреть, как встречают Гагарина. Его везли через Большой Каменный мост в открытой светло-серой «Чайке» с эскортом мотоциклистов, рядом с ним сидел Хрущев, а сам Гагарин, между прочим, стоял и махал всем рукой, а «Чайка» была доверху завалена цветами и на мост было не взойти. Стоял волшебный весенний день, радость граничила с безумием. Во дворах пили и танцевали. По небу пролетали вертолеты, с них сыпали розовые и голубые листовки с портретом Гагарина, мы залезли на крышу нашего дома и собрали их целую кучу – внизу их быстро затоптали, а на крыше они лежали целенькие. Долго мы потом этими листовками менялись.

Первое мая и Седьмое ноября тоже были безусловными праздниками. Однажды отец принес билет на парад – на Красную

площадь. Мы шли на парад, вернее, отец шел, а я сидел у него на плечах, держал в руках билет (он выглядел необыкновенно значительно и нарядно), и меня распирало от важности. Мы прошли несколько оцеплений милиции и оказались на трибунах. Было пасмурно и холодно, сидеть на ледяных гранитных трибунах было невозможно, поэтому все стояли. А неподалеку справа был Мавзолей, и на нем маленькие фигурки в черном – правительство. Меня пришлось спустить с плеч, чтобы я не заслонял парад другим важным гостям, я страшно замерз и почти ничего не видел, но чувство гордости и сопричастности посетило в полной мере.

Обычно парад мы смотрели по телевизору, а потом сразу бежали на набережную – часть танков возвращалась с парада по ней, и их можно было увидеть совсем близко. Танки нравились необычайно. Парад шел по восходящей – сначала маршал Малиновский объезжал на открытой машине все рода войск, поздравлял каждых в отдельности, они ему в ответ кричали одинаковое и неразборчивое. Оркестр совершенно замечательно замолкал на полуноте в тот момент, когда машина с маршалом останавливалась у очередного полка. Все это было красиво, но не очень интересно.

Потом войска расходились, последним уходил оркестр, продолжая играть, и наступала пауза – пустая огромная площадь, тишина, и издалека нарастающий грохот моторов – танки идут!

Интересно – восхищение танками так и не прошло. В середине восьмидесятых мы с «Машиной» были на гастролях на Дальнем Востоке, нас позвали на полигон – пострелять из чего угодно. Меня посадили в танк – два рычага, две педали, проще не бывает. Я дал по газам. После того как я без всяких усилий перелетел небольшую речку, а потом, даже не заметив, срубил две приличные березы – в душе возникла какая-то лихая бесшабашная вседозволенность, – не хотелось останавливаться. А потом мы еще на ходу пару раз шарахнули из пушки – и я почувствовал себя настоящим терминатором.

Кончилось все смешно. Вдоволь настрелявшись из всех видов оружия, мы приехали на площадку прямо к концерту, и тут выяснилось, что одно ухо у меня совершенно не слышит – причем не правое, которое ближе к прикладу, а противоположное – левое! Оказывается, петь и играть с одним ухом – занятие почти невозможное. Отчетливо помню этот ужас до сих пор.

Танки вызывали безотчетный детский восторг. Это был мой любимый момент. Сначала легкая десантная техника, потом артиллерия, потом – танки, тяжелее и тяжелее, и в самом конце – ракеты. Последней везли, как правило, какую-то совершенно невероятную дуру длиной с железнодорожный вагон. В этот момент по телевизору всегда показывали иностранных дипломатов и военных атташе – как они щелкают фотоаппаратами. Было совершенно ясно, что именно с помощью этой ракетищи Америке, если будет надо, покажут кузькину мать.

И все-таки больше всего я любил Новый год. Военного парада, правда, для ощущения полноты праздника немного не хватало, но это компенсировалось общей праздничной атмосферой, которая начинала накапливаться за несколько дней – с другими праздниками такого не происходило. По городу несли елки, стянутые веревками, как колбасы, посередине Детского мира ставили огромную ель. Говорили, что в Кремле еще больше, но я там так ни разу и не был.

Отец или мать приносили с работы праздничный заказ – картонная коробка, в ней – дефицит: баночка лосося, баночка сайры, балык, копченая колбаса, коробка конфет, курица, гречка, майонез, бутылка коньяка и бутылка шампанского. Бабушка и мама готовили салаты, варили студень.

> Отчетливое воспоминание: принесли заказ, разложили свертки на столе, в доме радостное возбуждение, оно, естественно, передается и мне, я бегаю вокруг стола, еле доставая носом до края. Родители что-то сообща несут на кухню, я остаюсь в комнате один, прямо передо мной сам собой медленно распахивается, раскрывается сверток из плотной вощеной бумаги, внутри – белое, нарезанное. Сыр! Я хватаю кусок, откусываю сколько могу. И застываю: это не сыр, это сливочное масло! Выплюнуть уже нельзя – давясь, глотаю. Лет тридцать после этого не мог смотреть на сливочное масло.

Отец ставил в спальне елку (больше было негде), она тут же начинала пахнуть. Украшали мы ее вместе, я искалывал себе все пальцы (удивительно – несколько елочных игрушек сохранились у меня с тех пор – а вроде бы такая хрупкая вещь!). До двенадцати мне сидеть не разрешали, отправляли спать в комнату к елке; я знал, что утром под ней окажутся подарки, подозревал, что положат их туда родители, когда я засну, и изо всех сил боролся со сном – подсмотреть, как они это будут делать и что там такое, но так ни разу и не дождался.

Однажды пришел Дед Мороз – в красной шубе, шапке, с красным носом и белой бородой – прямо из журнала «Мурзилка». Я испугался. «Ты ел?» – строго спросил он меня. «Ел», – ответил я, потрясенный. «Спал?» – «Спал». – «Маму-папу слушался?» – «Слушался», – пролепетал я, уничтоженный категоричностью вопросов. «Ну, тогда получай подарок», – сказал Дед Мороз и протянул мне мешок. Еще не веря, что ужас кончился, я вытянул оттуда какую-то коробку. Дед Мороз ушел, а я долго потом не мог прийти в себя. Через несколько лет я вспомнил этот эпизод, и мне сказали, что это был мой отец, но я, честно говоря, не верю до сих пор. Неужели можно вот так в упор не узнать родного отца?

Ощущение длинного праздника связано с летом и с дачей. Дачу мои родители снимали в Загорянке у хозяйки Юлии Карловны. Точнее, снималась не дача, а ее половина – две комнатки и замечательная, застекленная ромбиками терраса, которую окружал густой, запущенный сад. Кроме Юлии Карловны на даче имелся ее сын Клим и старая овчарка Дези. Клим играл на мандолине, а овчарка Дези лежала в тени рядом со своей конурой – в силу доброты характера и преклонного возраста она никого не могла обидеть. Вышла у нас с ней тем не менее печальная история.

В дачной компании я, как всегда, был самым маленьким – если не по возрасту, то уж во всяком случае по физическим параметрам (по длине я догнал своих сверстников уже в девятом классе – с моим отцом была та же история, и та же история происходит сейчас с моим сыном). А еще я был очень доверчивым, поэтому остальным было удобно ставить на мне всякие эксперименты и испытывать новые шутки.

Как-то одна большая девочка попросила меня закрыть глаза и открыть рот. Происходило все в большой компании, и я, не ожидая ничего плохого, выполнил ее просьбу. И тут она коварно вдунула мне в рот одуванчик. Рот залепило пухом, все вокруг засмеялись, я открыл глаза, закашлял, пушинки полетели наружу. Не все, конечно, – часть прилипла к языку и небу, и это было очень противно. Еще было страшно обидно, хотя я не подал виду и даже посмеялся со всеми. Самым печальным было то, что видели этот номер сразу все, и повторить его было уже не на ком – я оставался крайним.

Я ушел и довольно долго думал, с кем же проделать этот фокус – необходимо было сбросить позор на кого-то следующего. Родители отпадали – я чувствовал, что им может не понравиться. Оставалась старая овчарка Дези. Я сорвал одуванчик, подошел к старушке (она очень тепло ко мне относилась), сел перед ней на корточки и сказал: «Дези, закрой глаза, открой рот». По-моему,

она все это и проделала. И тогда я дунул пухом прямо ей в морду. Бедная собака страшно испугалась и непроизвольно дернула открытой пастью в мою сторону. Ее клыки рассекли мне лоб, потекла кровь. Я заплакал, прибежали родители, переполошились, наподдали Дези по холке – а она и так выглядела очень виноватой. И тут уж я разрыдался в полную силу – мне было жалко несправедливо наказанную собаку, раненого себя, при этом я ощущал совершенную невозможность объяснить родителям, что же тут произошло. Лоб со временем зажил, я ходил к Дези извиняться, и, по-моему, она меня простила.

Чувствительность моя, как я сейчас понимаю, граничила с патологией. Однажды вечером вся семья сидела на террасе. Пили чай, за окнами шумел дождь. Беседа шла какая-то взрослая, мне было неинтересно, я вышел в сад и по тропинке – за калитку. Теплый дождик оставлял на лужах пузыри, по дорожке прыгали большие редкие лягушки. Я взял одну в руки, мы поговорили с ней о чем-то, я посадил ее обратно на дорожку, она немного посидела рядом со мной и скакнула в темноту. Через мгновение по дорожке протопали чьи-то огромные ботинки, пахнуло табачным дымом. Страшное предчувствие кольнуло мне в сердце, я кинулся шарить по темной земле и на ощупь нашел то, что осталось от моей лягушки, – она превратилась в блин. Я прорыдал двое суток без перерывов на еду и сон. Объяснять что-либо в таких случаях родителям было бессмысленно – я мог изложить ход событий, но не мог объяснить глубину трагедии.

Эти редкие истории, впрочем, совершенно не умаляли дачного счастья, которое начиналось с переезда на грузовике с какими-то тюками, коробками, стульями в начале июня из уже душной Москвы в зеленую влажную Загорянку. Я, помню, сам складывал свою коробку – с красками, пластилином, самыми нужными игрушками.

(Еще был блокнот – я собирался написать книгу. Она должна была называться «Москва в огне» – про войну. На первой странице я вывел название большими печатными буквами и объял их языками пламени. На следующей странице шел подзаголовок: «Глава первая. Украдена пограничная собака» – должна же была война с чего-то начаться! Потом пошел текст: «Ряд пограничников стоял на заставе. Вдруг один из них воскликнул: „А где моя пограничная собака?“» Дальше работа над книгой не пошла.)

Так вот, родители начинали разгружать вещи, развязывать тюки, баба Маня бежала открывать сразу все окна – проветривать, а я несся к своему дачному другу Димке Войцеховскому. Я в детстве не бегал, бегать у меня получалось хуже, чем у других ребят, – не так быстро и изящно. Но я выработал свою

собственную систему ускоренного передвижения вприпрыжку, когда два раза подряд подлетаешь вверх сначала на одной ноге, а потом – на другой. Прыжки получались гигантские (если разогнаться), так что я не бежал, а именно несся.

Дача Войцеховских стоит почти напротив нашей, и мне у них нравится все: сам дом коричнево-бордового цвета, какой-то высокий, кривоватый и оттого напоминающий старинный парусный корабль, обилие всяких загадочных штук (Войцеховские не снимают дачу, как мы, – это их дача, поэтому тут полно всяких штук), Димкины родители дядя Володя и тетя Ира – молодые и веселые люди, бабушка Варвара Петровна – у нее все какое-то большое: руки, ноги, лицо, она постоянно готовит что-то вкусное на ревущем керогазе и дает потом нам с Димкой. Еще есть дед – с седыми усами и нестариковской выправкой. Он служил еще в царской армии, у него на лбу вмятина от немецкой картечины и он – георгиевский кавалер, поэтому степень моего трепета перед ним безгранична.

А еще у Димкиных родителей есть настоящая «Волга» салатового цвета с серебряным оленем на носу, и на ней можно в какой-нибудь выходной поехать на настоящую рыбалку на речку Ворю. Димкин отец не рыбак, но у него есть товарищ – Николай Николаевич, он настоящий разведчик (представляете – работает в КГБ!), и вот он-то как раз рыбак, и если вдруг вечером он у Димкиных родителей в гостях, значит, завтра рано утром поедем на машине на рыбалку (меня, конечно, возьмут), Николай Николаевич будет нам с Димкой показывать, как правильно ловить рыбу, потом будем жарить шашлыки на костре, хором кричать: «Мясо!» – в общем, набор невероятных чудес. Мои родители легко отпускали меня с Димкиной семьей, хотя сами так ни разу их приглашения не приняли.

Но такие выезды – это все-таки нечастое событие. А так мы с Димкой с утра до ночи предоставлены самим себе. У нас с ним масса общих интересов. То есть они практически все – общие.

Мы собираем бабочек. (Удивительно, что это не мы с ним два таких выродка – в Загорянке много других детей, и почти все собирают бабочек, причем это отнюдь не результат нашего с Димкой влияния – это какое-то общее поветрие.)

> Не только бабочек. Все (поголовно!) собирали почтовые марки, монеты, спичечные этикетки. Первый вопрос при знакомстве – ты что собираешь? Интересно – насколько глубоко в прошлое уходила эта традиция? Мой отец в детстве тоже собирал марки, мне от него досталась приличная коллекция колоний двадцатых-

тридцатых годов. А ведь марки, скажем, нельзя собирать, не разбираясь в них. А разбираться в них – знать историю стран, события, по случаю которых эти марки были выпущены. Сегодняшние дети в этом возрасте собирают вкладочки от жвачки. Тоже, в общем, красивые бумажки. Дуреем на глазах.

Поскольку мы ограничены в доступе к научной информации, а жажда знаний наша беспредельна, обычные бабочки средней полосы приобретают совершенно фантастические названия. Из настоящих, совпадающих с общечеловеческими, это только павлиний глаз, траурница и чрезвычайно редкий махаон. Остальные носят непонятно откуда взявшиеся имена – король, королева, большая королева, краснодарская шоколадница, королек. Ходят слухи о невероятной ночной бабочке по имени типарел. Она настолько редкая, что пока ее никто не видел, но возможность ее внезапной поимки все же не исключена.

Однажды я где-то услышал, что в аптеке принимают крылышки майских жуков – из них делают лекарство и поэтому платят по две копейки за штуку. (Ума не приложу, откуда это взялось, – не сам же я это выдумал, в самом деле.) Быстро была организована боевая бригада, и за несколько вечеров мы наколотили невероятное количество майских жуков. Жуки сбивались влет с помощью только появившихся тогда ракеток от модной игры – бадминтон. Коричневые верхние крылышки отделялись и складывались в трехлитровую банку. Когда банка наполнилась, мы бережно взяли ее и с песнями понесли в аптеку. Помню споры на тему, что мы будем покупать на наши миллионы и почему, собственно, Сашка и Колян набили жуков больше, чем Димка и я, а делить деньги будем поровну. В аптеке долго не могли понять, чего эти дети от них хотят. Не знаю, почему меня тогда не убили.

Помню ощущение невероятной победы – не просто моей, а победы Справедливости. Это произошло на станции. Но дайте я сначала расскажу вам про станцию.

Нам не велят туда ходить – во-первых, чтобы попасть на станцию, надо переходить шоссе, а это опасно. Потом, там ходят электрички, и это тоже опасно. Но мы все время оказывались там – там шла какая-то насыщенная, яркая жизнь. У станции располагался рыночек и всякие магазинчики и палатки – дощатые домики, крашенные в синий и зеленый цвет. Продавали хлеб, керосин, молоко. Стояла бочка с квасом. Денег у нас не было, но можно было побродить под платформой, вздрагивая от грохота

причаливающих электричек, довольно быстро набрать копеек, которые провалились в щели между досками, покрывающими эту самую платформу, и тогда уже напиться квасу до умопомрачения, до бульканья в голове (большая кружка – шесть копеек, маленькая – три. Большую я осилить не мог). Ребята постарше собирали тут же, под платформой, бычки, вытряхивали из них табак, делали самокрутки и курили, но нас это пока не интересовало.

Недалеко от платформы стояла будочка «Шиноремонт». За ней была выкопана глубокая круглая яма – для погибших покрышек. Но покрышек не хватило, природа, не терпящая пустоты, заполнила оставшееся пространство водой, и образовался маленький мутный прудик метров пять в диаметре. Рыбы там, естественно, не было, но всякие водяные насекомые кишели в изобилии. Сюда мы, коллекционеры, и приходили их ловить. Для ловли годился тот же сачок, что и для бабочек, правда, от шурования в грязной воде, заросшей черт знает чем, он быстро ломался и умирал.

Так вот, в один из таких научных походов, когда мы сообща вылавливали из прудика всякую насекомую мелочь – водомерок, гладышей, скорпиончиков и личинок стрекоз, – классифицировали их и сажали в банки от майонеза, я вдруг увидел на поверхности огромного жука-плавунца. До этого мы видели его только в книжке и даже не мечтали о встрече. Размеры его потрясали воображение. Казалось, он может не войти в майонезную баночку.

Я заорал, но подлое чудовище к этому моменту как раз набрало воздуху и нырнуло, и, когда все повернулись на мой крик, на поверхности лужи остались только круги. Конечно, мне никто не поверил. История эта в течение получаса повторилась трижды – я видел, как жук всплывал в разных местах и всякий раз уходил под воду прежде, чем его успевал заметить хоть кто-нибудь кроме меня. На третий раз меня подняли на смех, обозвали всем, чем можно, собрали банки со своей мелюзгой и двинулись в сторону дома. А я остался, глотая слезы, ибо надо было либо спасать свою честь, либо топиться тут же в пруду.

Жук не появлялся, и я уже боялся, что не увижу его никогда, и вдруг увидел – он висел у поверхности почти на самой середине лужи. Я затаил дыхание, встал на самый край какой-то покрышки, вытянулся вперед вопреки всем законам равновесия и, когда зверь уже пошел в глубину, подсунул под него сачок. По удару, который ощутила рука, я понял – есть! С диким криком, с сачком наперевес, даже не посмотрев на пойманное насекомое, я кинулся вслед за ребятами. Слава богу, они не успели уйти далеко, а то бы я умер от разрыва сердца. Какой же это был триумф, какая

победа!

Спортивных массовых игр мы с Димкой избегали. Почему он – я не знаю, а я – по причине собственного физического несовершенства. А был я мелок, слаб и, видимо, довольно неуклюж – во всяком случае, по сравнению с другими ребятами. Да еще вдобавок почти все они были постарше меня, а в этом возрасте день идет за год – если тебе четыре, а твоему приятелю восемь, то он старше тебя в два раза.

Когда рушить коллектив все же не хотелось, я соглашался постоять на воротах. Однажды я стоял на воротах, а играли мы с какими-то совсем уже здоровыми парнями. Я задумался о чем-то своем и вдруг увидел, что тяжелый мокрый мяч летит прямо мне в морду. Даже если бы я захотел среагировать – скажем, поймать его или, наоборот, увернуться, – я бы все равно не успел. Гола я не пропустил, но откачивали меня минут двадцать. Больше я на воротах не стоял.

Нас с Димкой страшно интересовала военная техника, причем не современная, а Второй мировой войны, наша и немецкая – танки и самолеты. Не понимаю, откуда взялась такая любовь, но знали мы с ним все – вплоть до модификаций и годов выпуска.

У Димкиного деда была старая книга – огромный, неподъемный коленкоровый фолиант под названием «Танк», выпущенный, видимо, подарочным тиражом специально в пику Климу Ворошилову, ратовавшему, как известно, за конницу. Книга являла собой историю танкостроения с прекрасными гравюрами и фотографиями. Книга была изучена и перерисована до дыр.

Откуда мы черпали информацию о самолетах, я уже не помню – кажется, из книги авиаконструктора Яковлева. Дни мы проводили в изготовлении моделей. Исходным материалом служил пластилин, но не думайте, что наши изделия напоминали мягкие игрушки, – мы делали практически точные копии. Просто, чтобы пластилин стал для этого пригодным, его надо было подержать в холодильнике для придания ему твердости, а потом острым ножом резать из него детали будущего танка или самолета.

Конечно, на жаре модели наши долго не жили, но это только придавало им дополнительную ценность – нужно было немедленно устраивать сражение.

Я больше трудился над немецкой техникой, мне нравилась эстетика вермахта – хищные, рубленые формы. За них заодно и приходилось воевать. Но это меня не очень расстраивало – немецкий самолет должен был в конце концов быть сбит, а это-то

и было самое красивое – самолет поджигали с помощью спички, он начинал терять формы, оплавляться и горел совсем как настоящий (во всяком случае, в кино) – бензиновым пламенем с черным дымком. Тут его надо было уронить на твердую поверхность, он врезался и догорал уже на земле, оставляя после себя кучку черно-серого пепла. Думаю, мы чудом не спалили Димкину дачу.

Когда мой отец однажды увидел наши с Димкой военно-авиационные занятия, он необыкновенно завелся и рассказал мне, что, когда он был маленький, он тоже делал точные копии военных самолетов, правда не из пластилина, а из липы – он вырезал их ножом.

Ах, как мне хотелось иметь настоящий маленький «Мессершмит-109»! То есть не настоящий, конечно, а точную копию, изготовленную из чего-нибудь более вечного, чем пластилин. Я представлял его себе в деталях: сантиметров двенадцать в размахе крыльев, серо-синего цвета с металлическим отливом, фонарь кабины прозрачный, а на фюзеляже видны ряды крохотных заклепочек.

Тогда я еще просто не мог знать, что такие модели существуют в природе – в Советском Союзе их не производили, а из-за границы отец пока ничего подобного не привозил. А поскольку я не мог даже предположить существование чего-то такого подобного, то я и не мог попросить отца привезти мне это. Но прошло несколько лет, наши с Димкой игры закончились, мы с отцом стали собирать модели самолетов, и однажды он привез мне именно такой «Мессершмит» – и размеры, и цвет, и даже заклепочки на корпусе совпадали. Я держал его в руках, потрясенный, и думал, что он мог бы принести мне куда больше счастья, попади он ко мне лет пять назад.

Удивительно, что такое происходило потом со мной много раз: я становился обладателем объектов своих самых заветных мечтаний, но всегда это происходило много позже, когда уже и штука эта не очень-то была нужна, и в путешествие это хотелось не так, как тогда, и по женщине этой уже давно не страдал. Мне даже виделась во всем этом какая-то система, за которой был скрыт очень важный именно для моей жизни смысл. И пару раз мне казалось, что вот-вот он будет разгадан. Но – так и не разгадал.

В чем тут дело?

А ведь все очень просто. В мою юную голову пытались вдолбить: не очаровывайся, не создавай себе кумира, все эти предметы не будут завтра иметь для тебя

никакого значения. И даже сейчас, разгадав смысл этого постоянного урока, я далеко не всегда ему следую – просто не получается: как это не очаровываться, если эта вещь очаровательна? И потому полон мой дом всевозможными и, казалось бы, ненужными штуками, и каждая живет на своем месте, и каждой я благодарен за то, что она открыла мне какой-то секрет и помогла что-то увидеть и понять.

Интересно, что слово «пошлость» (как и понятие, естественно) существует, видимо, только в русском языке. На английский язык, например, это слово переводится так же, как и вульгарность – vulgarity, а это, согласитесь, совсем не одно и то же. Мы же, очень хорошо чувствуя, что это слово обозначает, как правило, не в состоянии объяснить это ощущение другими словами. Попробуйте сами.

Оказывается, в прошлом слово «пошлый» имело совсем иное значение, о чем нам сообщает словарь: старинный, исконный; прежний, обычный. (А других значений он, кстати, и не дает.) Похоже, не так уж давно пошлым называли не пошлый в сегодняшнем понимании, а бородатый анекдот. Любопытно – когда и при каких обстоятельствах смысл слова переменился.

У Даля: избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая. Неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным. Вульгарный, тривиальный. Очень близко, но чего-то не хватает.

У Ушакова: заурядный, низкопробный в духовном, нравственном отношении, чуждый высших интересов и запросов. Вроде хорошо, дал бы еще кто точку отсчета – это вот нравственно и духовно, а вот отсюда уже не очень. И не меняется ли положение этой точки от эпохи к эпохе, а значит, каждый день?

В силу совершенной общепонятности, что ли, определения пошлости и в то же время совершенной же его субъективности каждому из нас кажется, что он очень хорошо видит и чувствует пошлость, но при этом видит абсолютно по-своему и в разных явлениях. Меня это так заинтересовало, что какое-то время я практически проводил опрос друзей и знакомых – все эти люди занимаются театром, кино, музыкой – в общем, искусством. Многие из них не смогли дать мне своего определения пошлости вообще. (Как правило, именно те, которые чувствуют малейшее присутствие пошлости, как полицейская собака – наркотики. Вы уж мне поверьте.)

Иван Дыховичный отослал меня к Набокову. Нахожу у него

целую лекцию под названием «Пошляки и пошлость». (Интересно, что лекция переведена с английского, то есть писана и читана была американцам, как раз этого понятия в арсенале, на мой взгляд, не имеющим. Очень мне было интересно – как называлась лекция в оригинале, то есть на английском языке. Оказывается, так и называлась – «Poshliaki and poshlost».) Нахожу абзац, на мой взгляд, самый главный. «У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства – пошлость. Пошлость – это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность». Готов подписаться под каждым словом, кроме двух – «явная, неприкрытая». Иногда очень даже прикрытая.

Кинорежиссер Дмитрий Светозаров, с которым мы много работали как композиторы, высказал предположение, что пошлость – это что-то из области формы. Понимаю – историю Ромео и Джульетты может рассказать Шекспир, а может автор криминальных хроник газеты «Мегаполис-Экспресс». Фабула истории при этом совершенно не изменится. Для измерения же иных параметров – не про что, а как – не изобрели пока точных приборов.

Но разницу почувствуем, да?

Актриса Юля Рутберг сказала, что пошлость – это всегда перебор. Всегда 22 очка. Недобор не может быть пошлостью – это будет просто плохо, слабо. А пошлость – всего слишком: слишком ярко, слишком нарядно, слишком громко рассказывает и сам при этом смеется.

Алена Свиридова: «Пошлость – это неорганичность».

Был у меня в давние времена знакомый по прозвищу «Угол от бани». Весил этот человек килограммов под двести и внешность в этой связи имел необычайную. У него был коронный номер: сидя за столом в какой-нибудь суперрафинированной компании (дамы в вечерних туалетах, все только что не переходят на французский), он обращался к близсидящей мадам: «Будьте добры, если это только вас не затруднит, передайте мне соль, пожалуйста, а то как сейчас ебану, блядь, по башке!» После секундной оторопи это всегда вызывало истерический общий смех. Ручаюсь – ни в чьем другом исполнении этот номер смеха бы отнюдь не вызвал.

Мне кажется, что пошлостью может оказаться неудачное зависание между двумя жанрами. Грубо говоря: Мона Лиза – это классика, Мона Лиза на пивной банке – это пошлость, а четыре пивных банки с Моной Лизой – это уже поп-арт. Границы при

этом могут быть весьма тонкими.

Поп-арт вообще часто балансирует на волосок от пошлости. Может, именно поэтому данный арт – поп? (Сергей Соловьев: «Пошлость – это все общепринятое». Лихо сказано, да?) Иногда магия имени или персоны здорово заслоняет истинное положение вещей. Недавно я пересмотрел фильм «Imagine» и вдруг с грустью понял, что это невероятно пошлый ролик – ранее магия Джона Леннона это заслоняла, и казалось, что все, к чему он прикасается, становится великим.

Нет, не все.

Помните? Сначала он с Йокой идет по этакому затуманенному саду, причем он в клешах и в шляпе, а она в вечернем платье. Потом они останавливаются у некой белой виллы, архитектурой своей являющей мечту нового русского (колонны, портик, все дела), и каким-то образом просачиваются внутрь сквозь закрытую дверь. Далее после глубокомысленного титра «This is not here» они оказываются в белой зале, Леннон – сразу за белым роялем, а Йоко раздвигает шторы на окнах. В общем, по стилистике все это гораздо больше подходит к творчеству группы «Белый орел», чем к песне «Imagine». А ведь смотрел я это раньше и не замечал всей этой клюквы – Леннон заслонял. Сидел и восторгался, робея.

Интересно – все мои друзья и знакомые, говоря о пошлости, примеряли ее прежде всего к своей профессии.

Леша Романов: «Не могу определить даже для себя словами, но точно знаю, когда надо выключить телевизор. Это что-то из области сокровенных ощущений, а говорить о сокровенном вслух – это и есть пошлость».

Оксана Ярмольник – слово в слово: «Пошлость – это сокровенное, высказанное вслух». Согласны? По-моему, все-таки не всегда. А то бы мы всю жизнь общались какими-то обиняками.

Очень мне хотелось получить определение пошлости от Юза Алешковского. Ибо уверен – из всех моих друзей и знакомых он как никто чувствует эту субстанцию. Вот что он написал мне из-за океана: «Странное дело – то, что мы безошибочно чувствуем и мыслим как очевидную пошлость в манерах поведения претенциозных людей, в безвкусице крикливой моды, в дешевке лжеремесел, наконец, в адском количестве подделок орангутангов от музыки, литературы, живописи и дизайна – хоть ты ее, на…[2], убей, выскользает из формул определения этого малоприятного явления, возможно, более древнего, чем проституция и желтая журналистика.

Если не растекаться мыслью по Древу Добра и Зла, то пошлость – это более-менее точная примета частичного, порой

полнейшего отсутствия души в ком-нибудь и в чем-нибудь. Отсюда – не красота, всегда исполненная достоинства, а вызывающе нелепая красивость, не всепоглощающая страсть любовного соития, а занятие похотливой нелюбовью, внимание мазил авангардизма-задогардизма не зову Музы, а модозвону баксов и т. д. и т. п. При всем при том пошлость – не только фальшак, внушивший сам себе уверенность в обеспеченности золотцем души, но, к сожалению, ставший денежной единицей и критерием псевдоэстетики массового бескультурья.

Стоп! Треп бесполезен. Шлюховатая пошлость все равно выскользнет из формул определения ее сути. Это тебе, Андрюша, не водичка дождя небес, родничка, колодца и всего Мирового океана, покоящаяся всего лишь в паре буковок и в цифирке всего одной – в H_2O».

А вот Боря Гребенщиков не раздумывая сказал следующее: «Пошлость – это боязнь отказаться от привычного и надоевшего самому тебе видения мира».

Может, кому-то это покажется спорным. Но мне по ощущению очень близко. И кстати, совпадает со старинным, изначальным значением слова. Круг замыкается.

> Поскольку интерес к данному вопросу не иссяк, вот вам еще два определения:
>
> «Пошлость – это попытка воспарить без каких бы то ни было на то оснований». (А. Синявский)
>
> «Пошлость – все ушедшее в народ». (А. С. Пушкин)
>
> А?

Право, не знаю, что в этой истории поучительного или вообще интересного, но на меня она произвела очень сильное впечатление, так что – пусть уж будет.

На самой заре существования «Машины времени» (тогда еще – «Машин времени» – году в 71-м) дети каких-то родителей пригласили нас выступить на Николину гору.

Нас еще крайне редко вообще куда-нибудь приглашали, и каждое такое приглашение было событием. Стояла прекрасная ранняя осень, было тепло и солнечно, мы поймали в назначенный день какой-то «рафик», закидали в него наш чудовищный первобытный аппарат и поехали. «Рафик» оказался без окон и сидений и представлял собой изнутри глухую железную коробку, вызывающую ассоциации с газовой камерой, и в дороге мы чуть не задохнулись – когда он остановился наконец на зеленых просторах Николиной горы, мы из него не вышли, а выпали.

Сам концерт (громко сказано!) состоялся в каком-то крохотном деревянном клубике при небольшом скоплении

молодых людей и ничего не понимающих старушек и никаких воспоминаний не оставил. Когда мы уже сворачивали свое барахло, к нам вдруг подошел Никита Михалков. Он был очень большой и красивый. Знакомы мы не были, а кино «Я шагаю по Москве» видели все неоднократно, и степень робости моей перед ним была высока необычайно. Сначала Никита Михалков присел к роялю и наиграл одним пальцем мелодию из одноименного фильма – как позывные. А потом объявил, что незачем нам прямо сейчас ехать в Москву, потому что он приглашает нас к себе на дачу пить водку.

На дачу к Михалкову пить водку!

> Тут случилась весьма забавная вещь. Никита (тогда еще Никита, а не Никита Сергеевич) утроил мое стеснение тем, что попросил у меня автограф. Никто и никогда до этого у меня автограф не просил. И я, теряя сознание от робости, начеркал ему на бумажке – «Впервые в жизни даю аФтограф». Вообще-то я страдаю природной грамотностью и эту описку отношу целиком на счет моего полуобморочного состояния. Никита Сергеевич эту бумажку сохранил и впоследствии пару раз (в шутку, надеюсь) попрекал меня моим невежеством. Никита Сергеевич, это я от ужаса, честное слово!

Мы быстренько загрузили в тот же жуткий «рафик» инструменты вместе с Борзовым и Мазаем (им зачем-то надо было вернуться в Москву до ночи) и отправились в гости.

Был сказочный ясный вечер, на участке у Михалкова стоял длинный дощатый стол, уставленный водкой и овощами. Народу было много, я практически никого не знал, но понимал, что раз мы все у Михалкова, то это его друзья, а значит, тоже известные и талантливые люди, и чувствовал себя в этой связи застенчиво и важно одновременно. Водку пили из каких-то здоровенных деревянных пиал, темп потребления был высок, деликатность не позволяла мне отставать от окружающих, а поскольку мой юный организм был к тому времени воспитан исключительно на дешевых сортах портвейна и к водке не готов, скоро я оказался в состоянии полной эйфории.

Звезды качались над головой, и наш стол, как корабль с замечательными людьми, сидящими по бортам, плыл в какое-то счастье. А после того как Никита, после очередной пиалы уронив голову на ладонь, необыкновенно задушевно спел песню про коня, который гулял на воле, я совсем размяк. Вдобавок ко всему слева от меня обнаружилась очаровательная девушка Алена, мы

мило болтали обо всем, выказывали друг другу знаки внимания, и наши чувства крепли с каждой минутой. Когда Алена вдруг засобиралась домой, я обнаружил, что наступила ночь.

Страсть кипела во мне, и я не хотел отпускать девушку, да и ей не хотелось покидать компанию, поэтому мы решили, что сейчас я провожу ее до ее дачи, она как будто ляжет спать, а сама, обманув строгих родителей, вылезет в окно, мы вернемся к Никите и продолжим веселье.

Я поднялся из-за стола на нетвердых ногах и последовал за Аленой во мрак. Мы шли куда-то прямо, потом налево, потом опять прямо и куда-то вправо. Дачные улицы были плохо освещены и совершенно пустынны, и меньше всего я заботился о том, чтобы запомнить маршрут – Алена уверенно тащила меня вперед. Через некоторое время мы оказались у калитки, у которой мне велено было тихо ждать. В глубине участка за забором угадывался дом, там горел свет, и Алена упорхнула. Я же прилег на травку у калитки, что в моем состоянии было самым естественным, и отключился.

Проснулся я оттого, что на меня с неба падали тяжелые холодные капли. Посмотрев на часы, я отметил, что прошло чуть больше часа и свет в доме за забором уже не горит. И еще – что мне адски холодно. Тем не менее я потоптался еще минут пятнадцать у закрытой калитки, дрожа от наступающего похмелья и печали, понимая, что никакая Алена уже не выйдет, так как ее либо заперли, либо сама она забылась сном и ждать бесполезно. В тот момент, когда я наконец решил двигаться в сторону дачи Михалкова, я понял, что совершенно не представляю себе, где эта дача и в какую сторону следует идти. На всякий случай я вышел на дорогу и попробовал пройти по ней сначала метров сто в одну, а потом в другую сторону, надеясь на внезапную вспышку памяти. В подсознании было черно, вспышек не происходило. Поселок был мертв – дачный сезон окончился, многие дачи были уже пусты, а в остальных хозяева спали и света не наблюдалось.

Я пробовал изо всех сил прислушаться, надеясь уловить в ночном эфире хоть далекие отголоски веселой михалковской компании. Тишина была мне ответом, только капли ледяного дождя стучали по мне чаще и чаще. Через полчаса дождь превратился в ливень с грозой, и редкие фонари на столбах погасли. Темнота наступила такая, что я не видел собственной руки. Впрочем, даже если бы я ее видел, общей картины это бы не меняло.

Я машинально старался двигаться, просто чтобы не окоченеть от холода. Если я вдруг падал в канаву с водой, было ясно, что я перемещаюсь не вдоль, а поперек дороги. Еще через час я понял,

что умираю.

Это было довольно необычное и новое ощущение, и самым обидным казалась близость человеческого мира с его уютом и теплом и при этом абсолютная невозможность до него добраться.

Современный человек вообще не готов к смерти, иначе ему пришлось бы признать, что все, чем он занимался в этой жизни вплоть до внезапного прощания с ней – ел манную кашу в детском саду, учился, прогуливал уроки, выпивал, ходил на работу, женился, изменял жене, разводился и женился снова, болел, делал подарки друзьям, смотрел футбол, ездил на рыбалку, чинил машину, читал книги, мечтал о хорошем, – все это и было смыслом его жизни. Нам же кажется, что весь этот быт к задаче нашего появления на свет никакого отношения не имеет, а истинное наше предназначение скрыто где-то рядом и однажды мы его неизбежно коснемся.

Кончина, которая всегда неожиданна (даже если ожидаема), разрушает эту иллюзию. Самураям, которые готовили себя к смерти как к главной и неизбежной цели в жизни с первого дня, видимо, проще было умирать.

Может быть, им было тяжелее жить.

Впрочем, в тот момент я об этом не думал. Видя вдали неверный огонек, я из последних сил брел к нему, утыкался в забор, за которым темнилась громада чьей-то дачи с тусклой дежурной лампочкой над крыльцом, и слабо кричал. Пару раз мне вообще не ответили. Один раз пообещали спустить собак, и собака действительно загавкала неохотно, и я опять ушел во тьму. На четвертый раз мне повезло, калитка оказалась незаперта, я смог подойти вплотную к дому и поэтому был услышан, и какая-то старушка зажгла свет на втором этаже и высунулась в окошко посмотреть на меня.

Посмотреть было на что.

Волосы я тогда носил исключительной длины, клеша были в заплатках, а маечка – в радужных разводах, и после двухчасового гуляния под осенним ливнем и падания в канавы все должно было выглядеть очень хорошо. К тому же меня трясло крупной дрожью, цвета я был синего и говорить уже не мог – я шептал. Я униженно просил позволить мне постоять под навесом крыльца, пока этот ночной кошмар не кончится. Видимо, что-то в моем образе и интонациях было такое, что старушка почти согласилась.

И тут услышал я далекий шум мотора и задним зрением увидал мелькнувший в черноте свет фар, и нестройные родные голоса прокричали: «Макар!»

«Я здесь!» – прохрипел я, бросился на звук, упал, вскочил, перелетел через забор, снова упал – уже в родную канаву, выплыл

и выкарабкался на асфальт прямо под колеса Никитиным «Жигулям». Сам Никита сидел за рулем, глаза его были плотно закрыты, но машина двигалась по дороге довольно уверенно. А Кутиков и Кавагое, раскрыв обе задние двери, кричали «Макар!» в темноту.

И как только они умудрились вспомнить обо мне?

Через десять минут я уже был в доме, напоен водкой с чаем (это, кстати, и есть грог), растерт полотенцем, возвращен к жизни и уложен в постель. Перед самым отходом ко сну Михалков и Кутиков вдруг выяснили, что оба занимались боксом – только один в тяжелом весе, а другой – в весе пера, и закрыл я глаза под частые шлепочки Кутикова по Никитиному телу, которые прерывались редкими пушечными ответными ударами. «Сейчас Кутикова убьют», – успел подумать я и уснул, счастливый.

Так, наверно, и останется для меня тайной – какая магическая сила заключена была в звуке электрогитары, качающемся на мягких подушках баса и живом сердцебиении ударных? Когда в девятом классе у меня в руках оказалась настоящая японская электрогитара, включенная в настоящий маленький японский усилитель, несколько часов подряд я просто слушал звук.

Я даже не утруждал себя какими-то аккордами – просто проводил медиатором по открытым струнам и слушал волшебный звук. Потом поворачивал на усилителе ручку «tremolo», и звук рассыпался на тысячу хрустальных осколков. Я поворачивал ручку «reverb», и осколки начинали падать в бесконечное пространство, уменьшаясь и исчезая вдали.

Я гипнотизировал себя таким образом до поздней ночи, ложился спать, но спать не мог, вскакивал с постели, включал усилитель (щелчок, подхваченный эхом ревербератора, и красный глазок горит), снова и снова водил по струнам, уже не зажигая света, и от этого звуки становились еще прекраснее. И казалось – так недалеко от них до битловских песен: вот они, кирпичики, – осталось только сложить!

Просто взять и сложить.

> Снова и снова думаю, что вот в таких, казалось бы, мелочах нам страшно везло. Тогда это были совсем не мелочи – это были самые настоящие чудеса, ниспосланные нам свыше. И всякий раз это был невероятный толчок, заставлявший тебя забыть все на свете и – делать, делать…

А какая власть, какая магия исходила от длинноволосых людей в расклешенных джинсах, стоящих с гитарами наперевес в

табачном дыму! (До сих пор не понимаю – почему ни в одном гитарном магазине нет большого зеркала на стене – оно там нужно не менее, чем в магазине готового платья.)

И как же мне, зажатому жаркой околдованной толпой, хотелось оказаться по ту сторону – вместе с могущественными посвященными – повелителями звука! Ночью, если шел дождь, отражение в окне получалось зыбким и размытым. Надевал электрогитару, прилизывал челку, принимал позу, смотрел в отражение – похож ли на Харрисона? С учетом размытости было похоже.

Читая сейчас книги битлов и роллингов про их юношеские годы, я поражался – насколько все у всех было похоже! Невзирая на разный общественно-экономический строй и несхожесть в идеологии.

Клепали жуткие самодельные гитары, часами прокручивали туда-сюда магнитофонную пленку, пытаясь разобрать слова какого-нибудь рок-н-ролла.

Билла Ваймана, например, взяли в группу «Роллинг Стоунз» за то, что у него был настоящий басовый усилитель – в пятьдесят ватт! История, абсолютно типичная для Москвы или Питера начала семидесятых. И все-таки было одно маленькое отличие.

Если поэт в России – больше чем поэт, то уж битлы были точно больше чем битлы. Потому что любой юноша, живший в любой стране, включая социально и идеологически близкую Польшу, чувствовал, что он живет с битлами на одной планете, дышит одним (или почти одним) воздухом и встреча с ними в принципе реальна – теоретическая возможность оказаться на концерте или купить новый альбом в магазине делала их достижимыми и оттого не настолько волшебными.

Исключение составляли Китай, Северная Корея и наша родина. Мы жили на другой планете. И мы хорошо знали, что значит слово «никогда». (Какое счастье, что мы ошибались!) И крохотные осколки всего битловского, чудом перелетавшие через ржавый уже железный занавес на нашу сторону, обретали ценность даров иного, высшего, мира.

Поэтому, кстати, и девушки смотрели на всех нас не совсем такими глазами, какими они смотрят сегодня, скажем, на «Иванушек» или «Мумий Тролля». Сегодня это общепринятое легальное фанатение, поддерживаемое и приветствуемое разными средствами массовой информации, – в общем, так, как это всегда обстояло там, за кордоном. У нас же даже оказаться на сейшене где-нибудь в середине семидесятых значило уже попасть в касту избранных и посвященных – невероятно сложно, безумно желанно и немного опасно. И на сцене, заставленной жуткими

ящиками и опутанной проводами, стояли не просто волосатые мальчики в самостийных клешах – а носители того, горнего битловского, света. И это не могло не отражаться в девушкиных глазах. Человек с гитарой обретал мощь вожака.

Что за древняя сила природы заставляет особей женского пола стремиться к вожаку стаи?

Не могу сказать, что мы этим злоупотребляли.

Но не могу сказать, что мы этим не пользовались.

Любовь была напрочь лишена меркантильности – во-первых, по причине отсутствия денег у всей нашей среды – благодаря наличию родителей мы не голодали и даже могли раз в год, скопив сообща, купить какой-нибудь усилитель «Регент-30» производства ГДР. (Несмываемая печать социализма лежала на этих изделиях.) К тому же при желании удавалось скинуться на портвейн (желание, надо сказать, возникало ежевечерне). Но денег на удовольствия никогда не было. Да не было, впрочем, и удовольствий, на которые их можно было бы потратить.

(Хотите представить себе вечернюю Москву семидесятых? Езжайте в Могилев. Только прямо сейчас, а то и там откроют какие-нибудь увеселительные заведения или хотя бы зажгут витрины.)

Но дело даже не в этом – допускаю, что у кого-то вне нашего круга деньги были – были же и фарцовщики, и дети членов ЦК. Но светлый дух хиппи витал над нами – деньги были не модны. Это был дурной тон. Хорошим тоном считалась система аск.

Это означало настрелять денег на баллон у добрых прохожих, вертясь у магазина «Российские вина», что на улице Горького, то есть на Стрите, то есть на Тверской.

(Сам я, правда, робел, но друзья старались – ого-го!) Вот вам уличная, то есть народная, песенка тех времен.

Как пройду по Стриту,
В шоп полукать вайн зайду,
А в шопе френды стоят,
У френдов айсы горят.
Было б рубль сорок семь –
Было б клево бы совсем.
Я в беде не одинок –
Есть у нас один ванок –
Старая система «аск»
Снова выручает нас.
Вдруг вбегают две герлы –
«Ой, спасите от урлы!»
Нам не страшен хулиган (кантри бой!) –

Получает по рогам.
Было б рубль сорок семь –
Было б клево бы совсем.

(В этом куплете, правда, содержится явный художественный вымысел – насчет урлы. Обычно, если чего случалось, победителями выходили как раз они – хиппи драться не умели и не любили.)

За геройские дела
Нам любая даст герла –
Рингануть на флэт пора,
Фак устроить до утра.
Было б рубль сорок семь –
Было б клево бы совсем.

Кто-то из моих знакомых подметил, что эпоха перестройки сменила эпоху застоя в тот момент, когда слово «факаться» было заменено словом «трахаться».

Очень меткое наблюдение.

Так вот, любовь была напрочь лишена меркантильной окраски, внезапна, ветрена и стремительна. Хорошо, что спид появился чуть позже. К тому же от сексуальной деградации спасало отсутствие мест, где в принципе можно делать это, – не на глазах же у родителей, в самом деле. И не в подъезде – мы все-таки были не настолько хиппи. Впрочем, места все равно находились.

Мое сексуальное развитие было довольно поздним. То есть влюбленности меня посещали с самого раннего возраста – еще до детского сада я влюбился в девочку Милу из Норильска – она приезжала к Войцеховским на дачу. В детском саду мою любовь звали Света Логинова, и, по-моему, она даже отвечала мне взаимностью. Потом со второго по седьмой класс включительно я был тайно и потому безответно влюблен в одноклассницу Наташу Головко (срок, между прочим!), потом в параллельном классе появилась Лариса Кашперко, и мы даже сделали ансамбль и пели вместе, платонические чувства вот-вот должны были обрести плоть – и тут на меня обрушились битлы со всем рок-н-роллом и полностью заняли мое сердце. И только на первом курсе института бас-гитарист группы «Вечные двигатели» Дима Папков, узнав, что я до сих пор не познал женской ласки, взял меня за руку, вывел на Калининский проспект, тут же снял девушку в плюшевой юбке и объяснил ей задачу. Вечером этого же дня

девушка в плюшевой юбке все со мной и проделала, оставив меня в странном сочетании ужаса и восхищения.

С прочими пороками дело обстояло не лучше. Я упорно не хотел курить и пить – мне было невкусно. Сережа Кавагое, делавший упор на рок-н-ролльную идеологию, был страшно недоволен – я разрушал имидж бит-группы (слова «имидж», правда, еще не существовало, но в общую картину я действительно не вписывался). Однажды терпение его лопнуло, и он, как под конвоем, повел меня в кафе «Альтаир» (было такое на Университетском, теперь там, по-моему, «Луна»). Стоял прекрасный летний вечер, я слабо отбивался. Сережа мрачно уверял меня, что стоит только начать – и я пойму, как это здорово. Была взята бутылка портвейна «Азербайджан» и два мороженых – на закуску. Спустя час я отчаянно тошнил тут же в скверике на Университетском, шатаясь и пугая гуляющих бабушек с детьми, а Сережа Кавагое учил меня делать это в урну и элегантно. По его словам выходило, что без этого никак нельзя, а значит, это тоже часть науки, но приятного все-таки больше.

Видимо, я оказался способным учеником. Через пару месяцев я уже вовсю курил «Приму» и тошнил как все. Элегантно.

Кстати, одно из сильнейших разочарований последних лет. Бывает, что в женщине тебе нравится абсолютно все, кроме какой-нибудь чепухи: например, вдруг замечаешь, что она что-то оживленно рассказывает тебе, а тебе неинтересно. И кажется, что это такая мелочь, что она непременно растворится во всем остальном хорошем. Нет. Она не растворится и будет все время отравлять жизнь, как гвоздь в сапоге, и конец ваших отношений будет ужасен.

Не знаю, как у вас, а у меня теория эволюции видов с человеком как ее венцом всегда вызывала сомнение. Сначала – на интуитивном уровне. Потом я попробовал в этом разобраться.

По Дарвину выходило (в самом примитивном, естественно, изложении), что вследствие изменения окружающей среды и, следовательно, условий жизни в процессе эволюции возникали более сложные и более приспособленные к этим условиям формы. Теперь взглянем на картину незамыленным глазом.

Для меня очевидно, что главная функция любой формы жизни – это продолжение жизни данной формы. Вы ведь не будете с этим спорить? (Вам не скучно?) Так вот – с этой точки зрения самыми жизнеспособными являются самые древние и примитивные организмы – вирусы. Они прекрасно себя чувствуют и в абсолютном холоде, и в дикой жаре, столетиями обходятся без пищи и размножаются с немыслимой скоростью. Не то что планета Земля с ее постоянно меняющимся климатом – все

человечество с арсеналом современной науки ничего не может с ними поделать.

Со следующим, немного более сложно устроенным, видом – бактериями – уже легче. То есть их при большом желании уже можно уничтожить, защищенность их от внешнего мира не столь совершенна. Но и они дадут сто очков вперед любой более поздней и более сложной форме – скажем, рыбам.

Хотя и рыба носит в чреве ежегодно несколько миллионов икринок, может по полгода обходиться без еды, легко впадает в анабиоз при понижении температуры и легко выходит из него. С теплокровными существами, более сложными и более молодыми, дело обстоит гораздо хуже – в смысле способности к выживанию. И потомства у них рождается в миллион раз меньше, и кровь у них не остывает вместе с окружающей средой, значит, необходимо постоянно поддерживать внутреннее тепло – с наступлением холода рыба ест меньше, а теплокровные должны есть больше. (Вам правда не скучно?)

Интересно, что в растительном мире та же история – чем вид древнее, тем он более, а не менее жизнестоек. Не хочу утомлять вас примерами.

Помню, факт взятия первобытным человеком в руки палки подавался как гигантский скачок вперед. На самом деле палка выполняла функцию костыля – этот самый первобытный человек был уже настолько несовершенен и беспомощен сам по себе, что не мог без костылей.

Все появившиеся вслед за палкой блага цивилизации – всего лишь более современные разновидности этого костыля. Размахивая костылями, человечество стремительно и планомерно уничтожает все живое вокруг и соответственно самое себя, то есть история развития жизни на Земле близится к естественному концу. Будучи лишенным костылей, человек представляет собой крайне слабое, теплолюбивое, избирательное в пище, постоянно болеющее и с большим трудом и неохотой размножающееся создание.

Несколько лет назад я вдруг увидел, что все люди, в сущности, тоненькие полупрозрачные мешочки, наполненные различными, в основном дурно пахнущими, жидкостями и субстанциями. Куда ни ткни (практически пальцем!) – потечет. Впечатление оказалось настолько сильным, что какое-то время мне было неприятно физическое прикосновение к любому человеку, включая молодых красивых девушек.

Потом молодые красивые девушки все-таки победили.

(Хотя вот история, связанная, наверно, с моими детскими атавизмами. Однажды я был долго и, надо сказать, безнадежно

влюблен в одну девушку. Среди всех ее удивительных достоинств меня поражало одно – она совершенно не имела запаха. Мне в этом виделось что-то небесное. Ничего у нас так и не сложилось, мы расстались и долгое время не виделись. Встретились случайно спустя пару лет, разговорились, и я вдруг почувствовал легкий запах пота, от нее исходивший. И понял, что я не люблю ее больше.)

Итак, вывод: если каждый следующий в цепи развития вид более сложен, но менее жизнестоек, чем предыдущий, то вся эволюция – цепочка, запрограммированная не на развитие, а на сворачивание жизни на Земле.

Кем и почему?

Мир тем не менее все-таки тяготеет к гармонии. В юности я знавал одну семейную пару. Они нежно любили друг друга. И все у них было замечательно, кроме одного – у него сильно пахло изо рта. Настолько, что я не мог понять – как они целуются, получая взаимное удовольствие? (А они делали это постоянно.) Спустя много лет она случайно призналась мне, что с детства начисто лишена обоняния.

Вы не замечали, что самые счастливые семейные пары – это дурак и дура? Между ними часто возникает какая-то абсолютная гармония, полное согласие. Я никогда не видел такого согласия между умным и умной (другие сочетания вообще не беру).

Почему?

Свое двадцатипятилетие «Машина времени» отметила концертом на Красной площади. Как это все удалось сделать и каким это образом так замечательно все прошло – до сих пор не пойму. Не хочу копаться в деталях, но могу сказать, что накануне, когда уже монтировали сцену у Исторического музея, радиостанции надрывались и в Москву съезжались фаны со всей страны, разрешение на проведение концерта еще не было подписано Моссоветом, то есть мэрией. И если бы там проявили не мудрость, а твердость (как учила советская власть), то не знаю, чем бы все кончилось.

Но мэрия проявила мудрость, меня вызвали туда утром и объявили, что приняли высочайшее решение мероприятие дозволить, и даже предложили помощь по организации.

Помощь была уже не нужна.

Назавтра, в день концерта, я с утра метался по Красной площади, в десятый раз проверял все на свете, боялся дождя. (Случилось, кстати, удивительное. К середине дня я почувствовал на лице легкое жжение, но значения этому не придал – не до того

было. На следующий день я обнаружил, что лицо мое страшным образом сгорело и кожа сходит большими лоскутами. Такого со мной не происходило ни до, ни после – ни в горах, ни в тропиках. И день-то был не особенно солнечный. Либо над Красной площадью в тот день открылась озоновая дыра, либо степень сгорания находится в прямой зависимости от степени психования – тогда это медицинское открытие.)

В общем, все прошло замечательно. Начали вовремя, оркестр Кремля сыграл «Yellow Submarine», концерт продолжался семь часов, звук был превосходный, все участники (а было их, по-моему, одиннадцать команд) выступили отлично, телевидение и радио транслировали, дождик, которого я так боялся, все-таки пошел где-то в середине вечера, но несильный и ненадолго, зато потом между ГУМом и Кремлем встала удивительной красоты радуга. Количество зрителей точно никто не определил, но по данным милиции, которая для безопасности разделяла толпу на квадраты, народу было 300–350 тысяч.

Милиции, слава богу, вмешиваться ни во что не пришлось – никто никому даже на ногу не наступил. За сценой у нас стоял балаганчик, где всем нашим друзьям и участникам бесплатно наливали и давали закусить, и работал этот балаганчик в усиленном режиме. То и дело мне приходилось бегать через тройное оцепление к Манежной площади, откуда пытался прорваться к нам за кулисы наш очередной боевой товарищ двадцатилетней давности. Со всеми пришлось по чуть-чуть выпить за день рождения, а когда концерт наконец завершился, то вся эта шобла – музыканты, жены, общие друзья и подруги – еще поехала в дискотеку «Пилот» на концептуальный банкет (водка, капуста, соленые огурцы, картошка, селедка, черный хлеб). До «Пилота» я еще доехал, но там на меня накатила такая усталость, что я бросил всех, не помню как добрался до дома и заснул как мертвый.

> Спустя десять лет, на наше тридцатипятилетие, мы решили повторить эксперимент. Нас вдохновил Пол МакКартни – он поставил сцену не у Исторического музея, как мы, а у Василия Блаженного и уж больно хорошо смотрелся. На нас посыпались неудачи – во-первых, я за месяц до концерта сломал руку, она так до конца и не срослась, и играть было очень трудно, во-вторых, опять пошел дождь – только теперь уже настоящий, затяжной, и зрители вымокли до нитки – в общем, былого веселья не получилось – так, в общем и целом достойно. Никогда нельзя ничего повторять.

Утром меня разбудил сосед. Жил я тогда в дачном поселке Валентиновке, и сосед мой, военный переводчик и афганец, а ныне инвалид, пришел ко мне с поздравлениями и подарком. Подарок являл собой очаровательную юную козочку – в буквальном смысле, разумеется. Не знаю, где он ее взял и почему решил отдать мне. Как человек военный и не лишенный некоторой жесткости, он предположил, что вечером ко мне, наверно, понаедут недопившие вчера гости и тогда козочку можно будет зарезать и сделать из нее шашлык. Заглянув в голубые козочкины глаза с длиннющими ресницами и магическим вертикальным зрачком, я понял, что это совершенно невозможно.

Если воображение позволяет вам представить себе ангела в образе четвероногого создания, то это был как раз тот случай. В общем, я растроганно поблагодарил соседа и пустил козочку на траву. Она тут же встряхнулась, освоилась, примерилась к кустам смородины, которые росли у меня вдоль забора, и принялась за работу. Стригла она быстро и исключительно чисто, так что после нее оставалась полоса выжженной земли и безжизненных прутиков высотой в 70 сантиметров.

Через час смородина у меня кончилась, и коза принялась кричать. В интонациях ее было что-то отвратительно капризное, не терпящее возражений и потому невыносимое. Картину сильно оживляли собаки. Их у меня было две – совсем молодой кавказец Батя (ростом ровно с козочку) и старая вороватая овчарка Линда. Первое время Батя, повинуясь пастушьему инстинкту, хватал козу за щиколотки. Но скоро она научила его бодаться, и они шумно сталкивались лбами, а Линда носилась вокруг, хватала за задницу то одного, то другую и оглашала окрестности радостным лаем.

К обеду стало ясно, что скотовода из меня не получится. По счастью, у меня гостил мой товарищ из Питера художник Андрей Белле по прозвищу Белек. Он как раз строил себе дом за городом на берегу Невы, и я, расписав ему все прелести козоразведения на вольных травах под Питером, уговорил его забрать козу с собой.

Осталось решить задачу, как доставить скотину до места. О том, чтобы просто взять ее в поезд, не могло быть и речи – зверь выказывал живость необыкновенную, просьбы и команды игнорировал, к тому же центнер листьев, съеденных с моей бывшей смородины, уже начал поступать наружу в переработанном виде с пугающей частотой. И тут я вспомнил, что знаменитый зоолог и путешественник Джеральд Даррелл в целях безопасности перевозки усыплял диких животных. Усыпить козу было нечем – никаких таких препаратов я дома не держал, да и

сам снотворным никогда не пользовался. Пришлось сесть в машину и ехать в городскую больницу.

Стоял жаркий воскресный день, в Калининграде было пыльно и пусто. Внутрь больницы я проник без труда и долго шарахался по безлюдным коридорам – ни больных, ни людей в белых халатах. Наконец я нашел докторов – по случаю выходного они пили в ординаторской. С трудом отбившись от предложения тут же выпить с ними, я обрисовал им ситуацию. Надо сказать, история с козой была воспринята с большим профессиональным недоверием, и мне даже намекнули, что если я чего хочу, то прошу у них не совсем то, что для этого нужно, и вообще с ними можно быть пооткровеннее. Но я стоял на своем, и врачи, пожав плечами, выдали мне наконец несколько ампул, сказав, что каждой из них хватит на здоровое и сильное животное.

Когда я вернулся в дом, уже вечерело. Мы с Бельком нашли в гараже мешок из рогожи, вытряхнули из него картошку и прошлогоднюю землю, после чего я набрал в шприц бесцветную жидкость из ампулы, мы окружили бедную козочку, Белек схватил ее за рога, а я вонзил шприц в заднюю ногу – поближе к попе. Коза закричала – пронзительно и страшно – и упала замертво. Никогда я не видел, чтобы снотворное действовало так молниеносно. Я даже подумал сначала, что доза была слишком велика и зверь скончался, но, поднеся ухо к нежному розовому носу, уловил слабое дыхание – коза спала. Мы без усилий уложили тело в мешок и поехали на вокзал.

По дороге Белек уверял меня, что скотина пробудет в отключке до утра, поэтому совсем ни к чему ставить о ней в известность проводников. Но я хотел, чтобы все было по закону. Поэтому я пошел в кассы, сунул голову в окошечко и честно сказал, что хочу отвезти в Питер козу. Я ждал скандала, но кассирша, не поднимая лица, равнодушно промолвила: «Шестьдесят семь рублей шестнадцать копеек». Потрясенный, я отсчитал деньги и получил солидного вида синюю квитанцию, где среди цифр, печатей и водяных изображений значилось: «Коза, 1 шт.».

Потом я взвалил мешок на плечо, и мы с Бельком зашагали по перрону. В этот момент коза стала подавать признаки жизни – она начала слабо шевелиться, не приходя в сознание, и издавать звуки. Мне не с чем сравнить эти звуки. Коза не кричала и не блеяла – она тихонько блажила. Наверно, так плачет во сне карлик. Но с такой квитанцией мне уже ничего не грозило. Мы дошли до нужного вагона, я отдал Бельку мешок, попрощался с обоими, обещал навещать, и поезд медленно тронулся.

Судьба козы в дальнейшем, увы, не сложилась. Довольно

быстро она выросла в красивое стремительное животное с сумасшедшими дерзкими глазами. Но характер имела прескверный. Вследствие того, что она категорически отказала в сожительстве местному деревенскому козлу, молока у нее так и не появилось. Строптивость ее доходила до абсурда – единственный способ загнать ее в сарай выглядел так: два дюжих мужика тянули ее за рога прочь от сарая, а потом внезапно по команде разжимали руки. Под силой собственного противодействия коза влетала в сарай, и оставалось только с максимальной скоростью захлопнуть ворота. К тому же животное обладало невероятной прожорливостью, и берег Невы, некогда зеленый, медленно, но верно превращался в пустыню, покрытую ровным слоем черных блестящих шариков.

В результате всего этого местные жители под предводительством бывшего водолаза Лехи, воспользовавшись приближением Нового года и отсутствием Белька, казнили и съели скотину.

Мне жаль, что я даже не успел дать ей имя. Я бы назвал ее Ребеккой.

Когда я учился в шестом классе, к нам в школу приезжал детский композитор Кабалевский. Это был такой сухой и очень бодрый дядька. Он показывал нам электронный инструмент «Терминвокс» – чудо отечественной технической мысли (прошло тридцать пять лет, и я увидел и услышал тот же инструмент в руках девушки-исполнительницы, и это было блестяще – он до сих пор не имеет аналогов в мире), потом Кабалевский рассказывал нам, что для облегчения понимания музыки детьми он разделил ее всю на три категории – песня, марш и танец. Тут же и провел с нами эксперимент, подтверждающий правоту его метода. «Ну, что это?» – радостно вскрикивал он, наигрывая что-то бодренькое на пианино. «Танец!» – хором отвечали все, включая самых тугоухих. «А это?» – «Марш!» Действительно, ошибиться было трудно.

Но меня всегда интересовало другое. Что такое мажор и минор? Нет-нет, я понимаю: малая терция – минор, большая – мажор, но мы всего этого еще не знаем. Да это ничего и не объясняет. Почему малая терция – грустно? Почему любой ребенок всегда отличит грустную мелодию от веселой? Почему она всем кажется грустной?

По-моему, я совершил открытие, и, по-моему, я его ни у кого не украл.

Если мы запишем на пленку человеческую речь и проследим за ней на дисплее эквалайзера (извините за умные слова – на

экране, графически показывающем частоту звука), то увидим, что наша речь не постоянное бубнение на одной ноте: ее мелодия взлетает вверх, опускается вниз, и между словами, как между нотами, возникают интервалы. А теперь попробуйте записать и проследить речь человека, чем-то расстроенного, и речь человека, радостно возбужденного. И вы увидите, что между словами (а иногда – между слогами слов) речи человека опечаленного преобладают малые терции и квинты – постоянно прослушиваются ступени минорного трезвучия. Человек же, пребывающий в радости, глаголет квартами и большими терциями. То есть, разговаривая, человек все равно поет. Но печальная информация ложится у него на одну мелодию, а радостная – на другую.

Интересно, что все это относится к музыке (и интонациям) европейской. Если взять восточную речь и восточную музыку, то и интонации, и мелодические ходы мы услышим совсем другие, но и там печальная речь будет так же связана с музыкой, навевающей на восточного человека печаль (на нас, может быть, и нет).

Меня в детстве занимало: почему у битлов иногда грустные стихи поются на веселую музыку? Это вызывает театральный эффект – когда человек, смеясь, рассказывает о своем горе.

Музыка – состояние, не подкрепленное конкретной словесной информацией. Поэтому она несет, конечно, в сто раз больше, чем самые мудрые слова.

> Подробно результаты моего исследования изложены в книжке под названием «В начале был звук», – получилось, по-моему, и вправду любопытно. Так что рекомендую без ложной скромности.

Мне кажется, музыка (не музыка вообще, а музыка как мы ее знали) пережила в недавнем прошлом три смерти. Конечно, она не умерла – умрет она вместе с человечеством. Она трансформировалась во что-то, что я не берусь комментировать – найдутся люди посовременнее меня. Но если говорить о музыке как мы ее знали, то первая ее смерть наступила в момент изобретения звукозаписи. Конечно, звукозапись дала возможность миллионам людей услышать то, что они никогда бы не услышали. Но тем самым девальвировала музыку и превратила ее в консервы, убив уникальность каждого исполнения. Бах всю жизнь проиграл в одной капелле. Много ли народа слышало его? Не думаю. Но его нельзя было сделать потише или погромче, нажать на «stop» и отмотать на начало. Или, скажем, подложить его игру под рекламу памперсов.

Каждая взятая им нота звучала единожды и неповторимо. И тем была ценна в высшей мере. Звукозапись имеет такое же отношение к живому исполнению, как фотография к живому человеку. Конечно, бывают очень красивые фотографии.

Вторая смерть наступила при изобретении электронного метронома и электронных барабанов. Нет, конечно, механические метрономы были задолго до этого – для репетиций. Но никому не приходило в голову нанизать музыку на ритм, лишенный жизни. А жизнь – это масса ритмов, спрятанных в природе, и прежде всего биение нашего сердца, и оно никогда не бьется равномерно. Мы волнуемся, и наш пульс учащается. И сейчас концертные исполнения рок-н-ролльных артистов в полтора раза быстрее студийных. Сравните состояние на сцене перед беснующимися фанами и в пустой прохладной студии. Практически вся заводная музыка тридцатых-шестидесятых от начала к концу хоть чуточку ускорялась – не специально, разумеется. На столько же повышался пульс исполнителя. Сейчас это считается большим недостатком. По-моему, это естественное и потому необходимое качество.

Сегодня придумали массу хитростей, чтобы замаскировать бездушного электронного барабанщика под живого. Например, в его идеально точную ритмически игру специально вводят маленькие ошибки. На покойника наводят румянец и ждут, когда он зашевелит пальчиками.

Третья смерть – изобретение музыкальных компьютерных программ. Я хорошо помню взрыв музыкальной электроники в семидесятых – Эмерсон, Жан Мишель Жарр, Томито. Мне казалось тогда, что человечество пойдет по пути поиска новых, неизвестных ему звуков, порожденных новыми приборами. А мода на это дело продержалась недолго, после чего вся электроника на девяносто девять процентов свелась к имитации уже известных нам, изобретенных давным-давно инструментов. Консервы породили консервы следующего поколения.

Имитация живых звуков музыкальных инструментов дошла до совершенства – и осталась имитацией. Там есть все – обертона, вибрация, богатство тембра, нет только той информации, которая присуща звуку, когда его извлекает из живого инструмента живой человек. Когда я слышу запись фокстрота тридцатых годов в исполнении какого-нибудь джаз-банда (а это все-таки консервы первого поколения), я все равно поражаюсь тому, как живые вибрации, драйв каждого музыканта (чуть-чуть разный!) складываются в мощный общий поток энергии. Бегун на фото застыл, но застыл красиво. Что бы я ощутил, если бы удалось оказаться там и тогда, когда все это игралось и еще оставалось

уникальным?

На современном компьютере можно складывать музыку, как конструктор из кубиков. Подвигать туда-сюда, поменять местами пару фраз, заменить ритм. Конечно, это тоже будет музыка. Но не та, которую мы знали.

Глупо стоять на пути прогресса. Уже выросло поколение, вскормленное консервами второго порядка. Для них эти звуки так же естественны и желанны, как для меняя «Рикенбеккер», включенный в «Вокс», а для моего отца – хор саксофонов Гленна Миллера. Они усовершенствуют компьютеры, и я даже не могу представить себе, что будет у них в арсенале лет через десять. Все идет своим чередом, и, видимо, слава богу.

И все-таки, отрывая музыку от живых рук и губ, живого пульса и живого сердца, мы что-то убиваем в ней. И если мы видим, как человечество становится на наших глазах циничней, жестче и инфантильней одновременно, – боюсь, тут не без консервов.

> Думал, сейчас, почти двадцать лет спустя, что-нибудь добавлю по этому поводу. Нечего добавить. Ничего за эти двадцать лет не изменилось. А если взять такой же отрезок времени, скажем, с конца пятидесятых по конец семидесятых – сколько цветов и плодов дало дерево рок-н-ролла, сколько было сделано открытий, сколько направлений родилось, сменило друг друга и успело устареть! И как же нам повезло – мы застали эту эпоху молодыми! Вряд ли я бы взялся за гитару, если бы сегодня мне было шестнадцать лет.

Может сложиться впечатление, что воспитал меня исключительно отец. Это совсем не так. Воспитывала меня как раз мама.

Мама была удивительно красивой женщиной. (Странно, что мы всю жизнь помним родителей как бы в одном возрасте, а ведь, когда мы родились, они были молодые.) Мама была очень красивой, но никогда не была модницей, не пользовалась косметикой и, по-моему, всю жизнь проходила с одной прической. Однажды отец привез ей из какой-то заграницы тушь для ресниц. Мама попробовала ее на себе. Моя маленькая сестра расплакалась: «Мама, у тебя звериные глаза!» Больше мама не красилась.

Сколько я ее помню, она все время волновалась. Волновалась, что я не поел. Волновалась, что я заболею.

Поскольку она была медик, волнения по поводу всевозможных болезней усиливались многократно. Сколько она

таскала меня по своим знакомым врачам-специалистам! Как же я это ненавидел! Она все время волновалась, что опоздает, поэтому все время опаздывала.

Ее призвание было – заботиться и помогать всем. Доходило это до абсурда. Чем дальше от нее был человек и чем пустяковее была причина, тем больше она переживала. Она могла не спать ночь из-за того, что племянник ее дальней знакомой не поступил в музыкальную школу, и думать – с кем бы поговорить и как все устроить. Причем сама дальняя знакомая при этом переживала значительно меньше или не переживала вообще.

Бороться в этом смысле с мамой было бесполезно. Ее энергии хватало на огромное количество людей. Она постоянно несла кому-то коробки конфет, кому-то звонила и просила принять такого-то, кого-то устраивала к какому-то врачу. Все это являлось абсолютно бескорыстной потребностью ее организма.

Несмотря на широкий охват, мне доставалось в первую очередь. Я жил под градом забот и беспокойств. Это не могло не утомлять. Отец втайне сочувствовал мне, и, конечно, я подсознательно искал у него защиты. Мама была запретительным органом, а отец – разрешительным.

Когда мне исполнилось лет четырнадцать и я, как мне казалось, получил в силу этого право на некоторую самостоятельность, мы иногда страшно ругались. Вернее, ругалась мама. Я молча копил злобу.

«А ты почему молчишь?» – кричала мама отцу. Отец мрачно просил не расстраивать маму. Понятно было, что это его беспокоит больше, чем сам факт моего поведения. Пару раз я уходил из дома (ненадолго – на день-два). Символом примирения у нас в семье была шарлотка. Мама ее замечательно пекла. (Пожалуй, это было единственное, что у нее получалось вкусно.) Если я, уйдя в слезах из дома и намотавшись по Стриту, друзьям и вокзалам, возвращался усталый и немытый домой поздно ночью и видел на столе шарлотку, любовно накрытую сверху полотенцем, – я понимал, что меня простили. Мама очень быстро отходила.

Еще позже, когда у «Машины» начались проблемы с советской властью, мамина боязнь за меня перешла все границы. Отец, конечно, тоже переживал, но не подавал виду, чем очень меня поддерживал. Казалось бы, логичнее было попросить меня бросить к чертовой матери эту антисоветскую музыку. Но, во-вторых, это бы ни к чему не привело. А во-первых – это маме и в голову не приходило.

Моя комната была единственным и постоянным местом, где мы собирались, сидели, репетировали, выпивали и даже вступали

в мимолетные сожительства с девушками. И мама заботилась о каждом, как обо мне, все время несла нам какую-то еду. Девушек, правда, не одобряла. Но исключительно с медицинской точки зрения. Она изо всех сил старалась сгладить углы в отношениях «Машины» и совка, не понимая, что это невозможно. Ей казалось, что стоит убрать из программы песню про дураков и про марионеток, и нас перестанут вязать и все станет хорошо. А поскольку она по опыту знала, что разговаривать со мной на эту тему бессмысленно и все опять кончится скандалом, она прибегала к эпистолярному жанру.

Я возвращался домой, как обычно, ночью и находил на столе записку на трех листах. Начиналась она с того, что я, негодяй, опять пришел под утро и когда все это кончится, потом – где суп и котлеты и чтоб я все съел, и потом – о ужас! – заботливо составленная программа выступления «Машины времени» на завтрашнем сейшене с убедительной просьбой не петь того-то и того-то – есть масса других хороших песен. Записке нельзя было ответить, и я бесился в пустоту.

Возможно, из-за этой своей безумной переживательности мама заболела раком. Очень рано – ей еще не было шестидесяти. Поскольку она сама была медик, скрывать что-либо не имело смысла, и все происходило медленно и непоправимо. Нам доставали импортные лекарства (это тогда еще было непросто), мама пила то отвары из трав, то специально очищенный керосин, я даже приводил какого-то экстрасенса, у которого под пиджаком проступали гэбэшные погоны, – ничего не помогало. За несколько дней до смерти мама написала мне и сестре записки – кому из ее знакомых врачей звонить, если заболит зуб, кому – если горло, кому – если, не дай бог, сердце. Это было ее завещание.

Ужасное, незабываемое воспоминание детства. Мы с мамой едем в метро – наверно, к очередному врачу – показывать меня. Внезапно мама открывает сумочку, достает оттуда какую-то маленькую бумажку, складывает ее вчетверо и сует мне: «Немедленно почисти ногти! Они у тебя черные!» Ногти у меня действительно черные. Я жутко краснею: «Мама, все смотрят!» – «Да прекрати, никто на тебя не смотрит!»

Отец после смерти матери сразу очень сдал, постарел как-то внутри. Перестал по утрам играть на пианино. А потом жизнь стала постепенно уходить из него. Два раза я видел его ожившим – когда мы с ним перебирали и рассматривали его старые картинки и когда мне удалось вытащить его на концерт Рея Чарльза. Я все время мотался по гастролям, видел отца редко, и

ухаживала за ним моя дорогая младшая сестра.

В день, когда отец умер, я находился в Египте. В доме у меня тогда оставался мой киевский друг по имени Гриц. Когда я вернулся, он рассказал мне, что в день смерти отца (Гриц ничего об этом не знал) в дом вошла синица, походила по кухне, по гостиной, влетела в мою мастерскую, посидела на столе и вышла (не улетела, а вышла) через дверь. Гриц говорил, что не видел такого никогда в жизни – как будто она искала что-то.

Я прилетел из Египта, и мы похоронили отца. Не скажу, что народа было безумно много – несколько преподавателей из института, несколько бывших студентов, несколько старых друзей, родственники, ближние и дальние, с которыми встречаешься исключительно на похоронах.

Через несколько дней я заехал в офис «Синтез рекордс» к Саше Кутикову. Стоял жаркий летний день, Кутиков сидел за столом, как и подобает президенту компании, окна и двери на балкон были широко раскрыты, а за спиной у Саши на книжной полке сидела изумительно желтая канарейка. Это выглядело так естественно, что я даже сначала подумал – Кутиков завел домашнюю птицу, и мы с ним какое-то время говорили о делах, а канарейка все сидела неподвижно, и тогда я сказал: «Какая у тебя красивая птичка».

«Какая птичка?» – удивился Саня.

Я показал на полку. Саня удивился еще больше и протянул к ней руку. Канарейка спокойно взлетела и пересела на окно. Она производила впечатление ручной. Мы накрошили ей печенья на подоконник, она вежливо склевала несколько крошек, внимательно посмотрела на нас по очереди и упорхнула в небо.

Был девятый день.

2000–2001

Всё очень просто

Несколько раз в своей жизни я видел один и тот же сон. Суть его заключалась в том, что я должен был куда-то попасть, где меня ждали. По пути возникали разные бытовые сложности, я задерживался то тут, то там и в результате опаздывал, но как-то очень сильно – скажем, на целый день, – и приходил, когда никого уже нет, свет притушен, стулья перевернуты и уборщица моет пол. Не знаю почему, но более острого чувства потери я не испытывал потом уже никогда.

Собственно, до «Машины времени» ансамбль назывался «The Kids», а до этого он вообще никак не назывался, и все происходило не сразу. По-настоящему все началось, когда я услышал битлов. Я вернулся из школы в тот момент, когда отец переписывал «Hard day's night», взятый у соседа, на маленький магнитофон «Филипс». Какие-то обрывки битлов я слышал и раньше, где-то в гостях. Крохотный кусочек их концерта (секунд пять) звучал по телевидению, демонстрируя тем самым, как низко пала буржуазная культура. В классе по рукам ходила фотка битлов, несколько раз переснятая, затертая и потрескавшаяся, как старая икона, и уже невозможно было понять, кто на ней кто, но магия от нее исходила.

Так вот, я вернулся домой, и отец переписывал «Hard day's night». Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, а тут ее вдруг вынули. Я просто физически ощущал, как что-то внутри меня ворочается, двигается, меняется необратимо. Начались дни битлов. Битлы слушались с утра до вечера. Утром, перед школой, потом сразу после и вплоть до отбоя. В воскресенье битлы слушались весь день. Иногда измученные битлами родители выгоняли меня на балкон вместе с магнитофоном, и тогда я делал звук на полную, чтобы все вокруг тоже слушали битлов. Сейчас, когда я вижу, как на чьем-то окне стоит динамик и на всю улицу гремит «Наутилус», я заставляю себя вспоминать, что то же самое я делал с битлами – очень уж хотелось этот праздник подарить всем, в голову не приходило, что это кому-то не понравится. А может быть, наше подсознание таким образом ставило маяки, ища в пространстве братьев по духу. Братья по духу не замедлили появиться.

Незадолго до этого в наш класс пришли двое новеньких. Юра Борзов скромным своим видом и тихим поведением полностью разрушал мое представление о генеральском сыне (мы знали, что папа у него большой военачальник). Голос его мы впервые

услышали несколько дней спустя, на перемене, когда шла оживленная дискуссия на тему, может ли человек разорвать кошку. Спор, естественно, носил чисто теоретический и отвлеченный характер, самые разнообразные аргументы приводились и за, и против. Юра некоторое время слушал, склонив голову, затем вдруг тихо и твердо сказал: «Ребята, не спорьте. Кошку разорвать нельзя». «А ты, что ли, пробовал?» – съязвил я в запале. «Пробовал», – просто ответил он и отошел, опустив ресницы. Так мы познакомились. Позже я познакомился и с его кошкой Марфой, и с трактиром «Не рыдай», но это уже было позже. А пока выяснилось, что Юра – битломан. Но если я битломан, то он – битломан в квадрате, в кубе, не знаю, в чем еще. Мы подружились.

Второй новенький был Игорь Мазаев. Он пришел к нам из интерната и выглядел гораздо самостоятельнее нас. Усугублялось это тем, что у него густо росла борода совершенно золотого цвета, что приводило в смущение учителей, но так как запрета носить бороду в восьмом классе не существует, никто ничего ему сделать не мог. Даже сказать «побрейтесь» язык, видимо, не поворачивался. Мазай играл на гитаре и пел русские романсы. Идея группы висела в воздухе.

Собственно, ансамбль у меня уже был. Состоял он из двух гитар, и две девочки пели англо-американские народные песни. Но это была не та группа, которую рисовало воображение. В десятом классе, на год старше нас, тоже была группа. Но там была именно группа, а не какой-то ансамбль – три электрогитары, барабаны, никаких девочек. Покровительствовала им учительница физики Тамара Васильевна, или попросту Тамара, и благодаря ей им разрешали выступать на школьных вечерах. Играли они инструментальные пьесы на темы Бабаджаняна и битлов в стиле «Ventures». Однажды на вечере их бас-гитарист не выдержал и запел «Twist and Shout». Жилы на его шее надулись, глаза налились кровью, но голос не мог прорваться сквозь стену гитар и гром пионерского барабана. Это было страшно. Вечер закрыли.

Событие, заставившее меня расстаться с женской вокальной группой, случилось на праздновании Нового, 1969 года, в той же школе. На новогоднем вечере для старшеклассников должна была играть группа «Атланты»!

До этого мы ни разу не слышали рок живьем, из-за этого происходила масса недоразумений. Например, мой магнитофончик «Филипс» (чудо техники по тем временам) обладал крохотным динамиком, годным разве что для воспроизведения речи, и низкие частоты отсутствовали напрочь,

поэтому я долго не мог понять, какова функция бас-гитары – ее просто не было слышно, – и строил на этот счет самые невероятные предположения. Юрка Борзов как-то заметил, что большой барабан, конечно, хорош для написания названия на нем, но функционально очень неудобен, так как палочками к нему дотянуться сложно. Я оказался более подкован и объяснил ему, что там сзади такая специальная педаль. Борзов был потрясен.

И вот долгожданный вечер. Зал на третьем этаже. Вопль внизу: «Приехали!» Высокие волосатые люди вносят огромный усилитель ТУ-100, напоминающий деталь с подводной лодки. У него водяное охлаждение, и я бегу показывать, где туалет. Туда тянут кишку. Группа лениво и снисходительно настраивается, и впервые в жизни я слышу звук бас-гитары. Он сметает меня к стене, и я чувствую, как шерсть на загривке встает дыбом. Так вот в чем дело! А мы-то, дураки…

«Атланты» одеты в черные битловские костюмы, у них органола «Юность», гитара «Фрамус» с четырьмя звукоснимателями (лучше, чем у битлов! – в ужасе думаю я, у тех всего три!). И только барабанщик, певец и руководитель Алик Сикорский одет не по форме – он в драных вельветовых портках и ковбойке. Он шикарно проходит через зал, садится за барабаны, дает отсчет, и…

Пожалуй, вот этого божественного экстаза, этого животного восторга я уже больше никогда не испытывал. Мы бросились в пляс. Мы выделывали какие-то невероятные па. Волны звука проходили сквозь нас, как электричество, и мы резонировали в ответ. Если бы я тогда был знаком с буддизмом, я бы, наверно, вылетел в астрал.

В антракте мы набрались смелости и попросили «Атлантов» дать нам сыграть пару песенок на их волшебных гитарах. «Атланты» поинтересовались нашим репертуаром. Наивные девушки-певицы, не ожидая подвоха, стали перечислять песни. «Атланты» ухмылялись. Я готов был сгореть со стыда. Внезапно подошел Сикорский, прекратил издевательства и поинтересовался, кто у нас на чем. Узнав, что у нас нет бас-гитары, он страшно удивился и сказал: «Без баса, ребята, у вас ничего не выйдет. Ну ладно, повернись ко мне грифом, я подыграю». Я согнулся под тяжестью «Фрамуса». Сам Сикорский подыгрывал мне на бас-гитаре!

Мои неверные аккорды у меня за спиной превращались в мощный, бриллиантовый, невообразимый звук, и я чувствовал, как он бьет меня сзади и, огибая, улетает в зал. Думаю, что играли мы ужасно. Одноклассники смотрели на нас сочувственно.

Но жизненный выбор был сделан. Сейчас я часто думаю, насколько наша судьба зависит от каких-то, в общем, мелочей. Алик ведь мог и не дать нам сыграть.

Юрка Борзов приходил в понедельник в школу и, мечтательно полузакрыв глаза, вещал: «У Японца – все японское. Вчера был у него дома, там лежит настоящая японская электрогитара и настоящий усилитель».

Японец – Юркин друг детства. Его зовут Сережа, японец он только наполовину, и я с ним незнаком. Он учится в другой школе.

Надо сказать, по гитарам мы к тому моменту уже довольно круто поднялись – мне удалось выставить своих родителей на отечественный инструмент ценой, как сейчас помню, в 35 р. (Кстати, попробуйте хотя бы вообразить сегодня электрогитару за 35 р.) На второй такой же гитаре стояли четыре виолончельные струны (мое скромное изобретение) и своим мягким звуком отдаленно напоминали бас.

> Поразительно – Пол МакКартни рассказывал, как в этом же возрасте он с помощью плоскогубцев тайком выдирал из школьного пианино басовые струны – чтобы поставить на самодельную бас-гитару! Мы-то думали, что там, у них, все всегда было! Ни фига – оказывается, во всем мире рок-н-ролл рождался одинаково и все его бойцы проходили через одни и те же испытания – разве что мы с опозданием лет в пять. Когда я прочитал, как Кейт Ричардс надвязывал порвавшиеся струны у колков, если длина позволяла – а где было взять новые и на какие шиши? – я просто ахнул – мы все делали то же самое! А вот самое смешное: советская власть воспринимала рок-н-ролл как западную идеологическую диверсию, а в это же время английский истеблишмент усматривал в битлах элементы пролетарско-коммунистической пропаганды! Каково?

Уже позади был период самодельных электрогитар – чудовищных порождений больного детского разума и незрелой конструкторской мысли. Я, например, долго не мог понять, что расстояние от начала грифа до порожка (говоря профессиональным языком – мензура) должно быть определенным, поэтому первые мои гитары играли в совершенно неожиданных и произвольных ладах.

С барабанами обстояло хуже. Пионерский барабан, купленный в «Детском мире» (12 р)., и тарелка от хэта, купленная

там же (7 р)., как художественные средства себя изжили. И тут случилось чудо – я прослышал, что у наших шефов – какого-то завода – лежит списанная ударная установка. Мы рванули к шефам, и – о радость! – все оказалось правдой. Думаю, что эти барабаны оставили при отступлении немцы. Я таких не видел ни до, ни после. На них была натянута настоящая бычья кожа, а размеры их просто потрясали воображение. Мы возвращались в школу пешком и несли барабаны на руках, как детей. По-моему, даже что-то пели при этом. Это было счастье.

Так вот, при всем этом я, конечно, понимал, какая бездонная пропасть отделяет наши инструменты от настоящих. Настоящие инструменты возможно было увидеть в двух местах – в магазине «Лейпциг» и на Неглинке, если не в самом магазине, то около него. Там располагалась биржа подпольной торговли дефицитным музоборудованием.

И сейчас еще, проходя мимо магазина на Неглинной, я вижу каких-то опустившихся личностей, уныло пытающихся выдать сомнительный оберточный полиэтилен за японский барабанный пластик. Это последние динозавры, последние останки той волшебной эпохи, когда Неглинка цвела. Кого там только можно было не увидеть, что только не услышать, чего только не достать!

Я приходил туда и, не дыша, ждал момента, когда хоть краем глаза удастся взглянуть на какую-нибудь головокружительную гитару в руках лихого фарцовщика. Конечно, купить я ничего не мог.

Однажды меня крепко приложили. Когда вокруг очередного инструмента собралась плотная кучка знатоков, я протиснулся в эпицентр и слабым голосом поинтересовался, сколько стоит гитара. Ответ «шестьдесят рублей» чуть не сшиб меня с ног, и я уже принялся умолять продавца, чтобы он подождал минут двадцать, пока я слетаю домой за деньгами, – и тут я увидел ухмыляющиеся морды и понял, что со мной нехорошо пошутили. «Иди-иди, мальчик, тут люди делами занимаются». Я ушел, глотая слезы, и долго потом там не появлялся. Я вообще был ранимым юношей.

Но гитары – это еще полбеды. Гитары ведь еще надо во что-то включать. На репетициях для этой цели использовались приемник «Спидола», магнитофон «Айдас», радиола «Эстония».

> Вот опять! Кейт Ричардс записывал «Jumpin’ Jack Flash», включив гитару в микрофонный вход магнитофона. А сколько магнитофонов и радиоприемников мы пожгли таким образом! Настоящие усилители (нет, сначала самодельные!) появились в

природе позже.

На наш первый концерт в школе завхоз с потрясающим именем Федор Федотович Федоткин сделал царский жест – выкатил динамики от школьной киноустановки «Кинап». Это было необыкновенно громко – ватт 30! Звук поднимал нас от пола, я чувствовал, как за спиной растут крылья. Обернувшись на нашего ритм-гитариста Шурика Иванова, я увидел, что его белая гитара вся в крови – он, видимо, играя, рассадил себе палец, но, ничего не замечая, продолжал рубить по струнам неистово, как дровосек. Так вот, на этот наш концерт Юрка, оказывается, пригласил легендарного Японца. Мы познакомились. У Японца оказалась огромная голова, почти в ширину плеч, и непосредственные манеры. Концерт ему понравился.

На следующий день я болел. (Надо сказать, что с момента рождения группы я как-то вообще разлюбил ежедневное хождение в школу.) Итак, я болел дома. Мне позвонил Сережа Японец и сказал, что, раз так, он завтра тоже заболеет и приедет ко мне с японскими гитарами и усилителями. Вообще было такое впечатление, что мы знакомы десять лет.

Не надо, наверно, говорить, как я ждал наступления завтрашнего дня. И вот звонок, и в дверь вваливается Японец, навьюченный гитарами, проводами и чем-то еще. Я довольно долго держал в руках гитару, пока понял, что я не дышу. Дело в том, что и сейчас хороший инструмент производит на меня впечатление, а в те времена эти гитары выглядели как корабли с Марса.

> Сейчас я понимаю, что настоящая электрогитара вызывала в неокрепших юных душах чувство, близкое к сексуальному, но превосходящее его по силе. Позже многие гитаристы мне тайком в этом признавались. Я, например, ложась спать, часто клал гитару рядом с собой – ничего не мог поделать со своим обожанием.

Маленький десятиваттный усилитель был включен в сеть, и я впервые услышал тот самый звук, из которого сотканы битловские песни. Это был совсем не тот звук, который мы извлекали из наших топором рубленных гитар и радиол «Эстония». Это был тот магический звук, который можно было извлекать и самому же слушать бесконечно. Мы пробренчали до девяти вечера. Сейчас меня поражает, что мой отец просидел все это время в одной комнате с нами за каким-то своим проектом спиной к нам и не сказал нам ни слова. Уверен, что никакой другой нормальный человек эту пытку вынести бы не смог.

Наутро мы начали репетицию на новых инструментах и в новом составе – у нас появился Сережа Кавагое. Он пока ни на чем не играл, но это было неважно – в конце концов, то, чем занимались мы, игрой тоже назвать было трудно.

Сейчас я иногда размышляю о природе битломании и о всякой мании вообще.

Я считаю себя нормальным человеком (а мания и нормальность, мне кажется, – вещи несовместимые), никогда ни у кого не взял автографа, не видя ничего магического в клочке бумаги с закорючкой, всегда побаивался фанатов (в том числе и наших) – так вот, я и все мы несколько лет подряд были битломанами.

Я и сейчас считаю эту команду лучшей, но это уже отголоски невероятного, космического, неуправляемого чувства тех времен.

Каждая новая песня битлов, попадая в наши руки, прослушивалась несколько раз в священном молчании. Не надо говорить, что все предыдущие были к этому моменту уже известны наизусть и тихо пелись на уроках. Что там наизусть! Я мог, закрыв глаза, проиграть в памяти любой альбом с точностью до царапинки, до пылинки. Песни каждого альбома имели свой цвет: например, с «Hard day's night» – малиново-синий, с «Rubber soul» – лимонно-белый, с «Сержанта» – прозрачно-черный. Говорить об этом можно было до бесконечности.

Тетради, учебники, портфели, детали одежды и открытые участки тела были изрисованы гитарами, битлами и исписаны названиями их песен. Что-то недосягаемое, непреодолимо-манящее содержалось в самой форме электрогитары, в битловских водолазках, в их прическах.

В этом смысле я оказался самым несчастным из нашей команды – волосы кучерявились и никак не хотели принимать гладкий битловский вид. Для преодоления этого «дара» природы голова слегка мылилась, затем сверху надевалась резиновая шапочка, и все это оставлялось на ночь. Других способов не существовало. Не знаю, как я не облысел. Степень битловости определялась степенью закрытости ушей волосами – если на две трети, то это уже было по-битловски.

У каждого из нас дома в красном углу стоял алтарь, на котором располагались пластилиновые битлы, как правило, в «сержантских» костюмах. Особое удовольствие доставляло выделывать крошечные гитары, барабаны и усилители. В этот угол каждый из нас обращал заветные молитвы, мечты и чаяния.

Я уж не говорю о том, что некоторые песни обладали чудодейственным свойством – например, перед походом на

экзамен следовало, стоя навытяжку, прослушать «Help!» или второе исполнение «Sergeant Pepper», и волшебная сила хранила тебя от неудачи.

Каждое новое сведение о битлах воспринималось как откровение, каждая фотография обсасывалась до ниток, которыми были пришиты пуговицы на их костюмах.

Какой-то наш приятель сказал, что папа его ездил в Англию, а там по телевизору показывали «Help!», и папа снял это дело на любительскую камеру. Ко мне домой приволокли проектор 2х8 мм, без звука, естественно, и я впервые увидел живых битлов. Я чуть не умер от разрыва сердца. И совершенно было неважно, что каждые 20 секунд папе приятеля приходилось прерывать показ, чтобы завести камеру – электрических тогда еще, по-моему, не было, – и поэтому волшебное действо непоправимо разрушалось. И неважно, что не было звука, – мы угадывали песни по аккордам, по губам, и они звучали в наших головах. Не знаю, что произошло бы с нами, если бы тогда нам показали это кино со звуком, цветом и в полном объеме. Фортуна распорядилась так, что мы получили именно такой удар, который могли выдержать.

Спустя несколько лет, когда наша психика уже достаточно огрубела и закалилась, случился в Москве, не знаю уж каким образом, фестиваль зарубежных мультфильмов. Проходил он в кинотеатре «Звездный», и в списке значился фильм с названием «Желтая подводная лодка». Мы не верили чуду до последнего момента, но, сбежав с занятий, на всякий случай отстояли очередь и купили билеты. Мы, конечно, слышали об этом фильме и видели картинки из него в разных журналах, но все равно ну никак не верилось, что покажут его у нас. Гас в зале свет, и я ужасно волновался. И когда с первых секунд стало ясно, что фильм тот, – мы впились в экран, как клещи.

Ребята! Вы видели этот фильм на большом экране? Это, между прочим, даже сейчас выглядит блестяще. А тогда это была волшебная дверца, приоткрывшаяся на час в иной мир. Мы вышли на улицу, шел дождь. Я не мог отделаться от ощущения, что после настоящей жизни мы попали в черно-белый телевизор. Не глядя друг другу в глаза, мы дошли до магазина, купили бутылку какого-то жуткого ликера и, зайдя в первый подъезд, выпили его залпом и в полной тишине. Мы просто спасали себя. Нужно было срочно хоть каким-то способом смягчить силу этого удара. Сегодня «Yellow Submarine» стоит у меня на полке среди прочих хороших фильмов, и я уже знаю его наизусть и все равно смотрю с удовольствием, и самый для меня большой праздник – если оказывается, что кто-то из моих друзей его до сих пор не видел, и

я смотрю его еще раз вместе с ним, и смотрю как бы его глазами. И все равно силу того удара мне уже никогда не ощутить.

> Странно, что сами битлы были не в восторге от фильма. Я отношу это на счет того, что дело было в конце 1968 года, в воздухе уже попахивало разводом и, видимо, не до кино им было. А фильм задал стилистику всей поп-культуре на несколько лет вперед – он очень изобретательно и лихо нарисован.

Сейчас я задаю себе вопрос: оставались ли мы при всем том, что с нами происходило, нормальными людьми? Хочется ответить «да». Хотя – я не знаю. Во всяком случае, заряд битловской энергии, полученный в те годы, ведет нас по жизни до сих пор.

Итак, дело сдвинулось с мертвой точки. Девочки-певуньи были уволены (по настоянию Японца), и началась настоящая мужская работа.

Японец оказался необычайно деятельным и крайне непоседливым человеком. Почти сразу же пошли разногласия. Отчасти, наверно, это вызывалось тем, что Сереже не на чем было играть. Он со дня на день ждал посылки от японских родственников – бас-гитару и усилитель – и томился безмерно.

Серьезный спор вышел по поводу репертуара. Японец с Борзовым настаивали на песнях битлов, я же, чувствуя, сколь безнадежно далеки наши потуги от оригинала, предлагал не заниматься святотатством и исполнять произведения менее известных авторов (я к тому времени неплохо знал американский и английский фолк). Случился раскол. Мазай, Японец и Борзов решили создать другую команду в стенах 20-й школы, где, собственно, Японец и учился.

Буквально через два дня после раскола грянул гром – Японцу привезли какой-то неимоверный усилитель и электроорган! Беспредельно унижаясь, я умолил Борзова попросить Японца разрешить мне хотя бы взглянуть на это чудо. Японец дал добро, и мы поехали к нему домой на Университетский.

Я предполагал, что усилитель будет большой и мощный, но такого просто не ожидал. Величиной он оказался не меньше тумбочки, весь сверкал никелем, огоньками и почему-то походил на могучего наглого кабана. Над ним матово светились клавиши органа. Я взял несколько аккордов.

За двадцать лет со всеми нами (и вами) произошел необратимый процесс – мы познакомились с тем, что называется качественным звуком. Плеер с наушниками, хорошие колонки, неимоверно выросшее качество записи – все это с детства

приучает нас к себе. Тогда же мы, играя через «Спидолы» и прочие мыльницы, слушая битлов на проигрывателе «Юность» – модификации довоенного патефона, – только догадывались, каким должен быть звук. И неожиданное столкновение с ним могло обернуться шоком.

Казалось, что орган из храма пришел в эту комнату и заполнил ее всю густым божественным тоном. Я потерял способность говорить. Ребята вежливо дали мне понять, что вообще-то у них репетиция, так что я шел домой пешком, и мне было очень плохо.

Однако прошло совсем немного времени, и меня как бы невзначай пригласили на репетицию в 20-ю школу. К этому моменту команда Японца обрела мощное название – «Дюрапонские паровики». Группа репетировала на сцене актового зала. Школа дрожала от зарубежных звуков. На лицах ребят светилось наслаждение, граничащее с эротическим. Только Японец, живший на клавиши органа, выглядел недовольным – он был убежден, что орган не битловский, а стало быть, и не рок-н-ролльный инструмент, и проклинал в душе незадачливого японского родственника, спутавшего орган с бас-гитарой.

По барабанам лупил идеолог группы и хулиган Комарик. Барабаны были общие с группой из 4-й школы и ездили туда-сюда. (Группа 4-й школы имела уникальный состав: Алик Микоян – Стасик Микоян – Гриша Орджоникидзе).

Из гитары извлекал звуки могучий человек по прозвищу Кайзер. Происходило это следующим образом: общими усилиями пальцы левой руки устанавливались на гриф в подобие аккорда, после чего он был в состоянии передвигать эту фигуру вверх и вниз по грифу, стараясь не сместить пальцы относительно друг друга. Таким путем удавалось исполнить две пьесы – «House of the Rising Sun» и «Steppin Stone». Собственно, они и составляли репертуар коллектива. Произведения не получалось доиграть до конца, так как Кайзер входил в экстаз, вследствие чего хрупкая конструкция из его пальцев рассыпалась, и аккорд приходилось устанавливать вновь. Я понял, что, несмотря на общий пафос, дела группы плоховаты. Еще через несколько дней Японец, Мазай и Борзов вернулись в лоно «Машины».

Уже через две недели мы записывали свой первый альбом «Time Machines». Да-да, группа впервые годы называлась не «Машина», а «Машины времени» – потому что «Beatles», «Monkees», «Rolling Stones» – все это названия во множественном числе (так же, кстати, как и «Поющие гитары», «Скоморохи», «Мифы», «Миражи» и т. д.). И только в 1973 году непонятливый наш народ переделал нас таки в «Машину времени».

Так вот, альбом состоял из одиннадцати песен на английском языке (но написанных нами) и по построению полностью соответствовал битловскому «Сержанту» – начиналось все с гимна «Time Machines», на второй стороне следовало второе проведение гимна, но в иной аранжировке. Техника записи сложностью не отличалась – в центре комнаты стоял магнитофон с микрофоном, а мы расставляли себя в зависимости от требуемого баланса ближе или дальше от него. Поющий – впритык, он же и нажимал кнопку «запись», подпевающие – за его спиной, потом располагались гитарные усилители и барабаны. Если что-то не получалось, песня исполнялась снова. Мы писались весь день до вечера, записали все, и я сорвал голос.

> Ох, остались какие-то обрывки! И Кутиков, по-моему, даже вставил их в сборник «Неизданное» (а он, в свою очередь, входил в «Антологию» «Машины»). Это невероятно трогательно и смешно – мальчики так хотят быть битлами!

Закончился первый выездной концерт в школе № 4. За концерт предложили 40 рублей, и мы чуть не поссорились – я считал, что за настоящее искусство деньги брать стыдно.

> «Rolling Stones» на заре своей карьеры позиционировали себя как некоммерческую группу, играющую блюз, и категорически не рвались в поп-музыку. Тогдашний их менеджер Энди Олдхэм настоятельно порекомендовал им заработать миллион на рок-н-ролле, а потом играть любимый блюз хоть до конца жизни (сам Энди заработал свой первый миллион в девятнадцать лет). Ребята подумали и согласились.

В конце концов ребята убедили меня, что деньги пойдут не на портвейн, а на приобретение аппаратуры, и я сдался. Была заведена деревянная коробочка из-под гаванских сигар для содержания общей кассы, прослужила эта коробочка нам удивительно долго.

Концерт прошел хорошо, с подъемом. Правда, когда все закончилось и мы, пьяные от счастья, двигались по пустырю от школы к магистрали, неся на себе все наше нехитрое снаряжение, нас окружили и здорово побили. К счастью, хулиганы тогда еще не разбирались в музыкальных инструментах и, кроме шарфика Мазая, ничего не пропало.

Между тем школа подходила к концу.

Пресловутых стиляг, коктейль-холлов и борьбы с джазом мы

практически не застали. К семидесятому году мир заполонили хиппи. Статья в журнале «Вокруг света» открыла нам глаза на истину. Называлась эта статья «Хождение в Хиппляндию». Мы с Борзовым выписывали оттуда цитаты, где хиппи провозглашали свою программу (я, например, помнил все наизусть). Платформа хиппи была принята безоговорочно.

Масла в огонь подлила история, когда одного десятиклассника собирались исключить из комсомола за длинные волосы. У него безуспешно пытались выяснить, против чего он протестует, будучи советским комсомольцем, и что хочет доказать. Он виновато молчал, и праведному гневу комсомольских активистов не обо что было биться. Румяные активисты выглядели отвратительно.

Мы с утроенной силой принялись растить волосы. Мы просто тужились, пытаясь ускорить этот процесс, и с отчаянием глядели в зеркало по утрам. Волосы не могли расти быстрее отпущенного природой срока. (За полгода до этого, доведенные до отчаяния придирками педагогов к нашим битловским прическам и будучи удаленными за них с урока, мы отправились в парикмахерскую и побрились наголо. Это была первая сознательная демонстрация. Получилось эффектно, но, увы, не хиппово.)

И вообще школа для нас доживала последние дни, мы уже одной ногой ступили во взрослый мир, где гулял пьянящий ветер свободы. Там по Стриту ходили люди с волосами до плеч, подметая асфальт неимоверными клешами. Общими усилиями мне были построены первые клеша. Надо сказать, что до этого момента я рос абсолютно безразличным к своей одежде. У нас в семье как-то так повелось. Но тут дело было не в моде – клеша являли собой знак отличия, удостоверение кастовой принадлежности, и, конечно, я придавал этому соответствующее значение. И вообще, нельзя было играть рок-н-ролл в школьной форме.

> Сейчас это звучит диковато, но многие музыканты тех волшебных лет (да чего там многие – почти все!) очень лихо шили. А что было делать? Нет, не о красоте думали мы тогда – это была ковка боевых доспехов, в которых солдаты рок-н-ролла совершали вылазки в недружественный серый мир совка. Поэтому клеша шили мальчики. К тому же для многих это становилось неплохим приработком.

Штаны мне сшила Света, жена хиппового художника Саши. Жили они на Щербаковской, имели непосредственное отношение к системе, что поднимало их в моих глазах на недосягаемую

высоту. В их квартире, расписанной цветами и пацификами, все время ютились какие-то хиппи: кто-то ночевал, кто-то играл на гитаре, кто-то вещал о буддизме. Это выглядело как настоящая коммуна.

Штаны мои были сшиты из яично-желтого вельвета. От того места, где ноги раздваиваются, они поднимались по телу сантиметров на семь, не более (говоря профессиональным портняжным языком, имели очень низкий пояс). Клеш я просил делать не безумно большой (я все-таки робел), и мы остановились на 30 сантиметрах. Очень хорошо помню, как я шел в этих штанах домой. Сверху их дополняла вельветовая же черная рубаха, из-под которой виднелась (опять же!) желтая водолазка – намек на принадлежность к миру битловской музыки.

Ярко светило солнце. Я нес штаны как знамя, замирая от гордости, восторженно ощущая спиной суровые взгляды прохожих. Штаны подвели черту, разделив меня и их. Зато любой хиппи с Пушки или из Трубы мог обратиться ко мне как к брату. Штаны открывали дверь в другой мир.

Отечественные хиппи бродили по центру Москвы, сидели у памятника Пушкину, толклись в подземных переходах. Помню, тогда я часто думал, сильно ли они отличаются от своих западных собратьев. Сейчас, поездив по миру, с уверенностью могу сказать – ничем не отличались. Это была абсолютно интернациональная волна. Хипповая прослойка называла себя системой. В системе знали друг друга почти все. Правда, постоянно возникали ходоки то из Ленинграда, то из Прибалтики. Помню громкие имена – Юра Солнце, Сережа Сержант (не армии, разумеется, а Сержант Пеппер!). Я не входил в систему – у меня просто не было на это времени, но духом я был с ними. К вечеру система начинала кучковаться, выяснять, на чьем флэту сегодня тусовка (это, естественно, определялось отсутствием дома родителей, то есть парентов).

Однажды я пригласил такую бригаду к себе на флэт. Собственно, сначала бригада была небольшая. Но радостные новости распространяются в системе очень быстро, и, пока мы шли вниз по улице Горького (по Стриту) к метро «Проспект Мира» (к Трубе), наш отряд обрастал новыми бойцами и их подругами, так что мимо очумевшей лифтерши в моем подъезде уже протопало человек тридцать. В квартире тут же устроились на полу, заняв все пространство, и принялись курить, пить портвейн, слушать битлов и спать. Кончилось тем, что одна хипповая девочка спросила у меня, собираюсь ли я на этот флэт завтра, так как тут клево и по кайфу. У меня не повернулся язык сказать, что я, в общем, хозяин. Завтра приехали родители, и встреча не

состоялась.

Система мирно дожила до семьдесят первого года, и покончили с ней практически разом. Как-то на психодром (садик перед университетом) пришел милый молодой человек в штатском, честно представился сотрудником органов внутренней секреции и поведал, что есть идея – провести всем московским хиппи настоящую демонстрацию в защиту мира. Доверчивые хиппи с восторгом согласились, и акцию назначили на 1 июня – День защиты детей.

> Гарик Сукачев весьма достоверно отобразил эту печальную историю в своем фильме «Дом солнца». Разве что конную милицию для красоты добавил. На самом деле там без коней отлично управились.

Когда пестрая волосатая толпа с плакатами «Нет войне во Вьетнаме», «Мир во всем мире» и прочее заполнила скверик, со стороны улицы Герцена неожиданно появились автобусы, куда оперативно и без шума переместили всех демонстрантов. Далее их развезли по районным отделениям милиции, где кого-то постригли, кому-то дали в морду, кого-то посадили на несколько суток, кому-то вручили повестку с указанием прийти через три дня, так как посадочных мест на всех не хватило. В общем, недели через две все уже закончилось и вспоминалось как не очень страшный сон. Однако в личных делах задержанных появился маленький неприметный крестик.

Этот крестик оказался бомбой замедленного действия. И почти через год, перед приездом в Москву, кажется, Никсона, бомба сработала. Кто-то вдруг вылетел из института, да прямо под внеочередной набор в армию, кто-то лишился брони на работе (бронь эта ценилась очень высоко – в армию хиппи идти не хотели по убеждению). Так что в самолете, который нес новобранцев к месту исполнения священного долга – на советско-китайскую границу, – многие участники антивоенного митинга встретились вновь. Такая вот история.

Остается лишь добавить, что «Машина времени» весной 1971 года была погружена в ежедневные репетиции и мы просто не знали о намечающейся на 1 июня сходке. Поздно вечером, идя с репетиции, мы встретили уцелевшую стайку испуганных хиппарей, которые поведали нам о случившемся обломе. А скажи нам кто заранее – мы наверняка явились бы в назначенное место, и дальнейшие наши судьбы могли сложиться довольно причудливо.

Школа кончилась, и новая свободная хмельная

восхитительная жизнь распахнула передо мной двери Архитектурного института.

Все там было не так, все – лучше, чем в школе. Никто не косился на мои патлы, так как почти все студенты выглядели так же, лекции не шли ни в какое сравнение с постылыми уроками, отношения с преподавателями совсем не походили на схему «ученик – учитель» – они были просто дружескими. Абсолютно естественным считалось поболтать со своим педагогом в большой перерыв за бутылочкой пива – крестовый поход против спиртных напитков был еще за горами, поэтому никто не напивался. Пиво считалось привилегированным архитектурным напитком, и для употребления его имелось множество мест – от институтского буфета до Сандуновских бань и забегаловок с названиями «Полгоры», «Яма», «Зеленая гадина».

Но главным было, конечно, не пиво, а необыкновенно творческий, какой-то лицейский дух, который сегодня, увы, моим институтом в большой мере утерян. Мы ощущали себя молодыми, свободными и талантливыми. Мы спорили о достоинствах Корбюзье и Нимейера, ходили на этюды, рисовали гипс, и искусство было чем-то таким, что жило среди нас, и мы чувствовали его дыхание.

В институте к моему приходу уже имелось три группы. Первое место уверенно занимали «Вечные двигатели» во главе с обаятельным хулиганом Димой Папковым. Играли они громко, заводно и нахально. Их кумирами были «Rolling Stones». Вторая группа – «Мерцающие облака», – собственно, являла собой дуэт Леши Романова и Вити Кистанова. Они очень нежно и музыкально пели битловские песни – выходило, что называлось, «один к одному» – то, чего «Машина» никогда не могла добиться (может быть, именно это отчасти и заставило нас обратиться к собственным песням). Третья группа – «Акант» – почти не запомнилась. В них не было чего-то такого, что превращает ВИА в группу, – может быть, им просто не хватало нахальства.

Вместе с тремя этими командами и был устроен сейшн прямо в фойе родного МАРХИ. Я страшно волновался: предстояло заявить о себе с новой стороны – о «Машине» тогда еще почти никто не слышал. Аудитория Архитектурного представлялась мне весьма строгой и искушенной. Однако неожиданно для себя самих мы выступили достойно, приняли нас на ура, после чего сейшн, как положено, закрыли (не из-за нашей гениальной игры – я вообще практически не помню ни одного сейшена, который администрация Архитектурного давала довести до конца). Итак, это была победа, и мы, хмельные от восторга, вернулись вместе с нашим нехитрым аппаратом в трактир «Не рыдай».

Об этом заведении следует рассказать особо.

Каждую осень родители Борзова уезжали отдыхать к морю и оставляли огромную квартиру в Доме на набережной по попечение детей – а было их два брата и две сестры. В тот же момент квартира превращалась в трактир «Не рыдай». Стены украшались портретами Григория Распутина и императрицы Марии Федоровны. Руководил трактиром старший Борзов – Иван. Он пребывал в чине генерал-директора этого богоугодного заведения, и по статусу ему полагался бархатный халат и сабля на боку. Существовал устав трактира – довольно объемистый документ, разъясняющий моральные нормы в отношении принесенных напитков и приглашенных девушек. Количество членов этого клуба было практически неограниченным. Сестры Борзовы тихо гуляли своим углом, и мы их почти не видели. Размеры квартиры это позволяли. Компанию младшего Борзова составляли мы, а в круг друзей старшего входили люди самые разнообразные – от художников-иконописцев до войковских хулиганов. Обстановка царила дружественная, веселая и какая-то творческая, что ли. Дух этого заведения мне трудно передать сейчас словами, но во всяком случае ни распивочную, ни бордель это не напоминало (хотя в принципе произойти могло все, что угодно). В довершение ко всему трактир «Не рыдай» являлся местом наших репетиций и, соответственно, выступлений. Иногда заходил Стасик (он жил в том же доме) со своей группой «Блики», и мы играли по очереди.

До сих пор не понимаю, как это могли выдержать соседи. Тем не менее напряжений не возникало и милиции ни разу не вызывали – видно, в этом доме это было не принято. Трактир бурлил двадцать восемь дней и ночей, после чего все тщательно мылось, проветривалось, маскировалось отсутствие разбитого фамильного хрусталя, портреты Распутина и матушки-императрицы снимались со стен, и трактир вновь превращался в генеральскую квартиру. Могли, правда, еще несколько дней спустя позвонить в дверь странного вида люди с сумками, в которых звенело, но вообще весть о том, что трактир закрыт, разлеталась быстро.

Стасика мы тогда видели довольно часто. Меня он поражал сразу с двух сторон – как гитарист и как человек. Играл он на гитаре «Орфей», у которой отсутствовала часть колков, поэтому настроить ее без плоскогубцев было невозможно. Однако Стасик уверял, что при манере игры, которую исповедует он, гитару настраивать совершенно необязательно, так как аккорды ему не нужны, а при сольной игре струна все равно тянется пальцем до

нужной высоты. При этом играл он действительно необыкновенно эффектно и агрессивно. На меня его игра производила неизгладимое впечатление, и я безуспешно пытался ему подражать (о существовании Джимми Хендрикса я еще не знал и не мог понять, откуда что берется). Кстати, и с Хендриксом, и с группами «Cream» и «Deep Purple» познакомил нас тот же Стасик – мы несколько застряли в битловско-роллинговском периоде.

> Бешеное, фантастическое время открытий! Открытия обрушивались на нас каждый день. Вот Стасик молча тащит меня к себе домой – за руку. Пытаюсь выяснить, в чем дело, – бесполезно: торжественно молчит. Не раздеваясь, сразу врубает на полную магнитофон системы «Яуза». Невероятный, нечеловеческий звук, какой-то вселенский драйв! Так должен быть озвучен конец света! Кто это, что это? Это некто Джимми Хендрикс, пьеса «Purple Haze»! Вид у Стасика такой, как будто это он сам сочинил. Кручу снова и снова. Как он это делает?! А уже через час несемся на другой флэт – Юрка Фокин притырил диск «Сантаны»! Какой такой сантаны? Чувак, ты что, не слышал? Это вообще улет! Три барабанщика, понял? До утра слушаем «Сантану». Это происходило с нами двадцать четыре часа в сутки. Мы впитывали новую музыку как губки.

Что же касается человеческого аспекта – это была способность Стасика сказать любому человеку в лоб, что он о нем думает, причем именно теми словами. А думал Стасик о людях, как правило, крайне полярно – человек у него был либо просто гениальным, либо уж совсем наоборот. Причем вторые встречались гораздо чаще. Стас, собственно, и сегодня может объяснить любому, кто он есть, но тогда это выходило не в пример задорнее и отважнее. Думаю, если бы это делалось чуть приземленнее, его бы пытались бить (что, кстати, тоже было бы сложно). Но речь его настолько взлетала над уровнем обычного нахальства, что у собеседника просто опускались руки и отвисала челюсть. Как раз Стасик и привел нас в «Энергетик» – колыбель московского рока.

Проезжая по Раушской набережной в районе Мосэнерго, я до сих пор испытываю почти забытое молодецкое волнение – слишком многое связано у меня с этим местом. Дворец культуры «Энергетик» приютился во дворике напротив гостиницы «Россия» за зданием с огромными быками и какими-то электротехническими лозунгами на крыше. Много ремонтов

пережил клуб, и нет уже железных ворот с калиткой, тех ворот, которые были повалены толпой в 1971 году, и облицован он другим камнем, и я боюсь зайти внутрь и ничего там не узнать.

> Все-таки собрался с силами, зашел, узнал. Многое сохранилось практически в неизменном виде – концертный зал, например (какой там зал! зальчик!). Или пол в фойе, мощенный мраморной крошкой. Сколько же он помнит! Вот мы приезжаем после сейшена, привозим свой убогий аппарат. Сейшен был наверняка где-нибудь на краю света, в Долгопрудном, в физтехе, поэтому на дворе темная ночь. Мы долго долбим в дверь, мы возбуждены и слегка навеселе – мы отлично отлабали, нас не повязали, в физтехе вообще почти не вяжут! Хмурый водитель левого «рафика» торопит нас, ему пора в гараж. Наконец дверь открывает сторож дядя Леша, он пьян до прозрачности. Дядя Леша не любит Японца, называет его Калагоем, а ко мне, наоборот, питает необъяснимую нежность. И пока ребята выволакивают из «рафика» наши чудовищные самопальные колонки, дядя Леша увлекает меня в свою каптерку, там душно и пахнет валенками, на тумбочке стоит недопитая бутылка портвейна «Агдам», заткнутая газетой, дядя Леша наливает мне в мутный липкий граненый стакан – делится сокровенным. Но это не самое страшное: сейчас он достанет из кармана шинели небольшой кусок студня – надо закусывать! К студню прилипли табачные крошки и волосы. Обидеть нельзя – закусываю, давясь.
>
> Обидно, что из легендарной комнаты номер восемь, где репетировали по очереди все, сегодня догадались сделать большой сортир. Неплохой мог бы быть музейчик. А с другой стороны – кому он нужен! Все у нас кончается сортиром.

А тогда, поднявшись на три ступеньки и пройдя фойе, вы могли повернуть направо и спуститься в подвал, где гремела супергруппа «Второе дыхание» в составе Дегтярюк – Ширяев – Капитановский (Джимми Хендрикс, один к одному!). Были они виртуозны, недосягаемо высоки, и мы практически не общались – я их робел. Если же не спускаться в подвал, а пройти еще вперед, то в правом углу обнаруживалась дверь комнаты номер 8. Эту комнату делили «Скоморохи» Градского, «Блики» Стасика и пионерский ансамбль «Земляничная суббота». Мы въехали четвертыми по счету жильцами.

Правая стена комнаты была отгорожена коммунальной фанерой и разделена на четыре пенальчика с дверьми – там хранился аппарат. Аппарат был небогатый. Пионеры играли на усилителях «Электрон-10» (первая попытка отечественной промышленности внести свою лепту в мир электронной музыки – причудливый ящик на ножках из полированного дерева, напоминавший скорее радиолу, но звучавший значительно хуже). Стасик имел могучую по тем временам вокальную аппаратуру, построенную каким-то умельцем, а мы обладали волшебным японским усилителем «Ace tone», так что вместе все складывалось очень убедительно.

Надо сказать, что жлобский аспект в отношениях тогда отсутствовал начисто, и попросить друг у друга аппарат или гитару было самым обычным делом, и никому не приходило в голову отказать или, упаси боже, взять за это деньги. Или коммерческая жилка еще не проснулась ни в ком тогда, или это было результатом наших хипповых настроений. Не знаю. Но то, что это было здорово, – помню до сих пор. И то, что сейчас так не бывает и, видимо, уже не будет, – жалко.

Итак, пенальчики запирались на символические замки – у каждого свой (при желании фанерную стеночку можно было проткнуть пальцем). Дальний угол комнаты занимал полуживой рояль, выполнявший кроме непосредственно музыкальной еще массу вспомогательных функций. Семь дней недели делились на четыре. Это были дни (вернее, вечера) репетиций. Делились они не поровну – во всяком случае, я помню, что одно время мы репетировали практически каждый день. Я не хочу сказать этим, что мы были трудолюбивее других, – репетиции воспринимались не как труд, а как самый желанный праздник, и день без репетиции был прожит зря.

Оказались мы все в «Энергетике» не просто так. Хитрый директор клуба собирался спасать финансовый план с помощью московского рок-н-ролла. Выглядело это так: по субботам и воскресеньям группы выступали перед киносеансом – не в фойе, а прямо в зале на сцене! Хиппи валили валом – это было тогда практически единственное место, где вполне официально выступали группы.

Когда я услышал на этой сцене «Скоморохов» – мне стало плохо. Я тогда еще мерил все по битлам, и выходило, что по всем параметрам «Скоморохи» выше – Фокин за барабанами явно забивал Ринго Старра, Градский пел, как Леннон и Маккартни, вместе взятые, а четырехголосье «Скоморохов» начисто перекрывало жиденький битловский аккорд. Я вернулся домой, и рука моя сама нарисовала картину – «Скоморохи» стоят на

высоком постаменте, примерно как у памятника Тимирязеву, и оттуда с вершины летят молнии в нас, маленьких и задумчивых, у подножия. Ни играть, ни петь не хотелось. Было абсолютно ясно, что так звучать мы не будем никогда. Спасал нас только биологический оптимизм, присущий юности, да еще, пожалуй, доброе отношение к нам самих «Скоморохов».

Перед первым концертом в «Энергетике» я очень волновался – у входа в клуб висела рукописная афиша с нашим названием. Наспех придумались костюмы – красные кофточки и вельветовые штаны. Не помню, как прошло выступление: кажется, что-то сломалось в процессе (я не знаю ни одного сейшена за первые годы, на котором бы ничего из аппаратуры не отказало). Уходя, мы обнаружили, что поперек нашей афиши кто-то написал «лажа». Афиша была помещена на стену внутри нашего шкафчика – в назидание.

К этому времени относится появление в нашей команде Кутикова. Японец, не поступив с первого наскока в институт, пошел работать в ГДРЗ, а именно Государственный дом радиовещания и звукозаписи, где оказался с ним, то есть с Кутиковым, в одной комнате. Он с восхищением рассказывал мне, что на работе есть парень, который приносит с собой бас-гитару и там занимается. Сережа вообще был поборником постоянных репетиций и индивидуальных занятий. Итак, Кутиков пришел к нам на репетицию и сыграл на бас-гитаре «Yellow River». Это решило исход дела. Бас-гитаристов стало двое.

Что касается «Yellow River» – вряд ли кто помнит сейчас эту немудреную песенку. Как, впрочем, и группу «Кристи». А в тот год эту песню пела вся страна. Видимо, по недосмотру в процессе трансляции дежурного фестиваля эстрадной песни в Сопоте было показано выступление этой группы – они участвовали в качестве гостей. Возмущенные комментарии Элеоноры Беляевой уже не могли ничего исправить – рок-н-ролл прорвался на советский телеэкран. И каждая капля такой информации ловилась с исступлением умирающего от жажды в пустыне. Человек, игравший на бас-гитаре «Yellow River» один к одному, просто не мог быть не взят в команду. К тому же сыграли свою роль кавагойские рекомендации.

Кутиков сразу же внес в команду дух безоблачного мажорного рок-н-ролла (я к тому времени писал очень мрачные песни). Под его влиянием репертуар группы пополнился радостными песенками «Продавец счастья», «Солдат», «С цепи сорвалось время» и т. д. Мы постепенно начинали чувствовать себя увереннее. Привыкнув к сцене в «Энергетике», мы даже не очень испугались, когда узнали, что играем в одном концерте со

«Скоморохами» в канун 23 февраля.

«Энергетик» тогда уже имел бешеную славу, а такая афиша обещала невиданную аудиторию. Но директор клуба переборщил, объявив бесплатный вход, – за час до начала выяснилось, что пришли вообще все: во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление, когда я пытался протащить в зал каких-то своих знакомых чувих буквально по головам осатаневшей публики.

Толпа заполнила весь дворик «Энергетика» и большую часть набережной. Было ясно, что пришедших не вместят и четыре Дворца культуры. В панике были закрыты железные решетчатые ворота. Через пять минут дворик напоминал сцену взятия Зимнего из какого-то нашего классического фильма (в жизни, как теперь выяснилось, все это выглядело куда скромней). Люди, как муравьи, лезли через трехметровые ворота, падали вниз, раздирая джинсы об острые пики. В конце концов ворота рухнули. Дворик был взят. Пришла очередь дубовых входных дверей. Мы, собственно, этого не видели, так как находились за кулисами. Зал напоминал паровой котел, давление в котором превысило норму, и он вот-вот взорвется. Люди висели на стенах, на портьерах, свисали гроздьями с балконов и иногда падали вниз.

Вечер открыл некий полковник. Ему дали поговорить минуты полторы, и он покинул сцену, сильно ошеломленный. До сих пор не пойму, каким образом получилось, что «Скоморохи» играли перед нами, – это противоречило всякой логике. То, что творилось в зале, описать трудно. Сейчас уже всем известно, как следует тащиться под модную группу, чтобы выглядеть при этом достойно, – все насмотрелись видео и весьма похоже имитируют телодвижения западных рок-н-ролльных фанов, включая «козу», зажигалки и эдакое мотание воздетыми руками во время медленных песен. То, что происходило тогда, шло изнутри у каждого и сливалось в бешеный единый порыв.

Я впервые ощутил сметающую силу рок-н-ролла. Я испытывал абсолютное счастье и при этом легкий страх – когда тебя везут на заднем сиденье мотоцикла очень быстро и дух захватывает, а сделать уже ничего нельзя. Потом мы прослушали запись нашего концерта – все песни мы сыграли раза в два быстрее обычного – такой был завод.

На улице тем временем события развивались не лучшим образом. На борьбу с отчаявшимися попасть внутрь фанатами была брошена милиция. Но дух рок-н-ролла оказался сильней. В результате милицейскому «рафику» прокололи колеса, а мотоцикл с коляской и вовсе сбросили в Москву-реку. Кажется, обошлось без жертв и с той, и с другой стороны.

На следующий день Градского вместе с директором

«Энергетика» вызывали в горком партии (нас тогда еще за людей не считали и потому не тронули). Вернулись они в большой задумчивости. Кончилась эпоха розового детства, начались черные дни московского рока.

Начались беды и у нас. Неожиданно загудел в армию Мазай, а вскоре ушел из группы Юрка Борзов. Это было для нас очень тяжелой утратой – Юрка был истинным генератором духа нашей команды. Но беда его заключалась в том, что какой-то внутренний орган, который заставлял бы его лучше и лучше играть на барабанах, отсутствовал у него начисто. И мы все это чувствовали, и, конечно, сам Юрка в первую очередь. Мы быстро двигались вперед, а у него что-то не получалось. Я думаю, он просто не хотел быть плохим барабанщиком. В день расставания Юрка принес нам меморандум, где сообщались причины его ухода, нам желался долгий и счастливый путь, а автор предполагал удалиться на стезю самосовершенствования и гуманизма. Было очень грустно и трогательно.

Не унывал один Кутиков. Он пришел в команду позже, и ему было не понять глубины наших отношений с Борзовым. Через несколько дней я открыл дверь комнаты номер 8 и замер – на месте рахитичных Юркиных барабанов сверкала хромом и перламутром невиданная по размерам и количеству барабанов установка. Она занимала собой всю комнату, на бочку было нарисовано свирепо скалящееся солнце, а над всем этим возвышался Макс Капитановский. Когда глаза мои привыкли к блеску, в углу комнаты обнаружился Кутиков, хитро на меня посматривающий.

Сперва я решил, что либо Макс, либо мы с Санькой ошиблись комнатой. Но оказалось, что нет, все в порядке, просто мы будем теперь играть вместе. Если бы, скажем, Чарли Уаттс предложил нам тогда свои услуги, я бы удивился не больше. Группу «Второе дыхание» отделяла от нас такая пропасть профессионализма, что я просто не понимал, как же можно бросить этих асов и уйти к нам. Мы заиграли, и сразу стало ясно, что Макс своими барабанами делает ровно половину всей музыки – причем именно ту, которой нам не хватало. Мы рванули в гору – очень не хотелось от него отставать.

С большим успехом прошли наши выступления в Московском бит-клубе – там, где всего год назад нам с позором указали на дверь.

Это была отдельная история. Московский бит-клуб – официальная организация при горкоме комсомола. Думаю, создана она была с целью более удобного надзора над

неблагонадежным волосатым элементом. Располагалось это заведение сначала в здании церкви на улице Алабяна, потом в подвале котельной где-то на «Аэропорте». На заседаниях клуба группы играли практически друг для друга, так как зал был очень маленьким. Тем не менее это было единственное в Москве место, где сейшены проходили абсолютно легально, и попасть туда было делом крайне престижным. Существовал совет клуба, состоявший из музыкантов лучших групп, который решал вопрос приема новых команд в члены клуба. В последние месяцы существования бит-клуба музыкантам даже платили за игру какие-то символические деньги. Так что нынешние разговоры о том, что ленинградский рок-клуб первый в истории советской власти, далеки от исторической правды. Ну да бог с ним.

Так вот, год назад, играя еще с Мазаем и Борзовым, мы отважились показаться в бит-клубе. Уж не помню, как нам удалось договориться с клубом – по-моему, это сделал Кутиков. Был он энергичен и контактен до невероятного.

Робея и нервничая, мы приехали на прослушивание. В зале сидели всего несколько человек – худсовет по нашему поводу. Это были легендарные музыканты, и степень нашего преклонения перед ними не знала границ.

Путаясь в проводах, мы установили на сцене наш убогий аппарат. Усилителя «Ace tone» уже не было – его у нас сперли (он открыл собой длинный список украденных впоследствии у «Машины времени» аксессуаров). Аппарат состоял из басовой колонки и усилителя «Регент-30» производства ГДР, куда, соответственно, втыкались орган, моя гитара и три голосовых микрофона, для чего количество входов в нем было искусственно увеличено. Для тех, кто не застал в живых усилителей типа «Регент», могу добавить, что внутри него располагалось два динамика по 12,5 ватта каждый, и вообще по тем временам он считался очень хорошей машиной, но тем не менее перегружать его таким образом, конечно, не следовало.

Итак, мы заиграли, стараясь не смотреть в пустой зал, и на второй песне басовый усилитель задымил и приказал долго жить. Это, в общем, было самым обычным явлением на сейшенах той поры, но, учитывая ответственность прослушивания, все-таки очень не вовремя. Пришлось бас-гитару воткнуть в несчастный «Регент» и кое-как доиграть до конца.

Не знаю, на что мы рассчитывали. Видимо, на понимание со стороны старших братьев по оружию. Началось обсуждение, и, к моему ужасу, из уст наших кумиров полились вялые и казенные слова, что, мол, ритм-секция слабовата, рисунки примитивны, а вокал далек от совершенства. Я-то был уверен, что короли

московского рок-н-ролла просто не могут говорить таким унылым языком. Мы стояли на сцене и готовы были провалиться сквозь нее. Поддержал нас один Градский, который сказал, что видит в нас дух, близкий его «Скоморохам», а все остальное – дело времени и техники.

В общем, нас, конечно, никуда не приняли и посоветовали подрасти и прийти через год. Вся процедура была невероятно унизительная и какая-то настолько не битловская, что я надолго выпал из колеи.

Стоит ли говорить, с какой мстительной радостью выступили мы в этом клубе год спустя. Макс тогда был действительно одним из лучших ударников Москвы, да и мы за год набрались азов мастерства – появился даже некий кураж, в рок-н-ролле совершенно необходимый. Макс был полон творческих проектов: он сочинял в голове длиннющие композиции – прямо рок-оперы! – на русском и английском языках. Мы кинулись в работу над крупными формами. Мы рождали массивные фундаментальные композиции со множеством музыкальных тем и сложными линиями внутреннего развития. Увы, недолго продолжался этот счастливый творческий альянс. Армия дамокловым мечом висела над нашей группой. Макса забрали совершенно неожиданно и крайне оперативно. «Машина» снова осиротела.

> Помните ту самую хипповую демонстрацию 1 июня? Так вот, Максик ни на какую демонстрацию в этот день не собирался – он шел сдавать зачет на факультет журналистики, расположенный как раз в том самом дворике университета. Максика прихватили вместе со всеми до кучи, в портфеле у него вместе с тетрадками обнаружился какой-то диск – этого оказалось достаточно. И спустя несколько месяцев нашего Максика вдруг освободили от брони на почтовом ящике, где он числился, и полетел Максик защищать рубежи отечества на советско-китайскую границу – все произошло так стремительно, что никто даже ахнуть не успел.

С Максом у нас сложился духовный контакт – вещь совершенно необходимая, если все вместе делают музыку. Мы понимали друг друга без слов, и вкусы наши совпадали. Если впоследствии «Машина» меняла музыкантов, то только по причине того, что контакт не получался. Это всегда чувствовалось.

Так вот. Мы опять остались без барабанщика, и пробовать какого-то нового человека на контакт уже не было сил. И тогда

Сережа Кавагое сел за барабаны. Сейчас это, наверное, выглядит дико, но тогда это было для нас совершенно естественным – важнее было сохранить наш дух, атмосферу и не разрушать ее приходом нового человека. Надо еще добавить, что, впервые сев за барабан, Сергей невероятно быстро научился играть, и играть здорово (после Макса иначе было нельзя). Я до сих пор не понимаю, как это ему удалось.

При всем моем желании не смогу я воссоздать хронологии событий тех лет, обрывочен и непоследователен будет мой рассказ. Всплывают в памяти какие-то по-детски светлые моменты, вспоминаются горькие обломы.

Я, например, свято был убежден, что хороший музыкант просто не может быть плохим человеком, и пару раз на этих хороших музыкантах здорово обжегся. Я, собственно, и сейчас думаю, что все плюсы и минусы характера человека находят отражение в его игре и при желании все это можно услышать. Еще я был уверен, что справедливая природа не может отпускать и великим, и ничтожным людям примерно одинаковый срок жизни, и все ждал, что вот-вот рядом случится наконец-то чудо и битлы, например, вдруг перестанут стареть. Прошло уже много лет, и ни с кем пока такого чуда не случилось.

Коробочка из-под сигар продолжала служить нам верой и правдой, и аппарат постепенно улучшался. Больным местом была та часть аппарата, через которую, по идее, должны быть слышны голоса. Это, кстати, было общей бедой всех групп. И я могу понять, почему так получалось. Гитару достаточно было воткнуть в усилитель, взять аккорд – и она уже сама по себе звучала рок-н-ролльно. А голосом еще надо было петь, чего, собственно, почти никто не умел. К тому же все группы пели по-английски, не зная его, так что голос маскировался, уводился подальше.

У нас были иные задачи, так как я писал слова в наивном расчете на понимание.

Помню, как мы наконец купили приличные микрофоны – до этого мы надрывались в ужасные отечественные МД, используемые в трамваях для объявления остановок. И вот нам привезли эти самые сверкающие золотом австрийские микрофоны прямо на сейшн. Мы запели, и вдруг я увидел изумленные лица людей, повернутые в нашу сторону. Никто не танцевал. Оказывается, они впервые услышали наши голоса и, соответственно, слова песен. До этого, выходит, мы старались впустую.

Наступило шальное лето 1972 года. Я находился на практике

по обмерам в сказочном Переславле-Залесском, где меня и нашел запыхавшийся и счастливый Кутиков. Он просто приехал в город и спросил у первого встречного, где тут студенты-архитекторы. В пути его пытались арестовать, так как цветом рубашки он походил на какого-то только что сбежавшего особо опасного рецидивиста. Но Кутиков по нелепой случайности имел с собой паспорт и с честью отбивался. Сообщил он мне невероятную новость.

В Москве по причине возвращения из армии Сереги Грачева вновь собралась супергруппа «Лучшие годы», и зовут они нас с Кутиковым на юг, так как бас-гитарист Леша Полисский поехать не может, а гитарист их не очень устраивает, и я, значит, приглашаюсь быть вторым. Господи! Да хоть десятым!

Надо просто попытаться представить себе, что такое были «Лучшие годы». За барабанами – непревзойденный Фокин, соскочивший к тому моменту из «Скоморохов». На клавишах (простите, на органе) – Игорь Саульский, имевший музыкальное образование и игравший все, от классики до джаза, иногда вперемежку. Грачева я еще не слышал, но легенды о нем ходили – говорили, что это примерно два Тома Джонса и полтора Элвиса Пресли. Были еще великолепный басист Леша Полисский – милейший, скромнейший и тишайший парень, гитарист Ринатик и духовный лидер команды некто Азер, человек постоянно восторженный, снабжавший группу свежей музыкальной информацией и иногда певший.

Еще был звукорежиссер Феликс, который сам собирал реверберaторы – не из магнитофонной приставки «Нота», как у всех, а самостоятельной разработки. Реверберaторы стоили по 200 рублей, и чинить их мог только сам Феликс. Обычно он просто запускал руку внутрь и вырывал оттуда клок деталей с мясом. Это действовало. В такую вот команду мы с Кутиковым и попали. Перед Сережей Кавагое совесть у нас была чиста, так как он погряз в своих поступлениях в МГУ. К тому же соединиться с «Годами» предполагалось пока на два летних месяца. Надо сказать, что все перечисленные музыканты были выше нас на несколько голов, и мы просто не могли поверить, что нам предлагают встать на одну ступень.

Конечно, мы обольщались. Практичные «Лучшие годы» прежде всего интересовались нашим аппаратом – мы продолжали все заработанные, а также выпрошенные у родителей деньги тратить не на портвейн, а на аппаратуру, и была она у нас к этому моменту, по московским критериям, весьма приличной. Соединение с аппаратом «Лучших годов» обещало дать сногсшибательный эффект.

Следует пояснить, что вообще аппарат тогда занимал в душах и мечтах музыкантов гораздо больше места, чем теперь. Сейчас если кто и тоскует по поводу его нехватки, то как-то уж очень утилитарно. А для нас аппарат был стенами храма, который мы каждый день возводили.

Басист группы «Удачное приобретение» Вова Матецкий, например, считал, что абсолютная и потому недосягаемая вершина счастья в жизни – усилитель «Fender Bassman 100». Не победа мира во всем мире, не вечная, скажем, жизнь, а этот вот усилитель. (Спустя года четыре он позвонил мне и грустно признался, что вот «Bassman 100» есть, а счастья все равно нет.)

Ну ладно. Я остался добывать срок в Переславле, возбужденный ожиданием, а Кутиков снялся с аппаратом и уехал с «Лучшими годами» на юг.

Чуть позже я ехал туда один со своей «Музимой» и весь трепетал.

> Знаю по собственному опыту, что непонятные слова, встречающиеся в тексте, иногда вызывают сильное раздражение. «Музима» («Muzima») – электрогитара производства дружественной нам Германской Демократической Республики (страны, ныне не существующей) и по этой причине изредка появлявшаяся в магазине «Лейпциг». Полуакустическая, большая, черно-вишневого цвета, с двумя звукоснимателями и длиннющей кочергой-вибратором, она являла почти предел мечтаний из всего доступного в официальной торговле. Уж не помню, как мне удалось ее отхватить (220 рублей, между прочим бешеные деньги!). Покоилась она в любовно сшитом чехле из темно-зеленого сукна, посередине в кружочек синим маркером было вписано – «Машины Времени». Красивенько.

Называлось это Международный студенческий лагерь «Буревестник-2» в поселке Вишневка. Прибытие состоялось рано утром. «Буревестник» располагался в сказочном ущелье между Туапсе и Лазаревской (он, собственно, и сейчас там стоит). Эдакие деревянные коттеджики в райских кущах, спускающихся к морю. Пахло эвкалиптами и счастьем. Меня встретил заспанный Кутиков. У него был несколько озабоченный вид. Оказалось, что виртуозы из «Лучших годов» вводили его в репертуар ускоренными темпами и он чуть не надорвался.

Я забыл сказать, что «Лучшие годы» не заботились сочинением собственных песен, а исполняли Запад, что называется, один к одному. В репертуар входили Элвис Пресли,

Том Джонс, Джеймс Браун, Уилсон Пикет и «Led Zeppelin». Все это было для нас, конечно, очень сложно. Я испытал это на себе часа полтора спустя. Проснулся Фокин, поздоровался со мной так, как будто мы знакомы всю жизнь и расстались только вчера, и отвел меня в будочку, где хранился аппарат. Была она беленная известью, окон не имела и формой напоминала старинную часовню или, скорее, склеп. Там, в страшной духоте, в пыльном ущелье из «Регентов» и «Битов», располагался столик и на нем магнитофон. Фокин поставил песню, как сейчас помню, «Grand Funk» – «Feelin' all right» и предложил снять гитарную партию, то есть сыграть с Фарнером в совершенный унисон. По достижении результата мне было разрешено спуститься к морю и доложить о победе. После этого инструктажа Фокин прикрыл дверь снаружи и не спеша ушел на пляж, а я остался один на один с гитарой и недосягаемым Фарнером.

В будочке было так жарко и тесно, что ни бороться с Фарнером, ни просто слушать его, ни даже дышать было невозможно. Но очень не хотелось ударить в грязь лицом, и, видимо, это желание было сильнее. Часа через три я гордо спустился к морю, стряхивая с пальцев остатки фарнеровских запилов. Правда, тут же пришлось возвращаться с Фокиным и демонстрировать победу на деле. Сдержанная похвала Фокина была для меня выше всех наград.

Потекла невероятно счастливая, разгильдяйская, рок-н-ролльная южная жизнь. Видимо, это был один из отрезков абсолютного счастья в моей биографии. Условия, на которых мы существовали в лагере, носили среди музыкантов название «за будку и корыто». То есть нам предоставляли жилье и так называемое трехразовое питание. Мы же за это обязывались играть на танцах два-три раза в неделю, а также аккомпанировать всякой международной студенческой самодеятельности. Практически своими руками была построена сцена на танцплощадке. Фанерный задник мы выкрасили в салатовый цвет, на нем совместными с Грачевым усилиями я изобразил старинный биплан, волочивший за собой по небу два воздушных шара: большой с надписью «Лучшие годы» и поменьше – «Машина времени». Предполагалось некое существование «Машины времени» внутри «Лучших годов», в результате чего совместными усилиями разучили несколько наших шлягеров, включая «Продавец счастья» и «Ты или я».

> То есть «Солнечный остров» – песенка, написанная к тому моменту под неизгладимым впечатлением «Since I've been lovin' You» «Лед Зеппелин». «Лед Зеппелин»,

надо сказать, срубили нас под корень.

Грачев действительно пел очень похоже и на Джонса, и на Пресли сразу, и когда он уступал мне микрофон для «машинной» части программы, я робел. А еще были невероятные южные ночи в маленьких двориках, увитых виноградом, с трехлитровыми банками домашнего вина «Изабелла», разговорами о музыке, гордостью от того, что мы теперь вместе с корифеями, а значит, и сами ничего, а еще были ростовские рокеры с их подругами, какие-то девушки с нежными руками и порывистыми душами, ночные купания под черным бархатным небом в мерцающей огоньками воде.

Слева по берегу километрах в полутора располагался лагерь «Буревестник-1», принадлежащий МГУ, а справа – «Буревестник-3» какого-то ленинградского института. С третьим мы почему-то не дружили, а в первом играла на танцах «Мозаика» в составе Малежек – Кеслер – Чепыжев – Машков. В дни, когда наши танцы не совпадали, мы ходили к ним в гости, скромно и с достоинством тусовались слева у сцены, спинами ощущая зазывные взгляды женской части публики, потом шли с «Мозаикой» пить вино к бабе Ане и возвращались в лагерь поздней ночью по серпантину, распевая битлов и пугая робких влюбленных.

Двор бабы Ани был нашим еженощным пристанищем. Во-первых, баба Аня, замечательная бабушка греческого происхождения, держала в своем погребе очень приличную «Изабеллу» – особенно по сравнению с тем, чем торговали ее соседи. Во-вторых, она любила нас, музыкантов, – уж не знаю за что. И, отыграв свои танцы, мы, окруженные славой, друзьями и подругами, заваливались шумной компанией в ее дворик – беседку, густо увитую виноградом. Грачев или Фокин отправлялись с бабой Аней в погреб выбирать вино (у нас была такая привилегия!). На стол выставлялись трехлитровые баллоны с восхитительным вином – сразу несколько, чтобы нервы не трепать. Баллон стоил 4 рубля 50 копеек. Помидоры из огорода, сливы из сада, орехи и сигареты прилагались бесплатно. Это был лучший трактир в моей жизни – по всем параметрам, включая сервис, состав гостей, погоду и духовную атмосферу. Расползались мы под утро, безошибочно определяя направление маршрута по прерывистой дорожной полосе, делившей шоссе пополам, – до лагеря было километра полтора по серпантину.

Уже тогда, в начале семидесятых, баба Аня казалась мне очень пожилой, хотя исключительно крепкой женщиной. Прошло сорок лет, и вот прошлым летом ко мне подошел незнакомый седой человек (дело было в Москве, в магазине) и произнес: «Вы Андрей? Баба Аня вчера умерла». Развернулся и исчез в толпе. А я так и остался стоять. Хорошие люди, занимающиеся простым и добрым делом, живут долго. И, надеюсь, счастливо.

Было, пожалуй, первое столкновение с советской властью на местах. Лагерем нашим командовал некто подполковник Мешков – человек нерешительный и мягкий. Он подполковничьим сердцем чуял идеологическую невыдержанность нашего репертуара, но приказать не мог, только постоянно занудно просил включить в программу песни советских композиторов и современные отечественные молодежные танцы. Мы отстаивали свою позицию тем, что лагерь, дескать, для иностранцев и так им, стало быть, родней. Иностранцы (по нашей просьбе) нас поддерживали и требовали рок. Исключение составляло только вьетнамское землячество, регулярно проводившее во время танцев комсомольские собрания. Впрочем, их можно было понять.

Внезапно к нам на танцы заехал некто представляющий местное управление культурой. Это был невысокий молодой человек с удивительно наглыми манерами. Я видел, как он буквально прижал Серегу Грачева к борту и орал снизу вверх, брызгая слюной: «Я здесь культурой три года командую, понял? И не таких видал! Я с тобой в другом месте говорить буду, если еще раз тут низом живота начнешь вертеть! Понял?» Человечек уехал, а Грачев пошел и очень сильно напился – я даже решил, что он умирает. Он, бедняга, только что вернулся из армии и, видимо, думал, что теперь уже все будет хорошо.

И тогда мы устроили демонстрацию. На следующих танцах громкость была убрана до громкости магнитолы «Юность», вместо ударной установки стоял тройничок, Ринатик приволок откуда-то баян, и у нас получился типичный так называемый инструментальный ансамбль времен позднего Хрущева. Тихо и противно исполнялись в инструментальном изложении пьесы «Лучший город земли», «Королева красоты», «Фиалки» и прочая клюква. Самым трудным оказалось при этом не колоться и сохранять торжественно-старательное выражение лица.

Через десять минут иностранцы отсмеялись, взялись за руки и пошли бить Мешкова. Он прибежал, на ходу роняя остатки собственного достоинства, и униженно просил прекратить демонстрацию и заиграть как обычно.

Мы сжалились, притащили Серегу, который все еще не мог встать на ноги после алкогольного удара, сказали ему, что наша взяла, и он вышел на сцену, качаясь на ветру, и спел «I can't stop loving you». Клянусь, я никогда больше в жизни не слышал такого исполнения этой песни.

Два месяца просвистели как один день, и мы вернулись в Москву. Было несколько сейшенов, где на басу играл вместо Кутикова уже Полисский, а я на гитаре как-то задержался. На всю жизнь запомню представление группы: «Друзья! Сегодня для вас играют легендарные „Лучшие годы“! (Шквал, свист, рев.) Вокал – Сергей Грачев! (Свист, плач.) Орган – Игорь Саульский! (Визг.) Бас – Алексей Полисский. (Шквал аплодисментов.) Гитара – Андрей Макаревич! (Гробовая тишина, и в этой тишине из задних рядов – один хиленький унылый свисток, выражающий явно не восторг.)» Было очень стыдно.

Если же говорить о каком-то мастерстве, то все, что мы тогда набрали, мы набрали с людьми, играющими сильнее нас. Уверен, что это вообще лучшая школа.

(А другой, увы, и не бывает.)

Осень 1972 года как-то не особенно осела в моей памяти. Я, впрочем, предупреждал, что не претендую на доскональное изложение истории. Были какие-то концерты «Лучших годов» со вставными концертиками «Машины времени» внутри. Нас постоянно разносило в разные стороны. Если юг нас объединял и уравнивал (к примеру, как баня), то в Москве сразу почувствовалось несходство и даже дистанция между нами и «Годами». «Годы» были признанными звездами, здоровые мужики, любящие хорошо одеваться, девушек дорогого вида, армянский коньяк и второй этаж гостиницы «Националь», где располагался бар для людей, предпочитающих все вышеперечисленное. Мы же все еще были плохо одетыми мальчиками, интересующимися прежде всего музыкой и складывающими деньги в коробочку из-под сигар. В воздухе пахло развалом.

Появился армянский человек по имени Рафик, осененный идеей проведения концерта суперзвезд московского рока на сцене ереванского Дворца спорта – затея, по тем временам граничащая с безумием. Рафик составлял московскую сборную. Для этого в комнате номер 8 «Энергетика» устраивались прослушивания. (На нашем аппарате, разумеется. Нет, дураками мы не были – просто очень добрыми.) Я втайне надеялся, что может случиться чудо и меня возьмут в этот сверхсостав. Хитрый Серега Грачев грел мою надежду как мог, так как для прослушивания и репетиций был нужен наш аппарат и барабаны, которые мы к тому моменту

купили для Фокина (волшебная коробочка!).

Наивность моя, видимо, не имела предела. В состав супергруппы вошли: вокал – Серега Грачев и Леня Бергер (потрясающий по тем временам вокалист, работавший в ресторане «Сосновый бор» и имитировавший Рэя Чарльза), барабаны – естественно, Фокин; гитара – Серега Дюжиков и бас – Витя Дегтярев.

С искрометным искусством Дюжикова я столкнулся годом раньше. Тогда, завороженный садистской манерой игры Стасика Намина, я предположил, что он играет на гитаре вообще лучше всех. На что скромный Стасик сказал, что он все-таки лишь второй в мире гитарист, а первый, безусловно, Дюжиков из «Скифов». Стоит ли говорить, что на ближайшем же сейшене «Скифов» я уже торчал у сцены. Волшебное время потрясений! Дюжиков к тому времени был уже прилично знаком с творческой манерой Элвина Ли, а я еще слыхом не слыхивал ни имени его, ни музыки. Не надо забывать, что музыкальная информация попадала в нашу страну с трудом и не ко всем.

> Мало того: зазвали Дюжикова на какой-то наш сейшн (как сейчас помню – в высотке МГУ), чтобы он как мастер дал оценку нашим рок-н-ролльным стараниям. Дурная была затея. Дюжиков честно сказал, что получается у нас говененько. Получалось и правда говененько, не обязательно было звать для этого Дюжикова.

Итак, мы, затаив дыхание, сидели на репетициях суперсостава. Рафик притащил целый рулон отпечатанных (в типографии!) афиш. Мог ли кто-нибудь вообразить себе такое? Афиша просто кричала: «Суперзвезды рока! Все из Москвы!» Дальше шли фамилии. Мы так волновались, что провожали Грачева и Фокина в аэропорт. Помню, они опоздали почему-то на самолет, и Грачев в замшевом пальто бешено матерился, стоя посреди ночного взлетного поля, овеваемый ревущими турбинами авиалайнеров.

Артисты вернулись через три дня, помешанные от счастья. Они рассказывали что-то невероятное. Про колоссальный аппарат, выставленный на сцене (два комплекта «БИГа»!), про ревущую толпу ереванских поклонников московского рока, про торжественный пронос артистов на руках от Дворца до гостиницы и т. д. Потом был суд над Рафиком, и участники супергруппы то и дело летали в Ереван давать показания.

Кончился альянс с «Лучшими годами» скоро. Серега Грачев все чаще исчезал из поля зрения на неопределенный срок,

репетировать с ним становилось практически невозможно. А после одного из сейшенов у нас пропал наш волшебный японский орган – предмет гордости номер один. Пропал он при обстоятельствах, исключающих какие-либо «чудеса», а ушлый следователь тут же сказал нам, что искать надо среди своих (и даже среди кого именно), и предложил свою практическую помощь. Но такая «циничная» и трезвая мысль просто не могла уместиться у нас в головах – очень мы всех любили, и аксиома «хороший музыкант – хороший человек» не вызывала у нас сомнений. Мы с негодованием отвергли милицейскую версию, и дело повисло в воздухе. (Кстати, спустя почти пять лет орган нашелся в ситуации, сводящей на нет теорию вероятностей. Просто Кутиков от нечего делать забрел на «Мелодию», где писалась какая-то сибирская банда, и увидел родные клавиши. Орган, прошедший уже десяток рук, был возвращен, и справедливость восторжествовала.) Мы тяжело переживали потерю, а еще тяжелее – все, что с ней было связано. Не хочу называть имен – и дело давнее, и жизнь со временем все расставила по местам. Скажу одно – следователь не ошибся. Но ни минуты не сожалею о наших тогдашних блаженных убеждениях.

После истории с органом Грачев совсем пропал, а Фокин некоторое время репетировал и играл с нами – думаю, ему просто нравилось барабанить по хорошим барабанам. Потом, видимо собираясь соскочить, сделал попытку спереть у нас тарелки от хэта, но по неумелости своей был схвачен за руку, плакал, просил прощения. Было неловко. Мы его, конечно, простили. Очень уж он был гениальный барабанщик. Прощаясь с Фокиным, мне все-таки очень хочется даже сейчас, закрыв глаза, вновь увидеть его за барабанами. Глупое и бесполезное дело – писать словами о музыке, но ничего не поделаешь.

Если и существует понятие «божий дар» – то более яркого примера я бы вспомнить не мог. Было в этом какое-то волшебство – помимо техники, вкуса и всего такого. В каждый удар вкладывалось еще что-то. Поэтому даже самая ужасная установка типа «Энгельса», обтянутая шкурами животных, умерших своей смертью, даже любой стул, чемодан под его руками обретал звук. И никто больше такого звука извлечь из этого предмета не мог. В самой посадке за барабанами, в полуприкрытых его огромных марсианских глазищах жила магия. И – никакой позы, ничего специального. Практически все барабанщики той поры играли так или иначе «под Фокина» – это было даже смешно. Кумиром его был покойный Джон Бонам из «Led Zeppelin». Я уверен, что души их имели ближайшее родство. Фокин потрясающе чувствовал

игру Джона и мог безошибочно предсказать, что тот, например, сыграет нового на следующей пластинке. Приходил в компанию беззвучно, садился на пол в уголок, просил поставить «Led Zeppelin», закрывал глаза и улетал. Мы для него в этот момент не существовали. Он даже пел вещи «Led Zeppelin» на концертах, не имея ни голоса Планта, ни голоса вообще, но пел не голосом, а своей любовью, и получалось гениально. А парень был простой, эрудицией не сверкал, писал без знаков препинания и любил звездной ночью поговорить о Боге. Вот так.

Юрка Фокин уже лет десять как в Америке, лет шесть как не играет на барабанах и, говорят, пребывает в сане православного священника в монастыре где-то под Сан-Франциско, и никогда мы его больше не услышим. Осталось несколько песенок, записанных «Скоморохами» в те давние годы, но представления о его игре они, конечно, не дают.

> (Приезжал Юра Фокин с тех пор несколько раз, и совсем недавно, – это нам тогда казалось, что не услышим, любой отъезд за границу был навсегда. В монастыре не служил Юра никаким монахом, как у нас думали, – занимался всякими типографскими работами. И сейчас живет он в Сан-Франциско, издает практически собственноручно какую-то газету для эмигрантов. Музыкальная карьера у него не задалась. Находясь здесь, играл с «Цветами», и играл замечательно – изобретательно и очень ровно, но что-то самое главное, ошеломляющее из его игры ушло. И я не могу понять – действительно ли что-то ушло, или планочка у нас у всех за сорок лет настолько поднялась? Теперь на этот вопрос уже нет ответа.)

И вот «Машины» опять сами по себе. Два несомненных плюса: во-первых, Кавагое, насмотревшись на игру Фокина, заиграл почти как он – даже глаза стал полуприкрывать в фокинской манере. Во-вторых – с нами остался один из осколков «Лучших годов» Игорь Саульский.

Игорь, надо сказать, не вписывался в бригаду «Лучших». Он вообще никуда не вписывался. Но не в силу какой-то своей замкнутости – наоборот. В жизни я не знал более общительного человека. Почти всегда он был весел, и тогда все вокруг светилось и хохотало. Когда он мрачнел, в комнату становилось страшновато войти. Увлекался он буддизмом, китайской философией, а также кухней, подводным миром, путешествиями, джазом, авангардом, хард-роком, музыкой негров, народными напевами, регтаймом, блюзом – что еще я не перечислил? Все это

находило немедленное отражение в его игре. Причем увлечение могло смениться в любой момент вплоть до концерта, и тогда уже сделанные вещи неожиданно расцветали новыми красками. Он не мог играть одно и то же два раза подряд. Играл он виртуозно и очень артистично.

Конечно, ему было тесно в пуританских рамках наших песенок. Гэдээровский «Вельтмейстер» под его руками то ревел раненым бизоном, то звенел фарфоровым китайским колокольчиком, то бренчал, как разбитое фортепиано из ковбойского салуна. Думаю, конструкторы этого бесхитростного органа и не ведали за своим изобретением таких возможностей.

Я в Игоре души не чаял и все его импровизации и отклонения от песенной канвы прощал. Педантичный Кавагое ворчал, внезапный полет творческой мысли называл халявой и призывал к музыкальной дисциплине. Не помню, сколько месяцев мы проиграли вместе (это означает – прожили вместе).

Также не помню, сколько раз Игорь уходил от нас и сколько возвращался. Отсутствие внутреннего стержня не позволяло ему сидеть на одном месте. А невероятная собственная легкость вела к тому, что малейший ветер уносил его вдаль. Он уходил в «Скоморохи» к Градскому, в театр Ленинского Комсомола, то есть в группу «Аракс», в «Арсенал» к Леше Козлову и – всегда возвращался. Мы, видимо, быстро росли, и когда он в очередной раз наигрывался в новом месте – мы уже звучали по-другому, и ему опять делалось с нами интересно. А потом – мы очень дружили. Каждый его уход был для меня трагедией в человеческом плане и катастрофой в музыкальном.

Летом семьдесят третьего мы снова двинули в «Буревестник» – уже без «Лучших годов». Нас приняли как старых знакомых, но эта поездка оставила меньший след в моей, например, жизни. Наверно, потому, что, когда заранее знаешь, как все будет хорошо, уже не так хорошо. Элемент внезапности – необходимое условие счастья.

Для справки могу сообщить, что играл с нами, вместо в очередной раз усвиставшего Саульского, Эдик Азрилевич – один из немногих не оставивших в «Машине» никакого следа. Пятым был примкнувший к нам Алик Микоян, двоюродный брат Стасика. Являл он собой полную Стасикову противоположность. Это был мягкий, тихий, до мучения застенчивый человек. Он играл на губной гармонике, иногда на гитаре и пел Яна Гилана. Кавагое считал, что хорошо. Мне не очень нравилось, но по общему уровню тех времен это было, видимо, все же неплохо, а потом, он был хороший парень и очень помогал нам в англоязычном отрезке программы, необходимом для южных

танцев. В авторской части он практически не участвовал.

Алик, как и Эдик Азрилевич, не прижился в команде. Такое еще потом случалось не раз – и дело было, как правило, не в профессиональных качествах человека. Он просто отторгался организмом нашей группы, как инородная ткань. И в конце концов уходил сам. Я даже не припомню случая, чтобы нам приходилось просить кого-то уйти.

Осень семьдесят третьего – смутное время «Машины». Что-то у нас не клеится. Между Кавагое и Сашкой то и дело возникают мелкие трения почти на подсознательном уровне. Этакое постоянное состояние легкого напряга без видимых причин. Мне приходилось тяжело – я все время находился между ними в качестве демпфера и не испытывал неприязни ни к тому, ни к другому, хотя и чувствовал их разность. И моими усилиями тянулось это до весны.

> Это называется «совместимость». То есть в данном случае как раз «несовместимость». Циклоид Кутиков и шизоид Кава просто не могли плыть в одной лодке – они раздражали друг друга. К сожалению, в будущем у Кавы это качество сильно прогрессировало, и он уже ни с кем не мог ужиться. Но это еще потом.

Надо сказать, за этот год команда наша стала известна сама по себе, без помощи обрамления «Лучших годов» – отчасти благодаря блестящему Игорьку Саульскому, отчасти благодаря новым песням, постоянным репетициям и сейшенам.

Стоит, наверно, упомянуть первую запись на пластинку – нас просил помочь Дима Линник, очень красивый интеллигентный парень, работавший диктором на иновещании, обладавший мягким приятным голосом и руководивший вокальным трио. Трио так и называлось – «Линник». Они очень музыкально и красиво пели под акустики американский фолк и что-то свое.

Добившись уникальной по тем временам возможности записать маленькую пластинку, Дима попросил нашу команду усилить их на записи нашим, так сказать, роком. Мы, конечно, согласились – и просто чтобы помочь, и в надежде увидеть наше название под грифом «Мелодии».

До этого мы уже дважды писались на радио и какое-то представление об этом процессе имели, но все равно жутко волновались и нервничали. Пластиночка состояла из двух русскоязычных произведений Линника и песни Боба Дилана «Грузовой поезд», названной, разумеется, американской народной песней. Прошло немного времени, и пластинка увидела свет. И

действительно, на синем конвертике внизу под заглавием «Ансамбль „Зодиак“» (так почему-то обозвали себя «Линники» – не путайте с прибалтийским «Зодиаком») можно было при известном усилии разглядеть строчечку «Инстр. ансамбль „Машина времени“».

Это было первое упоминание нашего имени в официальных анналах. И в течение нескольких лет даже такой пустячок помогал нам существовать: в глазах любого чиновного идиота ансамбль, имевший пластиночку, – это уже не просто хиппари из подворотни.

Весной, несмотря на мои старания, случился разлад. Напряги Кутикова – Кавы достигли апогея. Очередным поводом послужило решение Сережи еще раз поступать в МГУ. Это лишало команду возможности поехать на юг и вообще нормально работать. Конечно, институт был поводом. Резкий Кава поставил вопрос фактически ребром – Кутиков или он. Кутиков, не любивший напрягов вообще, развернулся и ушел в «Високосное лето». Там были рады. Саульский, устав от этих склок, соскочил чуть раньше, а я поехал на юг.

Отказаться ехать играть на юг было выше моих сил. Ехать играть на юг – это уже было как наркотик. Наверно, с тем же чувством хиппи всего мира тянулись в Сан-Франциско. А тут последовало предложение проявить себя в новом месте – спортивный лагерь МГУ в Джемете. Тут же сколотилась команда – я, Леха Белов по кличке Вайт из группы «Удачное приобретение» и тот же Фокин. Поскольку к тому моменту Вайт был одним из известнейших гитаристов, а Фокин – само собой, барабанщик, мне оставалась лишь бас-гитара. Меня это совершенно не расстраивало – бас-гитара давно манила меня к себе, и я подозревал, что Кутиков извлекает из нее далеко не все, на что она способна.

Состав у нас получился неожиданно сильный и заводной. Скажу еще, что Джемете – чудное местечко под Анапой с песчаным пляжем, дюнами и тихим морем. Студенты жили в палатках, но руководству и музыкантам полагался деревянный домик. Я сказал «студенты» – это не совсем верно, так как на пятьсот студенток приходилось около двадцати юношей и еще, собственно, мы. Ничего больше рассказывать не буду.

По истечении месяца утомленный югом Вайт отбыл в Москву, а нас очень просили устроить оркестр еще на месяц, и я позвонил Кутикову. Он явился через два дня, привезя с собой басовый усилитель величиной с купе, в котором он с ним ехал. Что я всегда любил в Кутикове – так вот эту самую легкость. Я вернулся к гитаре. Каждый вечер игры с Фокиным был для нас праздником.

Когда в таком маленьком составе хорошо играет барабанщик – то уже хорошо играет вся команда. И еще одно счастливое бесшабашное лето кануло в прошлое.

Стоит, наверное, рассказать только об отъезде. Дело в том, что понятия «рабочий сцены» и даже «звукорежиссер» тогда в нашем мире не существовало. Музыканты сами таскали колонки и крутили ручки усилителей. Наиболее ушлые умудрялись ногами во время игры наступать на выключатели, благодаря чему на сцене мигали три-четыре убогие цветные лампочки. Так вот, близилось время отъезда в Москву. Неожиданно за день до общего отбытия соскочили в столицу Фокин и Кутиков. Юрка поведал туманную историю о какой-то дальней внезапно заболевшей родственнице, что сочинил Кутиков – я уже не помню. Разумеется, лукавый Фокин просто не хотел переть на себе колонки, а Кутиков, видимо, попал под его влияние. В общем, я не стал унижаться, просить их не ехать и в результате остался один на один с неподъемным аппаратом: четыре тяжеленных ящика с динамиками, барабаны, усилители, микрофонные стойки и прочая мелочовка – этак килограммов на двести. Конечно, в лагере я оставался не один – студенты, покоренные нашим искусством, считали за радость помочь мне, но все-таки они были далеки от понимания той ценности, какую представлял для нас заработанный кровью аппарат. Мелочей было очень много, и все по каким-то чемоданчикам и коробочкам, и я жутко боялся что-нибудь потерять.

Погрузка в автобус прошла сравнительно успешно. В процессе выяснилось, что садимся мы в поезд не в Анапе, а на каком-то полустанке, что поезд проходящий и стоит он минуты три. Вторым неприятным обстоятельством явилось то, что руководство лагеря как-то забыло купить на меня билет – такие штуки случались с нами постоянно: чем ближе к концу, тем лагерные начальники становились забывчивей и забывчивей и в последний день могли выкинуть вообще все, что угодно. Я это предвидел, но поделать ничего не мог – денег у меня не было. Последние тридцать рублей умыкнули Фокин с Кутиковым на покупку собственных билетов.

Над перроном повисла черная южная ночь. Предстояло угадать место остановки вагона номер одиннадцать, который целиком предназначался нашему лагерю. В противном случае закидать все наши ящики в поезд представлялось нереальным. Ошиблись мы немного – метров на пятнадцать. Но случилось совершенно непредвиденное – проводница наотрез отказалась пускать нас в вагон с аппаратурой. Шириной она была как раз с дверной проем вагона и стояла в нем намертво, как пробка,

пропуская внутрь лишь студентов с их хиленькими чемоданчиками. Три минуты истекли, на перроне оставалось все меньше моих помощников, тепловоз дал гудок. Я понял, что еще несколько мгновений, и я останусь один на платформе чужого южного городка с необъятным аппаратом и без копейки денег. Что-то во мне сработало само собой – я ухватил колонку и с диким ревом врезался в ненавистную тетку. Колонка весила килограммов двадцать, и удар оказался очень неожиданным – тетка пискнула и отлетела в глубь тамбура. Это было сигналом, этаким залпом «Авроры» – за считаные секунды в тамбур было закидано все, последние железяки бросали на ходу. Поверженная проводница слабо барахталась, придавленная горой аппаратуры, и, потеряв трудовой пафос и командный голос, униженно просила ее освободить. Поскольку места у меня не было, в процессе проверки билетов я шнырял из купе в купе, но, видимо, недостаточно убедительно, и мерзкая баба, которую мы незаслуженно выпустили, вычислила меня в два счета. Пришлось взять кепку и пройти по вагону. Было несколько унизительно, но смешно.

Путь от вокзала до моего дома, где мы частенько хранили аппарат, включая доставку его и подъем на седьмой этаж, я, как ни бьюсь, не могу восстановить в памяти. Знаю только, что сейчас я бы этого сделать, конечно, не смог. Сдох бы, а не смог.

И в один прекрасный день на моем пороге возник Сережа Кавагое с Игорем Дегтярюком. О Дегтярюке и команде «Второе дыхание» следует рассказать особо. Услышали мы их в «Энергетике» в составе Дегтярюк – Ширяев – Капитановский, и вызывали они у меня, например, чувство, близкое к священному ужасу. Технари они были страшные, вид имели крайне вызывающий, а тогда это было очень сильным плевком в морду общественному вкусу. Играли невероятно громко и на контакты не шли. Этот факт, кстати, работал на них – вслед за исключительной игрой воображение рисовало и другие исключительные качества, им как бы присущие. Люди они были, как оказалось, скандальные и неуживчивые, и Макс Капитановский постоянно их мирил. После ухода Макса к нам «Второе дыхание» тут же развалилось.

Коля Ширяев играл на безладовой бас-гитаре (до него никто в Москве ничего подобного не видел – я даже не знал, что такое бывает). На лице его располагалась борода величиной с бороду Энгельса. Над бородой за очками светились детские глаза. Вся жизненная энергия его уходила в бешеную игру на бас-гитаре. Взять ноту длительностью больше одной шестнадцатой было ниже его достоинства – это у него называлось «колупать на одной

ноте». Весь остальной Колин словарь состоял из двух фраз: «Колюня!» – то есть он сам, и «Чушки кочумают». Под «чушками» подразумевались ортодоксальные советские слушатели, а слово «кочумают» определяло состояние, в которое их должна была повергнуть Колина игра.

Был момент, когда, оставшись без команды, Колюня пришел к нам, и мы даже имели пару репетиций и один концерт, но аккомпанировать его реактивной бас-гитаре мы, конечно, не могли. А от наших малахольных композиций чушки, по мнению Колюни, не кочумали. Мы легко разбежались.

И вот теперь Кава привел ко мне Дегтярюка. Был он черноволос, бородат, лохмат и необыкновенно колоритен. Детали его одежды покрывала хипповая символика, пацифики и прочие фенечки. Передвигался он в самодельных сабо на деревянном ходу – последний хипповый писк, и они предвещали его приход жутковатым стуком задолго до появления.

Даже сейчас, в пору раскрепощенного сознания масс и так называемого плюрализма мнений, вид его вызывал бы если не праведный гнев, то по крайней мере недобрую усмешку. А в семьдесят четвертом все это воспринималось на уровне индивидуальной антисоветской демонстрации, за что Игорька постоянно хомутали и увозили в легавку. Интересно, что вся эта его атрибутика носила скорее внешний характер. Глаза у Игорька были голубые, трезвые и совсем не хипповые. Так же как и склад характера. Слышали мы про него всякие дурные истории. Ничего плохого за полгода совместной игры я про него сказать не могу. Но друзьями мы не были. Объединял нас только Джимми Хендрикс. За все время нашего сотрудничества исполнялась лишь одна моя песня «Ты или я», да и то втоптанная в Хендрикса до неузнаваемости. Я не особо переживал по этому поводу, так как был всецело поглощен совершенствованием игры на бас-гитаре. Состязаться мне приходилось с басистом Хендрикса Билли Коксом, а он, как я понимаю, был не последний парень в этом деле.

Игорек являлся счастливым обладателем усилителя «Hohner» мощностью 70 ватт. Равных по громкости в Москве не водилось. Не стоит говорить, что все ручки на нем выкручивались до правого упора. Усилитель ревел, как турбина самолета. На попытки Кавы привести этот рев в соответствие с громкостью общего звука Дегтярюк недобро поглядывал на него и говорил: «Чувак, я не виноват, что у меня такой усилитель». Попытка убавить громкость воспринималась как личное оскорбление, как плевок в самое святое. Оставалось одно – поднимать, подтягивать общую мощность под Игорев аппарат. Это, в общем, не шло

вразрез с нашими планами. Понятия «громко» и «хорошо» были практически идентичными.

Через пару месяцев мой бас включался в усилок, соединенный с двумя огромными колонками, затянутыми нежным розовым капроном, и отдельную металлическую пищалку – вроде колокольчиков на вокзале. Мы играли так громко, что однажды после сейшена в общаге мединститута мне стало по-настоящему плохо.

Пожалуй, на этом отрезке жизни с нами случилось всего два события, заслуживающих внимания, – мое исключение из института и приобщение «Машины» к кинопроцессу благодаря фильму «Афоня».

Первое событие особых воспоминаний не оставило. Как выяснилось впоследствии, из райкома или горкома партии в институт пришла установка очистить ряды советских студентов от волосатой нечисти. Под эту категорию попал я, Лешка Романов и совсем ни в чем не виноватый студентик Олежка Раков. Установка, конечно, была закрытой, и поводом к исключению послужил какой-то идиотский предлог – что-то вроде несвоевременного ухода с работы на овощной базе.

Учились мы хорошо, хвостов не имели, и вся история выглядела бредово. Помню, как сокурсники наши стихийным табуном ломанулись к ректору за правдой и как они по одному выходили оттуда, пряча глаза и разводя руками. Я просто физически ощущал, как невидимая стена прошла между нами и ними, а ведь мы с Лешкой были совсем не последние ребята в институтской тусовке. Печальные похлопывания по плечу, виноватое «эк тебя, старик, приложили», беспомощные советы идти жаловаться в министерство – все это было противно. Хваленое лицейское наше братство рассыпалось в порошок без особых усилий со стороны. Через месяц я уже работал архитектором в институте «Гипротеатр», то есть Государственном институте проектирования театров и зрелищных сооружений. Об этом месте я расскажу чуть позже.

Что касается второго события, то есть кино, то произошло это так. На сейшене в столовой номер восемь филфака МГУ (легендарное, кстати, место!) к нам подошел усатый дядька и объявил, что он из съемочной группы Данелии и мы им нужны.

Ночь я провел в необыкновенном волнении. Перед именем Данелии я благоговел – недавно, где-то недалеко от третьих экранов, прошел фильм «Тридцать три», был он очень смешной и по тем временам редкой гражданской смелости, на грани запрета. Я не мог себе представить, зачем мы понадобились Данелии, и воображение рисовало картинки самые причудливые.

Оказалось, все очень просто. В эпизоде на клубных танцах нужна была на заднем плане какая-нибудь группа – так сказать, типичный представитель. Только и всего. Там даже вроде бы снимался «Аракс», но потом у них что-то не сложилось. Надо сказать, я не расстроился: я считал за честь принести пользу Данелии в любом виде. Быстро была записана фонограмма песни «Ты или я» – выбора, собственно, не было, других наших песен Дегтярюк играть не умел. Съемки прошли за один день (вернее, ночь).

Надо сказать, Данелия отнесся к нам очень уважительно и щепетильно: песня была у нас приобретена по всем законам, и спустя несколько месяцев я неожиданно для себя получил невероятную кучу денег – рублей пятьсот (случай для нашего отечественного кинопроизводства отнюдь не типичный). На эти деньги был приобретен в комиссионном магазине магнитофон «Грюндиг ТК-46», который долго потом заменял нам студию.

Что касается кино, то даже не помню, остались ли мы в кадре. Обрывки песни, кажется, звучат. Интересно было бы посмотреть.

> Сейчас уже не посмотришь. Услышать еще можно – правда, запись все время как-то странно скачет. Дело в том, что к семьдесят пятому году песни наши у продвинутых владельцев магнитофонов на пленке уже попадались, а вот с нашими изображениями дело обстояло хуже – никто не знал, как мы выглядим. Поэтому, когда «Машина времени» появилась в кадре (мы на этом жутко настаивали – не чтобы нас в кино показали, а просто потому, что предыдущую песню играла группа «Аракс», поэтому всем должно было быть ясно, что вот они положили инструменты, а пришли мы. Нам это казалось страшно важным – представляю, как мы достали Георгия Николаевича!), нас можно было рассмотреть. Недолго – план длился секунды три. Конечно, ушлые киномеханики бросились вырезать себе каждый по кадрику с «Машиной» – девушкам дарить, и вообще. И очень скоро этот план из всех копий исчез – начисто. И песенка в этом месте судорожно прыгает, можно сделать вывод, что в 1975 году никакого раздражающего фактора для советской власти «Машина» еще не представляла – а то хрен бы мы там вообще оказались.

Альянс с Дегтярюком мирно закончился сам собой где-то через полгода – кажется, Игорек ушел в «Арсенал» к Козлову.

Вернулся Кутиков из «Високосного лета», и некоторое время мы играли в составе: я – Кутиков – Кавагое – Лешка Романов. Продлилось это до лета семьдесят пятого года – все было хорошо, и все же что-то не получалось, не чувствовал себя в своей тарелке Лешка, хотя ни он, ни мы не могли понять, почему, собственно. Мы пытались сделать несколько его песен, а мои он пел как-то не так – во всяком случае, мне так казалось. И еще одно обстоятельство: музыка на всех нас, видимо, действовала по-разному, нас она, например, приучила к невероятной дисциплине. Я даже не помню, чтобы кто-то опоздал на репетицию хотя бы на пять минут. А у Лешки это не выходило – в конце концов он пропал дня на два, я поехал к нему, долго плутал в потемках Теплого Стана, застал его дома, состоялся какой-то мутный разговор, из которого получалось, что он никак не может почувствовать свое место в нашей команде, – и мы расстались друзьями.

Память моя дает сбои, и этот кусок нашей жизни я почти не помню. А между тем группа существовала, мы писали новые песни, постоянно играли на сейшенах, и известность наша росла.

Сейшены происходили по налаженной схеме: кто-то из устроителей звонил мне, сообщалась дата, место и условия оплаты. Платили тогда немного – от ста до двухсот рублей на команду. Часа за два до начала мы собирались на базе – тогда это был клуб швейной фабрики «Красная роза» – и ловили автобус или «рафик». Транспортные услуги обходились в пять-десять рублей. Мы забрасывали наш аппарат в транспортное средство и ехали на место. Помню басовую колонку немыслимых размеров с портретом тогдашнего звукорежиссера Саши Катамахина прямо на фасаде. Она постоянно не влезала в автобусную дверь, и однажды мы в отчаянии отпилили от нее верхнюю часть прямо в процессе погрузки на глазах у изумленного водителя.

Сейшены устраивались в институтах, домах культуры, особой любовью пользовалась «кормушка» – крохотная студенческая кофейня в районе Каширки. Была она очень маленькая, денег там платили совсем ничего, но было там на редкость уютно и надежно: студенты сами заправляли всеми делами, и сейшены у нас практически не срывались. О других местах сказать этого было нельзя.

Итак, мы приезжали на точку и затаскивали аппарат внутрь, продираясь через толпу, – слух о сейшене летел впереди нас, и проворная московская система спешила попасть внутрь до того момента, когда дружинники в повязках начнут проверять билеты. Билет являл собой обыкновенную открытку с какой-нибудь

новогодней чепухой на лицевой стороне и самодельной печаткой на обратной. Почти всегда находился умник, который накануне изготавливал такую печатку (благо дело было нехитрое), и количество билетов удваивалось.

Да что там было изготавливать! Печатка рисовалась на обычном ластике! Детское, святое время!

Система билетов не покупала: во-первых, по причине отсутствия денег, во-вторых, это было западло – считалось особым шиком проходить внутрь на шару. Для этого существовало несколько способов: прежде всего пристраивались поднести какую-нибудь деталь нашего аппарата; потом использовали элементарный прорыв заслона дружинников, и в конце концов – пролезали внутрь через окно туалета, люк канализации, по водосточной трубе и т. д. Дружинники держали оборону до последнего – занятие бессмысленное, так как все равно все в конечном счете оказывались внутри. Если в процессе доставки и занесения внутрь ничего из аппарата не исчезало и не ломалось – сейшн начинался вовремя. Правда, случалось это крайне редко.

В воздухе витал могучий дух единения. Все собравшиеся (включая самих музыкантов) ощущали, что происходит что-то запрещенное, добытое с таким трудом, самое дорогое на свете, словом – сокровенное. С того момента, когда рок-н-ролл стал доступен всем, как, скажем, футбол, этот дух навсегда исчез. Я не тоскую по тем временам, но вот этого состояния коллективного просветления мне очень жаль.

Вскоре, как правило, в зале появлялась либо насмерть перепуганная администрация заведения, либо милиция, либо товарищи в штатском, и сейшн благополучно заканчивался. Музыка обычно останавливалась поворотом рубильника, и музыкантам предлагали пройти в отделение, то есть в легавку. Их уводили под восхищенные взгляды фанов. Если сейшн удавалось доиграть до конца и никто не обламывал – это считалось большой удачей. Я лично помню несколько таких вечеров. Именно за эту надежность так ценились «кормушка» и «стекляшка» в Долгопрудном – вообще, как ни странно, в технических вузах позволялось больше, чем в гуманитарных. Видимо, считалось, что технари идеологически изначально стоят на более надежных позициях. В легавке всех рассаживали поодиночке и по очереди уныло пытались выяснить, кто организовал халтуру, продавал билеты и где деньги.

Милиционерам, как правило, было скучно сражаться с какими-то волосатиками, классовой ненависти они к нам чаще

всего не питали, а главное – им было понятно, что дело дохлое: чтобы что-то доказать, следовало организатора поймать за руку, скажем, при продаже билетов. Билеты же продавались заранее в обстановке дикой конспирации по системе «звездочка»: то есть сам устроитель делил их на две пачки и раздавал двум своим доверенным людям, эти двое – своим и так далее. Система исключала возможность возникновения в ней слабого звена. Она, правда, имела и свой минус: у каждого устроителя в зале сидели практически одни и те же люди – через некоторое время я знал почти всех в лицо, и к семьдесят девятому году это стало уже невыносимым.

> А милиция, ребята (пардон, полиция), – вот она изменилась сильно. Вы даже себе не представляете насколько. Ее бы, сегодняшнюю, туда, в семидесятые, – в два счета бы все доказали. Да и доказывать бы ничего не стали. И все бы сидели. Как миленькие. Еще чего – доказывать!

Итак, устроителя поймать за руку было невозможно, а музыкантов спасало то, что к организации мероприятия и продаже билетов они отношения не имели. Так что после нескольких часов сидения и допросов по уставной форме всех благополучно отпускали домой. Разве что могла прийти телега в вуз.

Один раз, правда, было хуже (году уже, кажется, в семьдесят восьмом). Мы к тому моменту репетировали в крохотном домике ЖЭКа № 5 в переулке недалеко от метро «Аэропорт». Взяли меня из института прямо с занятий (я к тому времени восстановился на вечернее отделение), выглядело это очень эффектно. Сидя в черной «Волге», я смотрел в крепкие затылки ребят и безуспешно пытался определить, какой из трех контор они принадлежат. Приехали мы, оказывается, не на Лубянку и не в легавку, а к нам на базу, где меня попросили открыть комнату и, быстренько описав наш аппарат, куда-то все увезли.

Очень настораживало, что взяли нас не на сейшене, а ни с того ни с сего. Потом начался разговор. Я уже имел некоторый опыт и знал, что беседа может пойти по двум руслам. Первое – гуманное, что-нибудь вроде «парень-то ты, я вижу, хороший, а отвечаешь неискренне». Второе – удар по психике: «Я тебе, мать твою, сейчас устрою тут буги-вуги! Посидишь – поумнеешь!»

Здесь допрашивающих было трое. Один – добрый и вежливый, второй орал, третий просто ходил по комнате и иногда вставлял совершенно неожиданные вопросы. Будь у меня практики поменьше, пришлось бы мне туго. Один из товарищей

постоянно намекал на то, что организация у них исключительно серьезная, следят они за нами давно, все концерты переписаны, и, собственно, мое признание нужно лишь для облегчения моей же вины.

Ничего не добившись, нам выписали повестки в районное отделение ОБХСС на следующий день. Ситуация сразу прояснилась – стало ясно, с кем мы имеем дело. На следующий день все началось сначала. Выдержав и это, я понял, что надо действовать. На помощь я позвал Лешу Баташева. Он всегда относился к нам с какой-то нежностью и, несомненно, имел опыт по улаживанию аналогичных дел, правда, в мире джаза. Леша тут же приехал, и с его участием было составлено письмо в ЦК партии (на кого жаловаться, мы уже знали).

Через пять-шесть дней оттуда пришел ответ с просьбой зайти непосредственно в горком КПСС к товарищу такому-то. Помню, какими глазами смотрел на меня красноармеец при входе в подъезд – очень уж я был волосат для горкома. Выяснилось, что некий заслуженный большевик или генерал написал письмо к ним же с требованием «ликвидировать указанный джаз» (нас то есть). То ли он сдуру оказался на сейшене, то ли просто жил рядом с нашим ЖЭКом № 5 и мы своим грохотом мешали ему спать. Горком, соответственно, переправил письмо в райотдел МВД с резолюцией «Разобраться». Ну а там уж разобрались как смогли. Надо сказать, что после моего визита к товарищу такому-то аппаратуру нам вернули, и даже было сказано, что органы, мол, перегнули палку. Невероятно! На время мы уверовали в конечное торжество справедливости. Между тем ОБХСС и милиция продолжали доставать нас аж до семьдесят девятого года, пока наша команда не получила профессиональный статус. Несмотря на постоянные задержания, закрытия сейшенов и т. д., никто из московских музыкантов, кажется, не пострадал, хотя под следствием были многие (кроме, пожалуй, идиотской истории с Лешкой Романовым, который сам себя оговорил). Так сказать, «за отсутствием в действиях состава преступления». Действительно за отсутствием состава.

> Нет, про всю эту историю с горкомом КПСС надо рассказать поподробнее. Шли мы туда вдвоем с Мелик-Пашаевым и ожидали, естественно, чего угодно. В самое главное красное здание на Тверской – все очень серьезно. Ваник, которого уже тогда волновал в первую голову уголовный аспект происходящего, приготовил фразу, которая, по его мнению, должна была убить партийного оппонента наповал: «А вы докажите, что мы

получали деньги!» Он все время повторял ее шепотом, видимо боясь забыть.

За дверями просторного кабинета нас ждал достаточно молодой человек интеллигентного вида с высоким лбом и в очках – Александр Иванович Лазарев. Я совсем иначе представлял себе партийное начальство и несколько опешил (забегая вперед, могу сказать, что с Александром Ивановичем нам действительно повезло – он, выполняя свою работу, все-таки был очень нетипичным представителем своего класса – мы могли попасть на такую морду, что мало бы не показалось). Про отъем аппарата было миролюбиво предложено наплевать и забыть – завтра вернут, погорячились ребята. Мелик-Пашаев не удержался и выпалил свою заветную фразу – других у него заготовлено не было. «А вы докажите!..» Александр Иванович тонко улыбнулся и сказал – ну что вы, ничего мы не собираемся доказывать. Надо будет – у нас для этого есть другие организации, они и докажут. Ваник потрясенно затих. Основной вопрос не в этом, продолжал Александр Иванович, а как с нами – то есть как нам самим быть дальше.

Встречались мы потом еще несколько раз. Один раз даже у меня дома – думаю, Александру Ивановичу предстояло написать очень подробный отчет обо мне и моей деятельности в смежную организацию из трех букв. А так он приглашал меня на беседу в бар Дома журналистов – место культовое и простому человеку абсолютно недоступное – ваше удостоверение, пожалуйста! Горкомовской красной книжечке все двери были открыты (а может, и не горкомовской – я не заглядывал). Мы беседовали (вернее, большей частью беседовали со мной), и выходило, что я должен определиться со своей позицией. Или я враг, как, скажем, Галич или Солженицын – ну что же, мы их уважаем как врагов, но и боремся как с врагами. Надумаете уехать – поможем. А если вы не враг – то пояснее выражайте в своих песнях, на чьей вы стороне. А то вот про вас «Голос Америки» говорит. Они знают, про кого говорить.

Я не хотел уезжать. И пытался объяснить (наивно, видимо), что они сами создают себе врагов на пустом месте и тем самым кормят сотрудников вражеских голосов. Чего нас гоняют и вяжут? Дайте нормально жить и работать – и голоса замолчат! И что такого мы

спели против светлого коммунистического будущего? Солнечный остров скрылся в туман? Или нам начать комсомольские песни писать – про БАМ? И вообще – почему в театре на Таганке можно говорить со сцены то, что думаешь, а нам – нет? Потому что театр маленький, устало отвечал Лазарев, а вы своими записями заполонили всю страну, и вообще, ребята вы талантливые, и я очень не хочу, чтобы мои коллеги начали говорить с вами по-другому, – а они могут, они как раз только по-другому и могут.

В общем, я пообещал, что буду сообщать обо всех наших планируемых выступлениях. Я отлично понимал, что это означает сдать ментуре все сейшены, адреса, пароли и явки, поэтому если вдруг намечалось что-то, на мой взгляд, приближающееся к и так дозволенному – какой-нибудь институтско-комсомольский вечер, – то я о нем докладывал, и он иногда даже не отменялся, об остальных – умалчивал. Например, о наездах в Питер – это вообще не его территория, утешал я себя. Но, кстати, идея прикрыть себя каким-нибудь театром – тем, где больше дозволено, как я думал, – и таким образом поменять свой статус – эта идея зародилась у меня уже тогда, и когда мы такой театр нашли – Лазарев нам помог. Об этом позже.

Забавно – когда в Москву приехали «Boney M» – выступали они в концертном зале «Россия», и попасть было просто невозможно – билеты даже не дошли до касс – я набрался наглости, позвонил товарищу Лазареву и, сославшись на ленинский принцип – изучать классового врага с тем чтобы взять у него лучшее – попросил помочь с билетом. Лазарев тяжело вздохнул, но контрамарку дал. Концерт произвел впечатление.

Летом семьдесят пятого года у нас опять случился развал. На этот раз инициатором совершенно неожиданно стал Кутиков. У него, по-моему, начались какие-то жизненные искания. Во всяком случае, он упорхнул не куда-либо, а в Тульскую государственную филармонию, где формировался новый, так сказать, ВИА, которому якобы будет позволено после обязательной программы под видом песен народов мира сбацать что-нибудь из «Криденс». Обещались также восьмирублевые ставки, комплект аппаратуры «БИГ» и вообще золотые горы.

Я чувствовал, что прощаемся мы надолго. Очень мне не по нраву было такое идейное кутиковское ренегатство, и в глубине

души решил я ни за что обратно Кутикова не брать. В том, что эта тульская затея лопнет, у меня, в отличие от Саши, сомнений не было. Я уже достаточно реально осознавал окружающий мир.

Поразительное дело! В том, чтобы сыграть даже крохотный кусочек какой-нибудь битлятины, но с официальной сцены, виделась высшая цель, прямо какое-то героическое подвижничество. В программе «Поющих гитар» (тех самых, что с завидной лихостью выдавали инструментальные пьесы группы «Ventures» за свои собственные) была такая шутка: в процессе исполнения частушек а-ля «ярославские робята» они вдруг начинали отчаянно петь битлов. Выскакивал руководитель, пытался их безуспешно унять, после чего стрелял в воздух из пистолета, и частушки возобновлялись. Очень это было остро и смешно. Пожалуй, прямо вершина смелости.

В «Лужниках» комсомольцы проводили конкурс-смотр самодеятельных ВИА. Это был бесконечный поток кастрированных излияний с редкими вкраплениями народной либо военно-патриотической тематики. Попасть во дворец было невозможно. Билеты спрашивали от входа в парк. Еще бы – смотр групп! Стасик, оказавшийся в финале этого смотра (что-то Саша Лосев у него задушевно-русское пел), поклялся, что сбацает со сцены Джимми Хендрикса, сколько бы комсомольских жизней это ни унесло.

Заявление звучало дерзко до невероятности, но, зная Стасика, я не имел оснований ему не верить. В репертуарные списки, трижды утвержденные, заверенные и просвеченные насквозь, песня Хендрикса «Let me stand next to your fire» была вписана в последний момент как «произведение негритянского борца за свободу Хендрикса „Разреши мне стоять в огне нашего общего дела“».

С первыми аккордами, которые после пресного вокально-инструментального повидла прозвучали как выстрелы, комсомольцы опомнились – но было поздно. И тогда кто-то из наиболее догадливых кинулся к звуковому пульту и убрал весь звук, который он был в силах убрать. Вторая половина пьесы дозвучала комариным писком, но победа была одержана. Стасику жали руки. Комсомольские головы полетели, как капуста. Такая вот имела место акция.

В целом бездонная пропасть лежала между профессиональными ВИА, даже если они робко пытались пискнуть что-то со сцены в свое оправдание, ВИА самодеятельными, бравшими с них пример, и группами. Это, однако, не переходило в конфронтацию. Все понимали, что так устроен мир. Пойти, например, работать в «Веселые ребята» к

Слободкину так и называлось – продаться в рабство. Это компенсировалось спокойной жизнью без цепляний, милиции, хорошей аппаратурой и стабильным по тем временам высоким заработком. Чесали тогда ребята по три, по четыре в день. Было ясно, что эти суровые условия диктует сама жизнь, и никто из подпольных продавшимся в спину не плевал. Но от Кутикова я такого хода все же не ожидал и очень огорчился.

> Как ни противно, считаю обязанностью своей закрыть уже сильно поднадоевшую тему – были ли группы семидесятых отважными антисоветскими героями или, напротив, хитрыми комсомольскими конформистами – очень уж много по этому поводу вдруг появилось рассуждений и даже вони, причем, как правило, в исполнении людей, заставших эти самые времена в детском возрасте. Между тем описать эти времена человеку, их не заставшему, мне представляется маловозможным. Мне это время более всего напоминает сыр – вонючий и весь в дырах. Внутри этих дыр и этой вони проходили годы – можно было вдруг непредсказуемо выбраться на свет или, наоборот, уткнуться в тупик. Дышать было тяжело – но ничего, дышали, попривыкли. Просто вязкий этот сыр сводил с ума не хуже каторги: на каторге все ясно. А так – ничего: пытались, да не посадили, хотели забрить, да не забрили, выгнали, да восстановили. Или не восстановили – кого как. Из разных людей время состояло – как и сейчас, впрочем. Даже по телевизору могли показать – раз в год. Или не показать. Это вам, товарищ Прилепин.

Не помню, кто из нас и как нашел Маргулиса. По-моему, Кавагое. В общем, по предварительным описаниям, ожидался виртуоз гитарной игры, которого я втайне планировал пересадить на бас. Когда же увидел очень молодого, бледного, заросшего щетиной человека, да еще с фингалом под очками (впоследствии это оказался ячмень), в душу мою закрались сомнения.

На гитаре были небрежно сыграны два пассажа из Хендрикса. Мне понравилась легкость, с которой Маргулис согласился сменить инструмент на бас, честно заявив при этом, что баса он в руках никогда не держал и как на нем играть, понятия не имеет. Я обещал показать. Не знаю, насколько я оказался хорошим учителем, но дело у нас пошло.

Выяснилось, что Гуля очень способен, легок в общении, обладает прекрасным чувством юмора и, что важно, ничто его в

жизни не обременяет. То есть он работал, кажется, санитаром в какой-то больнице или морге, но вклад его в отечественную медицину носил чисто символический характер, и я даже не помню, ходил он туда или нет. Стало быть, все время мы могли посвятить нашей музыке. Что мы и делали. Кава на том отрезке времени был тоже свободен, как птица. Самым занятым оказался я – я работал в «Гипротеатре» и учился на вечернем в родном Архитектурном.

Но в институт можно было ходить два раза в год на экзамены – к работающим по специальности студентам относились в этом смысле с пониманием. А на работе я добился зачисления меня на полставки, то есть ходил через день. Моему шефу, замечательному художнику и человеку Сомову, наши рок-н-ролльные деяния были по нраву: он сам был в душе подпольщик и абстракционист, и отпускал он меня со службы по мере надобности. Спасибо ему за это.

Репетировала «Машина» к этому моменту в совсем уж удивительном месте – Министерстве мясной и молочной промышленности РСФСР. Место оказалось неожиданно удобным: клубы и дома культуры, напуганные нашим честным именем и всем, что с ним связано, нас уже не брали.

> То есть за случившийся у него сейшн директор дома культуры клал на стол партбилет автоматом – мы это понимали и в местах, где удавалось пристроиться репетировать, старались никаких сейшенов не проводить и вообще вести себя максимально тихо. Но дурная слава уже бежала впереди нас. Вот беседа двух директоров домов культуры в фойе Дома народного творчества, куда их, возможно, вызвали на инструктаж. Подслушано Вл. Матецким, за достоверность ручаюсь. Место и время действия – Москва, вторая половина 70-х.
>
> 1-й (матерый): «Ты сам-то эту „Машину времени“ видел?»
>
> 2-й (помоложе): «Я – нет! А вы видели?»
>
> 1-й: «А я видел!»
>
> 2ой: «И как это?»
>
> 1-й: (горько усмехаясь): «Как? Ну, значит, так: волосы у всех до пояса. На ботинках – черепа! Выходят на сцену, снимают ботинки, остаются в мягких тапочках».
>
> 2-й (в ужасе): «Зачем?!»
>
> 1-й: «Мягкие тапочки – чтобы было удобнее

нажимать на педали. Нажимают – и начинают орать в микрофон. По-английски и по-французски. Они в зал: „Йе-е!“ И им из зала – „Йе-е!!“ Понял, чем это пахнет?»

Когда Матецкий пересказал мне этот диалог, мне почти не было смешно. Сейчас немножко смешнее.

А в министерстве, далеком от проблем рок-н-ролла в нашей стране, даже не знали, кто мы такие. Мы скромно выступили у них на вечере, и румяным мясным и молочным тетенькам очень понравилось, как мальчики поют. Вопрос был решен на нижнем уровне – без участия министра. В нашем распоряжении оказался конференц-зал и каморка за сценой для хранения аппарата. Кроме всего прочего – ансамбль Министерства мясной и молочной промышленности! Согласитесь, это звучало.

У Маргулиса оказался классный блюзовый голос. Правда, он наотрез отказывался им пользоваться, мотивируя это тем, что сперва следует с бас-гитарой разобраться. Он, конечно, кокетничал, с бас-гитарой разбор произошел очень быстро. Через какой-нибудь месяц мне уже нечего было показывать и объяснять, а потом я и сам начал тайком поглядывать, что и как он играет. С исчезновением застарелого напряга Кавагое – Кутиков дышать и работать стало несказанно легче.

Атмосфера в команде – самое главное. Особенно у нас, когда ты не связан никакими контрактами, написать хорошую песню – твоя единственная перспектива, а отсутствие профессионального мастерства не позволяет ничем компенсировать холод человеческих отношений. Потому-то Москва была полна виртуозов-одиночек, полупризнанных гениев соцандерграунда, а групп оставалось меньше и меньше. Нам же, видимо, просто очень везло друг на друга.

Чуть позже в команде появился скрипач Коля Ларин. Не помню, откуда он взялся и откуда вообще возникла идея использовать струнные смычковые – во всяком случае, никак не от «Аквариума», о котором мы еще слыхом не слыхивали.

Хотя, в общем, понятно: после Саульского за клавишами как-то никто уже не смотрелся, втроем играть – не хватало красок, а такие вещи, как «Mahavishnu Orchestra» с бешеной скрипкой или, скажем, Жан Люк Понти, были у всех на ушах.

Коля был убежденный авангардист, что не очень-то вязалось с нашей музыкой, но у нас была группа, а он был один – и это решило все.

Вспоминая такое странное сочетание, я могу сказать только одно: мы испытывали потребность в экспериментах и никаких рамок перед собой не видели. Может быть, это вообще витало в

музыке тех лет, а может, было присуще только нам – мы каждый день что-то для себя открывали: то «Soft Machine», то Чика Кореа, то трио Ганелина, и это тут же, как в зеркале, отражалось в наших вещах, при том что мы играли совершенно другую музыку. Были у нас даже многочастные длиннющие композиции типа «Молитвы», куда было понапихано черт-те что. Все это называют словом «эклектика». В таком случае это была прекрасная эклектика.

Примерно к этому времени относится наша первая профессиональная запись.

(Вру, вторая. Первая случилась на радио в 1970 году и, по-моему, даже однажды звучала в эфире, но думаю, что ее в природе уже не существует. Туда входили песни «Солдат», «Продавец счастья», «Помогите», сопливая лирика «Последние дни» и патетическая антивоенная пьеса «Я видел этот день». Очень было бы смешно послушать. Увы.)

На этот раз нас попыталась вытащить на голубой экран вечная ведущая «Музыкального киоска» Элеонора Беляева. Узнала она о нас от своей дочери и, видимо, не предполагала, с какими трудностями ей придется столкнуться в связи с нашим приглашением.

За один день мы записали и свели «Круг чистой воды», «Ты или я», «Из конца в конец», «Черно-белый цвет», «Марионетки», «Флаг над замком» и «Летучего голландца» – единственную нашу песню на чужие стихи, а именно Бори Баркаса. И хотя за пультом был Володя Виноградов, я все равно не понимаю, как это мы уложились. Собственно, записью все и закончилось – никуда она, конечно, не пошла. Но это была первая наша нормальная запись, и разлетелась она по изголодавшейся стране со скоростью звука. Мы узнали об этом чуть позже.

> Бывало и смешно. Мы приехали в Таллин (извините, буду писать по-старому, как привык), на фестиваль «Таллинские песни молодежи—76» (об этом чуть дальше), и сразу познакомились с очаровательным парнем, журналистом Николаем Мейнертом – он и был одним из инициаторов-организаторов фестиваля. В первый же вечер мы оказались у него в гостях, и он торжественно завел нам нашу запись 75-го года – дескать, все у них есть! Я пришел в ужас – на Колиной записи звучал только один канал, поэтому, например, пресловутая «Ты или я» состояла из моего голоса, барабанов и бас-гитары – остальные инструменты отсутствовали. Я тут же достал из сумки оригинал записи (всегда таскал его с собой!) и попытался восстановить художественно-историческую справедливость. Услышав первоисточник, Коля очень расстроился и признался мне, что его вариант нравится ему гораздо больше.

Необъяснимые вещи творились с нами – и творились по 1986 год, когда мы, будучи уже семь лет профессионалами, добились разрешения работать в Москве. Масса хороших людей, энтузиастов своего дела, пытались пропихнуть нас то туда, то сюда, то на страницы газет, то в «Голубой огонек», то в передачу «Запишите на ваши магнитофоны» – и всегда в последний момент чья-то бесшумная мягкая лапа останавливала любые поползновения. У меня даже возникало такое ощущение, что мы волей случайностей стали эдаким громоотводом для всего направления в целом.

Имя наше было притчей во языцех, и благодаря тому, что не

пускали нас, кому-то удавалось быстро под шумок занять наше место. А может, мне все это кажется. Не знаю, кому персонально и чем мы так насолили, – ходили разные легенды, что нас очень не любит Гришин, что нас очень не любит Шауро, что нас очень не любит кто-то в КГБ; проверить все это мы не могли. Но присутствие этой мягкой лапы я физически ощущал все время.

> Вот ведь забавно! Остановите сейчас на улице сто человек – хоть вместе, хоть по очереди – и спросите: кто такой Гришин? Кто такой Шауро? А ведь как гремели имена, как трепетали народы! Воистину все – тлен и суета…

Помню, нас снимал Ролан Быков для какой-то своей телепередачи. Он был уверен в успехе, говорил, что пойдет к самому Лапину, если будет надо. Туда он и пошел в конце концов. И вышел молча, разводя руками. Разговаривать о песнях не имело никакого смысла – их просто не хотели слушать. Достаточно было нашего названия. Все это тяготило безмерно, но, с другой стороны, рождало уверенность в том, что мы все делаем правильно. Жизнь, в общем, продолжалась.

Поскольку никому, вплоть до вышеуказанных органов, было по-настоящему не известно, что таким командам, вроде нашей, можно, а что – нельзя, никаких правил и законов не существовало, все в конечном счете сводилось к наличию у ансамбля «литовки», то есть программы, утвержденной так называемым Домом народного творчества (я имею в виду не финансовую сторону концертов – тут вообще никто ничего не понимал, – а просто право выступать на публике).

Дом с таким волшебным названием располагался на Малой Бронной. Я шел туда с гордостью за то, что наше творчество занесено в разряд народного, и вообще с большим интересом. Мне казалось, что в этом доме должна кипеть какая-то яркая жизнь, воздух дрожать от народных танцев, былин и сказаний. Подойдя к подъезду, я не услышал гуслей и балалаек и, зайдя внутрь, увидел мертвые коридоры, выкрашенные тем цветом, что идет у нас в стране на детские сады, школы и больницы, – типичная советская контора. Почти все кабинеты оказались закрытыми – видимо, давно и навсегда.

Я разыскал наконец человека, ответственного за жизнь и деятельность команд вроде нашей. Носил он непростую фамилию Эстеркес, имел интеллигентную внешность с наличием бородки, в глазах его стояло застывшее страдание. Он сознавал своим административным умом, что «литовку» нам подписывать нельзя

(название «литовка» было, естественно, условное – никакого отношения к государственному ЛИТу все это не имело), но аргументов найти не мог. Помню, как он в отчаянии перебирал листочки с нашими песнями и пожимал плечами.

Мне было его по-человечески жалко, но другого выхода я не видел – клубы и институты наотрез боялись принимать нас без проклятой бумажки. Действительна же она была на один отдельно взятый концерт. Это потом уже я поумнел и множил ее на ксероксе. Пару раз Эстеркесу удавалось непостижимым образом исчезнуть из кабинета, узнав, что я на пороге. Возможно, он вылезал в окно.

Впоследствии я уже не подвергал себя такому испытанию, а посылал к нему приглашающую сторону, то есть устроителей. Однажды помог тот факт, что фамилия моя совпала с фамилией зам. главного архитектора Москвы – большого человека. Это тогда работало.

У меня до сих пор валяется несколько тех самых, когда-то вырванных с кровью «литовок». Вписывал я туда, конечно, все, что угодно, вплоть до русских народных песен, но душа моя протестовала против совсем уже тотального вранья, и несколько своих песен я там оставлял. На одной из «литовок» рукой Эстеркеса вычеркнута песня «Марионетки». Что-то там в ней ему, Эстеркесу, не понравилось.

В 1976 году случилось событие, открывшее новые горизонты в нашей жизни, – нас вдруг пригласили в Таллин на фестиваль «Таллинские песни молодежи—76». Организовывал это ЦК ВЛКСМ Эстонии, и название фестиваля носило отпечаток эдакого комсомольского камуфляжа – это, конечно, был рок-фестиваль, но слово пока было запрещенное. Не помню, с помощью какого финта мы заполучили бумагу с грифом родного мясомолочного министерства, где говорилось, что нас командируют на фестиваль. Мы ехали туда как на самый главный праздник в своей жизни. К радости примешивалась робость – мы слышали, что в Эстонии музыкальная жизнь куда свободнее, чем в России, и что там очень сильные группы.

Поразило сразу все – красота и чистота таллинских улочек, вежливость и серьезность местных комсомольцев, покрытых сильным рок-н-ролльным налетом, – очень они были непохожи на наших привычных, в галстуках и с бегающими глазами. Еще поразило то, что у входа в зал Таллинского политехнического института, где проходил фестиваль, нет толпы: оказывается, билеты давно проданы, а воспитанная эстонская молодежь не станет без толку ломиться, раз билеты все равно кончились. Это

казалось невероятным, у нас-то в Москве все было иначе – самый верный способ создать толпу – это сказать, что билетов уже нет.

Скрипача Коли Ларина с нами уже не было, его вольная авангардистская душа не вынесла нашей врожденной дисциплины, и место его занимал некто Сережа Осташев – скрипач, конечно, послабее, но зато старательный (он, кстати, с нами тоже долго не прожил).

Мы приехали в Таллин позже остальных участников, оказалось, что все гостиницы уже заняты, и нас повезли в какое-то студенческое общежитие, оставленное как резерв. Мы по гостиницам еще никогда не жили и никаких претензий не имели, настроение было необыкновенно приподнятое, во всем ощущалось преддверие какого-то счастья – настоящий рок-фестиваль и почти за границей. Ехали мы в эту общагу почему-то на троллейбусе, в котором нам представили необыкновенно интеллигентного юношу в овчинном тулупе, явно студенческого вида, с милой спутницей и гитарой в матерчатом мешке. Звали юношу Боря Гребенщиков.

В общагу мы приехали сильно продрогшие и тут же предложили ему согреться нервно-паралитическим – наш звукорежиссер Саша Катамахин производил это пойло путем настаивания чистого медицинского спирта на большом количестве стручкового красного перца, привезенного специально для этой цели из Ташкента. Он всегда возил этот динамит с собой – якобы на случай простуды кого-нибудь из нас. Повод был достойный. Согрелись мы основательно и, кажется, заснули по пути к койкам, а Борька – по дороге к своему номеру, которого у него, кстати, так и не оказалось.

Борька нам очень понравился. Мы ему, по-моему, тоже. Он со своим «Аквариумом», который тогда представлял собой милый акустический квартет, явился в Таллин без всяких приглашений и чуть ли не пешком. И им разрешили выступать! По законам московской жизни такое даже невозможно было себе представить.

Собравшиеся с разных концов страны на фестиваль хиппи рассказывали совсем уж фантастические вещи: их встречали на вокзале (руководствуясь их внешним видом), предлагали комнаты в общежитии, а по окончании фестиваля – обратные билеты, и все бесплатно! (Естественно, откуда у хиппи деньги?) Это вместо того, чтобы волочь в кутузку, стричь и выяснять, откуда, собственно, они взялись. Мы чувствовали, что попали в другую страну.

Грянул фестиваль. Эстонские группы оказались действительно сильными, но какими-то замороженными, что ли. В их музыке было все, кроме того, что заставляет тебя

притопывать ногой в такт помимо собственной воли.

> Кроме, пожалуй, Гуннара Грапса с его командой – он был какой-то неприбалтийский: заводной и рок-н-ролльный до мозга костей.

Москву представляли мы, блюзово-рок-н-ролльное «Удачное приобретение», Стасик Намин с группой из двух человек (Слизунов и Никольский). Из Ленинграда приехал «Орнамент», тот же «Аквариум», кто-то еще, из Горького – группа «Время». Остальные команды из Прибалтики.

Концерты шли днем и вечером. По три-четыре группы в каждом. Мы выступали вечером первого дня. Не знаю уж, в каком приподнятом состоянии духа мы пребывали, но зал аплодировал минут десять – было ясно, что это победа (что для нас стало полной неожиданностью, кстати: у нас ведь до этого не было возможности сравнить себя с другими командами, кроме московских). Не знаю, что тут сработало – то ли наши песни, сделанные из очень простой музыки, то ли странное сочетание бит-группы со скрипкой, а может, наш завод, у прибалтов отсутствовавший. Наверно, все вместе.

Назавтра днем состоялось второе наше выступление. Оно прошло похуже из-за нашего состояния – очень уж нас накануне все поздравляли, но это уже было неважно. Сережа Кавагое, постоянно ратовавший за профессиональное поведение на сцене, договорился с нами, что в случае какой-либо технической поломки во время выступления следует не ковыряться в проводах, стоя спиной к залу, а быстро и с достоинством покинуть сценическое пространство, пока все не починят. И когда на второй песне что-то у меня отключилось (дело обычное), Сережа бросил палки и с такой скоростью усвистал за кулисы, что зал испуганно притих – все решили, что это какая-то творческая наша задумка.

Уезжали мы из Таллина пьяные от счастья и коктейля «Мюнди», увозя с собой бесценную бумагу, подписанную секретарем ЦК ВЛКСМ (ну и что, что Эстонии?), где говорилось, что мы не враги народа, а, напротив, художественно и идеологически выдержанные и заняли первое место на советском молодежном фестивале. Эта бумага виделась нам спасательным кругом, на котором еще долго могла продержаться наша безопасность в московских джунглях. Еще мы увозили обещание Борьки пригласить нас сыграть в Питер – по его рассказам, там шла подпольная, но совершенно роскошная рок-н-ролльная жизнь.

В Питере мы оказались очень скоро. Нас встретили как героев. Это было приятно. Дружное хипповое, какое-то немосковское подполье, очаровательный, едва уловимый ленинградский акцент, кофе в «Сайгоне» – все это было великолепно.

> И сейчас – прибыв в 8 утра на «Стреле», выхожу на Невский, смотрю першпективу в сторону Генштаба. Похоже? Непохоже. И вот что: в советские времена были очень некрасивые вывески, но они были ОДИНАКОВО некрасивые, исполненные в одной стилистике, и было их гораздо меньше, а рекламных щитов не было вовсе, и не могли эти серенькие «булочная», «ресторан», «гастроном» скрыть или даже поломать могучую архитектуру Питера. Иное дело теперь – спасибо Саше Розенбауму, хоть растяжки убрали его усилиями. Такая красота наляпана на каждом сантиметре – глаз не оторвать! А идешь, скажем, по Лондону – и нигде (за исключением двух торговых улиц) никакой наружной рекламы! А знаете почему? А потому что нельзя! А почему? А потому что некрасиво – вид города портит! Ну не деревня?

По первому ощущению питерская тусовка чувствовала себя куда свободнее московской – и весьма этим гордилась. К вечеру, уже несколько набратавшиеся, мы большой волосатой толпой двинули на сейшн в ДК Крупской. Он оказался где-то почти на окраине (как мне показалось), но – фантастика! – милиции не было!

Первой играла команда с названием «Зеркало» – и никаких особых впечатлений ни у нас, ни у зрителей не оставила. Мы приободрились – народ уже знал, что мы должны играть, и посматривал на нас с плохо скрываемым восторгом. Представляю, как уже успела расписать наши достоинства хипповая молва.

Вслед за «Зеркалом» вышел «Аквариум». Играли они чистую акустику и, следовательно, прямой конкуренции составить нам тоже не могли. Их принимали тепло, но без остервенения.

Потом на сцене появились «Мифы». Их я уже видел пару лет назад в Москве – не знаю, каким ветром их туда занесло. Уже тогда в них все было шикарно – мощный, какой-то фирменный вокал Юры Ильченко, издевательские тексты, тяжелые аранжировки, волосы до плеч и драные джинсы – все чуть-чуть свободнее, чем в Москве. А теперь они вышли на сцену с духовой секцией – трубой и саксофоном! Дудки победно сверкали.

С первыми аккордами я понял, что нам конец – если два года назад они меня поразили, то теперешнюю мою реакцию не

описать. Я был растоптан. Помимо всего прочего у «Мифов» напрочь отсутствовали сценическая зажатость и старательность, столь характерные для московских групп и, наверно, для нас самих. На сцене стояли абсолютно отвязанные жизнерадостные нахалы, явно торчавшие от собственной музыки. Пианист Юра Степанов время от времени оставлял инструмент и пускался вприсядку. В зале творилось невообразимое.

Маргулис задвинул свою бас-гитару ногами куда-то под кресло и заявил, что если после «Мифов» я хочу видеть его на сцене, то для начала придется его убить.

Поздно! «Мифы» доиграли свой последний хит, пригласили на сцену «Машину времени», и их трубачи грянули какой-то бравурный марш. Не выйти было нельзя. Не помню, как мы с Сережей выволокли Маргулиса за кулисы. Занавес закрыли на пять минут – ровно на столько, чтобы попытаться настроить гитары, воткнуть их в аппарат и выяснить, какая песня первая. Тряпку раздернули, я зажмурился, и мы грохнули «Битву с дураками».

Я выжимал из себя и из гитары все. Я не раскрыл глаз до конца песни. Мне было страшно. Последний аккорд потонул в таком реве, что глаза открылись сами собой. Впоследствии я никогда не видел, чтобы пятьсот человек могли произвести звук такой силы. Страх улетучился мгновенно. Были сыграны «Ты или я», «Флаг над замком», «Черно-белый цвет», и я почувствовал, что надо уходить, потому что у человеческих эмоций есть предел и следующую песню зал уже с таким накалом встретить не сможет просто физически.

Потом мы шли разгоряченной толпой во всю ширину какой-то темной улицы. Кажется, от нас валил пар. Мы двигались в сторону Московского вокзала, особенно, впрочем, не заботясь о направлении. Откуда-то возникла бутылка водки и крохотная хрустальная рюмочка, которую всякий раз перед тостом торжественно ставили на асфальт посреди улицы и наполняли. Местные менеджеры бежали за нами, на ходу выкрикивая предложения, – все это уже было неважно. Это вот ночное ленинградское счастье живо во мне до сих пор. А в Питер мы вернулись скоро. Ровно через неделю.

И началась наша гастрольная жизнь. Конечно, гастролями это в сегодняшнем смысле назвать было бы никак невозможно. Гастроли – это что-то такое длительное, профессиональное. Нам же звонили уже знакомые организаторы из Питера либо друзья-музыканты, мы покупали билеты, грузили свой аппарат в купе «Стрелы» и отправлялись в колыбель революции.

Когда я сейчас пытаюсь представить себе, как это мы перли

все наши ящики по платформе, затаскивали их в вагон, невзирая на вопли проводницы, помещались между ними и на них в купе, утром выволакивали все это на продрогший питерский перрон, везли к какому-нибудь безумному нашему фану на квартиру, задыхаясь, поднимали на пятый этаж – ленинградские подъезды не баловали нас лифтами, – а через пару часов уже спускали наши драгоценности вниз, чтобы закинуть в пойманный левым путем автобус и разгрузить все это в рискнувшем принять нас Доме культуры, науки или техники, настроить звук, потом, пьяные от успеха и общения с питерской тусовкой, опять все развинтить, собрать, довезти, невзирая на вопли проводницы, и ничего не потерять по дороге – я не понимаю, сколько сил в нас бурлило и какой магический завод нами двигал.

> Колонки самого популярного (и самого, надо сказать, надежного) комплекта «REGENT 60» производства ГДР (ламповый усилитель на 40 ватт, две неподъемные тумбы с динамиками, оклеенные дерматином цвета немецкой военной формы, включалось туда все, что можно) были ровно такого размера, чтобы занять собой все купе – они входили в дверь миллиметр в миллиметр. Дальше надо было, невероятно извернувшись, упасть на верхние и нижние полки – получалось только лежа, а на колонках уже открывали бутылки и резали колбасу. Проводницы бесились, но сделать ничего не могли – у них не получалось даже сдвинуть наши колонки с места, а мы за ними сидели как в крепости.

Понятие «техперсонал» тогда отсутствовало начисто, рассчитывать приходилось только на фанов, мечтающих проскочить на заветный сейшн. По окончании они, как правило, исчезали либо находились в состоянии, не позволявшем допускать их до аппарата.

Пожалуй, на тот период достойных конкурентов, кроме «Мифов», в Питере у нас не было. Бешеный прием ленинградцев грел нас, как доброе вино. Были и другие причины наших миграций – в родной Москве мы уже задыхались в кругу одних и тех же знакомых по сейшенам лиц, а новые не могли нас увидеть, хоть застрелись, из-за проклятой конспиративной системы распространения билетов. Круг устроителей сузился до нескольких человек, у которых обломы случались не каждый раз, а, скажем, через два на третий. А ехать по приглашению какого-то новичка, зная, что потом придется долго и нудно давать показания, да еще тащиться ради этой радости, скажем, в

Электросталь крайне не хотелось. Питер стал для нас спасением – правда, тоже ненадолго.

С первых же приездов я слышал постоянно имя какого-то легендарного Коли Васина. Произносилось оно с особенным уважением и чуть ли не трепетом. На одном из сейшенов мне сообщили, что Васин будет. Я, между прочим, волновался.

После нескольких песен на меня налетел, смял и поднял в воздух здоровенный малый в бороде и хипповых атрибутах. Между поцелуями он оценивал нашу игру словами, которые я здесь при всем желании и торжестве гласности привести не могу. По глазам окруживших меня ленинградских друзей я почувствовал, что их «отпустило». Потом я узнал, что Коля Васин, как правило, в оценках строг, а с мнением его очень считались.

Этим же вечером мы оказались в его доме. Долго тряслись на трамвае, друзья-музыканты, загадочно улыбаясь, поглядывали на нас, и я понимал, что нас ожидает какой-то шок. Я даже предвидел, что связано это будет с битлами. Но такого я, конечно, не ожидал. Какой там дом! Какой музей! Мы вдруг очутились внутри волшебной шкатулки, заполненной битлами.

Не было ни квадратного миллиметра без битлов. Пространство уходило в полумрак и хотя, как я понимаю сейчас, было небольшим – казалось безбрежным и многомерным. Битлы смотрели с фотографий, постеров, картин самого различного художественного достоинства, со значков на портьерах, с самих портьер, с книжных полок и полок для пластинок и кассет. В углу даже располагалось чучело Ринго Старра в натуральную величину, показывающего всем «козу», то есть «лав». И все это горело безумными красками и дышало истинным хипповым духом.

Может быть, на свете есть несколько человек, не уступающих Коле Васину в информированности о жизни «Битлз». Какой-нибудь Хантер Дэвис. Не знаю. Но всезнание Коли меня поражало. Поражало, как он все это собрал по крохам, живя в Ленинграде, и на какой любви все это было замешено. Его можно было спросить, что, скажем, делал Джон одиннадцатого августа 1964 года часов в восемь вечера, и в ответ шел немедленный рассказ, причем, произнося имена битлов, Коля заикался от нежности.

Его хата надолго стала моим любимым местом в Питере. Я мог оставаться там на несколько дней и, когда Коля уходил на работу, брал один из его альбомов и читал до вечера. Альбомы Коля делал сам. Их невозможно описать – их следует видеть. Это были неподъемные фолианты, содержавшие жизнь битлов в

статьях, текстах песен, фотографиях, его же, Колиных, картинах и картинках, а также комментариях. Это великий труд, пропитанный такой неподдельной любовью, что от осевшей в альбомах Колиной энергетики они чуть не светились в темноте.

Коля был максималист. Он или любил – до удушения в объятиях, – или не любил совсем, отводил глаза, физически не мог сказать что-то хорошее, если ему не нравилось. Да что я все «был» да «был». Жив Коля Васин, слава богу, и давно переехал с дикой Ржевки в центр Питера и перевез свой музей, только вот смерть Джона Леннона сильно его согнула, и, может быть, от этого он оставил себя в том, что было до восьмидесятого года. Может, так оно и надо. Я его вижу иногда и очень его люблю.

Четыре раза в год – в дни рождения Джона, Джорджа, Пола и Ринго – Коля устраивал грандиозные, чисто питерские сейшены в их честь. Энергия его не знала границ. Художники рисовали плакаты и картины, музыканты разучивали песни именинника специально к этому дню. И все это происходило абсолютно без участия каких-либо денег, что приводило в изумление и неверие бдительных ленинградских ментов. Сейшены проходили с огромным количеством групп, в конце они обычно играли что-то вместе – дух праздника приближался к религиозному. Даже портвейн в туалете пился одухотворенно, только за битлов, и ни в какое безобразие это не переходило. Я пару раз побывал на этих днях рождения и унес грустное чувство, что питерская музыкальная тусовка как-то дружнее московской (хотя и в столице все мы были друзья).

Я не мог представить себе такого по-детски чистого, альтруистического всеобщего собрания людей, такого общего просветления в столице нашей родины. А может быть, у Москвы просто не было своего Коли Васина.

Мы не оставались в долгу и по мере своих сил вытаскивали питерские команды в Москву. В качестве рупора использовался Архитектурный институт, где я как-никак все еще учился. Таким образом Москве были показаны «Аквариум» и «Мифы».

Московско-питерская музыкальная дружба доросла до того, что по окончании одного из наших наездов на Ленинград солист «Мифов» Юрка Ильченко отказался расставаться и вместе с нами укатил в Москву. Причем решение было принято прямо на вокзале минут за пять до отхода поезда, а так как все имущество Ильченко состояло из гитары, которую он притащил с собой, – никаких проблем не возникло.

Юрка вообще был (да, наверное, и остался) необыкновенно легким человеком. Я, пожалуй, легче и не встречал. Он был

настоящий человек рок-н-ролла. Деньги у него тогда в принципе не водились, а если случайно и появлялись, то расставался он с ними с радостью, граничащей с отвращением. Места проживания он менял так часто, что домом ни одно из них назвать было нельзя. От его паспорта, сложенного обычно вчетверо, милиционеры падали в обморок. Хипповое начало было у него не элементом моды, как у девяноста процентов тусовки, а росло где-то внутри, как небольшое дерево. Комплексами он не страдал вообще, и это как раз затрудняло длительное общение с ним людей, комплексы имеющих, то есть всего остального человечества.

Он подтверждал собой ту истину, что если человек талантлив, то талантлив во всем. Брал в руки карандаш – и оказывалось, что он прекрасно рисует. Пробовал шить – и через неделю уже делал это лучше и быстрее всех остальных, и половина Питера ходила в построенных им клешах. Делал гитары, на которых сам и играл.

Не было в нем только стержня, без которого невозможно ни одно дело довести до конца. Я это очень чувствовал, когда он писал какую-нибудь новую песню. После того как он находил что-то для себя главное – удачное четверостишие, музыкальный ход, в общем, феньку, – вся остальная работа по доделке теряла для него всякий интерес, и я безуспешно пытался заставить его что-то подчистить. Хотя песни он писал отличные, на гитаре играл именно так, как надо, не поражая скоростью, но очень вкусно и с удивительным ощущением стиля – то, что у большинства наших виртуозов отсутствует.

Про его манеру петь я уже не говорю. Вообще петь по-русски умели тогда единицы, не корежа русский язык английским прононсом (меня от этого могло стошнить прямо на сейшене). У нас и сейчас-то от этого далеко не все отделались, а уж тогда это, видимо, казалось единственным способом сблизить свои беспомощные поэтические опыты с как бы проверенным американским роком. Юрка пел удивительно – абсолютно по-русски, легко и свободно, и это был настоящий рок. (В жизни он слегка заикался и говорил голосом, отнюдь не наталкивающим на мысль, что этот парень может петь.) Думаю, что был он одним из лучших вокалистов нашего рока вообще – по тем временам, во всяком случае.

Мне трудно сейчас оценить музыку, которую мы играли вместе с Ильченко. Коля Васин считает, например, что это был самый сильный состав «Машины». Мы с Юркой совместно ничего не написали – просто играли и его, и мои песни и помогали друг другу доводить их до ума. Наверно, был хороший контраст: при

массе общего мы с ним все-таки были очень разные. И в музыке тоже. Но нам нравились песни друг друга, и из этого, видимо, что-то выходило.

Продлился наш альянс около полугода. Жил Юрка все это время у меня на кухне, и совместное наше проживание лишний раз доказывало мне, что все на свете относительно и не такой уж я хиппи, как мне самому казалось.

Ничто в жизни не обременяло Юрку, кроме музыки, и он мирно спал, когда я, опухший и злой, бежал на работу в постылый «Гипротеатр». Где-то к обеду я ломался и засыпал.

На этот случай в столе под чертежами была проделана дырочка, куда вставлялся грифелем твердый карандаш, после чего на него можно было «повесить» кисть правой руки. Левой рукой подпиралась голова, и образ архитектора, задумавшегося над проектом, был налицо. В этой трудной позе я чутко спал до семнадцати тридцати, после чего летел в институт засветиться, узнать, когда и какие зачеты, и, наконец, к девятнадцати ноль-ноль оказывался на репетиции, где меня уже ждал свеженький, только что проснувшийся и заботливо накормленный моими родителями Ильченко.

Беспомощная зависть смешивалась во мне с праведным гневом труженика. Конечно, Юрка ни в чем не был виноват. Скорее всего, мы просто за полгода сыграли вместе все, что нам хотелось. Но сейчас кажется мне, что это было долго и хорошо, а летом мы еще устроили с Борзовым путешествие в дикую Карелию, а потом рванули с Ильченко в Гурзуф – любимое мое место тогда. Золотое это было время! И Гурзуф был еще Гурзуфом, и в «чайнике» рядом с причалом продавали волшебный ялтинский портвейн, от которого делаешься только лучше и добрее, и море было хрустальной прозрачности, и не существовало еще слова «спид», и городишко Чернобыль ничем не выделялся на поверхности страны.

Расставание с Ильченко случилось не вдруг. Мы чувствовали, что к этому как-то шло. И все же, когда он сказал, что истосковался по Питеру и не в силах более бороться с зовом родной земли, стало грустно. Расстались мы друзьями.

А дальше случилась с Юркой, в общем, грустная вещь. Расставшись с нами, он еще некоторое время поколбасился на питерской сцене, а потом куда-то исчез – я, во всяком случае, потерял его из вида лет чуть не на двадцать. Короткое исключение составила работа над фильмом «Перекресток» с Ярмольником в главной роли. Я тогда вообще сотворил невозможное – написал пять

песен за месяц – они с Астраханом вдруг решили, что главный герой будет музыкантом, а через месяц или чуть меньше уже надо было снимать. Ладно придумать – их надо было еще записать на студии, а главное – спеть. Ярмольник надеялся, что я спою, а он в кадре будет открывать рот. Я убедил его, что Ярмольник, поющий голосом Макаревича, – самое глупое, что можно себе представить. В идеале, конечно, петь он должен был бы сам. Он бы и спел – если бы было в запасе месяца три. В фильме «Московские каникулы» я практически заставил его это сделать, но на одну песню ушел месяц – Леня хороший артист, но, в общем, не певец. В результате в музыкальном фильме под ударом оказалось то, что в нем должно быть главным, – музыка. Чертов совок. Днями и ночами я искал поющего человека с голосом, похожим на голос Ярмольника. Пробовал петь даже Гриша Константинопольский – выходило смешно, но Ярмольником не пахло. И тут я вспомнил про Юрку Ильченко. Разыскал его, он тут же прилетел и сделал то, что от него хотели. Имитации Лениного голоса все равно не получилось, но слух (и глаз) не резало, и я думаю, многие даже не догадались, что поющего Ярмольника озвучивал Ильченко. Юрка спел, получил деньги и снова пропал.

А потом вдруг объявился недавно, с пачкой дисков. Он снова собрал группу и записал альбом. Я много раз наблюдал (увы, были примеры): уезжает человек за границу и застывает ровно в том времени, из которого уехал. Потом встречаешь его через десять лет – а с ним ничего не произошло, и разговор с тобой он начинает с того места, на котором вы его оборвали десять лет назад, и он ничего не замечает, а тебе не дает покоя странное ощущение – ты прожил целую эпоху, а он – нет! Распалась связь времен. Это можно объяснить, если человек уехал в другую страну и жил только своими воспоминаниями. Но Юрка-то никуда не уезжал! Было чувство, что те же самые «Мифы» записали альбом – только на дворе тот же семьдесят восьмой год. И то, что стреляло тогда, было клевым и современным, вдруг оказалось совершенно никаким сегодня – все мимо. Я даже растерялся. Юрка хотел, чтобы я показал альбом в Москве на всяких радиостанциях. Я честно попытался – никто его не взял. И Юрка опять исчез.

Жалко. Редкого таланта мужик.

«Машина» наша за эти полгода с Ильченко приобрела такое плотное звучание, что возврат в трио был уже невозможен. Мы как-то вяло поиграли втроем, съездили в Таллин во второй раз – теперь уже фестиваль проходил не в зале ТПИ, а во Дворце спорта «Калев». Мы никогда еще не играли на такой большой аудитории. Выступили мы хуже, чем за год до этого, – нас уже ждали как героев, а я накануне отъезда простудился так, что ни петь, ни говорить, ни шептать не мог.

Меня шатало от аспирина, меда, коньяка, и прошли мы во многом благодаря прошлогодней славе. «Високосное лето», приехавшее в Таллин впервые, нас явно затмило. Было обидно, но не очень – все-таки наши, московские! Приехав домой, мы поняли, что дудочное звучание «Мифов» не дает нам покоя.

И мы кинулись искать духовую секцию. Меня лично привлекал совсем не джаз-рок, входивший тогда в моду. Мы хорошо относились и к «Чикаго», и к «Blood, Sweat and Tears», и к Леше Козлову, но шли не за ними. В сверкающих дудках было что-то победоносное и необъяснимо жизнеутверждающее. Мне наша духовая секция виделась почему-то в парадных никелевых пожарных касках. Жаль, что за год ее существования я этих касок так и не смог достать.

Надо сказать, что у нас практически не было знакомых в духовом мире, который не очень-то пересекался с рок-н-ролльным. За помощью мы обратились к нашему другу Саше Айзенштадту, человеку из джаз-роковой прослойки. Очень скоро он прислал к нам саксофониста Женю Легусова, эдакого смешного блондинистого парня, который неожиданно оказался очень деловым, уяснил задачу, нами поставленную, и обещал духовиков в ближайшие дни набрать. Так как у нас не было опыта в аранжировках духовых, мы в порядке испытания дали ему песню «Посвящение хорошему знакомому» с условием вписать туда дудки.

Буквально дня через три Женя позвонил и доложил, что задание выполнено. Через час мы собрались на нашей базе в ЖЭКе № 5. Женя и два незнакомых малых вынимали из чехлов сверкающие золотом инструменты, что-то там подвинчивали, вставляли, поплевывали – так готовят оружие к бою. У меня по спине шли мурашки от ожидания. Потом появились листочки с нотами. Это нас потрясло. Мы за все время существования «Машины» нотами не пользовались и вообще считали нотную запись продажной девкой официальной эстрады. Мы грянули «Посвящение», и я от восторга не мог петь. Пришлось раза три или четыре начинать сначала. Это было потрясающее чувство – когда слышишь свою песню в совершенно новом звучании и

становится ясно, чего же ей не хватало все это время. Как будто за нашими спинами появилась артиллерия, поддерживающая нашу атаку мощными медными залпами. Ничто не заменит звук живых дудок!

Третий духовик – тромбонист – через несколько дней куда-то исчез, но это было неважно, вполне хватало саксофона и трубы. На трубе играл Сережа Велицкий – человек с ангельским взором и мягким южным говором. Родом он был из Керчи, имел прекрасный классический звук. В команду нашу он, в отличие от Легусова, как-то сразу не вписался.

Я часто раздумывал над этим явлением – такое происходило у нас частенько с новыми людьми. И никогда не случалось, чтобы, скажем, сначала не вписался, а потом – ничего, подошел. Это было ясно с самого начала, и в конце концов человек всегда уходил. Не могу объяснить, в чем тут дело. И уж никак не в том смысле, что, мол, мы хорошие, а он – плохой. Какие-то очень тонкие понятия из области юмора, взаимопонимания, поведения, вкуса, не знаю, чего еще. Нам никогда не приходилось объяснять это друг другу – но «наш – не наш» бывало порой важнее всех музыкальных талантов новобранца.

> Много лет спустя я снимал в Ливерпуле фильм про ежегодный проходящий там битловский фестиваль – группы-двойники (сходство с оригиналом иногда до мурашек), базар-обмен битловскими раритетами, музыка с утра до ночи. Среди прочих гостей на фестивале была Синтия Леннон – первая жена Джона. Я брал у нее интервью и среди прочего спросил, почему Пит Бест, такой красавец, не вписался в «Битлз». «Они не совпадали по чувству юмора», – сказала Синтия. Вот это самый точный ответ.

Но на этот раз оказалось не до того – слишком захватил сам звук, новые звуковые возможности. Мы с Кавой кинулись сочинять аранжировки для духовых. Это нас настолько увлекло, что техника записи этих аранжировок на нотную бумагу далась нам за несколько дней. Меня, правда, поразило, что для духовых существуют различные ключи записи и для трубы, например, следовало всю партию записывать на тон ниже. Жуткая глупость!

Кава вообще ненавидел ноты как класс. Он не мог понять, почему это мы можем играть импровизируя, сразу в любом стиле, а дудкам обязательно нужен для этого проклятый листок с закорючками. И вообще нотные пюпитры (слово-то какое!), стоящие на сцене, лишают ее рок-н-ролльного начала. Поэтому с духовиков было потребовано учить партии наизусть. Если

обещание не сдерживалось, Кава запросто мог во время концерта посреди песни выскочить из-за барабанов, сшибить ногой ненавистный пюпитр и довольный вернуться на место.

На носу маячило лето, и нас тянуло играть на юг. Это уже было неизлечимо – команда, однажды съездившая поиграть на юг, оказывалась навсегда отравленной этим сладким ядом и готова была идти на любые, самые унизительные условия, лишь бы оказаться там вновь. Условия, впрочем, были практически везде одинаковы: «будка и корыто».

Правда, одно дело – «Буревестник» с роскошными коттеджами, чешским пивом, столовой ресторанного типа и всем женским цветом страны и совсем другое – палаточный лагерь какого-нибудь Тамбовского института связи с перловой кашей по утрам и обязательным обходом в 23.00. Но даже это было неважно. Бесплатная счастливая жизнь, возможность играть и репетировать, не прячась в подполье, и высокий авторитет в глазах женской части отдыхающих – за это можно было пойти на все.

И когда в начале июня мне позвонил какой-то массовик-затейник и сообщил, что нас ждут в такой-то точке Кавказа, в таком-то пансионате с такого-то числа, – я лично принялся считать дни до отъезда. Дальше случилось непредвиденное – на южной станции нас никто не встретил. Чувствуя неладное, но не теряя надежды, мы поймали грузовик, закидали туда колонки и с большим трудом отыскали в темноте южной ночи нужный нам пансионат, где нам хмуро сообщили, что массовик такой-то в отъезде, а оркестр для танцев у них уже есть. На чем беседа и закончилась.

Ночевали мы на лавочках того же пансионата, стараясь во сне прикрывать какой-либо частью тела часть аппарата, стоявшего тут же. Утром на оставшиеся деньги были куплены яблоки, и мы с Легусовым двинулись вдоль побережья в поисках работы. Баз отдыха и пансионатов вокруг располагалось хоть отбавляй. К сожалению, все они уже имели своих музыкантов.

Прошагав целый день и вдоволь наунижавшись, мы набрели на палаточный лагерь в поселке Джубга. Не помню, какому ведомству он принадлежал. Кажется, МВД. Во всяком случае, начальник лагеря в недавнем прошлом был начальником совсем другого лагеря, о чем нам сразу сообщили. Но музыкантов у них не было. К счастью, наше название, уже вызывавшее трепет в хиппово-студенческой среде, оставалось еще совершенно неизвестным административной прослойке Черноморского побережья, и нас взяли на неопределенный испытательный срок. Очень скоро зав. культсектором лагеря (он же баянист-затейник)

почувствовал, что совершена крупная идеологическая ошибка. «Опять одни шейки! – в ужасе кричал он после очередных танцев. – Слишком много шейков!»

Мы попробовали перейти на блюзы, но сметливый работник культуры справедливо заметил, что блюз – тот же шейк, только медленный. По побережью шныряли разного рода комиссии – проверить идеологически-художественный уровень отдыха трудящихся, а заодно выпить и отдохнуть на шару, и баянист понимал, как лицо ответственное, что его южная жизнь висит на волоске.

Честно говоря, мы сами были не в восторге от Джубги – место оказалось глухое, наша публика отсутствовала начисто, а мрачный престарелый туристский контингент базы никак не врубался в нашу музыку.

> Золотозубые тетки с высокими пергидрольными прическами неловко топтались под наш молодежный андерграунд и поглядывали на нас неодобрительно. Знаете, почему музыканты, как правило, не танцуют? Они нагляделись. На всю жизнь.

Не помню уже, кто посоветовал нам, не дожидаясь взрыва, сложить свои пожитки и двинуть в Ново-Михайловку на турбазу «Приморье». После скучной плоской Джубги место показалось райским. Дорога, идущая вдоль моря, упиралась в ворота базы и заканчивалась. Дальше шли дикие скалы. С другой стороны база была ограничена лагерем Ленинградского политеха, наполненным милыми девушками. Сама база стояла на крутом склоне горы, утопая в зелени. Между деревянных домиков бродили куры, чудом удерживаясь на склоне. Место было что надо. Старшим инструктором оказался могучий человек по фамилии Черкасов – любитель походов, Высоцкого, туристской песни. Не знаю, чем мы ему понравились. Знаю, что он принял на себя несколько атак всяких идеологических комиссий, но нас отстоял. На счастье, в ларьке «Союзпечать», стоявшем прямо на территории базы, продавалась наша пресловутая пластиночка с трио Линник, то есть «Зодиак», подтверждавшая наше, так сказать, официальное существование.

Южная жизнь наладилась. Единственное, что слегка огорчало, – это постоянное чувство голода. Кормили на базе скромно, к тому же наш жизненный распорядок шел в полный разрез с установленным расписанием. Спать мы ложились примерно за час до завтрака и, естественно, попасть на него никак не могли. Так что обед у нас переходил в завтрак, ужин – в обед, а вечером мы уже кусали локти. У ворот базы торговали

люля-кебабами. Запах бесил нас, но денег не было.

Расхаживающие по территории куры, толстые, как свиньи, не давали нам покоя. Принадлежали они, видимо, обслуживающему персоналу базы, и было их много, из чего возникло предположение, что пропажу одной из них никто не заметит. Духовая секция разработала несколько планов покушений. Хитрые куры, спокойно гулявшие под ногами, проявляли небывалую прыть при попытке просто поймать их руками. Первым делом была испробована мышеловка. Она щедро усыпалась крошками хлеба и заряжалась. При этом делалось предположение, что если курицу и не прихлопнет, то, во всяком случае, неожиданный удар по голове лишит ее на мгновение бдительности и тем самым позволит ее пленить. Терпеливый Легусов полдня просидел в кустах, но догадливые птицы склевывали все, кроме последнего кусочка непосредственно на мышеловке. Было предложено использовать мое ружье для подводной охоты, но я не мог позволить осквернить честное оружие таким образом. Наконец однажды путем сложных уговоров Легусов заманил курицу в душевую. Душевая представляла собой бетонный бункер с единственным дверным проемом, впрочем, без двери. В качестве вратаря в этот проем встал трубач Велицкий, и Легусов медленно пошел на птицу. Когда курица осознала, что попала в скверную историю, она закричала страшным голосом, вышибла худенького Велицкого из дверей на манер ядра и унеслась в южное небо. Я и сейчас вижу ее, дерзко парящую над зелеными кипарисами и лазурным морем.

Год семьдесят восьмой ознаменовался заменой в секции духовых. Вместо Сережи Велицкого в команду пришел Сережа Кузминок, человек с могучим здоровьем, тонкой поэтической натурой и трубой, граненной как стакан. Пытались сделать запись с помощью нашего тогдашнего звукорежиссера Игорька Кленова и двух бытовых магнитофонов. Ютились мы в то время на территории красного уголка автодормехбазы № 6 (куда только не заносило!). Запись производилась ночами, когда за окнами не ревели грузовики и никто нами не интересовался. Получилось лучше, чем можно было ожидать, но запись эта у меня не сохранилась.

Весной случилась еще одна занимательная история. Мне позвонил Артем Троицкий – ныне известный критик и авангардист – и сообщил, что по его рекомендации мы приглашены в Свердловск на рок-фестиваль «Весна УПИ», где он пребывает в составе жюри. Окрыленные таллинскими победами, мы махнули в Свердловск.

Фестиваль обещал быть грандиозным – около шестидесяти групп. Но с первых же минут мы поняли, что попали куда-то не туда. Таллином тут не пахло. Шел типичный комсомольский смотр патриотических ВИА. Исключением была группа Пантыкина. Они играли совершенно заумную музыку, но без слов, и это их спасало. Все остальное находилось на идеологическом и музыкальном уровне «Гренады».

Хитрый Троицкий задумал подложить бомбу в виде нас под комсомольское мероприятие. В нас самих проснулся нездоровый азарт ударить московским роком по всей этой клюкве. Не знаю уж, в каких лживых розовых красках расписал Артем «Машину» организаторам, но когда они увидели наши концертные костюмы, они заметались – все остальные выходили на сцену либо при комсомольских значках, либо в военной форме, либо и в том, и в другом.

Наше первое выступление должно было состояться вечером. По мере приближения назначенного часа росла паника комсомольцев и ажиотаж зрителей. К началу зал был заполнен минимум дважды – люди стояли у стен, толпились в проходах, сидели на шеях у тех, кто стоял у стен и в проходах. К тому же все музыканты шестидесяти групп-участников потребовали места в зале, а когда им попытались объяснить, что мест нет, они заявили, что приехали сюда не комсомольцев тешить, а посмотреть «Машину», и если их не пустят, они сейчас запросто двинут домой. Согласитесь, это было приятно. Музыкантов запустили в оркестровую яму, в боковые карманы сцены и за задник. Концерт задержали почти на два часа.

Последней запрещающей инстанцией оказался обезумевший пожарный, который, наверное, никогда во вверенном ему зале не видел такой пожароопасной обстановки. Я не помню, как мы играли. Видимо, хорошо.

Вечером состоялся банкет для участников – последнее место, куда нас пустили. Дальше фестиваль уже продолжался без нас. Члены жюри хлопали нас по плечу и улыбались, музыканты жали руки, комсомольцы обходили стороной. В конце вечера они, отводя глаза, сообщили, что лучше бы нам уехать с их праздника. Возражений, собственно, не возникало – мы уже выступили и доказали, что хотели. Правда, трусливые и мстительные комсомольцы не выдали нам денег на обратную дорогу, и не помню уж, каким чудом мы их наодалживали.

В Москве до меня дошли слухи, что «Високосное лето» нашло какую-то студию и пишет там альбом! Это было невероятно. Вскоре детали прояснились.

Кутиков, после лопнувшей тульской затеи вновь оказавшийся в «Високосном лете», устроился на работу в учебную речевую студию ГИТИСа. Устроился не без задней мысли задействовать данную студию по назначению. Работал там также веселый и легкий человек Олег Николаев, спокойно позволявший в свободное от занятий время всякие безобразия. Оборудование студии было бедным – два СТМа, тесловский пультик, и все. Зато это была настоящая студия со звукопоглощающими стенами и режиссерской кабиной за двойным стеклом. Мы о таком не могли и мечтать.

Естественно, я попросил Кутикова оказать содействие старым друзьям. Кутиков, не прекращавший питать к нам симпатии, пообещал все уладить с Олегом и через пару дней сказал, что можно начинать. Он же вызвался быть звукорежиссером.

Я страшно волновался весь день. Первым делом я отпросился на работе на максимально возможный срок, пообещав, что потом, в какой-нибудь трудный для «Гипротеатра» момент, все отработаю – за мной не заржавеет. Получилась целая неделя. Писать предстояло ночами. То есть с утра в студии шли всякие занятия, часа в четыре они заканчивались, и до вечера студия превращалась в этакий театральный клуб. Там еще была третья комната, большая, с длинным столом, покрытым зеленым сукном. И вот в ней собирались выпускники, какие-то молодые непризнанные и признанные режиссеры, сценаристы. Они спорили, читали сценарии, пили дешевое арбатское вино.

Я слушал их раскрыв рот. Они все казались мне такими гениальными! Это уже было неофициальное время, но нам начинать было нельзя, так как на звуки музыки мог заскочить какой-нибудь засидевшийся в институте педагог или, скажем, пожарный. К тому же мне очень не хотелось останавливать беседу об искусстве за зеленым столом. Да я, в общем, был и не вправе. И только после десяти, когда здание института вымирало, мы распаковывали аппарат и начинали.

Первый день, то есть ночь, ушел на настройку. Назавтра работа пошла. У нас не было определенной концепции альбома (мы в этом отстали от ленинградцев – они сразу начали мыслить альбомами). А мы просто хотели записать по возможности все, что у нас есть. Ночи через три студия представляла собой удивительное зрелище. Хипповая Москва прознала, что «Машина» пишется в ГИТИСе, и в комнате с зеленым столом собиралась тусовка. В принципе, это были наши друзья и знакомые, и, в общем, они нам почти не мешали: сидели довольно чинно и тихо, интеллигентно выпивали что у кого было, гордые своей приобщенностью к сокровенному акту искусства, творившемуся

за дверью. Тут же на них можно было проверить качество свежей записи. А если вдруг они начинали шуметь, Кутиков их легко выгонял.

Мы работали как звери. Может быть, с тех самых пор мы на студии постоянно работаем быстро, и это, кстати, не всегда идет на пользу конечному результату. Но тогда у нас были все основания спешить – никто не знал, сколько еще ночей у нас впереди, а успеть хотелось как можно больше. Помню странное ощущение, когда мы, измученные, опухшие и небритые, выходили на Арбатскую площадь часов в восемь утра (примерно в это время приходилось заканчивать), и я с удивлением видел свежих, выспавшихся людей, спешащих на работу, и всякий раз не мог отделаться от мысли, что у них уже сегодняшний день, а у нас еще вчера, так как мы не ложились и отстали на сутки.

> Несколько лет спустя я, так и не избавившись от этого впечатления, написал песенку «Чужие среди чужих» – она открывала собой одноименный альбом – вот не помню, писали мы его у Володи Ширкина или уже на своей собственной студии.

Запись получилась отличная. Оригинал ее утерян, и копия, которая осталась у меня, – не лучшая. Но сейчас, слушая ее, я удивляюсь, как мы добились такого звука при той убогой аппаратуре.

Технология была проста. Сначала на первом СТМе писалась болванка, то есть, скажем, барабан, бас и гитара. Если все получалось, то эта запись переписывалась на втором СТМе с одновременным наложением дудок и еще одной гитары. Если опять все получалось, то все переписывалось обратно на первый магнитофон с наложением голосов. Какое-либо микширование исключалось, вернее, происходило в момент записи, и если кто-то слажал, то приходилось начинать заново. Все приборы обработки состояли из сиротского пленочного реверберatора «Swissecho», купленного случайно по газетному объявлению. Кутикову, конечно, за работу в таких условиях следовало тут же в студии поставить памятник.

Помню, как мы записывали посвящение Стиви Уандеру («Твой волшебный мир»), и я как-то очень удачно и проникновенно спел и возрадовался, потому что тональности тогда выбирал запредельные и пел на грани возможного, а помощник по записи Наиль нажал не на ту кнопку и стер мое гениальное исполнение, и я потом корячился всю ночь, бился об стену, гасил в студии свет для состояния, выпил почти бутылку рома для связок, чуть не сорвал голос, но так хорошо уже не

получилось.

Мы не предполагали, что эта запись принесет нам такую известность. Мы даже не думали, что она будет кому-то нужна, кроме нас самих, – ну, может быть, самым близким друзьям. Но деловые ребята в ларьках звукозаписи настригли из нее альбомов по своему усмотрению, и машина завертелась. Я до сих пор не знаю, как эта пленка у них очутилась. Может быть, практичный Олег подсуетился. Лично я помню одного мальчика откуда-то из Сибири. Он приехал специально за этой записью, долго искал нашу студию (как он вообще узнал?). Мы никогда не были против распространения наших песен, а то, что за это можно просить деньги, нам вообще не приходило в голову. К тому же у мальчика был совершенно немеркантильный вид. Но я не могу себе представить, чтобы из одних рук песни разлетелись в таком количестве. Через месяц эта запись звучала уже везде.

Видимо, духовный голод наших молодых людей, не впечатленных официальной молодежной музыкой, не знал границ.

В начале 80-х кто-то из моих друзей (кажется, Володя Матецкий) представил меня молодому человеку курпулентного сложения. Тот, убедившись, что это именно я и что в ближайшие три дня я ничем важным не занят, немедленно купил мне (и себе) билет на самолет в Якутск. А на мой удивленный вопрос, что именно происходит, ответил: «Слушай, я столько денег заработал на твоих записях, что должен хоть как-то ответить!»

Звали его Володя, и он оказался хозяином всех звукозаписывающих ларьков края. Сейчас молодому меломану трудно объяснить, что такое ларек звукозаписи – он уже родился с Интернетом. Тогда Интернета не было, по-моему, даже в планах – во всяком случае, у нас. И молодой меломан в поисках любимых групп – наших и западных – шел в ларек звукозаписи. Если там не оказывалось того, что он искал, – он оставлял заказ, ему находили, что могли, и записывали на кассеты или бобины. За деньги, разумеется. Таких жаждущих меломанов по стране бродили десятки миллионов. В общем, хозяева ларьков неплохо зарабатывали. С авторами делиться было не принято, так что я отнес предложение моего нового знакомого к разряду благородных. К тому же я на тот момент не бывал в Якутске.

Поездку эту я запомнил навсегда. Это был нечеловеческий трехсуточный банкет с оркестрами, танцами, Ленскими столбами по берегам (мы еще куда-то плавали) и прочими атрибутами дикого и слегка цивилизованного Севера – Володя оказался человеком больших возможностей. Не знаю, как я не умер.

Меня могут спросить – что же вы сейчас так воюете с пиратами? А ларьки-то разве были не пиратские? Ну что же, причин две. Первая – в основном благодаря этим самым ларькам наша музыка разлеталась по стране, других путей доставки ее к слушателю не существовало. Вторая – сами эти ларьки были непонятным полусамодеятельным (хотя и массовым) явлением, не поддавались ни учету, ни контролю, то есть по положению своему ничем не отличались от нас, «неофициальных» групп, и тоже, полагаю, жили на пороховой бочке. СССР тогда не входил в международную конвенцию по авторским правам, и с западной музыкой вопросов не возникало – вся страна была один очень большой пират. Наши группы, видимо, шли заодно.

Ну а сегодня, когда мы наконец учимся соблюдать законы, мало того – когда ты можешь издать результаты своего труда совершенно легально, как это делается в мире, – зачем нам пираты? Мне, например, на фиг не нужны.

Пару месяцев назад, проходя мимо ГИТИСа, вспомнил я нашу студию, и черт дернул меня зайти внутрь и подняться на второй этаж. Я увидел закрытую на замок дверь и в щелку за ней – стулья, стулья друг на друге, какой-то хлам, тлен и запустение. Было чувство, что я стою на разграбленной могиле близкого человека. Говорят, там сейчас иногда идут занятия по гражданской обороне. Очень может быть.

Потом – уже в наше время – там опять была студия, частная, говорят, очень хорошо оборудованная. Что происходит сегодня – не знаю.

А потом опять настало лето, и нас вновь потянуло на юг. На этот раз предложение поступило от Московского авиационного института, который имел лагерь в Алуште. Не помню, по какой причине Кава не смог поехать с нами, и я позвонил Алику Сикорскому. Образ его в моей душе и до сих пор занимает одно из самых светлых мест: не дай он нам сыграть тогда, в шестьдесят

девятом, что бы с нами было? Алик слегка покочевряжился, мотивируя тем, что уже сто лет не играл на барабанах, впрочем, упорствовал недолго.

В Алуште нам не понравилось. Лагерь оказался палаточным, стоял он на совершенно голом глиняном откосе над мутноватым морем. Контингент авиационных студентов при почти полном отсутствии студенток тоже особой радости не обещал. И когда в лагере появился деловой человек из Гурзуфа и предложил переехать к нему на танцплощадку, мы не раздумывая согласились. К тому же у нас наработалась роскошная танцевальная программа – вся классика блюза и рок-н-ролла. Алик замечательно пел и барабанил. Сейчас уже так не поют и не барабанят – это уходит, как время. А в Гурзуфе к нам еще присоединился истосковавшийся по нам Кава.

Поселили нас в Гурзуфе совершенно замечательно. Бывавшие там, конечно, знают узенькую древнюю лестницу, спускающуюся от центральной площади, где автобусы, к морю. В самом ее узком и древнем месте слева оказывается бывший дом Коровина, а ныне – Дом творчества художников, справа – двухэтажное здание, на втором этаже которого в те времена был расположен ресторан, а на первый этаж вела загадочная дверка, выходящая прямо на вышеуказанную лестницу. Сколько я помню, дверка эта всегда была заперта. Так вот за ней обнаружился самый настоящий клуб с фойе, залом и даже каменным Лениным на сцене. Клуб занимал весь первый этаж и не функционировал, видимо, никогда. Ловкий человек, пригласивший нас, оказался директором этого самого клуба. Нам был вручен ключ от заветной дверцы. Когда эйфория от возможности круглосуточно владеть самым центральным в Гурзуфе зданием прошла, мы робко осведомились, на чем, собственно, спать. Директор задумался, и к вечеру на грузовике подвезли полосатые солдатские матрасы – штук тридцать. Это было все. Матрасы, видимо, списали в казарме по истечении двадцатипятилетнего срока годности. Это был настоящий рок-н-ролл.

Танцплощадка наша находилась (и находится) в другом конце городка, возле «Спутника». Аппарат убирать было некуда, посему один из нас еженощно оставался спать на сцене под южным небом во избежание кражи. Обещались нам за работу деньги в размере шестидесяти процентов от сбора. Мы было возрадовались, но зря. Ловкие ребята на контроле забирали у входящих билеты и тут же продавали их вновь, поэтому танцплощадка была полна, а по количеству проданных билетов нам выходило по червонцу на рыло. Впрочем, мы не голодали. Приличная уже известность группы, древний родной Гурзуф,

друзья и подруги из Москвы, Киева, Питера, дикие ночи с ними на сцене клуба под бесстрастным монументом в темноте (свет нам включать не рекомендовали), утреннее пиво в тени кустов туи под шум моря и восхитительная вяленая ставридка – это была наша последняя настоящая южная поездка. Мы и потом ездили на юг, играли там (это уже называлось – гастролировали), но вот этот святой бесшабашный хиппово-рок-н-ролльный дух – он остался там, в Гурзуфе семьдесят восьмого.

Я не поеду больше в Гурзуф. Нет больше того Гурзуфа, и постоянное сопоставление картин, бережно хранимых памятью, с реальностью вызывает мучительное чувство. Кто-то безобразно расширил мою набережную, понатыкал бездарных зонтиков, как будто это какая-нибудь Ялта, и нет пива в «стекляшке» и портвейна в «чайнике», и дело вовсе не в пиве или портвейне, а в том, что дух – дух ушел, умер, стал другим. В «Спутнике» вместо озорных иностранных студентов живут унылые семейные комсомольцы, и пьют они теперь не в «тарелке», а в номерах под одеялом, и с катеров, подходящих к пирсу, звучит совсем другая музыка, и над клубом нашим соорудили какой-то немыслимый стеклянный переход из дома Коровина по второму этажу, и что там теперь внутри, я даже боюсь подумать.

И только танцплощадка наша цела и невредима, и так же точно мажет кто-то дегтем верх решетки, ее окружающей, чтобы, значит, не лазить бесплатно, – маленький нелепый островок прошлого. Так нам и надо. Ничего не бывает вечно.

Осенью мы расстались с дудками. То ли мы наигрались в духовые, то ли ребята слишком любили выпить, но скорее всего, нам захотелось чего-то нового. Видимо, захотелось синтезаторов. Они тогда были в большой моде, постоянно доходила информация о каких-то новых невероятных клавишных, долетали волшебные слова «Мелотрон», «Полимуг», «Клавинет Д6». Электроника вошла в «Машину» в лице Саши Воронова. Саша Воронов делал сам приличные синтезаторы и играл на одном из них. Саша не был нашим человеком. Я не могу сейчас вспомнить, почему мы его все-таки взяли. Честно говоря, после Игорька Саульского играть с любым клавишником казалось мучением. Самое тяжелое – объяснить человеку, как здесь следует сыграть (если он сам, конечно, не чувствует). Нот, я уже говорил, мы принципиально не писали, и если вкус человека отличался от нашего, добиться от него двух нужных нот было пыткой и для нас, и для него.

Вообще в группе было нехорошо. Зрели внутренние напряжения, и все мы чувствовали, что сделать тут ничего нельзя.

Может быть, мы сыграли вместе все хорошее, что могли, и нужна была какая-то ломка. Впрочем, одна из причин напряга мне известна.

Сережу очень задевало, что мое имя все чаще и чаще звучало в связи с «Машиной времени», а имена остальных, соответственно, реже. Сережа был сторонником святого равенства во всем – как у битлов (мы тогда не знали, что и у битлов такого равенства не было).

Я тоже выступал за это самое равенство всей душой, и меня огорчало то, что происходило, но происходило это само собой и, естественно, из-за того, что я писал песни, я же их и пел. Никаких усилий для роста своей персональной популярности я, конечно, не прилагал, скорее наоборот. Но Сережа страдал ужасно.

Разумеется, это была не единственная и, думаю, не основная причина. Что-то не клеилось у нас с музыкой. Мы теряли наше взаимопонимание – главное, на чем мы держались. Маргулис в наших спорах занимал, как правило, молчаливую нейтральную позицию, ждал, пока мы перейдем на личности, после чего заявлял, что мы оба дураки. Думаю, он переживал за нас обоих.

Мы с Сережей видели, что корабль тонет, специально вдвоем ездили на рыбалку, чтобы поговорить, все выяснить и сделать как было раньше, и на словах все сходилось и должно было получиться, а на деле рассыпалось в прах. Может быть, поэтому нам уже неважно было, наш или не наш человек Саша Воронов. Речь шла уже о нас самих.

Мы дотянули до весны семьдесят девятого. Последней каплей, переполнившей мою чашу, был концерт «Машины» в горкоме графиков на Малой Грузинской.

А случилось вот что. Художники-авангардисты (как их тогда называли) наконец-то добились права учредить свой комитет и получили помещение с выставочными залами. У всех еще на памяти была «бульдозерная» выставка в Измайлове. Я постоянно тогда ошивался на их полуподпольных вернисажах то на ВДНХ, то по квартирам, очень за них болел, и виделись они мне все если не героями, то, во всяком случае, людьми, делающими одно с нами дело. И когда они попросили меня о концерте «Машины» для них всех в их же новом зале, я, конечно, согласился. Ни о какой оплате, естественно, речь не шла – у меня и язык бы не повернулся говорить со своими собратьями о каких-то деньгах.

Кава встал на дыбы. Он заявил, что, если им интересно, пусть приходят к нам на концерт и там слушают, а специально для них он играть не поедет. Центрист Маргулис, накануне давший мне согласие, включил задний ход, и я оказался в одиночестве. Я не помню, как я их уговорил. Концерт состоялся, но прошел

отвратительно.

Если можно представить себе ситуацию, когда музыканты, играя, издеваются над зрителями, то именно так все и выглядело.

> Да чего там «издеваются»! Просто Кава и Гуля в компании вдруг пришедшего Кости Никольского нажрались как свиньи – у художников в подвале был настоящий бар, все как у взрослых. К Косте Никольскому никаких претензий не было и нет – не его концерт, пей на здоровье. Но наши-то! Кава ронял палочки. Гуля три раза подряд спел один и тот же куплет в песне «Маски». Конечно, картина несколько смягчалась тем, что зрители, то есть художники, сами были, скажем, не кристальной трезвости. Но мне от этого легче не делалось.

Очень надеюсь, что честные художники ничего не поняли. Мне еще никогда не было так стыдно.

Вдобавок оказалось, что Сережа со свойственной ему восточной логикой решил, что я собираюсь вступить в члены горкома графиков, и для этого мне нужно устроить для них концерт, и я таким образом заставляю группу работать на себя. Такой глупости я ему уже не мог простить. Это был конец.

Я попросил всех ребят после концерта заехать к Мелик-Пашаеву (он уже работал с нами в это время). У него на кухне я и объявил, что из данной группы ухожу и всех, кроме Сережи Кавагое, приглашаю следовать за собой. Сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все молчали. Я сказал, что немедленного решения от каждого не жду, и уехал домой. Очень мне было плохо. Случались у нас в команде напряги, приходили и уходили люди, но такого не было еще никогда.

Маргулис обещал думать три дня. Думал он три, четыре, пять, шесть дней, и я никак не мог его поймать. Наконец случайно я отловил его в «Лужниках» на каком-то концерте, и он, отводя глаза, сказал, что, пожалуй, останется с Сережей, потому что, дескать, у меня и так все будет хорошо (с чего бы это?), а Сереже нужна поддержка. Это был тяжелый удар. Я очень рассчитывал на Женьку. Зря. Так я остался один.

Я упомянул здесь Мелик-Пашаева, который проработал с нами несколько лет в подполье и в Росконцерте и даже одно время считался нашим как бы художественным руководителем. Многие удивятся, почему о нем так мало. Дело в том, что стараюсь рассказывать про всех честно. В этом случае мне пришлось бы рассказывать честно и о Мелик-Пашаеве, а мне бы этого не хотелось.

Впрочем, к музыкальной стороне дела он отношения не имел.

Не помню, сколько прошло дней. Вероятно, немного. Думаю, слух о нашем расколе уже облетел музыкальную общественность. Это бывает очень быстро.

Кстати, это для меня загадка. Радостные слухи расходятся гораздо медленнее или не расходятся вообще. Пусти, скажем, кто-нибудь слух, что «Машину» наградили, например, медалью за спасение утопающих, – и не пойдет такой слух гулять, заглохнет в самом начале пути. Зато если команда развалилась или у кого-нибудь что-нибудь сперли – такой слух летит впереди звука, и завтра все уже знают все, включая детали.

Не помню, почему шел я среди солнечного теплого дня вниз по улице Горького и столкнулся с Сашей Кутиковым. Я просто пожаловался ему на жизнь. У меня и в мыслях не было звать его с собой, так как играл он к этому времени в «Високосном лете» и дела у них вроде шли в гору, а одним из моих принципов было никогда не воровать и не переманивать людей из других команд. Кутиков, однако, имел вид человека, который все уже давно знает, все решил и организовал (хотя клянется, что идея пришла ему в голову именно в ту минуту). Оказывается, у «Високосного лета» свои сложности, вследствие коих Ситковецкий расходится с Крисом (из чего вскоре вышли «Автограф» и «Рок-ателье»), а Кутиков под это дело забирает Ефремова и идет ко мне.

Ефремов мне очень нравился. Был он молчалив, играл плотно и правильно. (Он, собственно, таким и остался.) Работал Ефремов в каком-то химическом институте, расположенном над Парком культуры и отдыха имени Горького, точнее, над тем его местом, где торгуют пивом. Мы приехали прямо в обеденный перерыв. Пиво оказалось кстати, переговоры прошли непосредственно за ним и много времени не заняли. Нас стало трое. Четвертый, вообще говоря, был на примете. Звали его Петя Подгородецкий.

После нашей записи я продолжал частенько забегать в студию ГИТИСа, где работал Кутиков. Забегал под разными предлогами – мне просто там было интересно. Я мог провести там час, два, три – в зависимости от свободного времени. И все это время в соседней комнате кто-то играл на пианино. Игра производила странное впечатление. Это некий музыкальный поток сознания – видимо, богатого, но крайне безалаберного. Куски джазовых пьес, регтаймов, какой-то жуткой советской эстрады с сильным запахом кабака соседствовали с цитатами из классики, причем выбор был более чем произвольный. Паузы практически отсутствовали. В третий раз меня заело любопытство, и я тихонько приоткрыл дверь.

За пианино сидел стройный молодой человек с гоголевским носом и вьющимися волосами. Он, казалось, думал о чем-то своем, а может, вообще ни о чем не думал. Руки играли сами. Петя только что вернулся из армии и буквально жил в студии. Разговоры об искусстве его, в отличие от меня, не интересовали. Тут просто можно было играть с утра до ночи. Иногда просили помочь музыкой в каком-нибудь учебном спектакле. Петя с радостью соглашался. Он мог играть двадцать четыре часа в сутки. Я еще никогда не видел такого человека. Кандидатура была подходящей.

Мы бросились репетировать. Свежая кровь – это великое дело. Я сразу почувствовал, как мы привыкли друг к другу в предыдущем составе и сколько в этом было минусов (а я-то видел только плюсы).

У меня к этому моменту накопилось довольно много вещей – мы с Кавой и Гулей просто не знали, как их делать. Мы чувствовали друг друга насквозь, играли втроем, как один, и уже не могли из этого выйти. Новых идей не рождалось. А тут на меня обрушилась лавина свежих мыслей.

Удивительным в этом смысле был Петя. Он мог с ходу предложить сто вариантов своей партии, и надо было только говорить ему, что годится, а что нет, потому что сам он не знал. Обычно Кутиков, как всегда переполненный мелодиями, но плохо знавший расположение клавиш, напевал Пете на ушко что-то такое, и это немедленно находило воплощение в конкретных звуках.

Программа получилась ударной – «Право», «Кого ты хотел удивить», «Свеча», «Будет день», «Хрустальный город». Почти сразу мы написали «Поворот» и «Ах, что за луна». Все шло на колоссальном подъеме, мы очень нравились друг другу и чувствовали себя на коне. Первые сейшены прошли с успехом и утвердили нас в наших начинаниях. Тяготило только одно – полнейшая замкнутость сейшенового круга зрителей.

Когда в очередной раз мы приезжали в какую-нибудь Малаховку и я не мог найти в зале ни одного незнакомого лица (они все, как и мы, тащились туда из Москвы), у меня пропадало всякое желание играть. К тому же после истории с неудавшейся конфискацией аппаратуры контроль за нами осуществлял не кто-нибудь, а непосредственно горком партии в лице инструктора по культмассовой работе т. Лазарева, и я понимал, что рано или поздно все это плохо кончится.

Я бешено завидовал группе «Аракс», которая неожиданно обрела как бы профессиональный статус, оказавшись в театре

Ленинского Комсомола. Во-первых, театр с приходом Марка Захарова заставил заговорить о себе всю Москву (собственно, взять в театр группу и ввести ее в действие и было идеей Захарова). Я ходил на «Тиля» раз пять, и мне очень нравилось. И группе было совсем не стыдно в этом участвовать – никакой вокально-инструментальной проституцией здесь не пахло. Но самое главное – помимо всего этого можно было спокойно заниматься своей музыкой и своими песнями, и тогда уже сейшн становился не криминально-подпольным мероприятием, а вполне легальной творческой встречей с артистами известного театра. Я понял, что в этом наше спасение.

Мы лихорадочно стали искать театр. Возможности для поисков были, так как мы теперь практически жили в студии ГИТИСа, и все ее посетители готовы были нам помочь. Говоря «жили», я не грешу против истины. Я часто отпрашивался из дома на ночь под тем предлогом, что надо, дескать, стеречь хранящийся на студии аппарат. Это была неправда – просто очень уж на студии было интересно и уходить не хотелось вообще. Велись, помню, даже переговоры о нас с Театром на Таганке, но Любимов сказал, что пока наличие группы в театре в его планы не входит.

И вот однажды вечером к нам в студию приехал настоящий театральный режиссер. Имел он внешность более чем режиссерскую, руководил Московским гастрольным театром комедии при Росконцерте, и фамилия его была Мочалов. Он тут же принялся читать нам отрывки из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы» в какой-то своей новейшей интерпретации. Он просто весь горел. Я плохо слушал трансформированного Мочаловым Шекспира. Я видел, что фортуна преподнесла нам волшебный шанс и что с завтрашнего дня и навсегда жизнь наша пойдет по совсем другим, неведомым и радостным рельсам. Мочалов ушел в ночь, унося наше согласие.

Мне предстояла небольшая формальность – увольнение из «Гипротеатра». Прощание было трогательным. Меня провожали, как старика на дембель. Ровно месяц спустя, когда мне понадобилась какая-то бумажка, я заехал в «Гипротеатр». Время было обеденное, и я, никого не встретив, поднялся на третий этаж, зашел в свою комнату и сел за чертежный стол, за которым просидел шесть лет. Шесть лет. И мне стало страшно, что я мог бы сидеть за ним и дальше. Простите меня, братья архитекторы.

Началась наша трудовая жизнь в театре. (Сейчас мне будет сложно.) Я совсем тогда не разбирался в театрах. Я и сейчас-то в них не очень разбираюсь. Хотя очень люблю. И поскольку

относительно редко в них бываю, каждый поход в театр для меня уже праздник. А тогда это была первая встреча с театром изнутри. И все было в новинку, все интересно. Во мне с детства жило жуткое любопытство, как же это все делается – кино, театр. И тут у меня есть одно серьезное оправдание. Если человек никогда в жизни, скажем, не видел птицу, то можно показать ему комара и сказать, что это птица, и он так и будет думать. Пока, конечно, не встретит птицу настоящую. А может и не встретить.

Театры бывают разные. Бывают хорошие, бывают не очень, бывают плохие и очень плохие. Наш был какой-то совсем особенный. Я это понял не сразу. Где-то через полгода. Примерно столько мы в нем и проработали. Наверно, в каждом театре живут склоки. В каждом театре артисты, скажем так, выпивают. Ничего нового. Дело, видимо, в степени. Степень в нашем театре была превосходная. Но и не это главное. Главное в любом деле – результат.

Начались читки текста пьесы. Мне велено было присутствовать с целью рождения музыкальных идей (мы ведь были композиторами спектакля!). Ах, как все это сначала было мне интересно – читки! Когда пошли репетиции, у меня кое-где возникали сомнения по поводу безупречности режиссуры. Но жила во мне святая уверенность, что все люди, занимающиеся творчеством, относятся к своему делу так же, как мы к своему, и если, скажем, мы не можем позволить себе схалтурить, то и они тоже. Я, честно говоря, и сейчас, как ни странно, пребываю в том же заблуждении. Может быть, просто не у всех получается. (Часто я с этой уверенностью садился в лужу.) Так что я без особых усилий свои сомнения отогнал, мотивируя тем, что режиссер – это режиссер, а я – нет, и ему, стало быть, видней.

Мы довольно легко написали музыку и несколько песен на стихи Шекспира и Бернса. Настало время сценических прогонов. В конечном счете режиссерская концепция комедии выглядела следующим макаром: посреди сцены, чуть в глубине, на небольшом возвышении располагалась группа «Машина времени» в грубых шерстяных шарфах, что должно было тонко намекать на принадлежность действия к семнадцатому веку. Действие происходило непосредственно на нашем фоне. По ходу его мы должны были время от времени играть музыку, но так, чтобы не заглушать голоса актеров, которые работали, естественно, без микрофонов. Получалось тихо до отвращения. На этом же уровне громкости мы исполняли написанные нами песни, честно стараясь не нарушить художественной ткани спектакля.

Сдача спектакля худсовету Росконцерта и Министерства культуры прошла на ура. Очень, кстати, помог наш куратор из

горкома партии, который дал нам блестящую словесную характеристику и выразил чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что мы прибились наконец к серьезному берегу. Как я понимаю, он был просто счастлив, что, став профессиональными артистами, мы уходим из его культмассового ведомства под бдительное око совсем другого куратора. Итак, спектакль приняли на ура.

Когда я увидел афишу, что-то нехорошее во мне зашевелилось вновь. Афиша выглядела так: очень крупно наверху – «Ансамбль „Машина времени“» и дальше мелко, на грани разборчивости – «В спектакле Московского театра комедии „Виндзорские насмешницы“ по пьесе В. Шекспира».

Обезумевший молодняк, впервые увидев наше подпольное имя на официальной афише, ломанулся на спектакль. Они действительно увидели любимую команду на сцене. Мало того, могли любоваться на нее два с лишним часа, но все время мешали какие-то актеры со своей чепухой.

В первом акте наши честные фаны еще надеялись, что мы одумаемся и сбацаем если не «Поворот», то хотя бы «Солнечный остров». Мы же вместо этого играли совершенно неизвестные песенки на грани разборчивости звука. У меня все время было ощущение, что мы участвуем в каком-то обмане, хотя вроде никакого обмана не получалось. Кстати, спектаклю хлопали – вот что поразительно! Загадочен и непредсказуем наш зритель.

Потом случилась зима. Театр наш не имел тогда своего помещения – базировался он во дворце культуры «Серп и молот», а вообще считался гастрольным. И вот в декабре мы с театром отправились на двадцатидневные гастроли в Сочи. (Я до сих пор не могу постичь глубины этой затеи – почему в декабре и в Сочи? Можно ведь было и в Арктику.)

Странная это была поездка, как, впрочем, и все связанное с нашим театром. Я вспомнил все до мелочей, когда посмотрел фильм «Асса».

Мы привыкли видеть Сочи жарким и пыльным, доверху наполненным народом. Город был пуст, насколько может быть пуст город. Пальмы от зимы спрятали внутрь странных конструкций из досок и мешковины, и они торчали вдоль набережной, как диковинные истуканы. Двери кофеен, забегаловок, ресторанов были открыты, и – никого. А сквозь облака проглядывало солнце, и трава хранила зеленый летний цвет, и море гуляло по безлюдному пляжу, и что-то в этом было нереальное и совершенно замечательное. Из всех двадцати дней пьеса с нашим участием шла дважды – в первый день и, кажется, в последний. Мы были предоставлены самим себе.

На самую середину гастролей пришелся мой день рождения. Все мы очень ждали выдачи зарплаты к этому моменту. Зарплаты не случилось. И тогда мы сделали самое, казалось бы, нелогичное в этой ситуации – взяли шапку и выгребли из карманов все, что оставалось, до копейки. Хватило на два ящика замечательного молдавского ординарного «Каберне» и почему-то на мегафон (кажется, мне в подарок).

Мегафон доставил нам немало радости. Оказывается, психология нашего гражданина устроена таким образом, что команда, звучащая через мегафон, обретает просто магическую силу. Во всяком случае, самые причудливые распоряжения, отдаваемые нами с балкона четвертого этажа гостиницы «Ленинград», выполнялись людьми и автомашинами беспрекословно. В лучшем случае человек мог начать исподтишка озираться: откуда это им командуют? Но наверх посмотреть не догадался никто. Сильная вещь – мегафон!

По возвращении в Москву случилась история, совсем уж укрепившая меня в мысли, что театр мы выбрали не тот. Режиссер Мочалов, потерявший, видимо, голову от сборов, наконец-то полившихся в кассу театра с нашей помощью, решил убить слона. С этой целью был объявлен спектакль в городе Воскресенске. Состояться ему надлежало в местном Дворце спорта. Рукописная афиша была выполнена еще более произвольно, чем обычно, и, кроме нашего участия, понять в ней вообще ничего было нельзя.

Посреди громадного Дворца спорта сверкало льдом хоккейное поле. Прямо за воротами, в торце, располагалась сцена. Стояла лютая зима. Изо рта у актеров валил пар.

Актеры, надо сказать, за два часа автобусной тряски до Воскресенска сильно замерзли и попытались в дороге согреться. Возможно, они переусердствовали. Я не могу их осуждать. Во всяком случае, путали они уже не слова и фразы, а свои роли, и в процессе спектакля почти все поменялись друг с другом. Иногда они падали не к месту. Впрочем, все это не имело никакого значения, так как слова все равно не долетали до трибун. Трибуны были полны.

Терпеливые воскресенские хлопцы молча сидели и ждали, когда кончится вся эта бодяга и будет обещанная «Машина времени». Молчание зала становилось все более недобрым. К антракту стало ясно, что будут бить.

Прибежал режиссер в слезах и просил ради спасения жизней сыграть хоть маленький концерт. Это было невероятно – мы возили на спектакли ровно столько аппарата, сколько нужно для того, чтобы не заглушать голоса артистов. Но я понял, что выхода нет. Второй акт Шекспира отменили. Вместо него состоялся

импровизированный концерт «Машины времени» на комарином, правда, звуке, зато на большом подъеме. Воскресенцы кидали вверх шапки и требовали «Поворот». Гроза миновала.

Не думаю, чтобы мы долго еще оставались в театре после этой истории. Но помогло нам следующее. В Росконцерте, видимо, решили, что с нас можно стричь значительно больше, если, скажем, отделить от театра и задействовать на полную катушку. Вследствие чего нам и было предложено показать нашу собственную программу худсовету. Мы долго настраивали аппарат, стараясь уловить ту середину, которая позволит сохранить приличное звучание и в то же время не напугает комиссию. Задача оказалась невыполнимой. Получалось или громко, или плохо. Я был в отчаянии.

В назначенное время в зал вошли несколько благообразных филармонических старичков, и нас попросили начинать. Я понял, что мы пропали. Мы никогда еще не играли на пустом зале, не считая позорного прослушивания в Бит-клубе в 69-м. То есть репетировали, конечно, но это совсем не то. Поддержка зала, его дыхание были нам необходимы. Зал щерился на нас пустыми креслами, старички примостились где-то во мраке. И тут меня взяла злость. Мысль «пропадать – так с музыкой» наполнила меня детским восторгом, и мы грянули. Я целился в невидимых старичков каждым словом, каждой нотой. Очень страшно, когда заканчивается песня и вместо шума, крика, аплодисментов – мертвая тишина. Никакой артист, я уверен, в подобной обстановке хорошо работать не сможет. Но мы старались. Мы сыграли так, как нравилось нам.

Я ждал чего угодно. Разноса, вежливого отказа, увольнения из театра и прочих мерзостей. Выходя из зала, старички по очереди нам улыбались. Я ничего не понимал.

На следующее утро нас пригласили в Росконцерт. Мы, робея, вошли в дверь с тяжелой доской золотом по черному «Директор – художественный руководитель объединения художественных коллективов Росконцерта Холопенко Б. М.». Худсовет был в сборе. На нас поглядывали радостно и плотоядно. Называли ласково и фальшиво «ребятками». Я понял, что вопрос уже решен. Тут же сидел на стуле онемевший от горя режиссер Мочалов. У него только что отобрали курицу, несущую золотые яйца. Он слабо пытался удержать уходящий поезд. На него цыкали довольно бесцеремонно.

Через несколько дней мы получили лит на нашу программу (настоящий лит, а не липовую печатку Дома народного творчества), и сам министр культуры РСФСР Фляркoвский утвердил наши ставки. Ставки были десятирублевые, и в

вокально-инструментальном жанре, к которому нас отнесли, это являлось потолком.

(Одна из многочисленных загадок законотворчества Министерства культуры: почему просто вокальные ставки могли быть и 12, и 14, и 16 рублей, то есть если ты просто поешь, то, видимо, затрачиваешь труда больше, чем когда поешь и еще сам себе аккомпанируешь. Вообще обо всех этих чудесах стоило бы написать отдельную книгу.)

Присвоенные ставки позволяли нам за выход на сцену в концертном зале получать по 10 р. на рыло, за выход на сцену Дворца спорта или стадиона – двойную ставку, то есть 20 р.

За выход – это тоже гениальное изобретение Минкульта. Сколько ты работаешь на сцене – одну песню, пять, десять или целый концерт, – не имело значения. Это все был выход. Поэтому, скажем, конферансье, появлявшийся перед нами и торжественно произносивший: «А сейчас – „Машина времени“», получал больше нас, так как имел разговорную ставку 17 р. Произнеся заветную фразу, конферансье шел пить кофе, а мы пахали час за свои вокально-инструментальные 10 р.

Я несколько углубился в финансовые рассуждения, при том что огромному количеству людей, не заставших советские времена, все это сегодня непонятно – 10 р., 20 р. – сколько это?

Попробуем разобраться. Средняя зарплата архитектора – 110 рублей в месяц. Институтская стипендия – 30 рублей. Водка – 4,12. Коньяк (самый дешевый – три звездочки) – 8,12 (правда, встречались иногда болгарские «Плиска» и «Слънчев бряг», кажется, то ли по 6, то ли по 7. Гадость страшная). Хороший коньяк – скажем, «Белый аист» – стоил уже 15, а лучше – больше. Сходить с подругой в ресторан – в среднем 25. Ну, что еще? Хлеб – 15–20 копеек, колбаса – 2,20 кило, сигареты наши – 30–40 коп. пачка (я курил «Приму» за 14), американские – только начали появляться – 1,50. Что еще? Билет в кино – 30 коп., такси по Москве – от рубля до трех. Джинсы у фарцы – от 70 до 120 р. Машина «Жигули» стоила тысяч семь с чем-то, но поскольку купить ее можно было только с рук (если ты не счастливый обладатель места в какой-нибудь блатной ведомственной очереди – тогда всего года два-три ожидания) – умножайте цену на два, на три, на четыре. Нормальную электрогитару на черном рынке можно было найти тысячи за две. «Gibson» и «Fender» – от трех и

выше. Съездить на поезде в Питер – 11р. Фирменные домашние акустические системы в комиссионных магазинах – какие-то запредельные тыщи. На что еще можно было тратить? Ну, мороженое – 20 коп., пачка пельменей – 51 коп. Дальше фантазия не идет. Вот и считайте – много мы получали или мало.

В принципе, нас никто не заставлял работать целое отделение. Но зритель шел на нас, воспринимая все остальное как нагрузку. Без нагрузки нас тоже не пускали – должен же был кто-то эту нагрузку кормить. А обмануть зрителя, пришедшего на нас – спеть три песни и поклониться, – мы не могли.

Итак, прошло несколько дней с момента, определившего нашу самостоятельную профессиональную судьбу, и мы уже ехали на первые гастроли в город Ростов. Теперь это были самые настоящие гастроли, а не подпольная вылазка на сейшен. Многое поражало – и то, что билеты на поезд тебе кто-то покупает, и что тебя уже ждет гостиница, и ты живешь в ней как человек, а не мыкаешься по квартирам друзей-музыкантов. А самое поразительное – это то, что и с вокзала до гостиницы и от гостиницы до дворца и обратно тебя везут на специальном автобусе. Служа в «Гипротеатре», я все время ездил на работу на метро, и мне как-то не приходило в голову, что у артистов существует другой способ передвижения. Я еще некоторое время шарахался по привычке от милиционеров во дворце. Прошла пара месяцев, пока я привык к мысли, что теперь они приходят нас не вязать, а охранять.

Нам повезло: в первую поездку с нами отправился ансамбль эстрадного танца «Сувенир» под управлением Тамары Голованової. (Третье гениальное изобретение Минкульта – сольные концерты во дворцах спорта были запрещены. Место имели так называемые сборные – может быть, кто-то еще помнит? Этакий концерт, в котором сразу все: акробаты, цыгане, медведи, Кобзон, искрометный юмор конферансье и, скажем, мы. Ничего нельзя было поделать.)

С «Сувениром» нам тем не менее действительно повезло – они были лучше многого из того, что нам могли навязать. Мы сразу влюбились друг в друга – такие они все были замечательные, веселые, дружные, какие-то прямо инкубаторские и очень самостоятельные. Они на нас тоже смотрели с восторгом, как на героев из некоего параллельного мира.

Вообще в том, что мы вдруг оказались на легальной эстраде, было что-то невероятное. У «Сувенира» имелся уже богатый гастрольный опыт с поездками за рубеж, и мы слушали их

нескончаемые истории раскрыв рты.

Общались артистки и артисты «Сувенира» на совершенно отдельном языке, ими же созданном. В общем, в основе лежала русская фонетика и морфология, но отличался он от ортодоксального русского в корне. Жалко, никто не составил словаря этого языка – он ушел в прошлое, как санскрит.

Танцевали в «Сувенире» тогда здорово, вкалывали, как звери, получая еще меньше нас (песенка моя «Заполнен зал, в котором было пусто» как раз относится к тем временам). Могу добавить, что проездили мы с ними долго и наша нынешняя балетная группа как раз из того «Сувенира» – восьмидесятого года.

Помню животный страх на первом концерте в Ростове – «Сувенир» отплясал свое, объявили антракт, и нам предстояло за пятнадцать минут выставить аппарат на сцену. На сейшене этот процесс занимал гораздо больше времени, и всегда что-нибудь не работало. Дворец спорта превышал по размеру любой наш сейшеновый зал раз в десять, и я не представлял себе, что делать, если что-то откажет. В первый день все обошлось. Случилось, когда я уже успокоился, – на третий. Профессионализм – вот чему нам предстояло учиться. За Ростовом последовал Харьков, потом Одесса. И потекла гастрольная жизнь, пока светлая и безоблачная.

В это же время случился знаменитый фестиваль в Тбилиси «Весенние ритмы—80». Устроен он был с истинно грузинским размахом: приглашена масса групп, концерты идут целую неделю, напечатаны плакаты, значки, присутствует пресса, даже иностранная, – словом, все это выглядело просто невероятно. Участвовали и профессиональные, и любительские команды на равных. Это было принципиально ново. В жюри председательствовал Юрий Саульский, и дух фестиваля обещал быть радостным и демократичным.

Одна, правда, вышла накладка – как всегда, с аппаратурой. Всем участникам было обещано, что в Тбилиси их ждет комплект «Динакорда» – по тем временам недосягаемая мечта любой команды. Поэтому никто практически с собой ничего не привез. Так вот, «Динакорда» на месте не оказалось. Пришлось выходить из положения подручными средствами. В каждом концерте играли по три группы, и они вынуждены были в складчину выставлять на сцену все, что найдется. Кто с кем и когда играет – решала жеребьевка.

И нам опять повезло – выпал день с группой «Интеграл», которая приехала в Тбилиси прямо с гастролей и чисто случайно привезла полный трейлер аппаратуры. Удача!

Мы сыграли где-то в середине фестиваля, кажется, на третий день. Чувствовали мы себя, конечно, уверенней, чем четыре года назад в Таллине, но на такой успех не рассчитывали. Очень уж много участвовало групп – хороших и разных. И, кстати, всех принимали блестяще, кроме, пожалуй, «Ариэля» и группы Стаса Намина. И не потому, что они плохо играли – сыграли они отлично, – а потому, что «Ариэль» со своими как бы народными перепевами и Стасик с песней Пахмутовой «Богатырская наша сила» совершенно не попали в настрой фестиваля. Это была не «Красная гвоздика» и не «Советская песня—80». Призрак оттепели летал над страной, легкий ветерок свободы гулял в наших головах. В воздухе пахло весной, надвигающейся Олимпиадой и всяческими послаблениями, с ней связанными. Нам-то, дуракам, казалось, что это надолго.

Конечно, степень этого ветерка свободы переоценивать не надо – Боря Гребенщиков, игравший тогда в панк (никаким панком он, конечно, никогда не был), огреб за эту телегу от оргкомитета фестиваля, вследствие чего и вылетел из славного Ленинского Комсомола, а заодно и из института. Вообще после фестиваля было много разборов, и в Москве тоже. Но это уже было потом.

Итак, мы выступили, и повторилась таллинская история семьдесят шестого года – по реакции зала было ясно, что все уже хорошо. На первое место мы ей-богу не рассчитывали, нам достаточно было этой реакции. Все музыканты нас поздравляли. Нервное напряжение спало, начался праздник.

Надо сказать, мы ехали в Тбилиси с некоторой опаской – это был не первый наш визит в столицу солнечной Грузии. Первый визит прошел весьма криминально и закончился хорошо просто чудом.

Еще в семьдесят втором году один грузинский музыкант пообещал нам устроить в Тбилиси комплект «БИГа».

«БИГ» – это была наша золотая, так и не сбывшаяся мечта. Этакий пионерский комплект аппаратуры производства ВНР, куда входило сразу все – усилитель, акустика, микрофоны, стойки для них, даже специальная подставочка на колесиках для звукооператора, куда ставились все усилители. То есть один такой комплект – и уже не надо ни над чем ломать себе голову. Думаю, о «БИГе» тогда мечтали все команды.

Магазинной цены этот волшебный комплект не имел, так как распределялся только по организациям и на черном рынке тянул где-то на четыре тысячи, или, как тогда объявляли, четыре куска, деньги по тем временам немалые. Вот за четыре куска нам и пообещали такой «БИГ» в Тбилиси.

> Из сегодняшнего дня могу добавить, что это был, конечно, совершенно ужасный аппарат. Даже тогда было понятно, что это не лучший аппарат в мире – тот же гэдэеровский «Регент» был надежнее, – но подкупал внешний вид: «БИГ» был больше похож на настоящие усилители, а мы их видели на картинках. А потом – можно сколько угодно обсуждать рабочие качества «Регента» и «БИГа» (и на это уходили дни и ночи) – но когда нет в досягаемом пространстве ни того ни другого…

Полетели мы втроем – я, Кутиков и бывший «скомороший» оператор Женя Фролов, он тогда собирался работать с нами. Не буду описывать всех перипетий нашего путешествия. Скажу только, что нас намеревались, напоив по законам грузинского гостеприимства, швырнуть. Причем первая часть программы удалась приглашающей стороне на славу, и я до сих пор не понимаю, как это у них сорвалась вторая. Сорвалась благодаря случайной помощи совершенно посторонних людей, доблести Кутикова и крайней безалаберности швыряющих. В общем, мы вернулись в Москву сильно потрясенные, но живые, не побитые и даже со своими деньгами. Так что теперь, восемь лет спустя, нам предстояло сломать в своих головах сложившийся стереотип коварного восточного человека. Это произошло, надо сказать, довольно безболезненно.

Сразу же после нашего выступления нас стали приглашать в гости. Причем приглашавших было значительно больше, чем нас. Между ними возникали перебранки, переходящие в драки. Во избежание кровопролития нам приходилось максимально делиться, чтобы каждому досталось по маленькому кусочку «Машины». Молодые мы были и очень, видимо, выносливые. Сейчас бы мы такого гостеприимства не выдержали.

Сугубо мужское грузинское застолье, завораживающие древние тосты, молодое кахетинское, шашлык во дворике, заверения в вечной дружбе – все это обрушилось на нас шквалом. В гостиницу мы возвращались под утро, из разных мест, на неверных ногах, распевая битлов и грузинские песни.

Фестиваль между тем подходил к концу. Попасть в здание филармонии было невозможно – его окружало двойное кольцо милиции. В зале сидели зрители исключительно мужского пола – женщин до таких серьезных дел не допускали. По мере приближения к финалу ажиотаж нарастал. Все ждали решения жюри.

(Спустя несколько лет я с изумлением узнал, что во всем

мире фестивали – в отличие от конкурсов – вообще не предполагают раздачу каких-либо мест. Какие места могли быть, скажем, на Вудстоке? Тогда мне это не приходило в голову. Силен все-таки во всех нас дух соцсоревнования.)

Жюри заседало долго. Музыканты томились у дверей, как школьники на экзамене. Зал ждал. То и дело доходили сведения о том, что из Москвы звонит высокий чиновник от культуры и требует определенных мест для определенных артистов. Но жюри, растроганное отечественным рок-н-роллом и опьяненное призрачным ветерком свободы, решило по-своему. Мы поделили первое место с «Магнетик бенд».

(Я сейчас вижу, что эти мои записки превращаются в список сплошных побед, удач, радостей и вообще эдакого безостановочного счастья. Конечно, все было не так гладко и весело. Просто, видимо, голова моя устроена таким образом, что светлые моменты сохраняются в ней значительно лучше, чем все остальные. Тут уж ничего не поделаешь.)

В Москву мы вернулись на коне, «лопаясь от скромности», увешанные грамотами, призами и подарками. «Советская культура» напечатала какую-то маленькую, растерянную, но, в общем, позитивную заметочку о нашем лауреатстве. Тогда попасть в «Советскую культуру» – это было что-то. В те времена газеты еще о ком попало не писали. Впереди рисовалась долгая счастливая жизнь. Так нам казалось.

Веселая это была жизнь, но какая-то странная. Популярность наша достигла апогея.

Под словом «популярность» я понимаю не количество людей, которые нас знают и хорошо к нам относятся – сейчас таких людей больше, чем тогда, – а степень буйного помешательства на нашей почве определенного круга молодых ребят.

Во дворцах спорта творилось невообразимое, количество милиции приближалось к количеству зрителей, а единственным рупором, кроме концертов, оставались наши бедные самостийные записи. Да, пожалуй, еще недавно возникшая радиостанция «Radio Moscow world service» крутила нас постоянно. Прослушивалась она на средних волнах не хуже, чем «Маяк», музыку передавала каждые тридцать минут из шестидесяти, а англоязычные комментарии можно было опускать.

Я усматривал во всем этом дальновидную внешнюю радиополитику – дескать, показать миру накануне Олимпиады, что у нас все есть. Теперь я понимаю, что объяснялось все проще – личными симпатиями младшего состава редакции, безграмотностью руководства и общим бардаком.

В редакции этой работал тогда тот самый Дима Линник, который руководил трио «Зодиак» – мы им помогали записывать пластинку года три назад. Дима был замечательным парнем. Он просто попросил у меня наши записи – и они зазвучали на их волне! Это продолжалось не меньше полугода – видимо, начальники полагали, что если станция ведет вещание на английском языке, то и слушать ее будут одни иностранцы, поэтому музыкальным наполнением они не очень заботились. Кончилось, правда, все плохо – был большой скандал, Диму уволили.

Словом, топтать нас еще не взялись – пока просто не замечали. Большой идеологический слон только начал поворачивать свою удивленную голову в нашу сторону.

Мы тем временем готовили так называемый сольный концерт в двух отделениях – категория, которая позволила бы нам хотя бы в концертных залах выступать без нагрузки. Мы восстанавливали «Маленького принца».

Впервые он был сделан года полтора назад и пережил несколько редакций. Литературную часть исполнял некто Фагот – старый наш приятель по хипповой тусовке, человек весьма своеобразный и колоритный.

Иное определение нашего «Маленького принца», кроме как чудовищно звучащее сочетание «литературно-музыкальная композиция», я подобрать, увы, не могу. Фагот сидел сбоку на сцене за столом с настольной лампой и книгой в руках. Он проникновенно читал в микрофон фрагменты из книги Экзюпери, а мы продолжали каждый фрагмент песней, которая, как нам казалось, продолжает смысл этого фрагмента. Юноши и девушки в зале взирали на это действо затаив дыхание. Господи, какое было милое, наивное время!

Сделаны были специальные декорации в виде черных и белых ширм, костюмы шил не кто-нибудь, а сам Вячеслав Зайцев. Мы готовили триумф. Непосредственно после успешной сдачи программы предполагались сольные концерты в самом Театре эстрады, и билеты уже поступили в продажу. Слово «поступили» здесь не годится. Они исчезли, не успев возникнуть. Несколько суток у касс ночевали молодые люди. По ночам они жгли костры.

А закончилось все очень быстро и просто. На сдачу нашей программы приехал товарищ из ЦК партии с очень популярной русской фамилией.

Фамилия ему была Иванов. Товарищ Иванов.

Не знаю уж, чем мы обязаны были столь высокому вниманию – видно, докатился доверху шум от тбилисского фестиваля. Товарищ посмотрел нашего «Маленького принца», произнес магическое слово «повременить» и уехал. Больше мы с ним не встречались. Мы, собственно, и тогда не встречались – обсуждения проходили при закрытых дверях.

А временили нас после этого лет шесть. Не разгоняли, не сажали, не увольняли по статье, а именно временили. И это, наверно, было самое противное. Олимпиада просвистела в один момент, не оставив никаких особенных следов в нашей жизни. И гайки со скрипом закрутились.

В «Московском комсомольце» примерно в это время появился хит-парад. Первого января восемьдесят первого года песня «Поворот» была объявлена песней года. Она продержалась на первом месте в общей сложности восемнадцать месяцев. И все эти восемнадцать месяцев мы не имели права исполнять ее на концертах, потому что она была, видите ли, не залитована, а не залитована она была потому, что редакторы Росконцерта и Министерства культуры не посылали ее в ЛИТ, так как имели сомнения относительно того, какой именно поворот мы имели в виду. То, что «Поворот» звучал на «Radio Moscow» по пять раз на дню, их абсолютно не волновало.

А скорее всего, они об этом даже не догадывались – каждый следил за своим ведомством.

Это было потрясающе забавное время! Я пытаюсь вызвать в памяти атмосферу тех дней, и мне это уже почти не удается. Как легко все забывается! Время казалось вечным – оно не двигалось. Три генеральных секретаря отдали богу душу, шли годы, а время стояло, как студень. Время какого-то общего молчаливого заговора, какой-то странной игры. И как это бывает в полусне – все вяло, все не до конца, все как в подушку. Наверняка в тридцатые годы было страшнее. А тут и страшно-то не было. Было безысходно уныло. Один шаг в сторону, и – нет, никто в тебя не стреляет – просто беззвучно утыкаешься в стену. Солженицын считал, что стена эта на соломе нарисована – ткни, и рассыплется. Мне же она всегда представлялась студнем, который трудно проткнуть. Зато в нем очень легко увязнуть.

В восемьдесят втором году «Комсомольская правда» грянула по нас статьей «Рагу из синей птицы». В принципе, по нас уже постреливали и раньше – то Владимов затевал полемику на тему «Каждый ли имеет право?» (выходило, что мы не имеем), то кто-

то еще, но все это размещалось на страницах газет типа «Литературной России», и никто к этому, конечно, серьезно не относился. А «Рагу» было уже рассчитано на добивание. И общепатетический тон в лучших традициях Жданова, и подписи маститых деятелей сибирского искусства (половина этих подписей потом оказалась подделкой) – все это шутками уже не пахло.

> Вот еще один эпизод, совершенно непонятный современному молодому читателю. Ибо сегодня в газете можно написать что угодно – и если это даже произведет какое-то впечатление на аудиторию, то все равно никоим образом не отразится на судьбе того, о ком это написано: собачки лают, ветер носит. В советские времена вся пресса была государственной. И поэтому выражала мнение государства. Уж такие монстры, как «Правда», «Комсомольская правда» – в первую очередь. А на указания государства нижестоящие организации обязаны были отреагировать. Поэтому, говоря, что статья такого рода являлась практически приговором, я не кокетничаю. Просто сейчас это трудно себе представить.

Если бы стены были из более жесткого материала, нас бы по ним размазали. Или бы мы пробили их собой и оказались с той стороны. Но студень амортизировал. И мы остались живы. А может быть, помогла защита миллионов наших поклонников.

Я видел в редакции мешки писем под общим девизом «Руки прочь от „Машины“». Время от времени мешки сжигали, но приходили новые. Писали студенты и солдаты, школьники и колхозники, рабочие и отдельные интеллигенты.

> Забавно – Анатолий Борисович Чубайс, тогда студент института, написал письмо в нашу защиту не только в газету, но и главному «подписанту» статьи – писателю Виктору Астафьеву. И Астафьев ему ответил! Он сравнил «Машину» с «молью, сидящей на пиджаках иностранного покроя, украшенных шестиконечными звездами с берегов Мертвого озера». Ни много ни мало. Я думал о нем лучше, ей-богу. А письмо у меня лежит – спустя тридцать лет мне его подарили. Спасибо, Анатолий Борисович!

Коллективные письма дополнялись рулонами подписей. Я не ожидал такого отпора. В газете, по-моему, тоже. Поэтому они тут же разулыбались и свели все к такой общей беззубой полемике –

дело, дескать, молодое, и мнения тут могут быть, в общем, разные.

Я писал письмо заведующему отделом культуры ЦК ВЛКСМ, как сейчас помню, товарищу Боканю, где перечислил все ляпы и ошибки статьи. А ляпов там было предостаточно. Думаю, что автор Ник. Кривомазов, дав статье подзаголовок «Размышления после концерта», на концерт наш не ходил, а выполнил социальный заказ, не покидая кабинета, прослушав кое-какие записи, часть из которых была вообще не наша, а группы «Воскресенье», а часть относилась к семьдесят восьмому году. Мне было даже обидно, что по нас так неточно и невпопад стреляют. Получил я ответ от т. Боканя, что не туда, дескать, смотрю. Что не на мелочи всякие следует смотреть, а в корень, а в корне деятели сибирской культуры вкупе с Кривомазовыми правы, и надо бы мне, как младшему товарищу, к их мнению прислушаться. Храню этот ответ как ценную реликвию.

А Коля Кривомазов жив-здоров, очень прилично выглядит и даже получил повышение – служит нынче уже не в «Комсомольской», а в самой настоящей «Правде». Бежит времечко!

«Рагу из синей птицы» совпало с нашим очередным и последним расколом.

Я уже несколько месяцев знал о том, что Мелик-Пашаев собрался валить, причем не один, а с Петей Подгородецким, Игорьком Кленовым, нашим тогдашним звукорежиссером и очень способным музыкантом, и Димой Рыбаковым – он числился у нас рабочим, но при этом писал смешные славные песенки. Я знал, что они втихаря репетируют, и очень мне было неприятно, что все это как бы втайне от меня. С другой стороны, расход с Мелик-Пашаевым ощущался как неизбежность – как-то не жилось нам вместе. В уходе остальных ребят была, конечно, доля его заслуг, но в то же время, если люди хотят делать свое дело, глупо на них обижаться или им мешать.

Тяготило одно – с каждым разом становилось все труднее искать новых музыкантов, знакомиться с ними, репетировать старые вещи, словом, еще раз проходить уже пройденный тобой путь. На этот раз как-то никто не искался. Вечная наша беда с клавишниками! Петя умудрялся заполнять своей игрой очень большое пространство в нашей музыке, и теперь заполнить его было нечем. Может быть, поэтому на его место пришли два человека.

Сережа Рыженко предложил себя сам. Знакомы мы были давно, знали его по «Последнему шансу». Это была самая

настоящая площадная скоморошья группа – такие бродили, наверно, по городам лет триста назад. Звуки они извлекали из чего угодно – из стиральной доски, пустых банок из-под пива, каких-то дудочек. Имел место настоящий тумбофон: фанерный ящик, из которого торчала палка с единственной веревкой – струной. Кроме тумбофона, Сережа играл на скрипке, гитаре, деревянных флейтах, на всех видах банок и погремушек, пел, скакал и вообще очень был на своем месте и очень хорош. Меня в его предложении смущали две вещи – я не хотел разваливать «Последний шанс» и не был уверен, что скоморошья манера Сережи подойдет для «Машины». Оказалось, что из «Шанса» он и так уже ушел по своим соображениям, а образ можно попробовать и изменить. Образ он, надо сказать, так и не изменил, потому что острой необходимости в этом не возникло – он вполне вписался и так.

Расстались мы год спустя, и, я думаю, по той причине, что Сереже приходилось исполнять у нас в музыке сплошь вспомогательные роли. То есть когда вещь была практически готова, но чего-то чуть-чуть не хватало, брался Рыженко со скрипкой, дудочкой или чем угодно, и брешь затыкалась. В «Шансе» Рыженко был одним из лидеров, и, конечно, ему стало неинтересно заниматься «отделочными» работами. К тому же к моменту ухода Сережи Заяц уже освоился, окреп, и мы вполне могли обходиться вчетвером.

Заяц, то есть Саша Зайцев, выявлен был в окружающей среде по наводке Вадика Голутвина. Мы договорились по телефону о встрече у меня дома, явился Кутиков, и мы принялись ждать. Заяц оказался совсем молодым человеком с небесно-голубым взором и мягкими манерами. Во взоре читалось некое просветление. Выяснилось, что вездесущий Кутиков уже знал его по какой-то его прошлой группе (меня всегда поражала эта вот способность Кутикова всюду поспевать). Что до меня, я не был потрясен манерой зайцевской игры, но все остальное мне очень понравилось.

Поначалу Заяц с трудом замещал Петину вакансию. Если от Петиной игры смело можно было убавлять, то к зайцевской хотелось что-то все время добавить. К тому же в каких-то уже сделанных вещах ему приходилось просто исполнять придуманные Петей партии, а это было тяжело и физически, и морально, я думаю. Однако все встало на свои места. Все в конце концов встает на свои места с течением времени.

А потом было множество поездок по большой нашей стране, а потом нас наконец пустили с концертом в Москву, и то сначала не в Москву, а в Сетунь (не так, кстати, давно – в восемьдесят

шестом), а потом в Польшу, а потом вдруг сразу в Японию, а потом было еще много стран, и первая наша пластинка, которую на «Мелодии» в ознаменование перестройки спешно сляпали без нашего участия, а потом вторая, которую мы делали сами, и музыка для кино, и съемки, и многое другое, чему здесь не хватает места.

С первой поездкой – в Польшу – случился казус. В Польше проходил фестиваль альтернативной музыки «Морковка» – поляки всегда очень любили все альтернативное. И звали туда они совсем не нас – они хотели видеть группу «Свинцовый туман». Какой-то сотрудник ЦК комсомола оформил вместо «Тумана» (о котором он и слыхом не слыхивал) «Машину времени». Я думаю, он искренне желал нам добра. К тому же он не имел понятия о том, что такое альтернативный рок, и на всякий случай слово «альтернативный» в приглашении заменил на «политический». Сочетание «политический рок» меня несколько смутило, но времени на раздумья не было. Если бы мы знали, что нас посылают вместо кого-то, мы бы, конечно, не поехали. Но нас в такие тонкости не посвящали.

Когда я увидел, какие ребята выходят на сцену, я понял, что случилась крупная подстава. «Звуки Му» на их фоне показались бы пионерским ансамблем. Мы со своими песнями были как раз тем, чему они яростно составляли альтернативу. А отступать было некуда. И мы отыграли – под оглушительный свист и улюлюканье зрителей, которые тоже, естественно, были альтернативными. Никогда не любил это направление. После Польши – особенно.

Но дверь за кордон была приоткрыта – по тогдашним неписаным правилам необходимо было сначала посетить соцстрану. И если поездка проходила без нареканий, то советскому гражданину можно было доверить поездку в страну капиталистического лагеря. Несмотря на то что к власти уже пришел Горбачев, все менялось не в один день.

Дорогой Михаил Сергеевич! Мне сейчас уже невозможно представить себе, что, если бы не вы – жизнь моя (что там моя – жизнь каждого из нас!) могла быть совсем другой. И я никогда бы не увидел мира – мы так бы и катались из Ростова в Барнаул, и проходили бесконечные переаттестации, и унылые партийные

сволочи контролировали идеологическую направленность наших песен, а потом гаечки бы еще чуть-чуть затянули, и нас бы в конце концов разогнали к чертовой матери и в лучшем случае вытурили бы за кордон. Люди уже не помнят, что благодаря вам мы смогли ощутить себя частью мира – что может быть важнее? Просто мы живем в очень неблагодарной стране, Михаил Сергеевич. Не болейте и не обращайте внимания на идиотов.

Буквально пара месяцев после испытания в Польше – Япония! Международный рок-фестиваль! Ронни Джеймс Дио, Джеймс Браун, Джордж Дюк! И мы! Разбудите меня!

Я так психовал, что в самолете у меня пропал голос. Совсем. Это была какая-то молниеносная адская ангина на нервной почве – ни до, ни после со мной такого не случалось. Я молился, съел все таблетки – сначала свои, потом японские, которые принесли мне сотрудники посольства. Не брало. Я пил виски «Сантори» с кипятком – проверенное самурайское средство. Не помогало. На этом фоне впечатление от Токио было несколько стертым. Просто не покидало ощущение, что мы на Марсе.

В общем, мы сыграли. Конечно, не так, как могли бы, но в целом не позорно, и я даже умудрился что-то пропеть, а потом был банкет и джем-сейшн в ретро-рок-н-ролльном клубе, и мы братались с настоящими звездами рока, и я угощал их гаванскими сигарами – у нас на родине этого добра было еще много, и стоили они копейки, и все это было похоже на сон, и впечатлительный Заяц напился так, что заблевал весь потолок в своем номере.

А потом была двухмесячная поездка в Америку, и отличные концерты, и впервые в жизни работа на настоящей студии в Далласе, а потом уже масса стран, включая совершенно экзотический Мозамбик. Про каждую поездку можно было бы написать небольшую книжку – столько происходило интересного, неожиданного и смешного. Может быть, когда-нибудь соберусь.

А ведь всего этого могло и не быть. Как же нам повезло!

Нет, про Мозамбик расскажу. Бог его знает, как мы там оказались, – в перестроечные времена происходили самые разнообразные чудеса. В общем, мы приехали в

город Мапуту играть в ночном клубе «Замби». Клуб принадлежал бывшему боксеру и совершенно опереточному бандиту по имени Алекс Барбозо. Работа нас не утомляла, тем более что местное черное население в клуб «Замби» не ходило по причине отсутствия денег, а немногочисленные дипломаты и представители всякого рода международных миссий имели выбор – клубов в городе было два. Так что играли мы не каждый день.

Развлечений у нас почти не было. Мы ходили в гости к Саше и Оле – оба журналисты ТАСС, жили там с двумя маленькими дочками и черным слугой Мануэлем. Жена Мануэля была известная колдунья, жрица вуду. Еще в городе располагались наши военные вертолетчики – как я понимаю, последние слезы нашей советской поддержки: по периферии Мозамбика шла гражданская война, в городе совершенно незаметная.

Вертолетчики были славные ребята, и мы с ними сильно выпивали – а что было еще делать? Однажды мы досидели до утра, когда им надо было лететь на задание. Ребята не хотели расставаться с нами и позвали нас с собой. Сейчас я понимаю, что, если бы я был к этому моменту трезв, я бы нашел в себе силы отказаться – ни фига себе, на задание! «Ну, вы же над Африкой никогда не летали!» – сказали ребята. К тому же ничего страшного не предполагается: никого бомбить не будут, они вообще транспортная авиация – так, привезти припасы и медикаменты в одну деревню. Если есть раненые – забрать. Все.

И мы полетели.

Над джунглями вставало солнце. Мы шли низко, как в фильме «Апокалипсис», почти касаясь колесами верхушек пальм. Я был настолько заворожен этой картиной, что не сразу заметил, что по радио кто-то ругается – на местном наречии. «Что это?» – спросил я. «А, это повстанцы, – равнодушно ответил пилот. – Вот он мне грозит – шестой, шестой, я тебя знаю, я тебя собью!» Я похолодел. «А собьет?» – «Не собьет, – сказал пилот. – Смысл? Мы вот сейчас в деревне товар сгрузим, а они ночью наедут и все заберут. Мы их уже два месяца кормим». – «А на обратном пути?» – на всякий случай спросил я. «А завтра кто добро повезет? Не, зачем им нас сбивать?»

Вскоре внизу показалась деревня – соломенные

конусы крыш. От деревни к вырубленной в джунглях вертолетной площадке шеренгой бежали местные жители. Они размахивали руками и что-то кричали. Кого-то несли на носилках. «Радуются», – подумал я.

Мы обогнали их и приземлились, я вылез из вертолета. Солнце поднялось уже довольно высоко, прямо метрах в десяти от меня начиналась глухая стена тростника выше человеческого роста. Я, замирая от счастья, двинулся к ней. Как же я мечтал в детстве оказаться в настоящих джунглях! И – вот оно! В тростнике что-то шуршало, пробирался какой-то невидимый зверек, грохотали кузнечики, один, величиной с чайную ложку, сидел прямо передо мной. Время остановилось.

«Андрюха!» – услышал я дикий крик пилота. Он кричал совсем нехорошим голосом. «Андрюха, стоять!!» Я послушно замер. «Развернулся! И! По своим следам! В машину!» Я проделал все как робот, совершенно не понимая, что происходит. Оказалось, что повстанцы ночью заминировали взлетную полосу – об этом нам и спешили сообщить жители деревни.

В общем, на обратном пути нас тоже не сбили.

Кино в нашей жизни сыграло отчасти спасительную роль. Нас выручала несогласованность ведомств – этакая система удельных княжеств. В результате в тот момент, когда нас готовились дотоптать на эстраде, вдруг выходил на экраны фильм «Душа», и мы как ни в чем не бывало улыбались с афиш из-за спин Софии Ротару и Боярского, а когда три года спустя в разгар съемок «Начни сначала» до руководства «Мосфильма» доходило указание, что снимать нас все-таки не следует, мы приносили охранную грамоту, из которой следовало, что «Машина» является участником культурной программы XII Международного фестиваля молодежи и студентов в городе-герое Москве и, стало быть, топтать нас опять-таки не за что. А когда месяц спустя мы получали плюху от Министерства культуры за то, что что-то там не то на этом фестивале спели, – кино было уже снято, и поздно было махать руками.

Все эти тактические игры вспоминаются сейчас как дурной сон из Средневековья. Позвонил мне недавно один знакомый литератор-публицист и предложил выступить с серией разоблачительных материалов о разных чиновниках от культуры эпохи застоя, которые сегодня, значит, спрятали свой звериный оскал под розовыми масками перестройщиков и перестройщиц. Я

отказался, и не потому, что я кого-то боюсь или жалею, а потому, что дело не в них. Эти ребята – честные солдаты своей армии, и пока есть у нас министерства культуры, управления культуры (что, кстати, не одно и то же), отделы культуры и т. д., глупо предполагать, что вот этот у них как бы хороший, а этот, скажем, плохой. Все они и сегодня в едином строю. И такие, какими им сегодня велено быть. Надо будет, все что угодно перестроят.

Что меня действительно пугает – так это то, что время с каждым днем идет все быстрей. Когда я был маленьким, день казался длиною в год и весь был доверху наполнен удивительными и неповторимыми событиями. Время было воздушное, прозрачное и медленное, как мед. Каких-нибудь двенадцать лет назад я умудрялся ходить днем на работу, вечером в институт, почти каждый день на репетицию, при этом успевал жить сложной и насыщенной личной жизнью, читал книжки, рисовал картинки и писал песни. И все вроде бы получалось само собой. Если не получалось – тоже само собой.

А сейчас время сжалось, потяжелело, потеряло прозрачность, и я уже не вижу через него, что там впереди. Оно движется мимо меня, как электричка, и скорость его растет. Кажется, вчера только отгуляли наше двадцатилетие, а уже прошел целый год. Год! На двадцатилетии было очень весело и трогательно, что ли.

Я панически боюсь всякого рода чествований и юбилеев, но, по-моему, юбилеем там не пахло. Получился просто праздник для друзей, как бы банально это ни звучало. Я подозревал, что у нас есть друзья, но когда они вдруг собираются вместе и ты видишь, как их много, – это здорово. Говорят, много друзей не бывает. Хочется верить, что мы являемся счастливым исключением.

> Отношение мое к юбилеям и теперь не изменилось – разве что ухудшилось. А было их с тех пор страшное количество. Ничего невозможно поделать – наша страна мыслит юбилеями, это осталось с советского времени и, видимо, не лечится. Я однажды, проезжая по городу, специально стал читать афиши концертов наших артистов – сплошные юбилеи! В общем, смешно. А пропусти свое какое-нибудь летие – обидишь зрителей. Они все помнят. И любят тебя. И кормят, кстати.

Я с трудом слушаю сегодняшнюю музыку. Нет, это не касается Тины, Стинга, Джаггера, Клэптона, Коллинза и прочих стариков. Мы с ними еще из того, из иного измерения. Я до сих пор жду, что возникнет какая-нибудь юная команда и вновь перевернет мир, как битлы четверть века назад. Напрасно я жду.

Видимо, с помощью музыки можно перевернуть мир только один раз.

И даже «Ласковый май», как ни верти, не вызывает у меня слез умиления, и я торчу из рыдающего моря пятнадцатилетних с абсолютно сухими глазами. Я ловлю себя на том, что, если бы мне сейчас было пятнадцать и я услышал то, что слушают они, – я бы совершенно точно выбрал в жизни другое занятие.

Есть такое понятие: цепляет – не цепляет. Не цепляет.

Когда-то, еще давно, я вывел для себя определение, по которому человека можно отнести к старым. Старый человек тот, кто перестает воспринимать и начинает вспоминать. Что ж, судя по тому, чем я в данный момент занимаюсь, меня смело можно отнести к этой категории. С одной только оговоркой. Я помню, сколько грязи и непонимания лили на любимых моих битлов двадцать лет назад старшие товарищи и граждане и как я отстаивал их со слезами на глазах и готов был биться до последнего. Недавно я видел девочку, грудью вставшую на защиту ее любимого «Ласкового мая», и вспомнил себя. Все, конечно, течет. Ничто не бывает вечным. Если только не забывать, что битлы и «Ласковый май» стоят чуть-чуть на разных ступеньках. С точки зрения искусства, что ли. Или духа. Или я ошибаюсь?..

Это было написано в 1990 году. Сидел и думал – двадцать три года прошло! Надо же что-то к этому добавить! Нечего добавить.

Извините.

Март 1990

Дом

Довольно рано я начал жить один.

То есть сначала я жил вместе со своей бабушкой в крохотной однокомнатной квартирке на Комсомольском проспекте. За стеной, в нормальной квартире, жили родители с маленькой моей сестрой – мама каким-то образом все это устроила путем хитроумных обменов.

Бабушка умерла, и я остался в квартирке один. Кухня у меня отсутствовала, так как мама настаивала, чтобы ел я у них и по возможности на ее глазах, и из кухни получилась вторая, совсем уже малюсенькая комната.

У одной стены стояло пианино, а у другой – старая немецкая фисгармония, доставшаяся мне от уехавшего в Америку Фокина. Между инструментами оставалась узкая щель, в которую с трудом входил вращающийся табурет, и можно было, поворачиваясь на 180 градусов, играть то на одном, то на другом.

В другой комнате располагался маленький диванчик, у которого сбоку выдвигалась полочка, на нее клалась подушка со спинки того же диванчика, и он становился соизмеримым с человеческой длиной – на нем можно было спать. Правда, в этом случае в комнату было уже не войти, не выйти – полочка с подушкой перекрывала дверь.

Еще в комнате находилась радиола «Симфония» – шик начала семидесятых – две здоровенные колонки на рахитичных ножках, затянутые веселенькой желтой тканью, и между ними – длинный гроб с музыкой. «Симфония» осталась у меня от уехавшего в Америку Игоря Саульского.

(Отъезды, кстати, тогда были совсем не то, что сейчас. Человек уезжал на другую планету, и было совершенно ясно, что не увидимся мы уже никогда. К тому же любой отъезд рассматривался как акт безусловно антисоветский, поэтому до последней минуты о нем говорилось только шепотом или не говорилось вообще – из желания не навредить ближним. Да и себе: между прочим, советская власть неохотно расставалась со своими сыновьями, могла в последний момент передумать и не отпустить. Поэтому ходил человек как ни в чем не бывало, общался, шутил, только, может быть, иногда казалось – нервничает как-то, а потом вдруг приглашал тебя на проводы, и в квартире уже пусто, потому что проданы и мебель, и квартира, и в кармане у него билет на утренний самолет, и прощались навсегда, и все равно гуляли шепотом и все время выглядывали с балкона – не стоит ли у подъезда какая-нибудь черная «Волга».)

Еще в комнате была книжная полка, и у окна – стол с чертежной доской и рейсшиной. Я уже учился в Архитектурном, и отец, когда делал проект дома, приходил работать ко мне.

Из всей «Машины» я был единственным обладателем такой роскоши, как отдельная квартира, поэтому сидели все у меня.

Еще можно было сидеть во дворе или в подъезде – для посещения четырех имевшихся в Москве кафе – «Московское», «Космос», «Метелица» и «Октябрь» – требовались деньги: рубль – швейцару за вход, так как мест нет, и хотя бы рубль тридцать две на девичий коктейль с замысловатым названием «Шампань-коблер». Мужской коктейль, «Юбилейный» – коньяк с ликером, – стоил уже рубль восемьдесят пять. В домашних условиях на эти деньги можно было упиться портвейном. (Огнетушитель «Розового противного» – рубль двадцать семь!) К тому же в «Московское» нас, молодых и волосатых, еще как-то пускали, а в остальные – не всегда.

Сидение у меня состояло из выпивания упомянутого напитка, слушания музыки и споров о ней же. В подвале дома находилась непонятная пустая комната, и одно время мы там репетировали – пока не взвыли жильцы.

К сидениям нашим родители мои относились на удивление лояльно. Иногда приходили девушки, но тут мама проявляла потрясающую бдительность. Невероятным образом по щелчку замка – как я его ни смазывал – она определяла пол и количество моих гостей, даже если дамы шли от лифта, сняв туфли и неся их в руках. Тут же раздавался телефонный звонок, и мама интересовалась, что это девушки делают так поздно в гостях и не пора ли им домой. Не ошиблась она ни разу. Конечно, можно было не отпирать дверь и пойти на конфликт, но праздник все равно оказывался испорченным. Как мне иногда удавалось ее перехитрить – одному богу известно.

Потом я вдруг женился и переехал на Ленинский проспект. Но к этому моменту началась гастрольная жизнь, и ощущение дома перенеслось скорее на гостиницы, чем на новую квартиру, – в ней я проводил меньше времени.

Я до сих пор обожаю гостиницы. Мне кажется, я совершенно спокойно мог бы в них жить, переезжая с места на место и не заботясь домом, в который нужно возвращаться.

Во-первых, я очень люблю путешествовать. Причем путешествие люблю именно за отъезд, а не за возвращение. Во время поездки звонки домой даются с трудом: мне все время кажется, что там какие-то неприятности, а я все равно не смогу

помочь, находясь далеко, и только изведу себя и близких. Номер гостиницы – идеальная вещь, если тебе надо работать, а, допустим, не очень хочется: дома у тебя масса соблазнов на что-нибудь отвлечься, а в номере отвлечься не на что – нет ничего лишнего. И телефон молчит и не приводит тебя в исступление, как это бывает дома, когда час не можешь отойти от него больше чем на два шага, отвечая на всякую ерунду, а выключить все равно не можешь – а вдруг что-то важное и срочное, а тебя не найдут?

Всю жизнь завидовал людям, которые легко выключают телефон. Хотя если задуматься – почему это человек, звонящий по телефону, приобретает такое преимущество в праве на контакт? Вот вы сидите за столом, и в гостях у вас очень хорошие люди, и пошла замечательная беседа, и вдруг – звонок, и вы прерываете дорогого вам человека на полуслове, ставите на стол рюмку, опрокидывая стул, бежите к ненавистному аппарату и слышите абсолютно неинтересный вам голос: «Привет. Ну, как у тебя дела?» (А есть категория знакомых, которые умудряются звонить тебе исключительно в таких ситуациях.) Все это равносильно тому, что вдруг открылась дверь, вошел некто и, перебивая всех, заговорил о своем. И все равно бежим к телефону!

Но вот интересно – в гостинице я могу выключить телефон с легким сердцем. Все равно для всех я уехал, а если что-то очень нужно своим – я в соседнем номере, постучи в дверь. А если ты на гастролях со своей командой, то гостиница дает идеальные возможности как для общения, так и для самоизоляции. Две минуты – и мы вместе, и еще позвали, кого не хватает, и не надо ему ехать к нам из Чертанова, он этажом выше, а устал – в двух шагах твой номер, а там уже кем-то все прибрано, постель заправлена и в ванной чистые полотенца.

Конечно, гостиницы, в которых мы останавливаемся сегодня, это совсем не те гостиницы, в которых мы жили в восьмидесятом – с запахом дуста и горелого лука из буфета, который закрылся за десять минут до твоего возвращения с концерта.

Вообще надо было очень сильно ненавидеть человека, чтобы придумать во всех деталях гостиницу советских времен. Отголоски этой ненависти я наблюдаю до сих пор – если номер двухкомнатный (так называемый полулюкс), то непременно телефон и телевизор будут стоять в одной комнате, а кровать – в другой. Ну какой идиот смотрит телевизор, сидя на стуле?

Бдительность швейцаров не знала границ. Визитки при входе проверяли, как пропуска на секретный объект. Для проведения в гостиницу знакомых (преимущественно женского пола) существовали разные способы.

Проще всего было отдать свою визитку даме, а самому идти чуть сзади, устало улыбаясь и пряча лицо в цветах. Следовало, правда, учитывать, что в некоторых гостиницах в свете борьбы именно с этим способом визитки различались на мужские и женские – скажем, голубые и розовые.

В большой компании практиковался метод под названием «Константин Заслонов» – когда шесть человек плотно окружали швейцара, тряся визитками и одновременно крича: «А который сейчас час? А на каком этаже буфет? А что, он уже не работает? А как пройти в библиотеку?» В этот момент девушки, пригнувшись, просвистывали в лифт. Правда, если все это удавалось, это еще не означало окончательной победы – дежурная по этажу, учуяв подозрительное, могла стукнуть вниз администратору, и тот вызывал милицию, и милиция вламывалась в номер с криками: «Проверка! Почему темно?»

Вопросы питания решались проще. На случай, когда директору коллектива не удавалось договориться с официантками ресторана, любящими молодежное искусство, чтобы нам оставили чего-нибудь в кастрюльке, у нашего осветителя Саши Заборовского был специальный чемоданчик. Содержимое его включало электроплитку, кипятильник, кастрюльки и сковороду. Поскольку все перечисленное было строжайше запрещено к хранению в номерах гостиницы (вплоть до выселения), то чемоданчик каждый день уносился на концертную площадку, а после концерта приносился обратно. Кроме электроприборов и посуды в чемоданчике хранились соль, перец и запас сухих супов в пакетиках – так называемый «суп-письмо». Какие-то исходные продукты покупались днем, и в принципе этим можно было закусывать.

Что касается водки, то в целях сокращения ее потребления, а также в целях повышения материального благосостояния Заборовский создал следующую схему. Днем он покупал несколько бутылок водки в магазине по 4,12 и прятал их в тумбочку. Ночью, если все принесенное другими кончалось, а продолжить хотелось безудержно, Заборовский открывал тумбочку и продавал оттуда сам себе бутылку водки, но уже по ресторанной цене – 8.00.

Он заработал кучу денег.

Удивительное это ощущение – когда ты стоишь за кулисами, и тебе выходить через десять секунд, и у тебя отвратительное настроение, и что-то болит, и ты только что вдрызг разругался со своим директором, и ненавидишь и свою музыку, и самого себя, и выталкиваешь себя на сцену, и через каких-то полтора часа уже совсем другим человеком – мокрым и счастливым – бежишь

обратно в гримерку, а зал еще ревет, а еще через двадцать минут ты уже в гостиничном номере, и стол накрыт простыми и правильными вещами, и водочка разлита, и вокруг тебя самые близкие и хорошие люди, и ты опять сделал вместе с ними чудо, и ничего у тебя уже не болит, и даже директор твой не такой уж засранец, и просыпаешься на следующее утро и думаешь – что же так хорошо?

В гостиничные рестораны мы не ходили. Во-первых, это было дорого. Во-вторых, до закрытия оставалось полчаса и разгул отдыхающих был в апогее. Если все-таки выбора не было и поход в ресторан становился неизбежным, то следовало помнить о трех ошибках, возможных при посещении.

Если тебя окликали по имени и ты оборачивался, то ты совершал первую ошибку. После этого к тебе подходил местный житель и говорил примерно следующее: «Андрей Вадимович, извините, пожалуйста, я понимаю, что вы устали и все такое, но моя жена без ума от ваших песен, а у нее сегодня день рождения, вы не подойдете на секунду буквально к нам за столик ее поздравить?» И если ты соглашался, то это была вторая ошибка. На своей территории тон местного жителя менялся. «Андрюха, можно я на „ты“? Я смотрю, ты такой простой парень, а мне всякую херню про тебя рассказывали. Слушай, давай выпьем – ты мужик, и я мужик!» И если ты, мечтая уйти, выпивал, это была третья ошибка. Ибо дальше следовало: «Андрюх, слышь, иди спой чего-нибудь! Ты чего, в натуре, не русский, что ли?»

До сих пор ненавижу рестораны с музыкой.

Переезд на Ленинский проспект совпал с покупкой машины. У нас в семье никогда не было автомобиля, и вообще мне казалось, что машины имеют какие-то совсем другие люди, и я, в общем, не видел себя в их числе. Хотя момент это был чисто психологический – у Валеры Ефремова, скажем, уже были «Жигули» кирпичного цвета, и он даже ездил на них с Кутиковым на юг.

Предчувствуя далекое неизбежное, я на всякий случай окончил гаишные курсы где-то на окраине Москвы и получил права, но они так и валялись без дела. Узнав, что у меня есть права, мой товарищ Мартин дал мне порулить (он сам настоял, правда!), и я тут же въехал в стоящий у обочины «Москвич». Мартин очень расстроился, а я утвердился в мысли, что нечего заниматься не своим делом.

И вот наш директор Валерий Ильич убедил меня в том, что время пришло. И тут же продал мне свою подержанную шестую модель «Жигулей». Валерий Ильич был очень решительный и напористый человек – я даже не успел навязать ему дискуссию на

тему «нужна ли мне машина». Он сказал, что с деньгами мы разберемся потом, велел мне взять с собой права и повез меня к черту на рога. У черта на рогах оказался автосервис, где уже довинчивали его готовую к продаже «шестерку». Она была белого цвета и очень, между прочим, по тем временам неслабая. Демонстративно не обращая внимания на мою робость, Валерий Ильич удостоверился в том, что я не путаю тормоз с газом, усадил меня за руль, вложил в руку ключи, пожелал счастливо добраться и захлопнул дверь снаружи.

Окаменев от ужаса, я медленно выкатился на какой-то проспект. Имея очень приблизительное понятие о направлении, в котором надо следовать, я пристроился в зад первому же автолюбителю и решил, что если буду двигаться за ним как тень, сохраняя дистанцию, то мне, по крайней мере, ничего не грозит. Вскоре выяснилось, что только на это моих сил и хватает – самостоятельно следить за светофорами, дорожными знаками и направлением движения я уже не могу. К счастью, парень ехал в нужном мне направлении.

Вскоре мы оказались на Садовом кольце. Паника постепенно отступала, ладони высохли. Я даже начал что-то такое тихонько напевать – для куража. И, расслабившись, проскочил поворот на Ленинский проспект.

В принципе, я знал, что есть такая вещь – «разворот», но чувствовал, что искусством разворота я еще не владею – это же надо было его найти, перестроиться, правильно к нему подъехать, вовремя развернуться, а потом, где-то уже у Ленинского, проделать все это еще раз! И я решил, что проще и мудрее будет проехать Садовое кольцо по новой, но уже точно не проскочить нужное место.

Через два часа я был в родном дворе. Долго сидел в машине, смотрел на лампочки на панели, переводил дыхание. Машина нравилась больше и больше.

Очень сильное первое ощущение от машины (когда уже перестаешь психовать по поводу вождения) – ощущение независимости и собственной изоляции. Метро, автобус – любой общественный транспорт, к которому ты привык, едет туда, куда надо ему. Ваши маршруты совпадают, пока тебе с ним по пути. Такси, в общем, едет туда, куда нужно тебе, но тебя все равно везут, причем так, как считают нужным. И вдруг ты один посреди города, защищенный от шума, взглядов и дурной энергетики толпы своим маленьким железным домиком, и – куда бы поехать? Некоторое время я просто купался в этом сладком одиночестве и свободе, потом привык. Жалко, что привыкаешь ко всему хорошему.

Родители мои по традиции продолжали снимать на лето дачу. Происходило это уже не в Загорянке, а в Валентиновке – на соседней станции, хотя четких границ между Валентиновкой и Загорянкой не было. Просто Загорянка располагалась на открытом месте, а Валентиновка пряталась в сосновом бору. Родители уезжали туда с маленькой сестрой, а я оставался в городе, избавленный от их опеки и потому счастливый. Но в выходные навещать их все-таки следовало.

Несколько раз по дороге к ним я проезжал мимо удивительного дома. Он возвышался из-за глухого забора огромным сахарным кубом. В то время новорусский загородный стиль – смесь кремлевских палат и Таганской тюрьмы – еще не родился, все дачи были такими, какими они были еще при Чехове, – деревянными, ветхими и трогательными, и белоснежный каменный куб смотрелся среди них как атомная подводная лодка среди каравелл и дредноутов. Черные квадратные окна выглядели неприветливо и загадочно, звуков изнутри не доносилось. Говорили про этот дом полушепотом – будто живет там одинокий сверхсекретный кагэбэшник, и что под землю еще уходят три этажа и туда опускаются на лифте. Поскольку ничего более далекого от моей тогдашней жизни, чем этот дом, представить себе было нельзя, то я и не думал о нем вовсе.

Прошло лет шесть, и я стал потихоньку мечтать о том, как бы мне перебраться за город. Были тому свои причины. В квартире подо мной жила психически нездоровая тетка, убежденная в том, что цель моей жизни – свести ее со света. По этой причине милиция вызывалась ко мне каждый вечер в 23.00 независимо от того, что у меня дома происходило. При этом плясок у меня никогда не бывало, музыка не гремела, и перекрытия сталинского дома были достаточно надежно звукоизолированы – тетка просто питала ко мне какую-то классовую ненависть. В медицине это называется «бредом обыденных отношений». С милиционерами я давно подружился, выселять меня никто не собирался, но мне надоело ходить по собственному дому на цыпочках. Я стал собирать информацию, и вскоре мне сообщили, что в Валентиновке продается дом – не дача, а именно дом, как я хочу. Подъезжая, я еще не предполагал, что речь идет о том самом белом чуде.

Хозяин не был похож на секретного кагэбэшника. Скорее он был похож на цыгана из табора. Звали его дядя Паша. Был он жилист и крепок, черняв и кучеряв, а рука его при пожатии напоминала неошкуренную доску. В черных его глазах читалось

некое безумие. Пожав мне руку, он достал смородиновую наливку собственного приготовления, потом – маленькую деревянную шкатулку, обитую изнутри алым шелком, из нее – крохотный серебряный стаканчик, налил граммов десять и предложил пригубить за знакомство. Потом рассказал свой вчерашний сон – как он приезжает на Красную площадь за рулем большого говновоза и выливает все содержимое на могилу Брежнева. (Чем ему так насолил Леонид Ильич – не знаю. Судя по тому, что в комнатке у него висел портретик Сталина, ему следовало скорее не любить Хрущева.)

Потом мы пошли смотреть дом.

Дом меня потряс – отнюдь не роскошью, нет. Роскошью там как раз не пахло. Потрясал он дерзким полетом мысли при полном отсутствии знакомства с архитектурной школой и эстетическим опытом человечества, накопленным за тысячелетия. Это была воплощенная мечта пожарного (а дядя Паша и оказался пожарным) о красивой жизни. В этом ощущался какой-то дикий рок-н-ролл. Дом был абсолютно пуст, вычищен до блеска и готов к продаже. Я должен описать его в деталях.

Вход не имел ступенек, и пол первого этажа находился на одном уровне с землей (я долго потом изумлялся – почему это весной при таянии снега в дом не натекает вода? Так ни разу и не натекла). Крохотная прихожая вела в узкий коридорчик, который упирался в маленькую кухоньку. В углу кухни горделиво стоял аппарат отопления, так называемый АГВ, занимавший треть площади, стены были увиты трубами, как в подводной лодке. Из кухоньки шли две двери – во двор и в совсем уже микроскопическую баньку. (Там было так низко и тесно, что однажды одна девушка манекенных пропорций не смогла сложиться пополам и пришлась попой прямо на раскаленные камни.) Из коридорчика еще можно было попасть в гараж, сделанный как раз просторно и грамотно, даже с ремонтной ямой (дядя Паша говорил, что в жаркое время он наливал в эту яму воду и там купался. Судя по гаражу, к потенциальному автомобилю дядя Паша относился лучше, чем к людям), и в угловую каморку, величиной ровно с тахту, которая там стояла, – тут дядя Паша и жил, ожидая покупателя.

Из прихожей же лестница, то есть натуральный лестничный блок, используемый при строительстве хрущевских пятиэтажек, вел на второй этаж. Там уже можно было распрямиться, не рискуя въехать головой в потолок. На втором этаже располагалась единственная большая и светлая комната (я сразу решил сделать в ней мастерскую) с четырьмя окнами на две стороны, ванная, сортир и две спальни – спальни как спальни.

Отсюда узенькая металлическая лесенка вела к люку, откинув который вы попадали на третий уровень. И это был гвоздь программы – вы оказывались на квадратной площадке, открытой всем ветрам, – рядом шумели вершины сосен, под вами лежала низенькая Валентиновка, по периметру площадки шел цоколь высотой сантиметров семьдесят и шириной в метр, он был наполнен землей, и там густо росли огурцы! Это были висячие сады Семирамиды. Увенчивалось сооружение зеленой плоской крышей.

Дядя Паша говорил, что собирался установить на крыше карусель. Я отнес это на счет его странноватых шуток, но пару лет спустя, борясь с осами, влез под самые перекрытия и, к изумлению своему, обнаружил там мощную ось и огромный подшипник. Карусель, ей-богу, органично дополнила бы общую картину.

Также планировался лифт с первого на второй этаж (слухи все-таки имели под собой какое-то основание) – не для людей, а маленький, чтобы подавать из кухни в большую комнату, которую дядя Паша мнил гостиной, всякую еду, а потом отправлять вниз грязную посуду.

При всем этом перекрытия в доме были почти метровой толщины и спокойно выдержали бы ядерный удар. Дом вообще был невероятно прочный, хотя сделан был черт знает из чего – дядя Паша строил его один своими руками более десяти лет на свою зарплату пожарного под постоянным прицелом глаз завистливых соседей и бдительного ОБХСС.

Надо еще помнить, что дело происходило в советские времена, когда купить ничего, кроме гвоздей, было нельзя, кирпич, бетон и доски можно было только достать, а всего остального просто не существовало в природе. Поэтому основную часть исходных материалов дядя Паша находил на помойке (во всяком случае, в перекрытиях были задействованы бетонные плиты с немецких блиндажей), а на все, что приходилось покупать или доставать, он хранил копии чеков – видимо, поэтому его и не посадили.

Также приходилось воевать со всякими архитектурно-строительными комиссиями – существовали очень жесткие нормативы относительно того, каким может быть, а точнее, каким не может быть загородный дом: не больше такой-то площади, не выше такой-то высоты, по строго утвержденному плану, и не дай тебе бог от этого плана хоть на сантиметр отступить – очень уж дяди-Пашин дом был по духу далек от подмосковной дачки, это не могло не раздражать.

Дядя Паша победил всех. Он строил дом для себя, сражаясь

со всем человечеством. В процессе строительства к нему подкатывали разные люди с предложением продать им это чудо. Он и слышать ничего не хотел – цена не имела значения.

И в тот момент, когда дом оказался достроен, дядя Паша вдруг понял, что он перестал ему быть нужен – он интересовал его только как объект творчества и приложения сил, а жить одинокий дядя Паша продолжал в крохотной нижней каморке, не претендуя на остальную жилплощадь. Стало ясно, что надо расставаться с законченным творением, уже не нуждающимся в дяди-Пашиных руках, сниматься с якоря, перебираться в другое место и начинать строить новый дом – для себя. И в этот момент переосмысления жизненных ценностей появился я.

Дом совершенно подкосил меня своей несуразной свободой. Всегда, когда мне что-то нравится, я примеряю это на себя: мог бы я придумать такое или нет? Такое я придумать не мог (я уж не говорю – построить, для этого я вообще не создан, и самым для меня большим горем в жизни является ремонт). Дядя Паша назвал сумму, по тем временам огромную, – это было все, что я накопил тогда в своей жизни. Я, по-моему, даже не стал торговаться (через полгода грянули гайдаровские катаклизмы, и я в очередной раз возблагодарил своего ангела). Мы объехали десяток каких-то жутких контор (путающие, непонятные заклинания – РЭУ, БТИ, кадастр. Красивое, кстати, слово – «кадастр»), подписали какие-то бумажки, заплатили какие-то налоги – и дом стал моим. Дядя Паша пожал мне руку и отбыл в неизвестном направлении с портфелем моих денег.

Я почувствовал себя капитаном на огромном, пока еще не слушающемся меня корабле.

При невероятном взлете пожарной фантазии, с которой был создан дом, не все мелочи, мягко говоря, были в нем продуманы – дядя Паша мыслил широкими пластами. К водопроводу, например, дом подключен не был – вода с помощью электронасоса подавалась на третий этаж, где располагались две емкости из нержавеющей стали (дяди-Пашина гордость) – для горячей и холодной воды. Горячая вода проходила через АГВ и шла на умывание, а заодно и в батареи.

Вода в баках периодически кончалась, и следовало, не дожидаясь этого, но руководствуясь исключительно интуицией, открыть краны на трубах (все это находилось на кухне) и включить насос. Насос включался просто – надо было, перегнувшись через тумбочку, найти лежащий на полу провод с вилкой и воткнуть его в розетку, расположенную неподалеку. Вскоре баки наполнялись, и вода начинала хлестать в раковину через специальную трубку перелива. Это был знак к тому, что

пора опять лезть за тумбочку, выключать из розетки насос и тут же закручивать краны на трубах, чтобы вода не ушла обратно в колодец. Все это надо было делать быстро и собранно, и не дай бог пропустить момент, когда баки наполнятся, – трубка перелива была небольшого диаметра, она не справлялась с избытком воды, вода шла через край, и в доме случалось дежурное наводнение. Вскоре я освоился с этим ритуалом и совершал его каждое утро даже с удовольствием – это помогало настроиться на ритмы дня.

Третий этаж я застеклил по периметру, уверившись в затее сделать там зимний сад (единственная доделка, на которую меня хватило). Строго говоря, сад был, конечно, не зимний – на третьем этаже не было отопления как такового, – но большая теплица все-таки получилась, огурцы и помидоры росли отменно, и было очень красиво, выйдя из баньки и поднявшись наверх с рюмкой водки, закусить помидорчиком прямо с ветки.

Снаружи Белый дом (а его только так и звали) имел не гладкую поверхность, а был выделан рельефными ромбиками (на языке архитекторов это называется руст).

Дядя Паша в свое время признался мне, что долго как художник мучился с фасадом – не знал, чем его украсить, пока не нашел однажды на помойке, где он проводил основное время в поисках стройматериалов, белый пластмассовый флакон из-под какого-то пятновыводителя – и вот этот флакон был покрыт как раз такими ромбиками.

Учитесь видеть прекрасное в повседневности! Покрытый ромбиками дом нес в своем облике что-то неуловимо восточное и вечером, со светящимся садом огурцов на третьем этаже, был похож, по определению Сергея Соловьева, на мавзолей Чойбалсана. Я никогда не видел мавзолей Чойбалсана, но режиссеру хотелось верить.

В доме гуляла нечистая сила. Возможно, это было связано с дядей Пашей – что-то в нем такое было. Я бы не удивился, если бы узнал, что у него собиралась какая-нибудь черная секта.

Однажды, в первые недели моей жизни в доме, пришла жуткая бабка – прямо колдунья из плохого фильма, – не верила, что дядя Паша уехал насовсем, и все норовила оттолкнуть меня от калитки и проскочить в дом – что-то ей там было надо.

Ночью дом жил своей жизнью – вздыхал, скрипел, шуршал шагами.

Живя в городе, мы круглые сутки окружены бессмысленными, не имеющими для нас значения звуками – проезжают за окном машины, топают ногами гости у соседей, где-то ругаются, кто-то пошел на лестницу выбрасывать мусор. В загородном доме все не

так, и первое время ощущаешь это особенно остро – каждый звук несет тебе конкретную информацию: залаяла собака – значит, кто-то к тебе идет, увидел свет за окном – кто-то едет к тебе на машине и т. д. Поэтому начинаешь все слышать гораздо острее, и звуки, не имеющие объяснения, бросаются в уши сразу.

Однажды мне позвонила жена (я был в Москве) и сказала, что ночью в доме страшно – кто-то ломится в калитку. Я бросил дела, приехал в Валентиновку, сел ждать темноты – стоял июнь, темнело поздно. Калитка, как и весь забор, имела в высоту метра два и была сбита из сплошных досок – увидеть что-либо за ней, не открыв ее, не представлялось возможным. Запиралась она изнутри на засов, и еще торчала в ней такая поворачивающаяся ручка – как в обычных дверях.

Около полуночи я услышал, как кто-то эту ручку тихонько дергает – вокруг стояла абсолютная тишина, и ни с чем этот звук нельзя было перепутать. Жена испуганно ликовала – до этого момента я ей, конечно, не верил. Самым поразительным было то, что собака, обычно чуявшая посторонних за версту, вела себя совершенно индифферентно – как будто ничего не происходило. Я прихватил для ужаса нунчаки (подарок одного приятеля), спустился в сад и на цыпочках подошел к калитке. Ручка действительно ходила вверх-вниз. Я набрал в грудь воздуха, резко отодвинул засов и распахнул калитку. За калиткой не было никого. Причем не только за калиткой, а вообще на улице – а просматривалась она, несмотря на темноту, метров на тридцать туда-сюда, и пробежать такое расстояние за долю секунды было просто нереально. Я закурил, постоял у открытой калитки, прислушиваясь, – ни звука. Я выбросил в темноту окурок, аккуратно закрыл калитку на засов, повернулся к ней спиной и сделал шаг в сторону дома. И услышал сзади характерное позвякивание – ручка ходила туда-сюда.

Не верите? Ей-богу, не вру.

Появлялись в доме и привидения. Показывались они не мне, а гостям, оставшимся ночевать (а оставались постоянно – кто же поедет в гости на дачу с тем, чтобы на ночь глядя пилить обратно в город? Да и машины были далеко не у всех). Факт наличия привидений подтверждался тем, что разные люди, между собой незнакомые, в разное время видели одних и тех же призраков – чаще всего это был пожилой дядька в шляпе, косоворотке и костюме тридцатых годов – описания совпадали до мелочей.

(Кстати – почему люди, упившиеся до белой горячки, видят одних и тех же зеленых чертиков – им ведь никто их заранее не описывал?)

Говорили, на месте моего дома до войны стояли какие-то расстрельные бараки.

Мне привидения не показывались, и я сделал вывод, что меня держат за своего, а к гостям относятся построже. Тем не менее по настоянию общественности был приглашен священник, который дом освятил. Гребенщиков привез пучок мексиканских трав чуть ли не от самого Кастанеды и тщательно продымил ими все комнаты. Нечисть в доме поутихла, но на участке продолжала шалить.

Последний случай был вот какой.

Я приехал домой около четырех часов дня – следовало переодеться в приличное и быстро ехать обратно в город – кажется, я участвовал в каком-то сборном концерте. Ярославское шоссе тогда еще не расширили, движение по нему было ужасное, и я всегда передвигался по нему на грани опаздывания, а опаздывать я терпеть не могу. Я заехал во двор, вбежал в дом, стремительно переоделся, схватил гитару и, выскочив из дома, понял, что ключей от машины нет. Поскольку я постоянно что-то теряю, я уже знаю, что следует делать в такой ситуации, – надо перестать психовать, остановиться, закрыть глаза и очень внимательно восстановить в памяти ход событий и собственные передвижения.

Так я и поступил. Маршрут пролегал от машины прямо в дом, потом – в спальню для переодевания и потом – сразу обратно. В замедленном темпе я прошел по нему еще раз. Ключей не было. Их не было в замке зажигания, в траве около машины, в прихожей на столике, где, собственно, они и должны были быть, в спальне и по пути из нее. Я вернулся в спальню и перетряс одежду. Пусто. Заглянул под кровать. Ничего. Вернулся к машине и попробовал заглянуть под нее. Нету. Поняв, что я уже опоздал, я сел на крыльцо и обхватил голову руками.

При всей моей склонности к мистицизму я, конечно, мистик не до такой степени – на моих глазах происходило не поддающееся объяснению. Еще через полчаса я решил плюнуть на логику и просто принялся бродить по дому и участку.

За домом, метрах в десяти от него, располагалась большая прямоугольная яма глубиной в человеческий рост. Стены ее и дно я забетонировал, и можно было за какие-то сутки напустить туда воды из колодца, потом пару дней подождать, пока она нагреется на солнце, и тогда получался бассейн. Ни циркуляции, ни стока воды предусмотрено не было, поэтому бассейн был пригоден к эксплуатации дня два-три, после чего вода зацветала, в ней заводились личинки комаров и мелкие животные, и следовало выкачать все это на участок с помощью того же насоса (всего

какие-то сутки!), потом подождать дня два-три, пока высохнет вода на самом дне и оставшиеся там животные вымрут, после чего бассейн был практически готов к следующему циклу. Так незаметно пролетало лето.

В День Исчезновения Ключей бассейн пребывал на завершающей стадии эксплуатации. Стараясь освободить голову от остатков логических построений, я подошел к бассейну и машинально заглянул в него. Ключи матово поблескивали на дне сквозь уже мутнеющую воду.

Я готов поклясться на всех святых книгах мира, что с момента приезда в дом я не приближался к чертовой яме ближе чем на двадцать метров. Даже если бы я захотел забросить туда ключи, я бы вряд ли попал. Минут сорок с помощью спиннинга я пытался достать их со дна – особо унизительным казалось из-за дурацких шуток нечистой силы раздеваться и ни с того ни с сего лезть в холодную воду (я все еще был в парадном). Наконец ключи зацепились за блесну, я выудил их из бассейна и понял, что пультик сигнализации промок и умер и теперь я не заведу машину никогда.

Еще часа два я сушил пультик феном, разобрав его на составляющие, и – о чудо – он ожил! (Что совершенно не свойственно электронике, попавшей в воду на час. Это я к тому, что домашние бесы все-таки шутили со мной не слишком зло.)

Замечательные куски жизни прошли в этом странном Белом доме с нечистой силой. Одно время у меня жил Саша Абдулов – он ушел из дома, потерял бумажник со всеми документами и на тот момент не имел ничего, кроме узнаваемой внешности и автомобиля «Нива». Саша поселился в крохотной «дворницкой» (он входил туда сантиметр в сантиметр), и тихая моя загородная жизнь наполнилась его бешеной энергией.

Все должно было быть в превосходной степени: если пир – то на весь мир, если плова – то гора, если водки – то море, если гости – то чтоб сидели друг на друге, если девушка-модель – то чтоб три метра ростом. Гости почему-то сидели всегда на кухоньке, зажатые между дверкой в баню и грозно гудящим аппаратом АГВ. Я заметил, что гости, как кошки, безошибочно выбирают энергетически правильные места. Если хотите узнать, где у вас в доме хорошо, пустите в него много гостей, дайте им выпить и посмотрите, как они расположатся. В шестиметровую кухоньку набивалось человек пятнадцать, и все были счастливы. Я выходил на улицу в ночь – подышать, представлял дом в разрезе и удивлялся: огромный куб – совершенно пустой, и в крохотном пространстве в нижнем углу – плотная куча людей. И гуляли до

утра, и вели прекрасные беседы, и пели песни, и мчались спозаранку – кто в театр, кто на студию, а Ксюша Стриж неслась на радио, и через час я включал в машине приемник и слышал ее голос, и вечером встречались снова, и все на свете у нас получалось.

Или это мы были такие молодые?

С Абдуловым я познакомился много лет назад у Лени Ярмольника. Леня вдруг решил проверить, кто у него настоящий друг, и отметить свой день рождения, никого не приглашая – кто вспомнит, тот как раз друг и есть. (Затея, кстати сказать, так себе: хорошая память – отнюдь не показатель дружбы. Я вообще не в состоянии запомнить ни один день рождения – и что теперь?)

Именно по этой причине народу было совсем немного. После спектакля, часов в десять, позвонил Саша Абдулов – просто так, и Леня не выдержал – проболтался. Саша прилетел через десять минут. В руках у него был пакетик с двумя булочками с маком из театрального буфета – подарок на день рождения.

Абдулов был огромный, и энергию, от него идущую, я ощущал физически. Комната сразу наполнилась им – он влетел, обнял Леню, выпил водки, познакомился со мной и тут же начал сочинять спектакль про то, как известный артист решил вдруг пригласить на день рождения своих школьных друзей, которых он с тех пор не видел. И как они собрались: один – бармен из пивбара, один – военный, один – врач, и как сидят за столом и о чем говорят. Все происходящее у нас за столом на самом деле Абдулов тут же ввинчивал в свой спектакль, и он рос, как снежный ком. Я сидел совершенно загипнотизированный – на моих глазах рождалось гениальное творение. К концу вечера с меня было взято обещание немедленно начать работу над музыкой, и Абдулов записал на салфетке мой телефон и сказал, что позвонит завтра и узнает, как продвигается работа.

Ночью я, конечно, не спал, потрясенный таким почетным предложением, – думал над музыкальной концепцией спектакля, и к утру она начала вырисовываться. Я решил, что музыка должна быть простая и трогательная – как во французском кино.

Абдулов не позвонил ни завтра, ни послезавтра, и тогда я набрал номер Лени и поинтересовался между прочим, как там у Абдулова дела с новым спектаклем. «С каким спектаклем?» – удивился Леонид. Я объяснил с каким. Леня удивился еще больше и мягко объяснил мне, что вообще-то Абдулов ставит далеко не все, что он придумывает, а про ту затею с днем рождения он, скорее всего, и не помнит, так как придумывает постоянно, а прошло уже целых два дня. Честно скажу – я поверил Ярмольнику не до конца. Ну не могла такая блестящая затея уйти в песок! Но

сам все же решил пока Абдулову не звонить.

Абдулова я встретил дней через десять, случайно. Мы поговорили о чем-то разном, а потом я осторожно поинтересовался, как спектакль. Абдулов сказал, что он решил кое-что переделать, и рассказал мне совершенно другую пьесу. Просил подумать над музыкой и убежал.

Мы замечательно жили в Валентиновке тем летом! Чувство, что все возможно, что все в наших руках, меня не оставляло. Сашина энергия была в этом смысле невероятной движущей силой. Мы возвращались с ним ночью из разных мест – он со спектакля, я – с концерта, варили макароны, сидели до пяти утра и говорили о чем-то страшно важном, а потом вдруг выяснялось, что надо срочно лететь в Ленинград, и я говорил – не успеем вернуться, потому что у меня в четыре часа дня в Москве выступление, а Саша говорил – ерунда, успеем, и мы неслись по пустынной рассветной окружной в Шереметьево, и улетали практически на коленях у пилотов, потому что билетов не было, и успевали в Питере сделать все, что хотели, и в час дня уже летели обратно – на коленях у пилотов, потому что билетов не было, и уже в Шереметьеве Абдулов говорил – вот видишь, сколько времени еще осталось, а ты боялся, и вдруг куда-то исчезал, и я шел искать его по аэропорту и находил возле игрового автомата – он дергал ручку, и глаза его были мечтательно полузакрыты.

С Юзом Алешковским меня, кстати, тоже познакомил Абдулов. Конечно, «Николая Николаевича» и «Кенгуру» я читал задолго до этого, еще при советской власти (вражеское издательство «Ардис», в газету обернуть, из дома не выносить, в метро не читать, утром вернуть), и всю ночь прохохотал как безумный, а что касается песенок «Товарищ Сталин», «Окурочек» и прочих – я вообще не предполагал, что у них есть конкретный автор и что их написал Юз.

Мы с Абдуловым и Ярмольником оказались в Нью-Йорке в одной из первых, по-моему, зарубежных гастрольных поездок – не так давно начали выпускать.

(С этой поездкой отдельная история – Абдулов всю дорогу волновался: с чем он придет к американскому зрителю. «Вам хорошо, – жаловался он нам с Леней, – один цыпленка табака покажет, другой песенки попоет. А я что?» И даже репетировал про себя монолог Шигалева из «Бесов». Когда в Америке мы увидели нашу афишу, которая гласила: «Три артиста, три веселых друга. Шоу на троих!» – Абдулов понял, что Достоевский, видимо, не понадобится. Ну да ладно, не об этом речь.)

В Нью-Йорке мы зашли к старому нашему товарищу Роме

Каплану в «Русский самовар». В правом углу гуляла небольшая компания – Иосиф Бродский отмечал какую-то награду. Абдулов шумно выхватил оттуда Алешковского, мы познакомились.

Алешковский оказался в точности таким, каким я его себе представлял. На самом деле это бывает очень редко – общаешься с человеком заочно через то, что он сделал, и волей-неволей представляешь себе, какой он, – а потом вдруг встречаешь его самого, и оказывается – нет, чего-то ты себе напридумал, совсем он не блондин с голубыми глазами.

В двух только случаях воображаемый мною образ совпадал с оригиналом до мелочей – первый раз это было со Жванецким, еще совсем давно, когда голос его можно было услышать только на затертых пленках жутких отечественных магнитофонов, и я представлял себе хозяина этого голоса совершенно отчетливо, вплоть до мимики и пластики, – в точности таким он впоследствии и оказался. С Алешковским вышло так же.

Скоро Бродский ушел, и Юз пересел за наш столик. Они с Абдуловым возбужденно обсуждали какую-то грядущую постановку, потом Каплан принес гитару, я что-то пел, потом упросили спеть Юза – долго, впрочем, упрашивать не пришлось. Юз пел блестяще – в совершенно точной манере, без малейшего намека на кабак или блатнятину. В качестве аккомпанемента он стучал вилкой по столу, потом я осмелел и стал подыгрывать ему на гитаре. Абдулов немедленно родил идею записи совместного альбома. Я ее сразу подхватил – я вообще пребывал в состоянии эйфории, вызванной нереальностью происходящего, – еще совсем недавно я и не предполагал, что смогу оказаться в Америке, и вот мы сидим практически на Бродвее, и только что отсюда вышел Бродский, а я пою с Алешковским песни по очереди.

Тут же рядом обнаружился парень по имени Володя, который сказал, что есть приличная студия. Но наутро мы улетали, и запись отложилась почти на полгода.

Через полгода я вернулся в Нью-Йорк, уже имея в голове конкретный план: мы записываем голос Юза и мою гитару, потом я везу несведенную пленку в Москву, добавляю недостающие инструменты и делаем сведение. И с Юзом, и с Володей все было обговорено, студия ждала.

На студию Юз пришел взволнованный и с портфелем, из которого достал тексты своих песен, отпечатанные сантиметровыми буквами – чтобы уж точно не сбиться. Я успокаивал его, как мог. Запись прошла легко и быстро, несмотря на Юзово волнение («Ну как? – спрашивал он у меня встревоженно после каждого дубля. – Нормально или…[3]? По-моему…*!»). Он напрасно нервничал – все получилось

замечательно, мы уложились в два дня.

Потом я привез в Москву пленку, ликуя, завел ее Кутикову, потом пригласил на студию баяниста, балалаечника, пианиста и скрипача, и мы сделали необходимые наложения. Потом быстро придумал и нарисовал обложку, и альбом «Окурочек» был готов – осталось его издать. Он получился абсолютно таким, каким я его себе представлял, а это для меня самая большая радость.

А еще через полгода мы опять сидели в «Самоваре» с Юзом и обмывали вышедшую пластинку. Пластинка Юзу, по-моему, очень понравилась (она и мне очень нравится) – все предыдущие попытки записи (а Юз их с кем-то делал) ни в какое сравнение не шли.

В общем, мы сидели в «Самоваре», и вдруг опять вошел Бродский и подошел к Юзу, и Юз похвастался пластинкой, и Бродский повертел ее в руках, полугрустно-полушутливо произнес: «Может, и мне альбом записать?» – и пошел к своему столу, он всегда садился в дальнем правом углу.

Как загипнотизированный я двинулся за ним следом и, извиняясь, сбивчиво заговорил что-то насчет того, что, если бы он сам не подал эту мысль, она бы мне и в голову не пришла, а теперь я ему предлагаю на полном серьезе взять и записать альбом его стихов в его исполнении.

Бродский смотрел на меня сквозь стекла очков иронично и чуть-чуть печально (летний костюм песочного цвета, весьма, впрочем, мятый и даже с пятном на пиджаке, удивительная манера произносить слово «что» упором на «ч» – мы все-таки говорим «што») – я, наверное, в своем волнении действительно выглядел несколько смешно. Я не знаю, почему Бродский согласился.

Студия и Володя были уже наготове, но наутро я опять уезжал, и запись происходила без меня. Бродский решил читать свои ранние питерские стихи. Володя рассказывал мне по телефону, что Бродский пришел на студию, довольно быстро прочитал все, что он собирался прочитать (вы слышали, как Бродский читает свои стихи? Это очень похоже на заклинание), но на следующий день позвонил и попросил переписать все еще раз. Пришел и все прочитал по новой (по ощущению Володи – точно так же). И на этот раз остался доволен.

Потом мы встречались еще раз – Бродский, Кутиков, наш друг Володя Радунский и я. Кутиков, как официальное лицо, выпускающее альбом, хотел поговорить по поводу обложки. Обложка, как выяснилось, Бродского абсолютно не интересовала.

С обложкой, к сожалению, и вышла заминка: один художник тянул полгода, да так ничего хорошего и не сделал, и отдали

делать другому художнику – а Бродский умер.

Пластинка вышла. В нашей самой читающей стране в мире она разошлась бешеным тиражом. Штук, наверно, пятьсот.

Когда я был маленьким, я даже не мечтал иметь собаку – так мне ее хотелось. В условиях проживания в коммунальной квартире иметь собаку – вещь нереальная. Всегда найдется сосед, считающий, что это выпад именно против него. Вообще домашних животных тогда, по-моему, заводили гораздо реже, чем сейчас (аквариумных рыбок и канареек я в расчет не беру).

Конечно, всякие мелкие звери у меня жили – у мамы на работе в институте туберкулеза был виварий с подопытными животными, и она носила мне оттуда то морскую свинку, то кролика – до того как им успевали привить ужасную болезнь и затем испытать на них действие какой-нибудь новой вакцины. Летом, когда мы все уезжали на дачу, с содержанием было проще, а в остальные времена года зверь определялся размером аквариума, в котором он жил, и запахом, не дай бог достигающим общего коридора.

Первая собака появилась, уже когда мы переехали на Комсомольский проспект в отдельную квартиру – ее, точнее его, звали Миша, и он пришел к нам сам. То есть он был пожилым бездомным кобелем и со свойственной ему интеллигентностью не возражал против того, чтобы мы пригласили его домой – он сидел на лестничной клетке напротив нашей двери и стеснялся. Такая деликатность была оценена, собаку пустили внутрь, помыли, накормили и нарекли Мишей.

Миша оказался на редкость воспитанной и все понимающей дворнягой. Чтобы он хоть раз подошел к столу, за которым едят люди, – да вы что! (Это и сейчас для меня первый критерий воспитанности собаки.) Иногда, гуляя, он исчезал на день-два, потом, стесняясь, возвращался. Однажды, когда мы совсем уже к нему привыкли, он исчез и не вернулся – может быть, его поймали собаколовы, а может быть, он нашел семью, где его баловали больше. Не знаю.

Вы замечали – когда люди женятся, у них тут же появляются друзья-молодожены, когда рожают ребенка – возникают друзья с новорожденным в семье, когда болеют – обнаруживаются приятели с теми же болезнями, когда умирают – ну и так далее. Когда я впервые женился, нашими ближайшими друзьями стали Мартин и Катя. Они были студентами ГИТИСа и поженились недавно. Я был студентом Архитектурного, а моя жена Лена училась в Историко-архивном институте, и мы вчетвером

прекрасно дополняли друг друга. У Мартина с Катей был спаниель по кличке Батон. Это было беспредельно человеколюбивое создание. (Данное качество, по-моему, особенно свойственно спаниелям, и я их даже за это не очень люблю – ну нельзя уж так!) При виде любого человеческого существа у Батона случалась истерика, замешенная на любви. При этом он прыгал, визжал, лизался и писал. Если бы в этом была хоть капля показухи – это было бы ужасно. Но Батона спасало абсолютное чистосердечие.

Конечно, мы с женой тут же захотели собаку. Решили, что это будет королевский пудель – я все-таки не воспринимаю собак собаками до определенного размера. По мне болонка или мопс – не вполне собака. Так, домашнее животное на манер кролика.

Мы купили щенка королевского пуделя из каких-то очень хороших рук (помню, их там народилось четыре, и мы выбрали самого шустрого). Щенок оказался девочкой, что нас вполне устраивало, и мы назвали его (ее) Марфой.

Марфа проявляла чудеса сообразительности и подтверждала своим поведением мнение о том, что пудели – одни из самых умных собак. В свои четыре месяца она уже знала и исполняла все существующие команды, которые хозяин только может отдать собаке, и мы на нее не могли нарадоваться. А дальше случилось ужасное – Марфа заболела чумкой (наверное, из-за неудачной прививки), и все наши попытки спасти ее ни к чему не привели – умная, веселая собачка умерла.

Мы переживали кончину очень тяжело и решили никаких собак больше не заводить – во избежание повторения трагедии.

Потом прошло много лет, я разошелся с женой, долго жил один, потом женился во второй раз, и у моей новой жены уже была собака – такса Джолик. Во мне Джолик сразу признал если не хозяина, то, во всяком случае, старшего друга, а это было для моей жены, между прочим, серьезным аргументом – она очень прислушивалась к его мнению.

Джолик был воплощением красоты и благородства. (Люди, утверждающие, что такса – это некрасиво, просто эстетически недоразвитые олухи.)

Представьте себе крупного осанистого гладкошерстного такса изумительного каштанового окраса и с необыкновенно умным лицом. Поведение его было безупречным – он не брехал зря, но уж если лаял – в квартире дрожали стекла, и никак такой могучий баритон не вязался с ростом собаки. Он был настоящий боец, ненавидел кобелей, как и положено, бесстрашно кидался в драку, и размер противника не имел никакого значения.

Что касается собак женского пола, то есть сук, то Джолик проявлял в их отношении редкую галантность. Была у него, правда, вполне понятная мужчинам слабость – особенно он благоговел перед длинноногими рослыми суками, и чем они были больше и выше, тем сильнее его тянуло к ним. Такое часто бывает – одному моему знакомому, имевшему рост полтора метра, тоже нравились манекенщицы.

Увидев на прогулке какую-нибудь афганскую борзую, Джолик невероятно возбуждался, тут же знакомился и приступал к ритуалу ухаживания. Делал он это так искренне и страстно, что в какой-то момент дура борзая начинала верить в то, что все у них с Джоликом возможно и счастье не за горами. И только в самый последний момент, когда она, очарованная, принимала позу полного согласия, а Джолик практически разбегался для главного удара – они наталкивались на непреодолимую преграду в виде шестидесяти сантиметров разницы в росте. Какие-то мгновения борзая еще наивно полагала, что чудо свершится, а Джолик пытался делать вид, что все в порядке и он сейчас вырастет, но потом наступала неизбежная развязка. Борзая презрительно удалялась, а Джолик, поскуливая, плелся домой. Смотреть без слез на это было невозможно.

В остальных случаях Джолик проявлял редкую мужскую способность в сочетании со стремительностью. Соседка по подъезду держала настоящих охотничьих фокстерьерш и, зная Джоликову любвеобильность, прятала от него своих девочек. Однажды она упустила момент, Джолик проскользнул между ног в ее квартиру, и, пока она разворачивалась, все уже приняло ту стадию, когда делать что-либо поздно. Говорят, у фокстерьерши народились какие-то невероятные по бойцовским качествам пожиратели лис.

Мы Джолика на лис не натаскивали и на норы не возили (из-за чего, кстати, с нами ругался собачий клуб – они очень на него рассчитывали). Жалко было и несчастных затравленных лис, и тех собак, которым от этих лис доставалось, да и не такой уж я был охотник. А что до собачьих медалей, то мы с Джоликом были к ним глубоко равнодушны – главное, чтобы человек был хороший.

Иногда Джолик проявлял невероятное упорство. Если на дворе стоял сильный мороз, заставить его погулять было невозможно. Сделав несколько шагов по прямой, Джолик поднимал одну из лап (чаще всего ту, с которой он начал движение – она замерзала на один шаг больше) и замирал в позе коня Юрия Долгорукого. После этого его можно было уговаривать, кричать, дергать за поводок – он оставался неподвижен. Приходилось брать его на руки и нести домой,

причем поза его при этом не менялась – он как бы добровольно принимал смерть от обморожения.

В другом случае его невозможно было заставить пройти через даже самую мелкую лужу, как бы она ни простиралась, – он обходил ее по берегу, брезгливо встряхивая лапами.

Была у Джолика еще одна удивительная особенность. Если к нам в дом приходил человек, Джолику симпатичный (такими оказывались далеко не все, хотя никакого хамства Джолик себе все равно не позволял – просто не замечал, и все), то он ему не вилял хвостом и не лизал ему руки – он ему ползал. Влюбленно глядя в глаза гостю, Джолик ложился на живот, уменьшая тем самым свой рост еще на десять сантиметров, и, перебирая поджатыми лапами, полз, как гусеница, и смотрел в глаза непрерывно: «Видишь, как я делаю?» Ничего подобного я нигде и никогда больше не наблюдал – это был танец уважения и преклонения.

Джолик дожил до семнадцати лет, что почти невероятно. В последние годы морда у него была совсем седая, он плохо видел и все больше дремал, завернувшись в плед и попукивая, но врожденного благородства не терял. Многим московским таксам он стал отцом, дедом и прадедом, и они с честью несут его ум и красоту по миру – я безошибочно узнаю их в лицо.

Поселившись в Белом доме в Валентиновке, я не очень знакомился с соседями. Отчасти из-за высокого глухого забора, за которым не было видно, что это за соседи и что они там делают. Но то, что у соседей справа была собака, я знал – ее было слышно. Иногда рано утром я видел из окна, как она проходит через мой участок, непонятно каким образом туда попав, мелкой рысью, голова опущена к земле – волк волком.

Звали собаку Линда.

Линда была, в общем, почти овчарка – с черной спиной, серыми боками и вполне немецкоовчарочьей мордой. Что-то мешало поверить в чистоту породы, но для меня это никогда не было критерием – что еще за собачий расизм? Она исправно лаяла на посторонних (в том числе и на меня) из-за своей калитки и вообще производила впечатление собаки, твердо знающей и с честью несущей свои обязанности. (Позже я узнал, что эта хитрюга просто изображает то, что ждет от нее хозяин. Хочешь, сторожа покажу? Пожалуйста!)

И все бы шло как и шло, если бы однажды соседи не позвали меня криком через свой забор и не сообщили, что они обменяли свой загородный дом на квартиру в Москве и на днях переезжают, а брать дворовую Линду с собой в Москву не входит в их планы, и

в качестве единственной кандидатуры на место ее будущего хозяина они видят меня, а если я вдруг не соглашусь, то они все равно оставят Линду здесь и бог им судья. Я присоединился к богу в качестве судьи, но делать было нечего.

Единственное, что меня всерьез беспокоило, – это то, что Линда была уже далеко не девочка, ей было семь лет, а в этом возрасте хозяев не меняют. Хозяева же заверили меня, что их Линда ко мне исключительно хорошо относится, о чем она неоднократно давала им знать, и все у нас с ней будет отлично. После чего они объяснили мне, какой именно Линда любит суп (мясо с костями плюс макароны), привели ко мне чужое взрослое, сильно встревоженное животное, быстро покидали мебель в грузовик и уехали.

Линда не сразу поняла, что произошло. Она смотрела то мне в глаза, то в сторону своего дома и тихонько скулила. К вечеру она принялась грызть забор, поранила десны, и ее пришлось посадить на цепь. На цепи она просидела два дня, отказываясь от еды и воя по-бабьи – без особой истерики, ровно, на двух нотах.

На третий день я понял, что надо делать. Я отцепил Линду от привязи, позвал за собой, вышел на улицу, прошел десять метров до калитки уехавших соседей, легко открыл ее (она запиралась на деревянную вертушку) и поднялся на крыльцо опустевшего дома – Линда за мной. «Смотри, Линда, – сказал я медленно и строго, – здесь больше никого нет». Линда понюхала запертую дверь, легла на крыльцо и закрыла глаза. Там она пролежала до вечера, а потом вернулась ко мне непонятным образом (я долго искал ее секретный лаз в заборе – так и не нашел). С этого момента я стал ее хозяином.

Линда оказалась удивительным созданием – по-своему преданным, но очень независимым, хитрым и вороватым. Впрочем, воровала она большей частью на стороне. В привязи она не нуждалась, и скоро под воротами был прорыт ход на улицу. Уходила она туда обычно ночами, а возвращалась утром и, как правило, с добычей.

Интересно, что добычу она несла не себе, а мне, и с гордостью клала ее к моим ногам. Чаще всего это были задушенные куры каких-нибудь не очень дальних соседей, и я лихорадочно бросался ловить летающий по участку белый пух. Как правило, это удавалось закончить до того, как в калитку стучалась бабушка и интересовалась, не зашла ли к нам случайно ее кура. Видели бы вы, какие честные глаза были в этот момент у Линды!

Помимо кур я часто получал от нее самые неожиданные предметы. Один раз, например, это была чугунная мясорубка с

еще остатками фарша внутри. И все-таки Линдин рекорд – это большая кастрюля еще не совсем остывшего грибного супа. Кастрюля была белая, эмалированная, с цветочком на боку, без крышки и наполненная супом больше чем наполовину. Я не знаю, как Линда несла ее по улице и пропихивала под забором, – я просто увидел ее утром на крыльце, выходя во двор, а рядом сидела Линда, прихорашивалась и улыбалась во всю морду.

Жить с такой собакой было можно.

Меня Линда серьезно обворовала лишь однажды, и вот как это было.

Посреди зимы я решил налепить домашних пельменей. Затеваться из-за двадцати штук не имело смысла, и я подошел к делу основательно: заготовил здоровенную миску фарша, замесил много теста, специально подгадал под морозный день, чтобы можно было морозить их прямо на дворе, и пригласил в помощь двух подружек. Работа в шесть рук шла быстро, периодически я брал поднос с готовыми пельменями и выносил на улицу – там у меня стояла беседка с большим круглым столом.

Я не заметил момента, когда Линда, внимательно наблюдавшая за нашей работой, куда-то исчезла (она вообще, как человек, обожала наблюдать за тем, как работают другие). Когда я вынес очередной поднос – а помещалось на нем штук сто, – я остолбенел. На столе в беседке было пусто, валялось несколько надкусанных пельменей – они, видимо, не вошли. Линды в беседке тоже не было – она лежала у крыльца, икала и пыталась вызвать у меня сочувствие. «Видишь, что ты наделал своими пельменями?» – говорили ее глаза. Линда съела около трехсот отборных пельменей ручной работы. Она пролежала у крыльца сутки, иногда с трудом удаляясь в сторону кустов. Наказывать ее рука как-то не поднялась.

В другой раз ко мне заехал в гости режиссер Саша Стефанович. Он любил заехать в гости теплым летним вечером с какой-нибудь двухметровой неразговаривающей подругой и шашлычком. Причем как человек, не лишенный практического начала, шашлычка он привозил немного, без излишеств – так, себе, мне и чуть-чуть для подруги. В этот раз он положил пакетик с шашлычком на лавочку и сразу увлек подругу в беседку – рассказывать ей очередную киноисторию. Я развел огонь в мангале, принес шампуры и заглянул в пакетик – там лежало три кусочка мяса. Я сделал поправку на Сашину экономность, но это все равно не вписывалось ни в какие рамки. Линду в таких ситуациях выдавало то, что она сидела, отвернув голову и глядя в сторону – скажем, на закат.

К постоянным моим гостям Линда привыкла быстро и

относилась к ним так же, как и я, – не помню, чтобы она на кого-нибудь залаяла или зарычала. Не любила она только маленьких детей и милиционеров, уж не знаю почему – видно, что-то такое в ее жизни было. Несколько раз в доме у меня случайно срабатывала сигнализация, честные милиционеры приезжали, и тут уж им доставалось от Линды – я даже не предполагал, что она так умеет кусаться. Только глубокое чувство любви нашей милиции к «Машине времени» спасало меня (и Линду) от серьезных неприятностей.

Еще Линда боялась грома. Причем боялась его панически – никакие выстрелы не производили на нее такого впечатления. В этом было что-то женское – бояться грозы. Для спасения от грома существовало единственное место – щель под диванчиком в «дворницкой». Щель была высотой сантиметров пятнадцать, и как Линда туда пропихивалась, для меня оставалось загадкой – но бояться грома она кидалась именно туда.

Однажды я, как водится, спешил в Москву по каким-то делам. Я выехал со двора, закрыл ворота и порулил в сторону Ярославского шоссе. Внезапно перед капотом нарисовалась Линда, и я чуть не наехал на нее – она практически бросилась под колеса. Я резко затормозил, Линда отбежала шагов на пять и встала поперек дороги. Я попытался ее объехать, но она заслоняла мне проезд. Линда всегда абсолютно спокойно реагировала на мои отъезды, и я ничего не мог понять, пока не вышел из машины и не услышал далекие, еле различимые раскаты грома. Пришлось вернуться назад (причем эта сволочь теперь радостно бежала впереди), отпереть дом и пустить ее под диванчик, куда она моментально нырнула и шумно вздохнула с облегчением.

Была у Линды еще одна слабость – мужчины, то есть кобели. Она благоволила им круглый год, но два раза в году, согласно особенностям сучьей жизни, это превращалось в форменную катастрофу.

Кобели со всей Валентиновки, большие и маленькие, всевозможных пород и мастей, собирались у меня перед домом, заглядывали в тоннель под воротами, Линдой прорытый, «курили» под окнами, зябли – звали Линду.

Линду распирало от женской гордости, но сама она ответного желания внешне не выказывала, даже поглядывала виновато – дескать, что ж поделаешь, если так получается.

Я запирал Линду в доме, но не научишь же собаку ходить на горшок. Фальшиво демонстрируя мне преданность и послушание, она выходила по нужде, пятясь в дверь задом и глядя мне в глаза, но как только задняя часть ее оказывалась за порогом, все тут же

и случалось – через секунду на ней уже пыхтел какой-то жуткий кобель, Линда пожимала плечами, а на дне ее глаз светилось совершенно блядское удовольствие. В этот момент я обычно кричал, кобель разворачивался и бежал к воротам, а Линда, в соответствии с особенностями собачьей случки, ехала за ним на четырех лапах, продолжая при этом смотреть мне в глаза. Кобель подбегал к воротам, собирался прыгать через них или под них подлезать, дальнейшее совместное передвижение грозило членовредительством, и я махал рукой.

Через несколько месяцев появлялись щенки – четверо или пятеро, и все они были абсолютно разные, так как Линда пыталась выйти пописать не один раз. Линда проявляла материнскую заботу, таскала их в зубах туда-сюда, очень быстро они начинали бегать и визгливо орать, и становилось ясно, что раздавать их надо немедленно. Я клал зверей в корзину, ехал на Арбат со скрипачом или баянистом, кто соглашался помочь, – таких чудовищ можно было пристроить только с помощью художественной акции.

На Арбате я находил самую оживленную точку, скрипач начинал играть громко и зазывно, а я неискренне кричал: «Граждане! Не проходите мимо своего счастья! Щенки от моей личной овчарки – умнейшего животного!» Вокруг моментально собирался народ, и щенки довольно быстро уходили – кто в Рязань, кто в Благовещенск. Так я неожиданно выяснил, что по Арбату гуляют исключительно приезжие.

С каждого нового хозяина я брал клятву, что ни при каких обстоятельствах щенок не будет выброшен на улицу, а он с меня за это – автограф. Наибольшее недоумение вызывал тот факт, что щенки такой умнейшей овчарки раздаются бесплатно, и мне пытались втихаря сунуть в карман то червонец, то четвертак. Я возвращался домой с пустой корзиной, кляня потаскуху Линду, и через полгода история повторялась.

Однажды я приехал домой поздно ночью, усталый и голодный. Линда обычно встречала меня у ворот и шла следом за мной в дом. Я не обратил на нее особого внимания и сразу побежал на кухню – очень хотелось есть. Я зажег газ, и что-то заставило меня обернуться. Прямо за моей спиной посреди маленькой кухни сидела Линда, а вокруг нее – пять разномастных уличных кобелей. Линда пригласила их в гости – на ужин, видимо. Она смотрела на меня гордо и выжидающе, кобели по-деревенски стеснялись, но покидать пространство кухни не думали. Ситуация выглядела так по-человечески, что я даже растерялся. Пришлось тем не менее выгнать всю компанию на мороз. Очень тогда Линда на меня обиделась – ушла вместе с

мужиками и не возвращалась до утра.

Линда прожила со мной пять лет, потом начала болеть, ей сделали операцию, и ясно стало, что осталось ей жить немного. Последние дни она лежала на своем матрасике в прихожей не шевелясь, но как только остатки сил возвращались к ней, пыталась выползти на двор – не хотела умирать в доме.

Я похоронил ее в дальнем конце участка, и мы устроили ей достойные поминки.

До сих пор иногда Линда приходит ко мне во сне и беседует со мной приятным мужским баритоном.

Я не помню, что предшествовало перевороту, – ничего не задержалось в памяти. Наверное, что-то предшествовало, потому что за пару лет до этого я написал «Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным». Песни, отягощенные социальным багажом, долго не живут – они умирают в тот самый момент, когда ситуация, в них описанная, меняется, и я уже много лет эту песенку не пою. Помните ее?

Возбужденные ситуацией,
Разговорчиками опьяненные,
Все разбились на демонстрации —
Тут те красные, тут – зеленые.
И ничуть не стыдясь вторичности,
Ишь, строчат от Москвы до Таллина
Про засилие культа личности,
Про Вышинского да про Сталина.
Размахалися кулачонками,
Задружилися с диссидентами,
Вместо «Бровкина» ставят «Чонкина» —
Ох, боюсь, не учли момента вы.
Ведь у нас все по-прежнему схвачено,
Все налажено, все засвечено,
И давно наперед оплачено
Все, что завтра нами намечено.
Навели, понимаешь, шороху —
Что ни день – то прожекты новые.
Знать, давно не нюхали пороху,
Демократы мягкоголовые.
Вы ж, культурные, в деле – мальчики,
Знать, стрелять по людям не станете.
А у нас – свои неформальчики:
Кто-то в люберах, кто-то в «Памяти».
Можем всех шоколадкою сладкою

Одурачить в одно мгновение,
А потом – по мордам лопаткою,
Если будет на то решение.
Отольется вам не водичкою
Эта ваша бравада стадная:
Нам достаточно чиркнуть спичкою —
И пойдет карусель обратная.
И пойдет у нас ваша братия
Кто – колоннами, кто – палатами,
Будет вам тогда демократия,
Будут вам «Огоньки» со «Взглядами».
А пока – резвитесь, играйтеся,
Пойте песенки на концерте мне,
Но старайтеся – не старайтеся,
Наше время придет, уж поверьте мне.
Время точно под горку катится,
Наш денек за той горкой светится,
Как закажется – так заплатится,
Как аукнется – так ответится.

Немного смешно сейчас это читать. Очень, наверное, была злободневная песня. В свое время.

Девятнадцатого августа мы с «Машиной» были на гастролях в городе Липецке – неказистый стадиончик, мерзкая погода. В этом смысле «Машина времени» – уникальная команда: для того чтобы вызвать дождь посреди самой невероятной засухи, достаточно устроить там концерт «Машины» под открытым небом. Моросил дождик, мы ехали на настройку аппаратуры на кривом автобусе, по радио каждые пятнадцать минут повторяли «Приказ номер один», музыканты, явно находясь в нервном шоке, похохатывали по поводу того, как лихо эти гэкачеписты этого Горбачева скинули. «А что вы, собственно, смеетесь?» – спросил я, и стало тихо.

Настроение было ужасным и каким-то новым – я себя так еще никогда не чувствовал. Совершенно было непонятно, что делать дальше. Я ощущал абсолютную бессмысленность и неуместность предстоящего концерта – с одной стороны. С другой стороны, десять тысяч человек, купившие на нас билеты и постепенно заполняющие трибуны, были ни в чем не виноваты.

«С праздничком вас», – растерянно пошутил я, выйдя на сцену. Мне растерянно поаплодировали. Я не помню, как прошел концерт, – голова думала совершенно о другом, и ничего не придумывалось. Никогда еще я не работал на сцене на таком

автомате. После концерта стало известно, что по телевизору выступил Ельцин, назвал все это дело переворотом, и что он в Белом доме, и что Белый дом, скорее всего, будут атаковать, и вокруг него собираются люди для его защиты. Стало ясно, что надо ехать в Москву.

В общем, мы как-то легко отменили дальнейшие культурные мероприятия и поехали в Москву. В вагоне со мной ехала бригада милиционеров – узнав о происходящем, они самовольно оставили службу и отправились защищать Белый дом. Никто в вагоне не пил, милиционеры курили в коридоре, дымя в окно, и осаждали меня вопросами, далеко выходящими за пределы моей компетенции, – как жить дальше.

В Москве было серо и дождливо – абсолютно безысходная погода. Посреди пустой стоянки на Киевском вокзале нелепо торчала моя машина. Я добрался до нее, прыгая через лужи, подъехал к выезду, расплатился с сонным сторожем. «Ну что, стреляли ночью?» – спросил я его. «Постреливали», – ответил он флегматично.

Первым делом я поехал в Валентиновку – в свой Белый дом. Надо было получить хоть какую-то информацию – такой вещи, как мобильный телефон, в нашем быту еще не существовало. (Помните, он появился чуть позже и сразу стал главной деталью на портрете нового русского – как предмет роскоши, дорогой и абсолютно бессмысленный. То, что это всего лишь средство связи, осозналось потом. Сейчас с ним ходят школьники. Время, время.)

Я включил приемник в машине, но очень немногочисленные тогда FM-ные станции либо молчали, либо крутили какую-то совершенно нейтральную инструментальную музыку – она вызывала ощущение похорон незнакомого, неблизкого человека. Москва выглядела пустой и безлюдной как никогда – изредка пролетали одинокие машины, в основном черные «Волги», прохожих не было видно. Если бы это было кино, эстеты упрекнули бы режиссера, что все уж как-то слишком, на грани пошлости – и этот дождь, и эти пустые серые улицы, и гэбэшные «Волги».

Я ехал и думал о том, что больше всего меня, оказывается, печалит тот факт, что через несколько дней должна была открыться выставка моей графики во Дворце молодежи, я к ней очень готовился и очень ее ждал, а теперь – какая уж там выставка.

Почему-то не думалось: а как теперь вообще все? Человек не может печалиться по поводу абстрактного – нужен конкретный адрес приложения печали. Печалит не тот факт, что умерли все, а то, что умер Гриша. Истинно сказано у Окуджавы: «Больно

человеку – он и кричит». Наверно, так себя чувствовали люди в день объявления войны – ты собираешься послезавтра с другом на рыбалку, думаешь, что подарить любимой девушке на день рождения и куда с ней пойти, покупаешь книгу по дороге домой, неспешно планируешь свои летние передвижения во время предстоящего отпуска, переживаешь, что опять не успел помыть машину, и вдруг – все перечеркнуто чьим-то одним движением, все разом теряет смысл. И наплевать тому, кто это движение совершил, и на тебя, и на все твои планы и амбиции – он и о существовании твоем не знает.

Вспомнились худсоветы, коллегии Министерства культуры, вызывающе неприметные люди в штатском, твой телефон, к которому кроме тебя и твоей любимой девушки на другом конце провода еще приложила ухо посередине какая-то сволочь.

Дивная, кстати, была история с телефоном году в семьдесят девятом. Слушали меня тогда плотно, и самое противное заключалось в том, что, пока сотрудник органов внутренней секреции не брал свою трубку, соединения с абонентом не происходило. А он, естественно, не мог сидеть на месте двадцать четыре часа в сутки и то и дело отлучался – то покурить, то пописать. В эти моменты я оказывался лишенным связи – телефон звонил, я снимал трубку и продолжал слышать звонки уже в ней.

Знакомый физик-диссидент предложил мне простой и радикальный способ борьбы с этим явлением. Нужно было взять кусок обыкновенного электропровода и присоединить один конец его к клемме телефона, а другой вставить в розетку – в одну из двух дырочек – это выяснялось опытным путем. При попадании в правильную дырочку телефон дико вякал, и у ненавистного слухача-гэбэшника вылетали все предохранители. Пока он чинился, а на это уходило около часа, я мог пользоваться телефоном, как все люди. Метод мне понравился (я прямо видел, как чекист, чертыхаясь, дует и машет на свой дымящийся аппарат), и я проделывал сию нехитрую процедуру иногда по пять раз на дню.

Через неделю мой телефон умер. Он не отключился, а умер совсем, и в трубке было тихо, как в могиле, и ни шорохи, ни далекие гудки не нарушали этой тишины. Пришел мастер, покопался в аппарате, потом ушел на лестничную клетку и вернулся оттуда с вытянутым лицом. «У тебя врагов нет?» – спросил он ошеломленно. «Нет», – честно ответил я, меньше всего думая в этот момент о щите нашей Родины. «У тебя из общего кабеля твоего провода метра три вырезано! Это ведь еще найти надо было!» В общем, мальчику дали знать, что хулиганить не надо. Я перестал пользоваться методом физика. Но что самое

удивительное – слушать тоже перестали! Видимо, решили поберечь аппаратуру.

В доме меня встретила понурая мокрая Линда и беззвучно плачущая девушка Галя – знакомая, временно проживавшая под моей крышей по причине временного же отсутствия собственного жилья. Галю я почитал особой весьма легкомысленной и уж во всяком случае абсолютно аполитичной – а она, оказывается, всю ночь бегала по Москве и расклеивала какие-то антигэкачепистские листовки, а теперь плакала и собиралась на баррикады – вот уж воистину не знаем мы ближнего своего. Мне, оказывается, несколько раз звонил Саша Любимов – он находился внутри Белого дома и звал меня туда. На кухне работал приемник, сквозь помехи прорывалось «Эхо Москвы» – было очень похоже на «Голос Америки». В перерывах между короткими сводками с места событий играла исключительно «Машина времени» – в основном «Битву с дураками». Вы будете смеяться, но если в этой ситуации вообще могло быть что-то приятное, то мне было очень приятно.

Удивительно устроен человек! Представьте себе вертикальную шкалу – внизу расположена наша печаль, а наверху – наша радость. Эта шкала будет представлять собой очень небольшой столбик. А теперь нарисуйте рядом другую шкалу – внизу будет все самое плохое, что может быть в жизни, а наверху – все самое хорошее. Этот столбик получится куда длиннее. А теперь, перемещая первый столбик вверх и вниз вдоль второго, вы увидите, что человек обладает способностью одинаково и радоваться, и печалиться независимо от того, где он находится – среди ананасов в шампанском или посреди горящей помойки, – диапазон «печаль – радость» от этого не меняется.

Кстати, по поводу «Эха Москвы», которое сыграло в эти дни, наверно, главную роль, они еще не выходили на FM – только на УКВ (поэтому я и не мог их услышать в машине) и сидели не на Новом Арбате, а на улице 25 Октября, прямо у Кремля (рассказываю со слов Венедиктова).

Они были единственные, кто не подчинился новой власти, вели постоянный репортаж с места событий и созывали народ к Белому дому, и, естественно, каждую минуту ожидали в лучшем случае стука в дверь – ни для кого не было секретом их местоположение. И действительно, скоро в дверь постучали, вошло несколько гэбистов во главе то ли с майором, то ли с полковником. Майор (будем называть его полковником) строго указал на неподчинение приказу ГКЧП и потребовал выключить передатчик. Никому, однако, наручники не надели и на пол не положили. Сотрудники радио пообещали передатчик отключить,

после чего гэбисты ушли. А сотрудники слово свое сдержали – они отключили передатчик, включили другой – резервный – и продолжили вещание. Примерно через час полковник вернулся, опять пожурил всех за неповиновение, попросил очистить эфир и снова ушел. Прошло десять лет, и я мог упустить какие-то детали, но по сути все происходило именно так. Удивительные дела творились в эти дни в Москве. Во всяком случае, спасибо этому майору-полковнику.

В общем, я уговорил девушку Галю не ехать со мной на баррикады, а, напротив, остаться дома, надел теплую кожаную куртку и охотничьи ботинки – дождь не утихал – и поехал в Белый дом. Нет, сначала я поехал в Рублево – там у бабушки находился мой четырехлетний сын, я совершенно не представлял себе маршрутов передвижения танковых колонн по Москве, не знал, что творится в Рублеве, воображение разыгралось. В Рублеве, однако, было тихо и мирно – никакими танками не пахло, кучковались местные алкоголики у гастронома – все выглядело так, как будто вообще ничего не произошло. И тогда я двинул к Белому дому – по лишенной жизни Москве можно было передвигаться очень быстро.

По дороге я остановился у табачного ларька и купил блок сигарет – мне казалось, что люди, стоящие в живом кольце, не имеют возможности отойти со своего поста и сигареты будут им очень кстати – я вообще не представлял себе, как все это выглядит.

По мере приближения к центру Кутузовский проспект, по которому я ехал, и без того пустой, пустел все более и более и наконец опустел совершенно. Впереди открылся Бородинский мост, перегороженный посередине баррикадой из сдвинутых троллейбусов. Я поймал себя на том, что больше всего меня в данный момент заботит, где поставить машину – старенькую, пригнанную из Германии БМВ, – чтобы в случае чего ее не зацепило танком. Это меня рассмешило – идущий на гильотину поправляет прическу. Машину тем не менее я загнал куда-то под мост, в безопасное, как мне казалось, место, и двинулся по нему пешком – по самой середине.

Я вдруг вспомнил, как много лет назад, на Первое (или на Девятое?) мая перекрывали движение по улице Горького – устраивали народное гулянье. И какой дикий восторг вызывала новая степень дозволенной свободы – можно ходить там, где обычно нельзя! Ощущение радости было абсолютно физическим – и вдруг это чувство вернулось. Внутри было как-то торжественно – при всей невообразимой пошлости картины: серое небо с дождем, мокрый, пустой и кажущийся от этого огромным

Бородинский мост, перегороженный красивой баррикадой, слева внизу – Белый дом, окруженный черной кашей людей, и этакий одинокий я, бредущий по самой разделительной полосе к этим людям. Интересно, когда человек идет один по большому пустынному пространству и не имеет возможности соотносить скорость и манеру своей походки с походками других людей, походка его всегда будет нелепа – отсутствует точка отсчета.

Я обогнул слегка помятые троллейбусы – рядом с ними никого не было, спустился на набережную, перебрался через еще одну баррикаду, сделанную черт знает из чего. Ее уже охраняли – мне помогли перелезть. И – оказался на ступенях Белого дома в толпе очень разных людей. Все здоровались со мной как старые знакомые, обращались ко мне так, как будто я стоял тут с ними со вчерашнего дня и только отошел ненадолго. В общем – я не пошел внутрь. Мне почему-то стало неловко оттого, что вот тут люди стоят под дождем, а я сейчас протолкаюсь через них и пройду в Белый дом, где сухо, как какой-нибудь начальник. Чушь собачья – может быть, находясь внутри, я бы принес больше пользы – скажем, выступил бы по радио. А я остался внизу.

Спустя какое-то время я раздобыл кусочек сухого полиэтилена, который можно было постелить на ступеньку и присесть на него, не слишком рискуя промочить задницу. Я сидел и украдкой разглядывал людей, меня окружавших. Рядом со мной сидел на ступеньках, пригорюнившись, маленький Рамзес Джабраилов – артист Театра на Таганке, за ним стояли красивые юноши и девушки из банка «Алиса» в строгих черных костюмах. Вокруг в толпе мелькали то какие-то казаки в опереточных лампасах, то батюшка в рясе, то солдатик-афганец в нагрудных значках, то стайка хипповых студентов, а то вдруг покажется знакомое лицо – кто это? – ах да, музыкант из «Мистера Твистера».

Справа от меня неподвижно возвышался абсолютно лубочный деревенский дед – с седой бородой и в ватнике. Голубые глаза его смотрели в небо, навстречу дождю, на лице застыла детская улыбка. На шее у деда висел на веревке перемотанный изоляцией приемник «Спидола» – памятник отечественного радиостроения. Из приемника вперемежку с хрипами прорывался далекий вражеский голос – то ли «Радио Свобода», то ли «Немецкая волна». Приемник висел на уровне живота, и в него уткнулись головами, согнувшись и не дыша, несколько человек. Дед млел и напоминал какое-то диковинное кормящее животное.

И тут и там сновали бабушки – то с домашними пирожками в корзинках, то с сигаретами. Периодически приносили гамбургеры из «Макдоналдса» (все – бесплатно). Мой блок сигарет не

понадобился – он так и мок в сумке. Никто не выпивал, несмотря на отвратительную сырость, – я не встретил ни одного даже слегка выпившего человека. Ребята в камуфляже выискивали среди нас тех, кто воевал или хотя бы служил, собирали из них отряды, строили, уводили во внешнее оцепление и к мосту, заменяли одних другими – все очень профессионально. Оружия я не видел ни у кого.

Громко никто не разговаривал, но в воздухе висело тихое жужжание – слухи. Информация отсутствовала полностью. «На крыше дома напротив появились снайперы». – «Да нет, это, наверно, наши». – «Да нет, небось какие-нибудь ихние журналисты – оттуда снимать удобно». – «Танки идут по Можайке». – «Да нет, днем не начнут, побоятся. Ночью пойдут – как вчера». – «Да они с набережной пойдут!» – «Нет, если пойдут, то по Кутузовскому – чего им эти троллейбусы!» – «Надо туда людей побольше поставить». – «Говорят, на окружной встали – дальше не идут». – «Говорят, Таманской приказали выдвигаться, а они все отказались». – «Молодцы, шли бы к нам». Периодически из Белого дома сбегал по ступеням какой-нибудь озабоченный человек, и на него тут же набрасывались плотным кольцом: «Ну что?» – Но и он ничего не мог сказать.

Знаете, какое было настроение? Очень хорошее. Каждый пришел сюда сам и понимал, почему он здесь и зачем, и от этого было светло, и нигде я больше не видел таких прекрасных лиц. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы ГКЧП (даже сочетание букв – мерзкое) решился на штурм, но народу бы полегло много – очень было непохоже, что эти ребята побегут.

Когда стемнело, приволокли аппаратуру, расставили ее под дождем на ступенях – решили устроить концерт – затея несколько сюрреалистическая, но почему бы и нет? О качестве звука говорить не приходилось, я вообще удивляюсь, как никого не убило током, кто-то пел, я тоже пел, уже не помню что, и кто-то держал надо мной зонтик, и все равно капли дождя стекали по чужой гитаре, и пальцы плохо гнулись от холода. Почему-то было ясно: если сегодня ночью штурмовать не будут, то, наверно, и завтра не будут. Интересно почему? Всем было ясно.

Утром отогревались горячим чаем – казалось, дождь теперь будет идти всю жизнь, и ничего не происходило, а потом вдруг стало известно, что вроде бы гэкачеписты полетели в Форос к Горбачеву – забздели!

И радоваться мешало только то, что никто не мог сказать, правда это или нет. И были люди, призывавшие не поддаваться на слухи и провокации, не радоваться раньше времени и стоять до последнего, и конечно, они были правы. А еще через несколько

часов голос на животе у деда сообщил, что члены ГКЧП вернулись в Москву ни с чем и по прибытии арестованы!

И – хотите верьте, хотите нет – в эту самую минуту перестал дождь – как выключили! – и выглянуло солнце. Вот уже не знаю, что может быть пошлее. Но было именно так.

Очень нечасто в жизни я испытывал такую радость.

Как же мы выпили вечером!

Борис Николаевич, говорят, тоже выпил.

А вспомнить – вместе с вами – я хочу только одно: как тогда перепугались коммунисты. Как поджали хвосты, как залебезила еще вчера такая грозная газета «Правда». Они думали, что теперь с ними поговорят их методами. И как уже через два-три месяца они опять надули щеки и расправили грудь, поняв, что их методами с ними разговаривать не будут – не рубят голов демократы. И в какую позорную комедию превратился суд над КПСС.

История начинает повторяться с того момента, когда умирает последний человек, который помнит, как все было на самом деле.

Вы помните, господа, что такое пельменная?

Нет, я не имею в виду первые ночные пельменные начала перестройки – вроде бы для таксистов, – про них отдельный разговор. Нет, я – про обычную пельменную семидесятых, коих в нашей безбрежной тогда стране было невероятно много. Пельменная в России – больше чем пельменная. Как вы переведете это слово иностранцу? Damplin house? Не смешите меня.

Пельменная – абсолютная модель мира – со своей эстетикой, запахами, хамством, нечаянной добротой, сложной структурой взаимоотношений человеческого и божественного.

Вся советская держава – одна большая пельменная.

Помните дверь? Она облицована каким-то казенным пластиком – под дерево, и в середину вставлено оргстекло (стекло давно разбили), и оно мутное покорябанное и запотевшее изнутри, и красной краской на нем набито – «Часы работы с 8.00 до 20.00», и кто-то попытался из «20.00» сделать слово «…[4]» – не получилось, и поперек ручки намотана и уходит внутрь жуткая тряпка – чтобы дверь не так оглушительно хлопала, когда вы входите, и вы входите с мороза и попадаете в пар и запах.

Я не берусь его описать – молодые не поймут, а остальные знают, о чем я. В общем, пахло пельменями в основном.

Слева – раздаточный прилавок, вдоль которого тянутся кривые алюминиевые рельсы – двигать подносы. Гора подносов (которые, кстати, здесь называются не подносы, а – разносы.

Чувствуете – не барское «подносить», а демократичное – «разносить». Интересно, в каком году придумали?), так вот, гора разносов высится на столике с голубой пластмассовой поверхностью, и разносы тоже пластмассовые, коричневые, с обгрызенными краями, и они все залиты липким кофе с молоком (про это кофе – дальше! Вот откуда корни перехода слова «кофе» из мужского рода в средний. Может быть, «говно» тоже когда-то было мужского рода?), и тут же лежит еще одна жуткая тряпка, такая же, как на ручке двери, – эти разносы от этого кофе протирать, и, конечно, никто этого не делает, потому что прикоснуться к серой мокрой скрученной тряпке выше человеческих сил, и несут разнос, горделиво выставив руки вперед – чтобы не накапать на пальто.

За прилавком – две толстые тетки в когда-то белых халатах и передниках. Они похожи, как сестры, – голосами, движениями, остатками замысловатых пергидрольных причесок на головах, печалью в глазах. Это особая глубинная печаль, и ты понимаешь, что ни твой приход, ни стены пельменной, ни слякоть и холод за окном, ни даже вечная советская власть не являются причиной этой печали – причина неизмеримо глубже. Вы когда-нибудь видели, как такая тетка улыбнулась, – хотя бы раз?

Одна из них периодически разрывает руками красно-серые картонные пачки, вываливает содержимое в огромный бак, ворочает там поварешкой. Из бака валит пар, расплывается по помещению, оседает на темных окнах.

Вторая равнодушно мечет на прилавок тарелки с пельменями.

Пельмени с уксусом и горчицей – 32 коп., пельмени со сметаной и с маслом – 36 коп.

Сметану либо масло тетка швыряет тебе в тарелку сама, а уксус и горчица стоят на столиках – уксус в захватанных пельменными руками и оттого непрозрачных круглых графинчиках, а горчицы нет – она кончилась, и баночка пустая и только измазанная высохшим коричневым, и торчит из нее половинка деревянной палочки от эскимо, которой кто-то всю горчицу и доел, и идешь по столам шарить – не осталась ли где. «Простите, у вас горчицу можно?»

Столы маленькие, круглые и высокие – чтобы есть стоя, на ножке у них специальные крючки для портфелей и авосек, а потом ножка переходит в треногу и упирается в пол, и, сколько ни подсовывай туда сложенных бумажек – стол все равно качается.

Пельменная, если угодно, – маленький очаг пассивного сопротивления советской власти, пускай неосознанного. У нас тут

внутри своя жизнь и свои отношения, и никаких лозунгов и пропаганды, и приходим мы сюда делать свое мужское дело, и или ты с нами, или не мешай – иди.

Ибо кто же приходит в пельменную просто поесть?

Поэтому нужны стаканы, и если у тетки хорошее настроение – до известных пределов, разумеется, не до улыбки, – она вроде бы и не заметит, как ты хапнул с прилавка пару стаканов и не налил в них этого самого кофе. А если тетка в обычном своем состоянии – возникнет вялый скандал, и придется брать кофе и выпивать его, давясь, потому что вылить просто некуда, и водка потом в этом стакане будет мутная и теплая.

Бачок с кофе (это называется «Титан») стоит в конце прилавка, перед кассой – там, где вилки и серый хлеб. Кофе представляет собой чрезвычайно горячую и невообразимо сладкую и липкую жидкость – сгущенки не жалели.

Стаканы граненые и обычные тонкие – вперемежку, но надо брать граненый, потому что тонкий моментально нагреется от кофе и его будет очень трудно донести до стола.

Вилки навалены грудой в слегка помятом алюминиевом корытце. Они тоже алюминиевые, слегка жирноватые на ощупь, и у них сильно не хватает зубов, а сохранившиеся изогнуты причудливым образом – недавно специальным постановлением советской власти был отменен язычок на водочной крышке, теперь это называется «бескозырка», и снять ее без помощи постороннего колюще-режущего предмета невозможно.

Говорят, какой-то умник подсчитал экономию от бескозырок – сколько тысяч тонн металла будет сэкономлено, если не делать язычков.

Но вот ценой еще пары зубьев крышечка проткнута – естественно, под столом, вслепую, а двое твоих друзей заслоняют тебя от бдительных теток, и ты, рискуя порезать пальцы, сдираешь ненавистный металл с горлышка, а там еще коричневый картонный кружочек, а под ним – совсем уже тоненькая целлофановая пленочка, и – все.

И, конечно, разлить сразу на троих, а выпить можно и в два приема – после первого глотка чувство опасности отпускает, и что странно – небезосновательно. Человек выпивший и трезвый существуют в параллельных, хотя и близких, но разных реальностях, и то, что может произойти с одним, никогда не произойдет с другим. И наоборот.

И вот – стало тебе хорошо, и мир наполнился добротой, и день вроде не прожит зря, и дела не так уж безнадежны, а пельмени просто хороши – все ведь зависит от угла зрения, правда? И с тобой рядом твои дорогие друзья, и пошла отличная

беседа, и кто-то уже закурил втихаря «Приму», пуская дым в рукав. Сколько таких пельменных, разбросанных по необъятному пространству страны, греют в этот миг наши души?

Вот входят, настороженно озираясь, трое военных в шинелях – явно приезжие, слушатели какой-нибудь академии или командированные, пытаются открыть под столом огнетушитель с красным портвейном, суетятся, бутылка выскальзывает из рук, громко разбивается, мутная багровая жидкость разлетается по кафельному полу, покрытому равномерной слякотью, в устоявшийся запах вплетаются новые краски. Сизый мужичонка в кепке, не оборачиваясь, презрительно констатирует: «И этим людям мы доверили защиту Родины!»

И приходят и приходят, и выпивают и едят пельмени, и тихо беседуют о чем-то дорогом, и опять спасаются ненадолго, и выходят, шатаясь, в темноту и метель, забывая портфели и авоськи на крючках под столами.

Ностальгия (*греч.*) – тоска по родине, как душевная болезнь.

Это у Даля. В словаре Ушакова – Ожегова практически то же самое. У иностранца Фасмера этого иностранного слова вообще нет. Мне кажется, сегодня это слово используют в более широком смысле. Сегодня бывает ностальгия по чему угодно – по песням Утесова, по старым дворам, по запаху домашних пирожков с капустой. Из тоски по родине ностальгия превратилась в тоску по прошлому.

Что это такое?

Почему тебе вдруг до судорог хочется бабушкиной запеканки, той самой, которой тебя пичкали в детстве и которая не вызывала у тебя тогда никаких теплых чувств?

Почему мерзкая, уродливая, насквозь фальшивая советская эстрада шестидесятых годов, из которой на девяносто процентов состоял шумовой фон твоей юности и которую ты ненавидел всеми фибрами своей юной души и прятался от нее с головой в битлов и роллингов, – почему сегодня эти песенки вызывают у тебя слезы умиления? Что, так хороши?

Советская эстрада советских времен заслуживает отдельного исследования. Как болезнь. Во-первых, она была уродлива сама по себе – как все, изготовленное советской властью либо по ее одобрению. У власти, врущей всему миру и самой себе, просто не могло получиться ничего честного – во всяком случае, на сцене. А еще – артисты, люди, как правило, нормальные и все понимающие, этой властью измордованные и ею же прикормленные, очень хотели сделать как надо – как у них, разница между Элвисом Пресли и Эдуардом Хилем была видна

невооруженным глазом (если возникала возможность взглянуть на Элвиса Пресли. Ну хотя бы услышать). И очень тянуло в ту сторону, но, увы, с испуганной оглядкой на степень дозволенности. А степень эта колыхалась в зависимости от международной обстановки и от того, с какой ноги сегодня встал товарищ Суслов, но, в общем, колыхалась в небольших пределах и сама по себе была очень невысока. И от наложения на себя этого чуть-чуть дозволенного советская эстрада делалась еще уродливей.

Вы никогда не замечали, что «Веселые ребята» – очень плохой фильм? С совершенно диким фанерным сюжетом, с несмешными шутками, с ужасной игрой актеров – пожалуй, только про музыку ничего плохого не скажу. Если бы у нас тогда была возможность сравнить его с любым голливудским мюзиклом тех лет – мы бы поняли, откуда выросли эти кривые ноги. Ну не было у нас такой возможности – тогда. Можно нас простить. Но теперь-то! Ан нет – сидим, смотрим, глотаем сладкие сопли.

Казалось бы, все понятно, и нечего тут литературу разводить – не произведения нас радуют, а тот ассоциативный ряд, который они за собой тащат. Не фильм нам дорог, а телевизор «КВН-69», на крохотном черно-белом экранчике которого этот фильм показывают, и мы сами, с ногами сидящие на диване в комнате коммуналки, и мама, которая молодая и чистит нам яблоко. Не голос Майи Кристаллинской, а мотыльки, толкущиеся в свете фонарей танцплощадки в пионерлагере, первая сигарета и вон та девочка в белом свитере, которая, кажется, только что на тебя посмотрела.

Нас просто тянет в свое детство – где мир казался нам лучше, да и сами мы были лучше, и с помощью звуков старых песен и кадров старых фильмов мы наслаждаемся иллюзией нашего возвращения туда. Но заметьте: качество самих произведений в данном случае не имеет никакого значения – ты мог их в детстве любить, мог ненавидеть, а мог и не замечать, но если вы проглотили их тогда, как рыба крючок, то всю оставшуюся жизнь есть возможность потянуть за леску. И тут происходит подмена – эти произведения уже кажутся нам хорошими! Какими хорошими – великими! Они же работают! Они же пережили время! И модным становится ретро, и вот уже молодые люди копируют одежду и звук тех же шестидесятых, хотя не понимают, что это для нас – орех с начинкой, а для них он – пустой, и им весело и забавно.

Никогда не забуду, как вдруг взбеленился Алексей Семенович Козлов, когда на каком-то псевдоретровечере на сцену вышли несколько опереточные как бы стиляги лет двадцати от роду и

запели что-то из Магомаева. Сквозь стиснутые зубы Алексей Семенович поведал мне, что в молодости они с друзьями назывались не стиляги, а штатники, а за напевание такой гадости, как твисты Магомаева, можно было вообще вылететь из их рядов. Ему было очень жалко своей молодости, он не хотел пускать туда этих юных недорослей.

Чего это нас так тянет в юность? Ну ладно, если тебе семьдесят. А если сорок? И жил ты неплохо и интересно, и многого добился, и получил почти все, о чем мечтал в детстве, и есть еще силы и желание идти дальше – что такое? И почему это все там кажется таким розовым? Оно ведь таким не было!

Мы чего-то не знаем.

И вот что удивительно – даже поняв механизм этой ностальгии, все равно не можешь защитить себя от его воздействия, и стоят у меня на полке рядом с битлами и роллингами и Жан Татлян, и Ободзинский, и Трошин, и очень люблю я, выпивая с друзьями, завести их негромко.

А если уж быть безупречно честным – так не от всех так уж и тошнило. Квартет «Аккорд», например, молодая Пьеха или ансамбль «Орэра» иногда даже нравились.

Что касается истории про доброту, то она не имеет никакого отношения ко всему сказанному выше. Но это дивная история. Случилась она в начале девяностых, когда народ впервые по-настоящему почуял, что можно просто взять и съездить за границу – отдохнуть. Ну, не на какие-нибудь Таити, а поближе и подешевле – скажем, в Турцию или на Кипр. В моду тогда вошли морские круизы – помните?

В основном по Средиземному морю, недели на две. Для привлечения туристов на пароход приглашали трех-четырех артистов – для заманухи. Артисты ехали бесплатно, давали за это концерт на борту, и все были довольны. Схема эта умерла так же быстро, как и родилась, – Средиземное море оказалось не таким уж большим, маршруты повторялись и быстро приелись, туристы иссякли, а известные артисты стали капризничать и требовать денег, и все кончилось.

Но тогда круизная лихорадка была в разгаре, и вследствие этого я с Ксюшей Стриж, Олегом Митяевым, Костей Тарасовым и кем-то еще оказался на борту огромного белоснежного теплохода, отправлявшегося по греческим островам Средиземного моря. На греческих островах мы не бывали, поездка обещала быть замечательной и таковой, надо сказать, и оказалась.

Утром мы причаливали к очередному острову, весь день гуляли по древним городкам и осматривали красоты, а вечером садились на наш теплоход, весело выпивали и за ночь

перемещались на другой остров. Все острова чем-то походили друг на друга, поэтому я не смогу вспомнить сейчас название того, на котором произошла эта история. Тутос, Патмос, Пафос – что-то в этом роде.

Городок располагался на плоской вершине острова и напоминал семейство грибов, выросших на пне. Надо было подняться довольно высоко в гору, и вдруг ты оказывался в совершенной сказке – крохотные белоснежные домики с кривыми стенами, ярко-синие ставни, узкие мощеные, а то и просто выдолбленные в скале улочки, ни с того ни с сего выходящие к обрыву, за которым синело море. Стояло раннее утро, и мы были единственными прохожими (так и хочется сказать – зрителями), и это усиливало сходство с театральной декорацией. Редкие коты грелись на солнце, развалившись на подоконниках, и – никого. Над островом плыл невероятный запах жарящейся баранины – тут и там стояли мангалы с медленно вращающимся целым барашком на вертеле. С одной стороны мангал был закрыт щитом с фольгой – для отражения тепла, вертел крутился автоматически, барашек пах, хозяев не было видно. Мы уже знали, что все это будет готово не раньше середины дня и тогда их начнут продавать с молодым местным вином, но в ближайшие два часа рассчитывать не на что, и беспомощно глотали слюнки.

Где-то через час брожения по абсолютно пустым закоулочкам (вообще жизнь на этих островках, видимо, начинается позже) мы наткнулись на маленькое уютное кафе – четыре белых пластиковых столика на открытой террасе, выходящей прямо к обрыву, за которым – невероятно синее море (смотришь иногда на какую-нибудь открытку или фотографию в журнале и думаешь: не бывает на самом деле такого цвета! – бывает) и вдали внизу – наш пароход. Справа терраска ограничивалась белой мазаной стенкой, в дверях стоял хозяин, облокотившись о косяк, и благожелательно на нас поглядывал.

Я высказался в том смысле, что не случайно единственное открытое заведение расположено таким красивым образом и что будет очень правильным решением присесть тут и выпить легкого греческого вина, любуясь на панораму. Мы зашли, поздоровались с хозяином, присели за столик и попросили домашнего вина, воды и каких-нибудь орешков. Хозяин (это был дядька лет пятидесяти) выслушал нас, кивнул, скрылся в темном проеме двери и вернулся с подносом – две бутылки вина, вода, большие стаканы, плошечка с орехами. Выгрузил все это на наш столик и занял прежнюю позицию – в дверях. Мы чокнулись за сказочный островок, синее море, белый пароход и наше путешествие, выпили, закурили.

Вообще я не сторонник выпивания с утра и никогда этого не делаю, но в тех редчайших случаях, когда сами обстоятельства диктуют тебе ход событий и сопротивляться не только глупо, но и бессмысленно, – эффект бывает поразительным и не имеет ничего общего с постылым вечерним выпиванием. Как будто на сцене включают дополнительные софиты – краски становятся ярче, музыка – прекрасней, а люди – еще лучше, и кажется в эти минуты, что смысл твоей жизни (да что там твоей – тайна Божьего замысла!) где-то совсем рядом и надо только протянуть руку.

Наслаждаясь этой иллюзией, мы посидели минут тридцать, а потом я попросил кофе и счет.

«У меня нет кофе», – сказал хозяин, не меняя позы.

Кофе в Греции подают на каждом углу, и я удивился – что же это за кафе такое?

«Это не кафе, – ответил хозяин. – Это мой дом».

Думаете, он специально не выдавал себя, чтобы насладиться нашей неловкостью? Да ничего подобного – просто стоял в дверях своего домика на своей терраске, смотрел, щурясь, на восход, зашли люди (гости!), попросили вина – все нормально! Ну а уж что кофе не оказалось – пардон.

Боже, как мы извинялись, как пытались всучить ему деньги – при всей своей воспитанности человек все равно в кафе заходит не так, как в чужой дом, и сидит чуть иначе, и говорит с другими интонациями, и было страшно неудобно.

Никаких денег хозяин с нас, конечно, не взял, велел передать привет России и долго махал нам рукой и смеялся как ребенок.

«И человечество распространится по всему космосу и станет единым потоком лучистой энергии, которая мгновенно пронизывает пространство и время, все знает и ничего не хочет, что является прерогативой Богов». Это слова Циолковского.

Все знает и ничего не хочет. Мне бесконечно далеко до этого состояния. Я еще много чего хочу и очень много чего не знаю.

Я не знаю, почему однажды люди в сутанах (не Боги же!), собравшись вместе, решили, что отныне и вовеки четыре Евангелия станут для всех христиан мира каноном, а остальные – ересью. Как это они за всех нас решили?

Я не понимаю, почему, если Бог есть Любовь, основные слова, с которыми мы к нему обращаемся, – «прости» и «помилуй», да еще «побойся Бога».

Я не понимаю, почему во всех четырех Евангелиях Иисус гневался, скорбел, вопрошал и учил, но ни разу не улыбнулся.

Я не понимаю, почему ни один добродетельный поступок не

толкает тебя к следующему, в то время как пороки плотно связаны друг с другом в одну цепочку (выпил – захотелось курить, покурил – захотелось добавить, добавил – захотелось к девкам и т. д.).

Я не понимаю, почему мы с таким наслаждением разрушаем себя – хрупкую и единственную машину, данную нам для путешествия по жизни.

Я не понимаю, почему у меня так и не получилось никакого счастья с женщинами, которых я любил больше всего на свете.

Я не понимаю, почему мы иногда так безжалостны к самым близким людям и разводим экивоки со всякими отдаленными мерзавцами.

И почему мы так беспечны?

И почему вдруг от каких-то нот или строк мурашки идут по спине и слеза просится на глаза?

Я не понимаю, почему перед сном я открываю газету и одновременно включаю телевизор, хотя ненавижу и то и другое.

И почему, как ни верти, я воспринимаю беседы, идущие в Интернете, как бессмысленное бормотание слепых людей в темной комнате?

Еще я не понимаю, почему человек до последней секунды с такой отчаянностью цепляется за жизнь, которую он и получил-то помимо собственной воли и желания, и совсем она не была хороша, и радости в ней было куда меньше, чем печали, а две-три короткие вспышки счастья оставили после себя разве что горьковатый привкус ностальгии.

Я бы очень хотел все это понять. И еще многое-многое другое. И тогда уже (может быть) – ничего не хотеть.

2001

Послесловие

Для меня лично самая верная примета захватывающе интересной книги – мысль, точней говоря, почти невыносимое чувство неизбежности потери и того, что чем быстрей я книгу эту проглатываю, тем тоскливей будет миг расставания с нею… переверну последнюю страничку, и, как в детстве, откроется мне чистый, без единой буковки, лист… и тогда вновь начнется блуждание в пустыне скуки, ничегонеделания, одиночества – одним словом, до встречи с новой интересной книгой продолжаться будет поиск наиболее безотказного оружия для убийства всесильного Времени.

Именно с этим чувством читал я книгу, которую в данный момент держишь ты в своих руках, Читатель. Книга прочитана тобой и мною. Но, опять-таки у меня лично, – это довольно странно, приятно и поистине неожиданно – нет ощущения одиночества и легкой опустошенности – обычной спутницы сбывшихся надежд или сполна удовлетворенного желания.

Не оттого ли, думаю, что, расставшись с книгой Андрея Макаревича, имею я возможность славно, весело, зачастую по-раблезиански, а порою, как теперь любят говорить, и духовно пообщаться с одним из самых знаменитых – впрочем, слава есть пустяк, – с одним из настоящих героев нашего обалденного времени, действительно любимым сразу двумя, если не тремя, поколениями россиян? Нет, решаю, дело совсем не в факторе личного знакомства и даже многолетней дружбы, поскольку, оказывается, чертовски много было для меня белых пятен, так сказать, в нравственной, музыкальной, а также художественной географии судьбы Автора, ну и, конечно, в биографической истории его личности.

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что Автор с огромным душевным и писательским тактом оставил нас с тобой, Читатель, за невидимой оградой неких заповедных территорий, днем и ночью охраняемых преданными Ангелами личной жизни, пожалуй, бдительней, чем гигантская кавказская овчарка, не случайно носящая имя Батя, сторожит его, Автора, деревенское жилище. Тем не менее Муза Андрея Макаревича, мемуариста, так свободно и непринужденно водит его перышком, что Читатель, благородно увлеченный вдумчивым всматриванием в подробности детской жизни Автора и в образы любимых, близких ему людей – раз; в грустные, порою остроумно нарисованные картинки трагически абсурдной совковой жизни былых времен – два; вслушиванием в мир авторских мыслей и чувств, а также

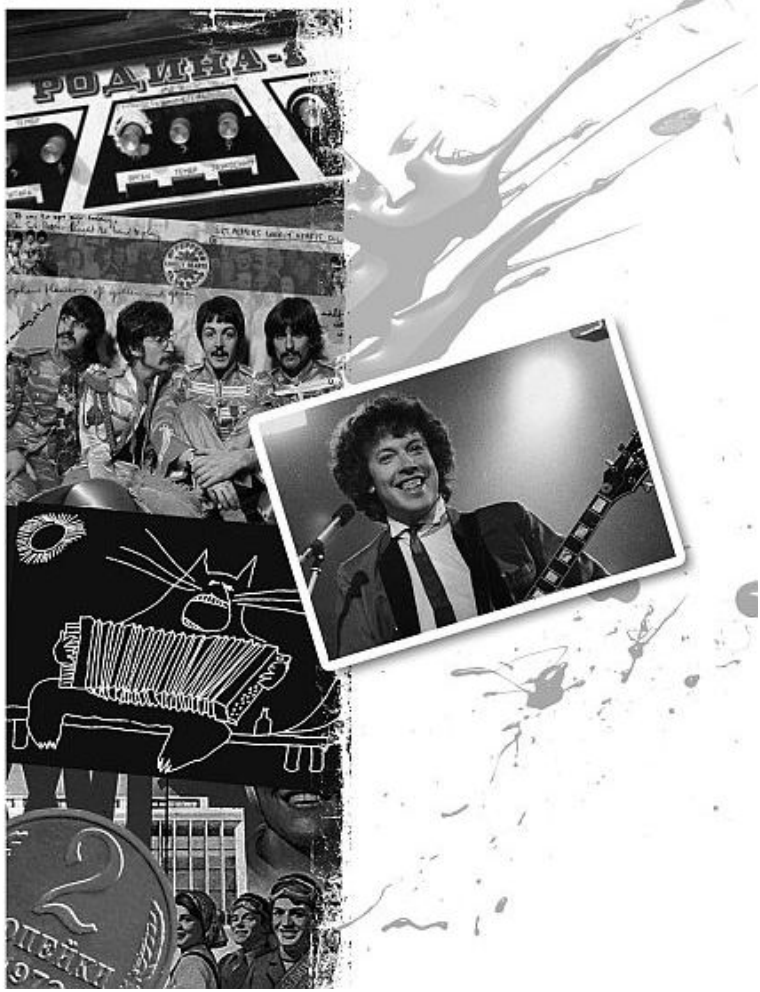
сопониманием интереснейших размышлений о музыке, живописи, подводной охоте и поварском искусстве – три и т. д. и т. п.; – Читатель, хочу я сказать, нисколько не чувствует себя посетителем частного музея, в богатейшие, надо полагать, запасники которого, увы, никогда его, беднягу, не допустят. То есть стиль мемуаров Андрея Макаревича наверняка сообщит впечатлениям просвещенного Читателя именно полноту, а не чувство муторной недосказанности, недостаточности, иначе говоря, некоторой ущербности, вызывающей у потребителей желтой прессы зверский аппетит на доклевывание остатков добычи стаи папарацци. Или же заставляющей прочь от себя отшвырнуть четвертьправду мемуаров – их сейчас более чем навалом на книжных развалах Отечества – как государственных деятелей времен первой оттепели, так и крупных гэбистов эпохи застоя.

Одним словом, стиль повествования вдохновителя и организатора коллективных побед «Машины Времени», если же без шуточек, то человека, с обликом которого никак не вяжется представление о фигуре мемуариста, делает его книгу совершенно свободной от той недоброкачественности текста, к которой принято относиться как к литературности, поскольку литературность – откедова на нее ни глянь – есть родственница, хоть и дальняя, самой пошлости.

Мне вдруг подумалось: какая выгодная позиция у послесловия по сравнению с предисловием. Вполне можно было бы занять целую страничку всего одним словом СПАСИБО.

Юз Алешковский

Вначале был звук



Каждый из нас когда-то слышал, что восемьдесят процентов информации поступает человеку через глаза. Не знаю, кто автор этой сентенции. И каким образом производились подсчеты. И вообще, что имеется в виду под информацией. Если исключительно содержащаяся в тексте – тогда да, конечно. Восемьдесят процентов – через глаза. А оставшиеся двадцать – через уши, по радио. Но мне кажется, что понятие «информация» – гораздо более широкое. И шум дождя сообщает тебе о том, что идет дождь, ничуть не хуже, чем круги на

лужах, видимые глазами.

А теперь представьте себе железнодорожную катастрофу, которую вы наблюдаете с небольшого расстояния. Представили? А теперь разделите изображение и звук. Разделили? А теперь прокрутите перед своим внутренним взором сначала картинку, а потом ее звуковое сопровождение. И ручаюсь вам: картинка без звука оставит вас вполне равнодушным, а звук без картинки приведет в ужас. И если это так, то что тогда главнее?

Все мы знаем, как может напугать нас неожиданный громкий звук. Даже самый простой, вроде лопнувшего шарика над ухом. Что-то я не могу представить себе какую-либо неожиданную картину, способную нас напугать – если она лишена звуковой поддержки. Даже привидения в фильмах-страшилках режиссеры заставляют выть. Хотя настоящие привидения выть, наверно, не умеют.

Ночью мы спим. И глаза наши спят. А уши – нет. И будит нас звук. Странно, правда?

Если мы не хотим что-то видеть, мы закрываем глаза. Не руками, нет – у нас есть веки. А на ушах век нет, и руками затыкать их весьма неудобно. То есть природа разрешает нам иногда оставаться без зрения, и не разрешает без слуха. Значит, что с точки зрения природы важнее?

Возможность видеть мы получаем, появляясь из утробы на свет, да и то первые месяцы наблюдаем картину вверх ногами. А звуки начинаем слышать значительно раньше – на девять месяцев. Мой сын вел себя в животе у матери очень беспокойно, но неизменно затихал, как только начинала играть громкая хорошая музыка.

И вообще – если вначале было Слово, то Слово это было произнесено, а, скажем, не написано: не на чем еще было. Звук? Звук.

А восемьдесят, значит, через глаза? Ошибочка, граждане!

Если убедил – пошли дальше.

Пытаюсь нарисовать картину из звуков своего детства, роюсь в памяти. Радиоточка. Или трансляция. В общем, радио. Эта пластмассовая коробочка стояла в каждой квартире, в каждой столовой, в любой парикмахерской. Коробочка всегда была желтая или розовая – веселенького цвета. На фасадной ее стороне располагалось окошко для динамика, затянутое веселенькой же тряпочкой, и одна ручка – включение, она же громкость. Сзади – картонная крышка с круглыми отверстиями и провод. Провод

вставлялся в специальную розетку – как для электричества, но поменьше, чтобы не перепутать. Все.

Сколько я помню, коробочка всегда и у всех находилась во включенном состоянии. Могло быть тише или громче. Коробочка вещала. Текстовая составляющая проходила мимо меня, не оставляя следов (в три-то года!). Разве что застревало в голове какое-нибудь непонятное слово («Телефон: Миусы Д-1…» Какие такие миусы? До сих пор мучаюсь.). В десять утра сажали слушать детскую передачу. Заставочка: на пианино, наверху, незатейливо – «Мы едем-едем-едем в далекие края…» И сразу, фальшиво-добрым старческим голоском: «Здравствуй, мой маленький дружок! Сегодня я расскажу тебе сказку…» Не нравилось: дядька кривлялся. Все равно слушал. Выбора не было. Иногда в передаче появлялось двое детей – кажется, Мишенька и Машенька. Я понимал, что это ненастоящие дети, а две взрослые тетки – одна, с голосом потолще и, наверно, сама поздоровее – за Мишу, а вторая, совсем писклявая – за Машу. От них было еще противней. Иногда приходил Захар Загадкин, пел песенку, загадывал детям загадки. В 11.00 – «Доброе утро, товарищи! Начинаем производственную гимнастику! Первое упражнение – потягивание. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч – и (под пианинку) раз, и два…»

Бедные мы, бедные.

В воскресенье, правда, было повеселее (может быть, потому что родители были дома – уже праздник!). Воскресная передача «С добрым утром!». Песня: «Друзья! Тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой – чем тяжелей была работа, тем краше день твой выходной! Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом – с добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем!» Пелась задушевным, почти человеческим голосом.

Ну да, выходной был один – в воскресенье.

А живые, человеческие голоса звучали из трансляции очень редко. Дикторы говорили не как живые люди – медленно, торжественно и с какой-то совершенно особенной интонацией, которую ни описать, ни воспроизвести не берусь (кончилось это, кстати, совсем недавно – с появлением FM. Нет, раньше: Виктор Татарский с опальной передачей «Запишите на ваши магнитофоны». Он уже говорил по-другому. Но до этого еще двадцать лет). В трансляции иногда пели: мужчины – патриотические и военно-патриотические песни, женщины – русские народные. Мужчины пели грозно и утробно, женщины – как бы веселясь, специальными русско-народными голосами, с завитушками в конце фраз. Пытаюсь понять: почему мне, маленькому, не нравилось. Так вот: клянусь, я чувствовал, что

они притворяются, поют не так, как хотят, а как надо.

Дети ведь очень здорово чувствуют фальшь. Лучше взрослых.

Неудивительно, что когда вдруг появлялась песня с человеческой мелодией и спетая человеческим голосом – она сразу становилась народной – на таком-то фоне. «Ландыши», «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера»… У всех этих песен была непростая судьба – советско-партийное руковод-ство сопротивлялось, искало пошлость, не пускало в эфир – кожей чуяли человеческое, собаки. Слово «сексуальность» применительно к артистке было просто немыслимо – даже «женственность» не очень приветствовалось – не время, товарищи! Поэтому певицы в лучшем случае изображали таких дурочек с бессмысленной улыбкой и легким покачиванием головой – остальные детали тела должны были оставаться неподвижными. Мужским певцам полагалась поза а-ля Кобзон – ноги на ширине плеч, руки по швам. Когда (двадцать лет спустя!) появился молодой Валерий Леонтьев, который просто не мог стоять на месте, его на экране до пояса закрывали какой-нибудь декорацией – картонным кубом, например, чтобы не было видно, как он вертит попой. С добрым утром, товарищ Лапин! Об этом можно написать отдельную книжку.

Сейчас перечитал и ужаснулся: вроде как жил маленький мальчик в глухой ненависти к окружающей звуковой среде. Нет, конечно – какие-то вещи завораживали: голос молодой Эдиты Пьехи в сопровождении ансамбля «Дружба», вокальный квартет «Аккорд», волшебное пение грузинского ансамбля «Орэра». Еще кое-что, о чем ниже. Просто они все были в меньшинстве, вываливались из общего фона.

Приходил с работы отец, садился за пианино. Пианино называется «Красный Октябрь», оно одето в серый льняной чехол. Отец приподнимает чехол, открывает ему пасть, полную белых и черных зубов, пробегает по ним руками. Здорово. Я хочу играть как отец, но понимаю, что это невозможно – руки у меня в два раза меньше, и я еле-еле достаю до клавиатуры носом. Единственная пьеса, которую я могу исполнять, – «Гроза». Для этого надо положить много книжек на стул – для высоты, потом на них забраться, открыть тяжеленную черную крышку. Пьеса «Гроза» – импровизационная, я придумал ее сам. Клавиши справа от меня – самые высокие – изображают молнию, клавиши слева – низкие – гром. Все что посередине, между ними, – это, видимо, дождь и вообще течение жизни. Я недоволен своим исполнительским мастерством, поэтому играю пьесу «Гроза» сам для себя, днем, когда никого нет дома и никто не слышит (няня не в счет, ей неинтересно). Приходила подружка со двора – Оля.

Оля старше меня года на два, няня ругается, говорит, что она шалашовка. Не знаю такого слова, проникаюсь уважением. Оля показывает мне, как играть на пианино собачий вальс. Мне не нравится – там все время по черным, противно. И вообще отец играет лучше. Собачий вальс не пошел.

На пианино стоит телевизор, он называется КВН. Маленький серый его экранчик прикрыт выпуклой линзой, в которую налита вода. Страшно интересно! Линзу можно выдвигать вперед, и тогда экранчик кажется больше и больше, пока края его не начинают совсем расплываться. Вечером начинается передача – программа пока одна, но говорят, что скоро сделают вторую. На экране крутится телебашня – ее показывают изнутри, снизу вверх, она вся прозрачная и сделанная из палочек, хор поет непонятную белиберду: «Москва, ты самая какая-то красавица, бесконечная родимая земля, и неба синего нарядного красавица звезды алые Московского Кремля!» Сложение большого количества мужских и женских голосов звучит удивительно нехорошо. Долго после этого не любил хор вообще, пока уже лет в пятнадцать не услышал, как он на самом деле должен звучать: на пластинке Гордона Дженкинса. (Оказывается, нехорошо – это когда все поголовно мужчины и женщины поют с партийной интонацией и при этом не очень чисто.) Все остальные звуки, которые издавал КВН, были гораздо приятнее: песенка перед детской передачей («Начинаем, начинаем, начинаем передачу для ребят, в это время все ребята, все ребята к телевизорам спешат. Вы слышите, друзья, часы стучат, не будем больше ждать – начинаем передачу для ребят!»). Передача идет каждый вечер, мне ее включают в обязательном порядке. Там тетя Валя и два кукольных мальчика: Шустрик и Мямлик. Песенка нравится больше, чем сама передача – они говорят какую-то ерунду. Еще перед футболом духовой оркестр играет восхитительный футбольный марш (до сих пор хочу узнать имя автора – действительно отличный марш!). А еще по телевизору все время перерывы (естественно, почти все программы идут в живой трансляции, и надо перетащить камеру из одной студии в другую). В этот момент на экране появляется мультяшный человечек, его зовут Тритатушкин, у него в руках ведро краски и кисть, он пишет на экране слово «Перерыв» и при этом поет песню: «Тритатушкин, тритата, перерывчик, тритата!»

Не помните? То-то! А пластинки? Волшебные черные переливающиеся диски. Они в конвертах из оберточной бумаги, друг на друга без конвертов их класть нельзя: царапаются. Посередине – круглая наклейка голубого цвета, написано: «Мелодия» и цифры – 33 и 1/3. Я уже знаю, что это – скорость вращения пластинки, это пластинки новые, потому что у нас еще

есть старые – толстые, тяжелые, и на них написано – 78 об. мин. Там на стороне только одна песня, а на новых – четыре или даже шесть! На проигрывателе специальный переключатель скорости: 78–45 – 33 1/3 (сорок пять – это вообще непонятно зачем, у нас в стране и пластинок таких нет, только за границей). Очень смешно получается, если взять старую пластину – на ней записан фокстрот «Марина» – и завести на 33. Дядька поет очень тягуче и нечеловеческим басом. А если наоборот – какую-нибудь новую на 78 – еще смешнее: ансамбль буратин. Отец не разрешает, говорит, что от этого пластинки портятся. Я, в общем, к ним и не прикасаюсь – отец их заводит сам, если только не играет на пианино (так что звуки радио – это долгий день с момента ухода родителей на работу до их возвращения). Отец ставит печальную тягучую музыку, я знаю, что это называется «Рахманинов», или сборник «Вокруг света» – у нас их много, там песни на иностранных языках. Мне нравится на польском и английском. На польском смешно, а на английском как-то все по-особенному звучит: там есть что-то неуловимое, и вот оно как раз нравится, и хочется покачиваться в такт. Есть еще пластиночка бразильского квартета «Фарроупилья» (был в Рио-де-Жанейро пару лет назад в самом большом пластиночном магазине – не нашел! Даже не слышали про такое. Годы, годы…). Советский Союз, наверно, тогда дружил с братским народом Бразилии, иначе с чего бы эту «Фарроупилью» у нас напечатали. Вся страна пела вслед за ними: «Ма-ма-йо кера! Ма-ма-йо кера!» Но любимая моя была не эта. Она называлась «Самба должна иметь пандейру». Я не знал, что такое «самба», тем более – что такое «пандейра», и каким образом первая собирается иметь вторую. Но красота названия завораживала. Вообще бразильская фонетика очень близка к русской, и в текстах «Фарроупильи» мне тут и там слышались обрывки русских фраз, совершенно лишенные смысла и тем особенно привлекательные. Так вот, «Самба должна иметь пандейру» просто подбрасывала. Я готов был слушать ее бесконечно. (Невероятно – эта пластинка у меня сохранилась, правда за треском и шипом музыки уже почти не осталось. Зато есть целых две того же года и почти непиленные – одну нашел мне критик Петр Шепотинник, другую принесла добрая пожилая женщина-учительница, когда я по радио рассказал о своей мечте – вернуть самому себе любимую песню спустя пятьдесят лет. Ребята! Это не тот случай, когда в детстве влюбился в какую-то ерунду – это действительно убойный номер. Сейчас самбу так уже не играют и не поют.)

Прошел на экранах страны совершенно потрясающий «Последний дюйм». Нет, бывали проколы у Совка – не уследили

(мало того – еще и премий надавали. Оттепель еще не кончилась, видимо). Во-первых, по рассказу буржуазного писателя Джеймса Олдриджа. Во-вторых, про не нашу жизнь и снят как-то не по-нашему (тогда просто чувствовалось, а сейчас очень заметно, видимо, режиссер Вульфович был большим стилягой, или, по словам А. Козлова, «штатником»). Сам Кусто подарил режиссеру свои документальные съемки акул, рвущих мясо. И музыка в фильме была какая-то не наша, другая – все время играет в голове, а хочешь напеть – не получается. Не «Ландыши».

В фильме звучали две песни: про маленького тюленя и «Тяжелым басом гремит фугас…». «Маленький тюлень» особенно не зацепил, зато вторая засела в голове клином. Пелась она трагическим баритоном, и мальчик из последних сил тащил израненного акулами отца к самолету по раскаленному песку, и морские волны тяжело разбивались о берег в такт. Слова у песни были тоже трагические и непонятные – какой такой Боб Кеннеди (я сперва думал – Бобкин Нэди) пустился в пляс? И вообще – «Какое мне дело до всех до вас, а вам – до меня» – слова, в советской песне тех лет в принципе невозможные. Боюсь, сейчас это уже непонятно.

Мы сели с отцом подбирать песню про Бобкина Нэди – не получилось: чуть-чуть, а непохоже. Тогда отец пошел в нотный магазин и в сборнике «Песни радио и кино» нашел ноты этой песни (интересно, кстати, сейчас такое есть?). Нот мы с отцом не знали, поэтому усадили за пианино маму, которая до войны закончила музыкальную школу, и она, чертыхаясь и запинаясь, кое-как нам эту песню сыграла. Песня оказалась в сложной тональности – до-минор. Целых три бемоля!

До сих пор моя любимая тональность. Смешно, правда?

В эти же годы ко мне привели учительницу музыки – Сару Семеновну (в музыкальную школу было рано по годам). Сара Семеновна не понравилась: у нее были какие-то злые треугольные серьги из черного блестящего камня и темно-малиновые ногти, загнутые внутрь, как у хищной птицы. Мы не полюбили друг друга. К тому же я возненавидел ноты. Насколько живыми казались звуки – настолько мертвым выглядело их письменное воплощение – бездушные черные букашки, посланцы чужих миров. Не нравилось все: почему это в скрипичном ключе «до» на одной линейке, а в басовом совсем на другой – это же неудобно! И как это возможно читать глазами две строчки нотного стана – для правой и левой руки – одновременно? (Это, кстати, до сих пор не понимаю: вы же, читая книгу, не можете читать сразу две строки? Вот и я не могу. Ленин, говорят, мог читать сразу страницу – по диагонали. Так я не Ленин. Да и врут, скорее всего,

ничего он не мог.) Обладая хорошей музыкальной памятью, я насобачился обманывать Сару Семеновну: просил ее сыграть для меня пьесу пару раз «с выраженьем», как она сама говорила, и ухитрялся выучить ее от начала до конца. После чего играл пьесу по памяти, с лживым вниманием глядя в ноты. Скоро Сара Семеновна меня раскусила: я не мог запомнить, в каком месте надо переворачивать нотную страницу (на это памяти уже не хватало) и на этом попался. Вместо того, чтобы похвалить ребенка за прекрасную музыкальную память, Сара Семеновна устроила скандал с привлечением родителей, и мы расстались.

Как я был счастлив!

Счастье продлилось недолго – меня определили в музыкальную школу. Помню, мне там сразу не понравилось. То есть не нравилось уже заранее – я предчувствовал, что заставят вернуться к ненавистным нотам. Предметов оказалось сразу несколько: инструмент, сольфеджио, хор… Сейчас я понимаю, что интерес к предмету целиком определялся тем, насколько мне нравился преподаватель (в обычной школе, кстати, было то же самое). Класс фортепиано преподавала мне Елена Валентиновна, и никаких следов в душе моей она не оставила – она сама была какая-то никакая: ни злая, ни добрая. Учительницу сольфеджио не помню вообще, хотя само слово «сольфеджио» очень нравилось – как из сказки. Да и предмет был не лишен интереса – надо было угадывать расстояния между двумя нотами (они назывались «интервалы»). У кого-то получалось, у кого-то – нет. А вот преподаватель хора Юрий Ефимович понравился сразу – он же по совместительству был директором школы. На первом занятии он сказал нам: «Наверно, каждый из вас перед сном в голове слышит небывалую музыку? („Да, да!“ – закричали мы.) Так вот, кто сумеет ее записать на ноты, тот и композитор!» – «Как просто!» – подумал я.

Поди запиши.

Впрочем, я и не собирался становиться композитором.

И вообще никто не планировал делать из меня музыканта. Слух у меня оказался неабсолютный, а мизинцы на обеих руках были тонкими и гнулись во все стороны вопреки анатомическим знаниям о строении человеческой руки, поэтому взять таким мизинцем какую-нибудь громкую отрывистую ноту (иначе говоря, «форте стаккато») было просто невозможно. Помню, Елена Валентиновна даже демонстрировала мои руки другим преподавателям – дескать, ну как с таким материалом работать! Я злорадно чувствовал, что пребывание мое в музыкальной школе будет недолгим. Однако потребовалось еще два с половиной года на то, чтобы сломить сопротивление моих родителей (в

основном, мамы).

Ничему меня в этой школе не научили.

Классе в шестом потянуло на гитару.

Я не знаю почему. В доме у нас никто на гитаре не играл. И вообще, примеров, вдохновляющих на подражание, вокруг не наблюдалось. Ну да, отец переписал на наш маленький магнитофон «Филипс» (чудо света!) у соседей по даче Окуджаву вперемежку с какими-то полублатными весельчаками. Окуджава понравился, в отличие от весельчаков, но не настолько, чтобы сразу хвататься за гитару. Нет, просто что-то носилось в воздухе.

Да и гитары у меня нет. Гитара висит на стене в доме нашего дачного хозяина (мы снимали дачу в Валентиновке). Хозяина зовут Александр Исидорович, он играет с отцом в шахматы, задумчиво шипит, выпуская воздух – «ш-ш-ш…». Гитара принадлежит его сыну Игорю, Игорь плавает на научно-исследовательском судне «Витязь», и мы его никогда не видели. Я захожу в комнату, прошу разрешения посмотреть гитару. Ее давно никто не брал в руки, с торца она покрыта пылью. На головке грифа, как полагается, розовый шелковый бант. Гитара завораживает своей фантастической формой, запахом дерева и лака, самим своим названием – «ги-та-ра», само слово уже звучит как музыка. Струны находятся на расстоянии сантиметра от грифа и играть на ней невозможно. Да я и не умею – просто видел, что что-то там на грифе надо зажимать. Я пытаюсь зажать – не получается. Тогда я просто тихонько бренькаю по струнам – то по трем сразу, то по каждой в отдельности, и гитара отзывается волшебным звуком. Я почти играю! Заниматься этим можно до бесконечности.

В седьмом классе мы едем в настоящую биологическую экспедицию! В Хоперский заповедник, в Воронежскую область (я еще не оставил надежды стать биологом). Нас человек двадцать из двух школ, и мы будем целый месяц жить на дикой природе и изучать повадки зверей и птиц! Веселый парень Андрюша Асташкевич очень лихо играет на гитаре «восьмерочкой» и еще каким-то особо озорным боем. У него, как и положено, семиструнка (о других мы тогда и не слышали), он поет песню про перекаты, которые надо послать по адресу (я еще не знаю, что это Городницкий), и какие-то куплеты, в которых Гамлет и доктор Фауст действуют в современных предлагаемых обстоятельствах – эдакое веселое вольнодумство шестидесятых. «Вот и ходит Гамлет с пистолетом и шпагой и хочет когой-то убить, и стоит вопрос перед Гамлетом: быть или не быть». Слово «Гамлет» произносится с ударением на второй слог. Очень типа смешно. Куплеты нравятся не особо, а вот играет Андрюша здорово. Еще очень

нравится, как на него смотрят девушки, когда он играет, что-то в их глазах меняется. Хочу научиться как он, но стесняюсь – я на год младше, а гитара все время на людях, Андрюша играет не переставая. Мы знаем весь его репертуар и иногда поем хором. Впрочем, при всем моем стеснении мне удается пару раз отвлечь Андрюшу от девушек, и он показывает мне аккорды: «малую звездочку», «большую звездочку» и «переходняк» из малой в большую. Была еще «обратная лесенка», но по причине ее чудовищной сложности я изучение этого аккорда временно отложил. Главное же: мне показывают, как играется «восьмерочкой» – и у меня получается!

Я не смогу вам сейчас объяснить, что такое «восьмерочка» и что значила она в иерархии общих ценностей. Те, кто помнят, знают, что я имею в виду. В общем, это ритм, отдаленно напоминающий самбу, извлекаемый из гитары особым чередованием ударов по струнам большим и средним пальцами в очень быстром темпе. Нет, это бесполезно – его надо слышать. Этим ритмом исполнялись на семиструнной гитаре все дворовые, блатные, пионерские блатные, а потом и бардовские песни. Человек, владевший «восьмерочкой», автоматически становился королем. Если же она тебе не далась – не стоило и брать гитару в руки во дворе, выучи ты хоть всего Баха.

Я вернулся из экспедиции сильно воодушевленный и выпросил у своего школьного товарища Славы Мотовилова гитару для занятий. Он тоже знал три аккорда (аккорды Высоцкого!), но «восьмерочкой» не умел, и поэтому не особенно горел к гитаре. Гитара у него была маленькая и слегка продавленная, но играть на ней можно было вполне. Отчего она так притягивает меня? От гитарного звука – особенно если ты сам его издал – по спине пробегают мурашки. Я не выпускаю ее из рук, без конца повторяя три заветных аккорда. «Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль как из ковров мы выбиваем из дорог…» На пальцах левой руки у меня мозоли, на пальцах правой – волдыри. Ночью я кладу гитару рядом с кроватью, перед сном три раза тихонько провожу пальцем по струнам снизу вверх – гитара отзывается божественным мажором. Скоро отдавать инструмент хозяину – как же жить-то дальше?

Скоро у меня появилась своя.

Мне просто повезло. Вы думаете, можно было прийти в магазин и вот так запросто, как сегодня, купить гитару? «Вам какую завернуть?» В Совок бы вас, товарищ. Недельки на две. Чтобы не пели больше песен о счастливом советском прошлом. Гитара не входила в список предметов первой жизненной необходимости, а мода на нее уже пошла – нет, пока не от

Битлов: от Окуджавы, Галича, Визбора, Кима. Поэтому раз в квартал на прилавки выбрасывали свежесрубленный товар, и за ним выстраивалась чудовищная очередь. «Вас тут не стояло!», «Не больше одной гитары в одни руки!», «Касса, за гитары не пробивать – заканчиваются!». Сметали все часа за два.

А я прогуливал школу и зачем-то решил зайти в «Детский мир». Дают! Только привезли! Я успел занять очередь, съездить на метро домой, взять деньги (семь рублей пятьдесят копеек!), вернуться и стать счастливым обладателем семиструнной гитары производства фабрики муз. инстр. им. Луначарского, г. Ленинград. Вырвался из толпы, держа гитару высоко над головой, стоял на улице мокрый, растерзанный и счастливый. Ехал в метро, обнимая гитару за талию, нежно прижимая к себе, не в силах согнать идиотскую улыбку с лица. Мне казалось, все пассажиры поглядывают на меня с завистью. Может, так оно и было. Люди завидуют чужому счастью.

Гитара оказалась куда лучше той, мотовиловской. Она была больше, звучала громче и басовитей. Она была невероятно красивого светло-желтого цвета и восхитительно пахла свежим деревом и мебельным лаком. Параллельно было сделано важное открытие – железная пимпочка, расположенная в основании грифа, служит для регулирования высоты струн над грифом – это, оказывается, головка винта, и нужен всего-то специальный ключик, вроде как от детских заводных игрушек. Не надо больше было запихивать карандаш между грифом и декой. Дивное время открытий!

Я часто думаю: в какой степени наше гитарное остервенение было вызвано всеми этими трудностями на пути к цели? Что бы произошло, если бы современные магазины музыкальных инструментов со всем их сегодняшним ассортиментом чудом переместились в советский шестьдесят девятый? Ну понятно – несколько инфарктов и буйных помешательств у особо впечатлительных. А потом? Не пропал бы интерес, по причине доступности? Или, наоборот, не образовался бы такой непреодолимый разрыв в уровне мастерства наших и ихних рок-н-ролльных артистов – до сих пор не догоняем, и не догоним уже, видимо, никогда?

Еще через месяц у нас ансамбль. Никакой это, конечно, пока не ансамбль: просто мы вдвоем с моим одноклассником Мишкой Яшиным бренькаем на двух семиструнках (у него тоже есть!) и напеваем какие-то бардовские песни: Мишка их знает, я – нет, но поскольку разнообразия аккордов в них не наблюдается, я справляюсь. Очень красиво, когда одна гитара играет ритм, а вторая по этим же аккордам перебором – ансамбль, блин! Даже

выступили на классном вечере.

Про внезапное вторжение Битлов в мою жизнь я уже рассказывал в книжке «Все очень просто», и повторяться не хочется. К тому же все мои сверстники и так помнят, что это было, всем же прочим пытаться рассказать об этом словами – бессмысленное и неблагодарное дело. Ибо слова не всесильны. Представьте себе, что всю жизнь вы пили сильно разбавленный технический спирт, подкрашенный жженой резиной и карамелькой, и это называлось «коньяк». И вы даже не знаете о существовании другого напитка под этим же названием, научились отличать три звездочки от пяти и ходите с этим друг к другу в гости. И в один прекрасный момент у вас забирают из рук мутный граненый стакан с пойлом и вкладывают туда бокал с пятидесятилетним «Камю». Нет, даже этот пример слаб и примитивен – все было гораздо ярче. Не будем о необъяснимом.

В общем, через тридцать минут после прослушивания пластинки «Hard day's Night» я отчетливо понял, что не стану ни биологом, ни архитектором, ни художником. Я вообще никем не стану, потому что быть Битлом в Стране Советов в принципе невозможно. Впрочем, будущее меня на тот момент абсолютно не интересовало. Все заслонила собой абсолютно животная потребность: постоянно слушать этот волшебный звук либо самому начать издавать такой же. Это было состояние безнадежного наркомана, и я не знаю наркотика, на который можно было бы подсесть так молниеносно и так бесповоротно.

Чудовищное разочарование постигло, когда вдруг выяснилось, что Битлы играют на совсем других гитарах: я кинулся подбирать, и все получалось вроде похоже – и что-то все время чуть-чуть не так. У них, оказывается, шестиструнки! Это, оказывается, совсем разные инструменты – семиструнка цыганская, а шестиструнка испанская! И настраиваются они совершенно по-разному, и аккорды на шестиструнке совсем другие! Сколько сил и времени было потрачено зря!

Шестиструнка обломала сложностью аккордов еще и тем, что если провести рукой по открытым струнам, то в отличие от правильной мажорной семиструнки тут звучала какая-то гадость. Зато первый правильно взятый аккорд подтвердил: вот теперь все как должно быть, по-битловски. К тому же шестиструнные аккорды оказались устроены таким образом, что звучали сразу все шесть струн и можно было лупить по ним по всем медиатором, не боясь ненароком зацепить какую-нибудь ненужную (на семиструнке это происходило постоянно). Покупать шестиструнку не пришлось: гитара просто перестраивалась, а самая толстая седьмая струна, ставшая ненужной, выносилась за

пределы грифа и фиксировалась спичкой.

А потом была первая самодельная электрогитара (сделали вместе с отцом: я руководил, он пилил), а потом другая самодельная, купленная на музыкальном толчке на Неглинке (наша с отцом совсем не играла), а потом первая настоящая – советская, а потом болгарская, а потом – производства ГДР, а потом – чешская, а потом, наконец, – японская, а потом…

Я уже никогда не сосчитаю, сколько через меня прошло гитар. Каждая из них казалась воплощением совершенства, поэтому обменивалась на предыдущую с доплатой, и через некоторое время эта иллюзия неизбежно рушилась. Неважно, сколько у меня было гитар. Я любил каждую, всем им спасибо. К этому моменту мы уже были «Машина времени» и жили, отгородясь от окружающего мира непробиваемой стеной любимых звуков. Спросите, как нам это удавалось? Очень просто: мы любили их больше жизни и самой жизни без них не мыслили.

Кончились звуки детства. Пришли Битлы.

Вижу, как кривят морду тридцати-сорокалетние: «Ну сколько можно? И вообще АББА и Бони-М лучше!» Друзья мои, успокойтесь. Я не про то, что лучше. Для каждого из нас лучше то, с чем он вырос, под чью музыку впервые поцеловал девушку и проснулся наутро рядом с ней. Музыка – лишь часть общей картины счастья.

Целое поколение успешных и образованных людей сегодня неистово отплясывает под чудовищный «Ласковый май» и «Мираж» – они в общаге на первом курсе под это плясали, это теперь навсегда с ними. Музыка тут только помогает им вспомнить самих себя – молодых и неотразимых. Качество самой музыки при этом не имеет, увы, значения. Я про другое.

Четыре совсем юных, не шибко красивых и, в общем, необразованных парня перевернули мир. Причем совершенно не ставя перед собой такой задачи. Они просто хотели играть рок-н-ролл как все. Ну, допустим, лучше всех – кто не хочет? История человечества еще не знала примеров (и, видимо, уже не узнает), когда молодые люди всей планеты как по команде побросали все, чем они увлекались, – спорт, науку, рисование, кино, книги, театр, собирание марок, кошек, собак, аквариумных рыбок, – и схватились за электрогитары. Даже девушки отошли на второй план – хотя на электрогитару они слетались как мухи на мед. Достаточно было пройти по Тверской с чехлом от гитары (без самой гитары чехол был гораздо легче), чтобы в этом убедиться. Все вдруг захотели стать как Битлы. Какая могучая цепная реакция сработала?

Ведь Битлы ничего не открыли. Не они придумали рок-н-ролл

и биг-бит – это сделали до них другие музыканты. И они в своей жуткой провинциальной портовой дыре (а Ливерпуль и сейчас порядочная дыра) торчали на Элвисе Пресли и Чаке Берри и мечтали о приличных гитарах и нормальных усилителях. (Поразительно, что они не просто из одного города – они еще практически из одного квартала. Ничем, кроме узкого луча, пролившего Божий свет на небольшое пространство, я это совпадение объяснить не могу.) И в клубе «Каверн» они были не на лучшем счету – им приходилось играть днем, в обеденный перерыв, для людей, зашедших перекусить в рабочий полдень. И менеджер их Брайан Эпстайн целый год бегал по студиям, где профессионалы шоу-бизнеса мягко ему объясняли, что группа – это вообще сегодня не модно, пусть возьмут себе солиста, а сами аккомпанируют. Что же случилось потом?

А потом масса обстоятельств, незначительных сами по себе, слились воедино и детонатор сработал. Битлы ворвались в каждый дом, в каждую душу живущих на планете молодых людей, легко преодолевая языковые барьеры и шутя ломая железные занавесы. Что это было? Тут и невероятная битловская музыкальность, и юношеское обаяние, и судьбоносная встреча с гениальным Джорджем Мартином, и тот факт, что широкие слои человечества дозрели наконец до рок-н-ролла, и он перестал быть достоянием стиляг, и еще много-много всего. Хотите, я перечислю вам все ингредиенты божественного супа, можете сложить их в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь – супа у вас не получится. Тут что-то еще – мантру над кастрюлей читать, например. Потому-то я и не считаю историю наукой: легко объяснять уже произошедшее – только вот будущее на основе этих объяснений не моделируется.

Итак, смею предположить, что, помимо всего перечисленного, магия сокрыта в самом битловском звуке. Рискую утверждать, что гитары «Рикенбеккер» и «Грейч», будучи включенными в ламповый усилитель «ВОКС АС-30» производили эффект, наукой не объясненный. Конечно, это всего лишь один из факторов, но вытащи из нашего супа маленькую луковку – и все, не получилось. Лично у меня этот звук до сих пор вызывает легкое движение мурашек по спине, поэтому дома у меня стоит вышеозначенный усилитель с включенной в него вышеуказанной гитарой (в данном случае – «Рикенбеккер»), и я периодически прибегаю к этого рода звуковой терапии.

Скажете, я псих?

Звук ранних битловских песен – упруго-резиновый, сметающий все на своем пути, при этом кристально-прозрачный и бесконечно глубокий, звук, созданный сэром Джорджем

Мартином в студии № 2 на Эбби Роуд, уникален. Он не стареет. Фантастические нагромождения психоделики семидесятых, казавшиеся нам тогда волшебными замками из будущего, рассыпались в прах за каких-то десять лет, и сейчас их претенциозные руины выглядят жалко и смешно, а пластинка «Hard Day's Night» звучит так, как будто записана сегодня. Или завтра. А что сделал сэр Джордж? Просто записал живьем поющих и играющих гениальных ребят, продублировал кое-где гитару и голос (это называется «дабл-трек», а других-то ухищрений тогда и не было!) и пропустил готовую запись через компрессор, причем сильно разогнанный. (Я не хотел лезть в науку и все-таки полез. Компрессор, грубо говоря, – прибор, выравнивающий и уплотняющий общую картину звучания. В те времена он, как и все остальное, был ламповым.) Элементарное, казалось бы, решение, а Мартин с битловским звуком занял эту нишу навсегда. И попробуй кто сейчас этот приемчик применить – тут же со всех сторон сочувственные улыбки: «Под Битлов косят…» Да нет, используют этот прибор постоянно и сейчас (а сколько новых появилось!), но аккуратненько, с оглядкой. А там было дерзко, на грани хулиганства. Сохранились, кстати, записи битловской игры и пения без участия Мартина – с концертов, радио, телевидения (вот время было – везде живьем пели! Вернется ли когда-нибудь?). Все то – а не то. Эта компрессия стала очень важной составляющей битловского звука.

А как юноши пели! Музыкально, профессионально – ничего не сказать (хотя отнюдь нетипично – заря биг-бита была эпохой дилетантов). Невероятная молодая энергия перла из них, как росток из зерна, как хрен из штанов. Они ничего из себя не изображали. Они не кривлялись – даже когда кривлялись. Они были божественно естественны. А сами голоса! Идеально сливающиеся в унисоне и в аккорде и такие волшебно разные по отдельности: слегка гнусавый и смешной от своей серьезности голос Ринго, какой-то замкнутый, словно глядящий сам в себя тембр Харрисона. Голос Пола – прикосновение мягкой беличьей кисточки. Леннон – бритвой по коже: еще не больно, а кровь уже выступила. Каждым своим звуком, каждым мгновением своего существования Битлы кричали: «Какой же ерундой вы все занимаетесь! Делайте как мы!»

И мир рухнул.

Случай из жизни. Глухая, когда-то староверская деревня Кимжа Мезенского района Архангельской области. Молодой механизатор Леха, вернувшись домой, застает свою бабку Аглаю за невероятным занятием: она непрерывно перематывает назад песню «Yesterday» на Лехином магнитофоне, слушает ее снова и

снова и беззвучно рыдает. Леха, оторопев: «Бабушка, ты чего?» Бабка Аглая: «Так ить ангел поет!»

Мы не можем даже приблизительно представить себе, каким был бы мир сегодня, если бы сорок пять лет назад он не услышал Битлов. Но поверьте мне, он был бы совсем другим. И эта мощнейшая индустрия, называющая себя популярной музыкой, эта отлаженная, делающая миллиарды машина – какой была бы она сегодня? И была бы вообще?

Когда я осознал, что мы действительно едем записываться на Эбби Роуд в студию № 2, я изо всех сил старался успокоиться. Знаю-знаю – «как пострелять из пистолета Дзержинского», смешно.

И сто лет я уже никакой не фанат, а, наоборот, взрослый человек, трезво смотрящий на вещи. И все-таки. Мы едем в студию, в которой совершалось чудо. Чудо, перевернувшее мир.

Со времени, когда во Второй студии работали Битлы, в ней ни разу не производили ремонта. Не перестилали паркет, не красили стен, не вбили ни одного гвоздя. Потому что звук – это не только пение и игра на инструментах, не только микрофоны, уши и руки звукорежиссера – это и стены, и пол. И атмосфера, только этой студии присущая. На вид это типичная студия шестидесятых – очень похоже на Государственный дом радиовещания и звукозаписи на улице Щепкина – если там сейчас ничего не намодернизировали. В этой студии какой-то особенный запах: едва уловимый, чуть-чуть погреб, чуть-чуть музей, хотя вентиляция там идеальная. Это отнюдь не музей: студия расписана на год вперед, стоит очень дорого и лучшие музыканты мира занимают туда очередь. В мире масса суперсовременных студий – почему туда? Не подражать же Битлам – это смешно. Может быть, просто чтобы получить на выходе гарантированно качественный продукт – из ста лучших альбомов мировой поп-музыки семьдесят записаны на Эбби Роуд. А может быть, в глубине души надеются, что неразгаданное битловское волшебство, творившееся здесь когда-то и впитавшееся в эти стены, слабым отраженным лучиком упадет на них? Ждут чуда?

Но ведь музыка – это и есть чудо.

А вы никогда не задавали себе этот вопрос? А ну-ка, попробуйте на него ответить. Я затруднился и полез в словари. Оказалось, страшно интересно: они дают на этот простой вопрос довольно разные ответы.

Начнем по старшинству – с Даля: «Музыка (мусикія) – искусство стройного и согласного сочетания звуков, как последовательных (мелодия, напев, голос), так и совместных (гармония, соглас, созвучие), равно искусство это в действии».

Ладно.

Толковый словарь русского языка под редакцией проф. Ушакова:

«Искусство, в котором переживания, настроения, идеи выражаются в сочетаниях ритмически организованных звуков и тонов».

Большой энциклопедический словарь:

«Музыка – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки». (А музыкальные звуки – это, видимо, то, из чего состоит музыка? Браво! Когда-то давным-давно, еще в советские времена я читал старинную кулинарную книгу Елены Молоховец и мучился вопросом – что такое каперсы, они мелькали на страницах тут и там, их следовало добавлять в различные блюда. Советским гражданам это слово было незнакомо – каперсы не входили в их рацион. В конце концов я полез в вышеуказанный словарь и прочитал: «Каперсы – плоды растения семейства каперсовых». Сразу все понял.)

А странно, правда? Сложнее всего дать определение самому обыденному и привычному, тому, с чем мы имеем дело каждый день. Что такое воздух? Да то, чем мы дышим!

В общем, попробовал сам. Получилось примерно вот что:

«Музыка – это действие человека, направленное на создание либо воспроизведение совокупности звуков, являющее из себя конечную цель». Немного коряво, но понятно, да? То есть стук в дверь или сигнал автомобиля музыкой не будет – задачи другие: это чтобы дверь открыли и с дороги ушли. А музыка – извлечение звуков с целью самого их извлечения. Можно, конечно, возразить, что цель – услаждение наших с вами ушей. Но это вечный вопрос: художник написал полотно для Бога или чтобы загнать подороже? (И почему, кстати, одно непременно противоречит другому?) Мой друг поэт Михаил Генделев убежден, что стихи пишутся вообще не для людей. Нет, если хотите – читайте, пожалуйста. А можете не читать – они от этого хуже не станут. У индейцев была скрипка, она состояла из грифа со струной и смычка. Конец грифа зажимался зубами и голова музыканта становилась резонатором, музыка звучала только внутри нее. Шаман может работать с бубном один, ему не нужны зрители. Можете, конечно, сказать, что это не музыка – это он стучится в двери другого мира. Товарищ Жданов, подписывая приговор Шостаковичу, утверждал, что музыка – это то, что можно напеть. Сегодня это понятие куда шире – пойди напой Пендерецкого.

И все-таки что-то в словах этого урода есть. И мы вернемся к этому позже.

То, о чем я хочу рассказать, пришло мне в голову не вчера. Я уже касался этого в книжке «Сам овца». И я убежден, что тема эта ждет настоящего научного исследования. Я же не ученый. Но, будучи музыкантом и работая с музыкантами, я вижу, как часто люди пытаются делать музыку, опираясь только на свой вкус и интуицию, совершенно не понимая, чем они занимаются. Ибо вкус небезупречен, а интуиция подводит.

Так что такое музыка?

Полусумасшедший-полугений Андрей Белый написал в 1917 году книжку под названием «Глоссолалия: поэма о звуке». (Вот ведь! На дворе семнадцатый год, мир летит в тартарары, а он пишет поэму о звуке. Фантастика!) Книжка эта напечатана была в Берлине в 1922 году, насколько мне известно, не переиздавалась, и найти ее сегодня довольно сложно. Вот что он пишет: «Глубокие тайны лежат в языке: в громе говоров – смыслы огромного слова; но громы говоров и мгновенные молнии смыслов укрыты метафорным облаком, проливающим из себя в волны времени линии неизливных понятий; и как несхожи нам ливень, грома, облака, так несхожи и смыслы звучаний, и образы слова; отличен от них сухой плоский понятийный смысл.

Что такое земля? Она – лава; лишь корост кристаллов (камней) сковал пламень; рокоты лавы бьются в жерла вулканов; и верхний пласт – земля – так тонок; покрыт он травой.

Так и слово, которое – буря расплавленных ритмов звучащего смысла; толщею кремнистых корней эти ритмы окованы; пылкий смысл утаен; верхний пласт – словообраз (метафора); его звук, как гласит нам история языка, только склейка разъеденных, разъедаемых звуков; а образ – процесс разрушения звука; и смыслы обычного слова – трава! – начинают расти из него».

Тяжеловато читать Белого? Отвыкли от настоящего русского языка? Хорошо, переведу на современный. Андрей Белый говорит о том, в самих звуках, из которых складывается слово, скрыты эмоции, настроения, и каждый звук несет в себе только ему присущее состояние. Далее поэт разбирает каждую букву русского алфавита, препарируя звуки и извлекая спрятанные в них ощущения, цвета, а иногда – позы и движения, этим ощущениям соответствующие. Теория его во многом объясняет чудо поэзии. Ведь поэзия – это не просто зарифмованные истории, правда? Чем тогда стихи Бродского отличаются от стихов обычного графомана? Только качеством рифмы?

Не задумывались, кстати, почему поэты зачастую так странно читают свои стихи? Вот он разговаривает как обычный человек, отвечает на вопросы, а попросили почитать – прикрыл глаза, помолчал, и вдруг – совсем другим голосом, протяжно, подвывая.

Зачем он так? А его распирают смыслы, спрятанные в каждом звуке каждого слова, которые он, как архитектор, собрал вместе и скрепил в единственно верной последовательности. Это в нем звучит мелодия, еще не обросшая словами, та самая, которая заставила его написать этот стих. И слышит он там больше, чем слышим мы: архитектор знает построенный им храм до последней стяжки, до последней капли раствора. А потом, не дай бог, пришел дурак-композитор, положил стих поэта на свою музычку – и вдруг все умерло и засмердело. Ибо стих самодостаточен, и спрятано в нем ровно столько музыки, сколько поэт посчитал нужным, а стих требовал, и добавление в сливочное масло масла машинного ни к чему хорошему не приведет. Музыка стиха и музыка музыки убьют друг друга. Знаю редчайшие примеры, когда все чудом обошлось – и поэт хороший, и композитор, и песня получилась. Хороших поэтов так же мало, как и хороших композиторов, хороших композиторов, слышащих музыку стиха, – еще меньше, вероятность их встречи почти равна нулю. Да и не станет хороший композитор, слышащий музыку стиха, уродовать этот стих своей хорошей, но ненужной этому стиху мелодией – он попросит поэта написать ему ТЕКСТ. А текст – это отнюдь не стихи второго сорта: это составляющая часть песни, и цельным произведением уже будет песня – удивительный гибрид слова и мелодии, и, будучи из этой песни вынутым и представленным в виде стихотворения, текст в отрыве от своей мелодии будет выглядеть несовершенным. Поэтому меня раздражают тексты песен (даже самых лучших!), изданные в виде стихов. Создание песни – отдельная тема, и если хотите, мы к ней еще вернемся. А пока – на чем мы остановились?

Так вот. Андрей Белый был поэт, и интересовала его лишь музыка фонетическая, спрятанная в звуках, нами произносимых. Меня же всегда волновала тайна мелодии. Что это такое? Почему сочетание звуков разной частоты вызывает у нас сопереживание? Причем, заметьте, наши сопереживания будут схожими! А ведь мелодия абстрактна, верно? Абстрактное полотно – если это живопись – способно вызывать у каждого человека индивидуальные ощущения и ассоциации.

С мелодией не так – мы всегда скажем, например, грустная она или веселая. Откуда мы знаем? Ну хорошо, мы, взрослые, помним, что песни с грустными словами поются обычно на минорный лад – поэтому и мелодия грустная. Но дети – каким образом малые дети безошибочно отличают мажор от минора? Не верите – убедитесь сами – на своих.

Теперь, внимание. Мы живем в век рационализма, когда любое открытие обязано приносить пользу. Я не столь

рационален и убежден, что бывают и другие открытия – просто открытия.

И они от этого не менее ценны.

И еще: я не Сальери и не собираюсь алгеброй поверить гармонию. И прекрасно знаю, что настоящее искусство – это присутствие Ангела в человеческом изделии, будь то стих, мелодия или картина. Я не об этом.

Как отличаем грустную мелодию от веселой?

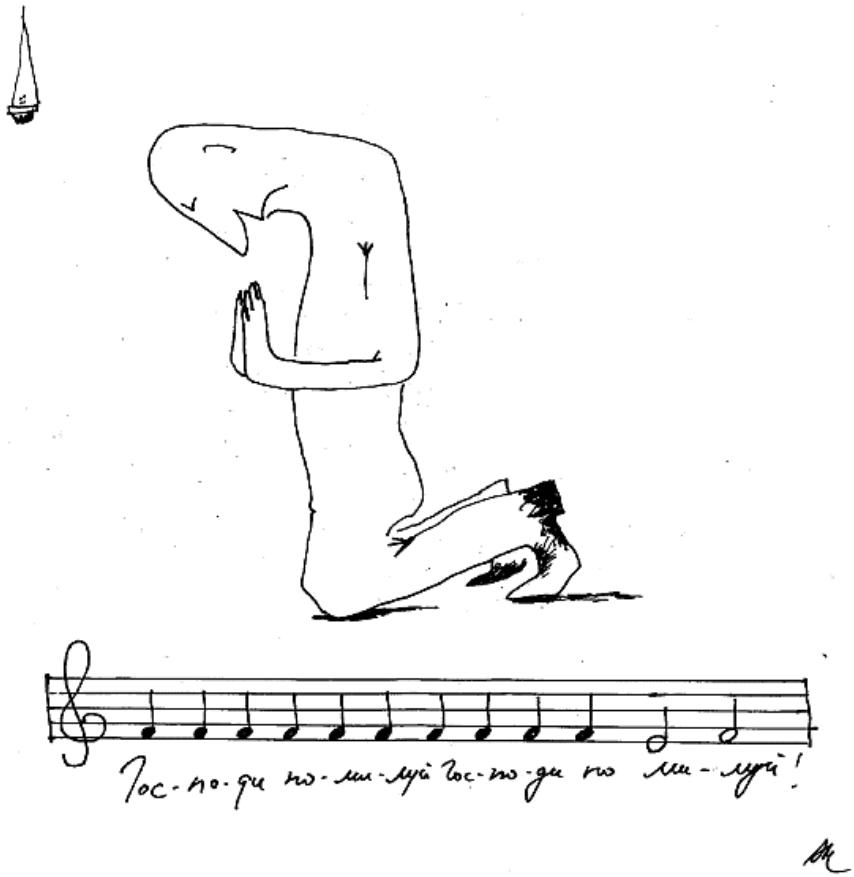
Насколько мне известно, никто пока ответа на этот вопрос не дал. А ответ лежит на поверхности.

Есть такой прибор – ганеометр. Или спектроанализатор. И на сегодняшний день – масса компьютерных программ, позволяющих записать любой звук и отразить его на экране в виде кривой, показывающей изменения его частотных характеристик. Очень сложно? Извините. Выше звук – кривая пошла вверх (да еще и увидим, на сколько герц), ниже звук – поползла вниз.

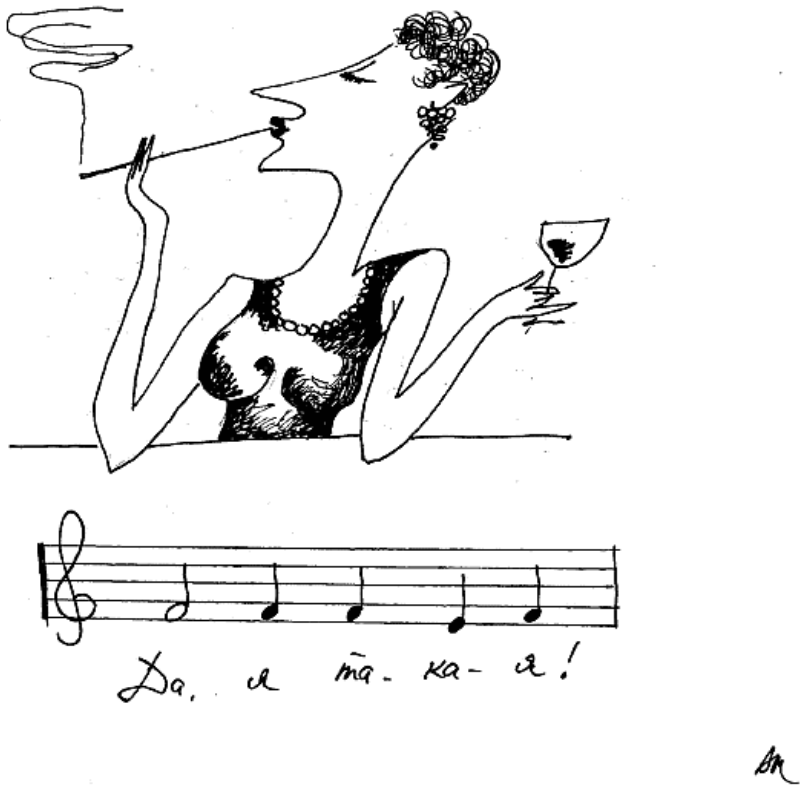
Так вот. Давайте запишем на такой прибор обычную человеческую речь. Мы увидим, что человек, разговаривая, не долдонит на одной ноте, как дьяк на клиросе (хотя бывает – и именно дьяк, и именно на клиросе), а речь его взлетает вверх и опускается вниз, то есть являет из себя мелодию. Никогда не замечали – слышны голоса соседей за стеной, и слов не разобрать, но отлично понятно, ругаются они, веселятся или кого похоронили.

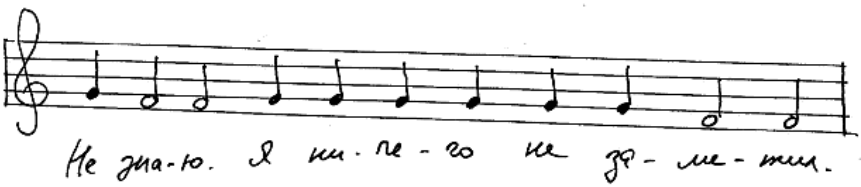
Смею утверждать, что каждому определенному настроению говорящего человека (а оно, естественно, зависит от информации, содержащейся в его речи) соответствуют определенные музыкальные интервалы, в его речи звучащие. Мы не просто говорим – мы в этом смысле все время поем. Мы не думаем об этом и не контролируем это наше качество – если, конечно, мы не на театральной сцене и не хотим искусственно усилить интонацию. Но и в этом случае актеру не придет в голову строить свою интонацию согласно музыкальным интервалам – она сама построится. Вот еще за что хочу извиниться – конечно, не все обязаны знать, а тем более слышать музыкальные интервалы – секунду, терцию, кварту, квинту. В принципе это первый класс музыкальной школы, азы. Ну да, не все ходили в музыкальную школу. Ну так и грамотность на планете не поголовная, что ж теперь, и книжек не писать?

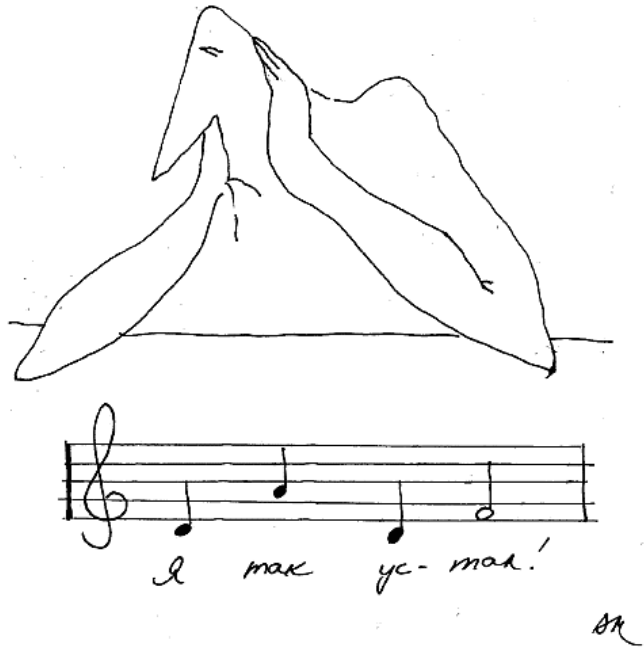
Попробую привести самые простые примеры.



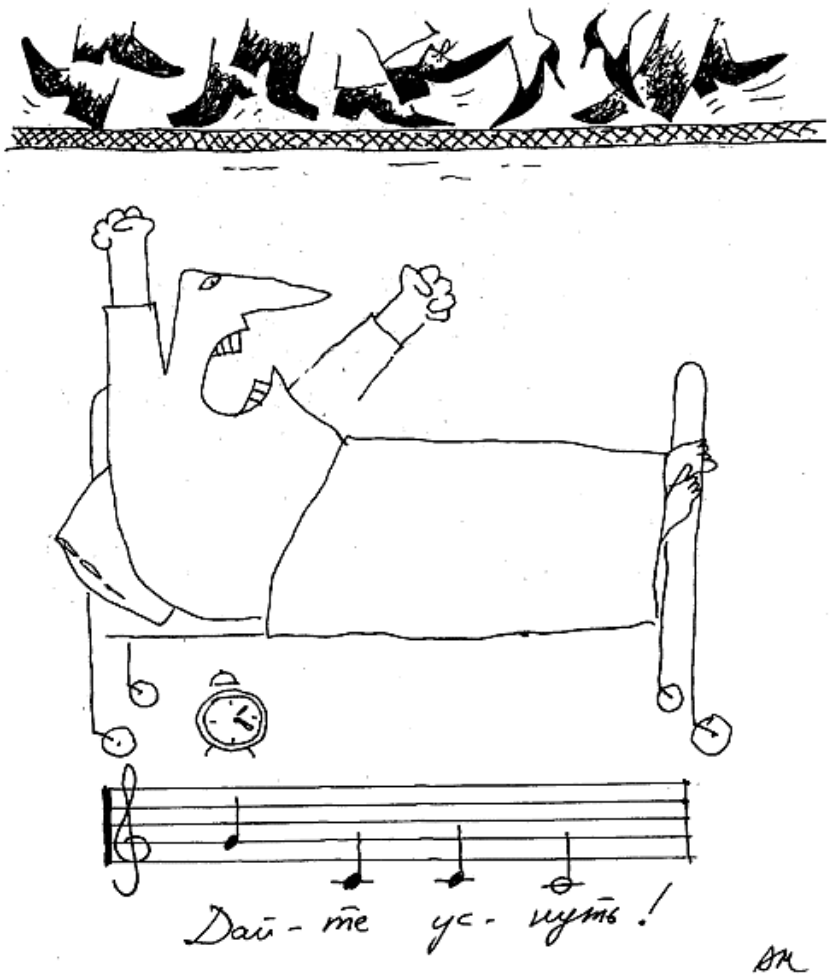
Разговор на одной ноте с редкими включениями малой и большой секунды: состояние полного погружения в себя, сосредоточения на чем-то высоком и недоступном. Тот же дьяк: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поми-и-луй!»



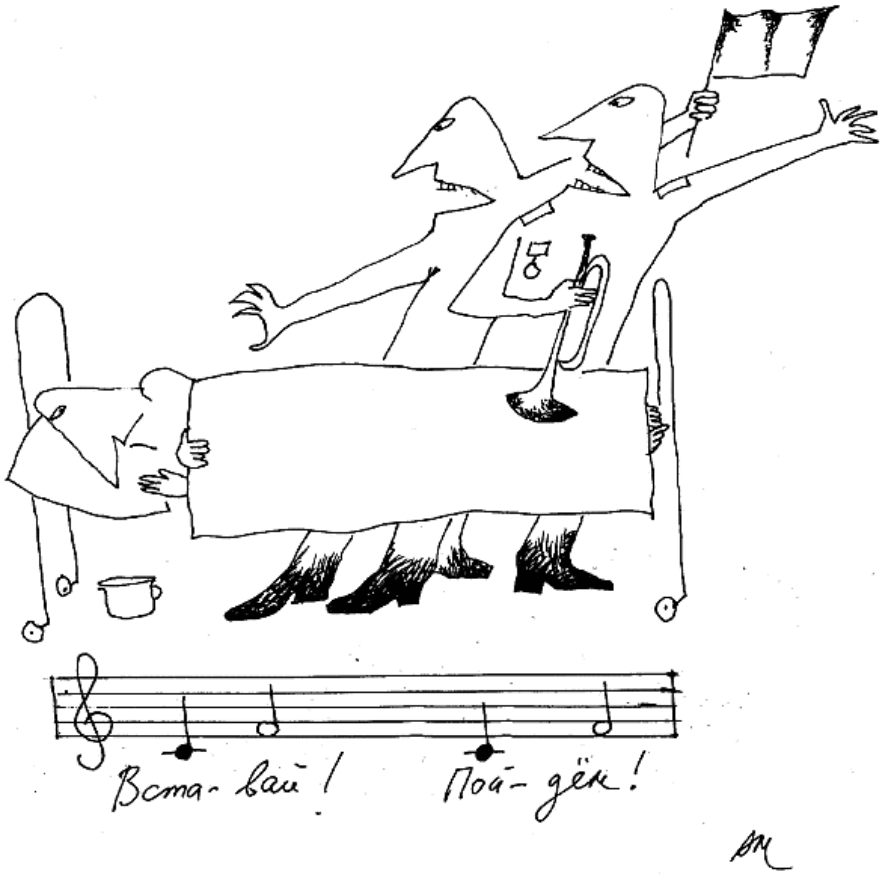
Любое другое сообщение с этой интонацией покажется ненормальным. Короткая фраза, содержащая малую секунду – кокетливость, манерность: «Да, я такая!»

Фразы, содержащие большую секунду (и вверх и вниз), – спокойные, разговорные интонации, не окрашенные эмоционально: «Не знаю. Я ничего не заметил».



Сочетание квинты и малой терции – грусть, безысходность: «Я так устал!», «Дайте уснуть».

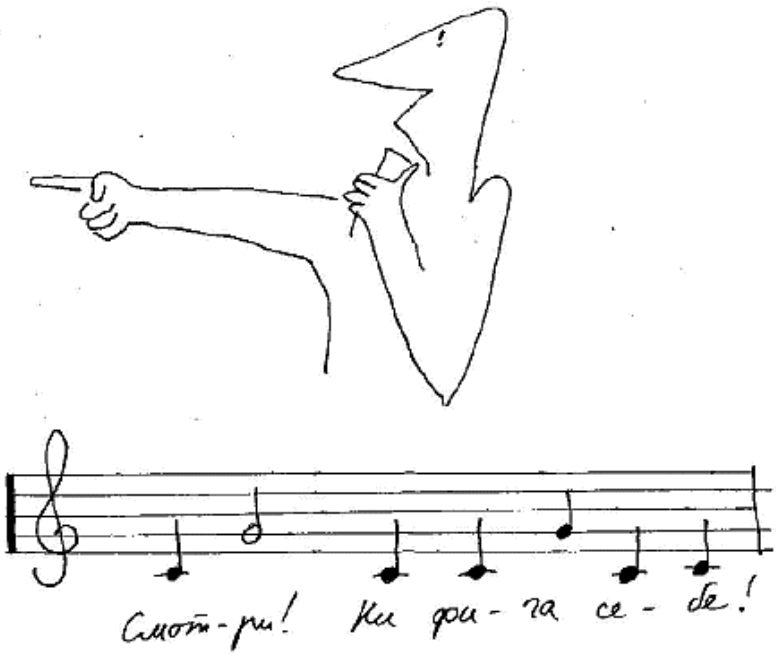


Интересно, что при появлении раздражения в голосе малая терция превращается в квинту: «Дайте уснуть!» Но ни во что другое.



Кварта – призыв, пафос: «Вставай, пойдем!»

Обратите внимание – талантливо написанные «Вставай, страна огромная», «Вставай, проклятьем заклейменный», да и гимн нашего государства начинаются именно с кварты. И правда хочется встать.



Квинта, если она звучит коротко, содержит в себе вопрос: «Куда ты?» Чуть длиннее – возбуждение, повышенные эмоции: «Смотри! Ни фига себе!»

Сочетание большой терции и кварты – позитив, радость: «В цирке смешно было!»

Примеров таких вы сами можете отыскать множество – и более точных. Я взял то, что лежало на поверхности. Ибо нет у меня задачи составить Полный Музыкально-фонетическо-фразеологический словарь. Это все к тому, чтобы подвести вас к основной мысли:

МЕЛОДИЯ – ЭТО РАССКАЗ, ПОСТРОЕННЫЙ НА ИНТОНАЦИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ РЕЧИ, НО, В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕЧИ, НЕ НЕСУЩИЙ КОНКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Она только постоянно напоминает нам – это о грустном, а здесь возник вопрос и появилась надежда. На что надежда? Да у каждого своя! А появилась – у всех.

В пользу моей теории говорит еще вот что: насколько восточные, так называемые тональные языки отличны от

европейских, настолько и восточная музыка отлична от привычной нам: и интервалы в ней другие, и ритмы, и размер. Это та же калька – просто с совершенно другого языка.

Зачем нам все это? Не знаю – мне было интересно понять, что древняя музыка несет нам интонации речи давно умерших людей, а русская классика – отголоски языка Гоголя, Бунина, Чехова, Толстого. О чем они нам рассказывают?

Прекрасные разговоры за стеной.

Еще стало возможным объяснить, почему эта песня плохая. Раньше просто чувствовал – плохая, а теперь могу объяснить. Вот что интересно: почему хорошая или тем более гениальная – не объяснить. Невозможно объяснить присутствие Ангела. Так что эта теория – не руководство для стахановского метода создания хороших песен. И все-таки.

Смешное название, правда? Это я специально – всем же интересно, как написать песню, которую завтра запоет вся страна, а он, наверно, знает.

Я не знаю, как написать песню, которую завтра запоет вся страна. Честно. Страна сама решает, что ей завтра запеть, и выбор ее все более непредсказуем. Так что если вы поставили перед собой такую задачу – лучше сразу смените профессию. Амбиция в этом деле плохой помощник. Может быть, я просто помогу вам уберечься от самых грубых ошибок на уровне ремесла. И тут моя теория вам не помешает.

Иными словами, никто и никогда вас не научит, как написать хорошую песню. Или хорошую картину. Можно попытаться научить отличать хорошую картину от плохой – в детстве, когда мы еще способны что-то воспринимать и не считаем себя умнее других. Это совсем не значит, что из ребенка вырастет художник. Это называется воспитание вкуса. Страна между тем (любая страна) в это время распевает хором, как правило, что-то ужасное (слава богу, недолго: новое ужасное приходит на смену), ибо общественный вкус – вещь не сильно изысканная, и так было и так будет. Крайне редко возникает ситуация, при которой объектом всенародной любви становились действительно великие песни: так было с Битлами (применительно ко всему человечеству), так было с некоторыми песнями Великой Отечественной войны или с песнями Высоцкого (применительно к нашей стране).

А песня вообще-то – искусство массовое. Я не верю человеку, который говорит, что пишет песни исключительно для себя и ему плевать, что о них думают другие. Песня – это чтобы пели.

Каждый день я получаю по почте, от знакомых своих знакомых, на концертах диски с записями начинающих авторов. С

просьбами дать оценку или помочь с продвижением. Песни эти чаще всего очень нехороши. Чем песня хуже, тем настойчивее автор требует помощи. Я не знаю, как им помочь. Некоторые считают, что я могу взять за руку и отвести в место, из которого песни становятся знаменитыми.

Если же мне не удается избежать прямого диалога, то выглядит он примерно так: «Скажите, а что изменится, если я послушаю ваши песни? Независимо от того, понравятся они мне или нет?» – «Я хочу, чтобы вы сказали мне, продолжать мне писать или нет». – «Не пишите». – «А почему вы так сразу?» – «Потому что, если вы сомневаетесь, заниматься ли вам этим, и решение зависит от чьего-то мнения – лучше не надо».

Ко мне приходит Саша Кутиков (или Женя Маргулис) и говорит: «Слушай, я написал офигенную песню». После чего напевает мотив под гитару.

Это еще не песня. Это красивая мелодия, которая может стать песней. Если понять про что эта мелодия. Если не понять – можно сочинять какие угодно строчки, выпиливать какие угодно рифмы – ничего не выйдет, песня будет запорота. Сколько хороших мелодий угробили бездарными словами!

Я забираю мелодию, учу ее наизусть, хожу с ней днем и ночью, и она непрерывно играет в моей голове. Я прислушиваюсь к разговору за стенкой. О чем это? Я же слышу интонации! Иногда, чтобы расслышать хотя бы одну фразу из-за стенки, требуется пара дней. Иногда – год. Иногда так и не удается ничего разобрать, и тогда мне кажется, что мои друзья на меня обижаются.

Если расслышал – вся остальная работа делается быстро, это уже дело техники.

Вечный спор на тему, что в песне главнее – музыка или слова, есть дискуссия о том, что важнее – ноги или крылья. Хвост, едрена мать.

Первое поколение российских рокеров росло и училось, старательно переигрывая и перепевая песни наших старших западных товарищей. Кое-как научились играть. И даже петь по-английски, не понимая ни одного слова. Когда возникло желание петь на родном языке, начались проблемы. Ну да, игру на инструментах можно было срисовать, а примеров русскоязычного пения такой музыки – не было.

Ой, сколько всего смешного происходило!

Чуть позже на эстраде появились ВИА – вокально-инструментальные ансамбли, наш ответ Битлам. Пожалуй, самое чудовищное совковое явление на эстраде. (Не обижайтесь, не обижайтесь – я знаю, что вы по ним двадцать лет назад с ума

сходили, а сейчас еще ностальгия накатила – любите, пожалуйста, дай вам бог здоровья!) Музыканты, лабавшие на репетициях Джимми Хендрикса и Лед Зеппелин, надевали по команде одинаковые пиджаки с вышитой на лацкане лирой, вставали на сцене по стойке «смирно» и слегка кастрированными голосами (такой специальный вокально-инструментальный голос – полумужской-полуженский) выводили песенки про то, как веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче – БАМ, про то, как не надо печалиться – вся жизнь впереди, и иногда про несчастную любовь.

Я не верю, что им нравилось то, что они делали. Все понимаю – не разрешалось иначе, «время такое было, сынок», – но никто же не загонял туда палкой!

Недавно мне показали закрытую (!) инструкцию тех лет, предназначавшуюся звукорежиссерам фирмы «Мелодия» (а другой-то и не было!) для записи вокально-инструментальных ансамблей. Вот что там сказано дословно: «При записи инструментов избегать резких тембров, добиваться мягкого, приглушенного звучания. При записи электрогитары не использовать исказители типа „фу“ и „квак“». Хороший рок-н-ролл. Ну ладно, стихи Совку не нравились, но уж тембры-то, звук! Кожей свободу чуяли, собаки, даже в звуке. Ай, молодца.

Извините, отвлекся. Столько лет уже прошло, а все никак не могу успокоиться.

У меня ощущение, что хороших композиторов все-таки больше, чем хороших поэтов-песенников (звучит-то как противно – «поэт-песенник»! Дает тебе человек такую визитку – и сразу хочется убежать.). Потому что, как правило, композитор изначален – сиди себе да сочиняй мелодии! Сочинил – и идет к поэту: напиши слова. А поэт не может – не привык сочинять стихи на чей-то непривычный размер, или чувствует, что чего-то не слышит – не работал с музыкой, или просто не хочет: он занимается высоким искусством, а тут – песня, эстрада, ширпотреб. Говно, в общем. А композитор, в свою очередь, очень хочет подарить свою песню человечеству. Или продать за деньги. Он-то убежден, что у него в руках уже готовый шедевр. Ну, почти готовый – подумаешь, слова срифмовать! Не все композиторы слышат музыку слова, вы уж мне поверьте. В результате получается то, что получается.

Можно, я не буду приводить примеры, хорошо? В одной стране живем, один воздух нюхаем.

Давайте я вам лучше покажу, как работают самые элементарные принципы соединения музыки и слова – на примере очень хороших песен. Уверен совершенно, что при

создании этих строк авторы никакими такими принципами не пользовались: поэт такие вещи просто слышит и по-другому сделать не может, если он поэт.

Вроде бы проще не придумаешь: ударный слог в слове, положенном на мелодию, должен звучать выше, чем остальные. Мы ведь, делая ударение в слове, произносим ударный слог не громче, а выше – никогда не замечали? Вот вам великая русская народная песня «Шумел камыш» (уж тут-то неизвестный автор точно ни к каким правилам не прибегал – вы что, смеетесь?).

«Шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная была».

Смотрите, как все совпадает. Может вызвать вопрос слово «камыш», но после него идет пауза, и эта пауза работает на ударение не хуже. Слова и мелодия срослись.

Или еще: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море». Все идеально, а секундные понижения в словах «любимый» и «завтра» – это же просто спрятанный всхлип, когда ком стоит в горле и голос дрожит!

А вот загадка: великая песня «Темная ночь». Смотрите, в каждой первой строчке куплета правило нарушено! «Темная ночь…», «Ты меня ждешь…», «Верю в тебя…». Ударный слог не совпадает с построением мелодии. А дальше – все как положено! Случайно ли? Не верю – в шедеврах случайностей не бывает. Что-то заставило автора первые – самые главные – строчки каждого куплета построить чуть-чуть иррационально, заставить наш подсознательный слух сработать, что-то не гладко! И еще – когда мы говорим шепотом, мы не используем ударение (а еще и ровно половину согласных – не замечали?). Не поэтому ли?

Знаете, какая самая популярная песня в мире? Чаще всего звучащая, чаще всего исполняемая? Она называется «Бесаме мучо». То, что она номер один, установлено доподлинно: она собрала самое большое количество авторских отчислений, применительно к миру эта статистика не врет. Песню эту написала совсем молодая девочка. «Бесаме мучо» в переводе с португальского означает «целуй меня крепко». Вот интересно: насколько я помню, русскоязычной версии этой песни не существовало, хотя была она у нас так же популярна, как и везде, а в подобных случаях всегда находился ушлый мастер, лепивший русский перевод – как правило, отчаянно плохой. Помните, голос за стенкой? Мелодия этой песни настолько точно воссоздает интонацию грустного и страстного признания в любви, что слова уже не нужны – они сами возникнут у вас в голове, вызванные из подсознания интонацией. И пусть они у каждого будут немного разные – смысл признания в любви от этого ведь не меняется. И как хорошо, что непонятный напевный иностранный язык не

мешает нам это слышать! Бразильский португальский язык вообще очень похож на русский по звучанию, то есть фонетически. Так и мелодии у них невероятно похожи на наши – и только ритмы самбы, на которые эти мелодии нанизаны, вбивают пограничные колья. Ритм – это уже вопрос крови. То же самое происходило с песнями Битлов: тексты их звучали как мантры и работали как мантры, и слышали мы за ними гораздо больше, чем в них было написано. Какой магией окутала нас песня «Girl», чудом попавшая в 1968 году на советскую сборную пластинку «Музыкальный калейдоскоп»! А потом нашелся тугой на ухо человек, родивший перевод: «Я хочу вам рассказать, как я любил когда-то…» Валерий Ободзинский спел. Обоих хотелось застрелить.

А ведь помимо мелодии существует еще гармония и ритм. О ритме позже. А гармония – чтобы не устраивать тут музыкальный ликбез – это, образно говоря, система дорожных знаков, ориентируясь на которые, движется мелодия. Логические последовательности аккордов называются секвенциями и бессовестно кочуют из шлягера в шлягер. И вот что интересно: английские, ирландские, шотландские, американские народные песни базируются в основном на мажорных секвенциях, соответственно и мелодии у них мажорные. Русские, цыганские, еврейские (я имею в виду европейских евреев) – соответственно русский романс, вся блатная лирика и советская эстрада – на минорных секвенциях и минорных мелодиях. У нас в разговоре больше грустных интонаций? Как живем, так и поем? (Интересно, что в последнее время западная эстрада заинтересовалась минорными структурами, стала обминориваться на глазах. Им просто мажорные краски надоели или жить стали хуже?)

И знаете еще что? Таких вопросов и ответов на них можно найти множество, и невидимые параллели станут видимыми, но у меня нет задачи написать диссертацию и утомить вас окончательно. Во-первых, я указал направление, и, если вам интересно, можете продолжить поиски сами. Во-вторых, знание всех законов мира, включая доныне нераскрытые, не делает вас талантливее. А талант – это то самое качество, которое вдруг велит тебе сделать все наоборот, все неправильно, и убаюканный привычной гармонией мир взрывается.

Гораздо чаще не взрывается. Таланту не хватило.

Нет, ребята, ничему я вас не научу. Потому что в искусстве всегда будет элемент необъяснимого, казалось бы, нелогичного, заставляющего мурашки бежать по спине и делающего ремесло как раз искусством.

Как бы искусствоведы не тужились.

Я безумно люблю музыкальные инструменты. Это не связано напрямую с тем, как они звучат, тут как раз есть более и менее любимые. Я люблю их как безупречные произведения искусства, где каждый изгиб формы отшлифован веками. Некрасивых инструментов нет – будь то бубен якутского шамана, виола да гамба или сверкающий золотом саксофон. Если вы сомневаетесь в собственном вкусе при выборе картины для интерьера – повесьте на стену скрипку.

Дома у меня живет огромное количество самых разных музыкальных инструментов. Я отнюдь не владею каждым из них в совершенстве, но в состоянии разбудить голос каждого. И процесс этот доставляет мне великое наслаждение. А какая благородная возложена на них задача – не долбить стены, не убивать живое, а звуча, вызывать ангелов и делать людей лучше – пусть ненадолго. Я большой нелюбитель модных ныне оккультных словечек типа «аура», «энергетика», но в хороших инструментах остается что-то от хороших музыкантов, на них игравших, вы уж мне поверьте. Изготовить настоящий инструмент без любви невозможно, одного мастерства будет мало, и играть на нем настоящий музыкант без любви тоже не сможет. Коллеги не дадут соврать, когда к тебе в руки попадает долгожданный новый инструмент, ты с удивлением замечаешь, что твои исполнительские возможности вдруг несколько выросли (увы, ненадолго. Примерно как с женщинами). Многие хорошие песни были написаны в результате первых контактов с какой-нибудь новой замечательной гитарой. Что такое вдохновение, черт его разберет. Дальнейшие главки не имеют никакой практической, а тем более научной ценности – сплошные эмоции. Так что, если вы открыли эту книжку исключительно в поисках полезной информации, можете смело их пропустить.

Барабаны

Вообще-то, это самый первый, самый древний музыкальный инструмент. В тот момент, когда прачеловек испытал потребность произвести звук с целью создания звука, он ударил палкой по пустому внутри дереву. И очень долгое время музыка барабанов служила отнюдь не для удовольствия, с помощью барабанов общались с богами и духами (значительно позже с ними шли в бой, уже забыв о том, что призывают ими в этот момент богов и духов в помощь, просто маршировать легче). Буддисты и шаманы используют барабаны и бубны по назначению до сих пор.

До сих пор мы говорили о музыке только как о мелодии. А ведь есть еще ритм. И что пришло к человеку раньше?

Мир, в котором мы живем, пронизан ритмами. Солнце всходит и заходит, зима сменяет осень, чтобы вслед за ней пришла весна, волны накатывают на берег – все это ритмы. Внутри каждого из нас стучит и не умолкает самый главный ударный инструмент – сердце, и мы живы, пока слышим его удары. Переплетение ритмов разной частоты создает сложнейшую паутину, в которой мы существуем, сами того не осознавая и не ощущая, вернее, не давая оценку своим ощущениям.

Мне кажется, что воздействие звуковых частот на человека изучено больше, чем воздействие ритмов. Хотя, строго говоря, частота – это тоже ритм: количество герц – количество колебаний в секунду. Известно, что частота 8 герц способна вызвать у человека чувство безотчетного страха, а усиленные 6 герц чуть ли не смертельны. А вот композиторам известно, что темп 120 (то есть сто двадцать ударов в минуту) – коронный темп музыки в стиле «диско» – залог успеха будущего шлягера. Почему?

Знаете, что такое резонанс? Это когда колебания (или ритмы) разных носителей совпадают и от этого многократно усиливаются – раскачивают друг друга. Поэтому взводу солдат, марширующему по мосту, приказывают сбить ногу – колебания моста могут войти в резонанс с маршем и мост развалится – такие случаи бывали. Люди, занимающиеся спортом, знают: какой у них пульс после пробежки? Правильно, 120. А после получаса скакания на дискотеке? Правильно. И что происходит? Нет, мы, конечно, не разваливаемся – мы не мост. Но резонируем хорошо.

А у черных еще интереснее. Установлено, что под воздействием ритма в их организмах вырабатывается меланин – вещество, влияющее на пигментацию и одновременно

стимулирующее практически все процессы в организме. Негры могут танцевать сутками, питаясь ритмом, слыша кожей. Может, они поэтому такие черные? И танцуют они получше нас.

Русские народные песни, особенно северные, с точки зрения современной музыки неритмичны. Строчка тянется насколько хватает дыхания. (Дыхание наше, заметьте, тоже основано на ритме, просто он значительно более свободный.) Поэтому лично меня коробили старания «Песняров» впихнуть белорусские напевы в жесткую сетку электрогитарного биг-бита. Американские и английские народные песни ложились туда без труда – они изначально были пронизаны этими ритмами. Почему музыкальный этнос одного народа весь основан на ритмах, а другого нет – вопрос необычайно интересный, и не думаю, что сегодня на него есть ответ. Он требует тщательного сравнительного изучения древней истории, культур и обычаев. Общая тенденция: чем южнее живет народ, тем большую роль играет ритмика.

Как я хотел быть барабанщиком! Сидеть на возвышении за горой гулких, звонких, сверкающих барабанов, горящих золотом тарелок, и повелевать божественным ритмом, на который нанизывают звуки своих инструментов музыканты, стоящие внизу! Ты – Бог, ты даришь музыке свой пульс, ты вкладываешь в каждый удар биение своего сердца, ты – мотор машины, называемой группой, и музыканту, не попадающему с тобой в такт, не место на корабле! И они сверяют свой пульс с твоим, как сверяем мы свои часы с сигналами точного времени. Полжизни за барабаны!

В середине шестидесятых в одном из сборников «Вокруг света» фирмы «Мелодия» оказалась песня «16 тонн». Думаю, исключительно благодаря тому, что это песня шахтера, угнетенного капитализмом. Мне потребовалось почти тридцать лет, чтобы выяснить, кто это пел – ансамбль «Platters». Песня состояла из двух аккордов, невероятного баса солиста, еле слышных голосов на подпеве, размытых пространством студии, контрабаса и фантастического барабана, отбивающего слабую долю с монотонностью парового молота. (Простите мне маленький ликбез. С одной стороны, любой человек, когда-либо имевший отношение к музыке, знает, что такое слабая доля, с другой – не все имели к ней отношение. Так вот, если такт музыкального произведения состоит из четырех четвертей, то сильными долями будет первая и третья (РАЗ – два – ТРИ – четыре), а слабыми, соответственно – вторая и четвертая (раз – ДВА – три – ЧЕТЫРЕ). Джаз, блюз и рок-н-ролл основываются на акцентировании слабой доли. Наш народ, воспитанный на

маршах, генетически акцентирует сильную долю. Заставить наш зал хлопать на слабую долю практически невозможно. Поэтому я с большим недоверием отношусь к словосочетанию «русский рок».) Эта бешеная слабая доля делала со слушателем чудеса – если человек был не абсолютно глухой, он тут же начинал притопывать и покачиваться в такт. Песня звучала из открытых окон, ее заводили на танцплощадках, народ сочинил изумительно наивные русские слова – про то, что в каждой бомбе 16 тонн – в общем, она стала всенародным шлягером. Я слушал ее не переставая. Быть барабанщиком хотелось еще больше.

Барабанов не было. И стоимость ударной установки в магазине «Лейпциг» на Ленинском проспекте не позволяла надеяться на то, что барабаны у нас когда-нибудь будут. Строго говоря, один барабан был – пионерский, из «Детского мира», нагло-красный, с нечистой кожей неизвестного животного и болтающейся внизу хилой пружинкой для дребезга. В нем было что-то очень скверное, он не являлся музыкальным инструментом. Он был сделан без любви. Наверно, маршировать на плацу и кое-как расстреливать под него еще было можно, но в битловскую музыку он не вставлялся никак. Выбора не было.

Ранец звучал лучше. Ранец был твердый, достаточно ободранный, изрисованный Битлами и исписанный битловскими молитвами. Он имел два хромированных замка-защелки, которые чуть-чуть блындали в своих гнездах, очень украшая палитру звука. Ранец всегда был полупустой – если доверху набить его учебниками, он не звучал, и я контролировал количество содержимого исходя именно из этого обстоятельства. Ранец клался на парту и по нему тихонько барабанилось руками. В голове при этом проигрывался альбом «Please, please me». Звучал ранец божественно. Ведению урока это не мешало. Почти.

Я безумно хотел быть барабанщиком в группе, но все обстоятельства были против меня – некому было играть на гитаре, петь и показывать бас-гитаристу, какую струну где надо зажать в этот момент. Я понимал, что, сидя за барабанами, все это делать я не смогу. Да и отсутствие барабанов, как таковых, в этом смысле подсознательно утешало.

Через год случилось чудо, и барабаны появились – древние, побитые, но самые настоящие барабаны. Тут же оказалось, что по сравнению со звуками, которые издают они, мы звучим тихо и противно. Мы тянулись за ними, как могли. За барабаны сел Юрка Борзов, барабанщик он был примерно такой же, как мы гитаристы, и это было совершенно неважно – Битлов мы любили одинаково безумной любовью. И эта любовь заменяла все – умение петь, играть на инструментах, наличие самих

инструментов и аппаратуры. Сейчас меня часто спрашивают: мечтали ли мы о славе, пришедшей много лет спустя. Нет, конечно – вы что, с ума сошли? Слава – возможный результат процесса, мы же мечтали о самом процессе. Мы мечтали об аппаратуре: нам снились усилители, все разговоры были только о динамиках, микрофонах, лампах, дающих мощность в ваттах, сейчас представить себе это невозможно. Так вот, барабаны появились у нас чуть раньше, чем все остальное.

Летом шестьдесят девятого я отрывался. Я удовлетворял свою ненасытную любовь к барабанам каждый день. Наступили каникулы, ребята разъехались, стояла страшная жара, и родители жили на даче. Я перевез ударную установку домой (в комнате она казалась нечеловечески огромной). Я подстелил под нее все мягкое, что было в доме, установил ее лицом к открытой двери балкона, чтобы хоть часть звука уходила на волю, подоткнул двумя спичками проводок от моего магнитофона к радиоле «Эстония», врубил на полную мощность Битлов и сел за барабаны. Я самозабвенно грохотал в унисон с Ринго Старром по пять часов в день. Никто не объяснял мне, как держать палочки и какой рукой следует играть по хай-хэту (я даже не знал, что он так называется, до этого он назывался «чарльстон»). В дневное время все жители дома № 25 по Комсомольскому проспекту находились на работе, а пенсионеры, видимо, на дачах – думаю, что именно поэтому меня не убили и никто не сошел с ума. До сих пор помню многие барабанные партии Битлов, что называется, один к одному.

Мне так и не удалось побыть барабанщиком в группе – не всем мечтам дано осуществиться. Но любовь к барабанам осталась. Она вылилась в собирательство: из своих путешествий я привозил домой этнические ударные инструменты. Никакая это, конечно, не коллекция, коллекция предполагает определенную систему и обязательно конечную цель: например, собрать все типы барабанов африканского континента. Мне же просто нравится слушать их голоса, иногда использовать в записи в качестве тонкой приправы, почти незаметной, но очень характерной краски. Самые любимые – индейские и якутские ритуальные бубны. Они обладают потрясающими голосами, и каждый день голоса эти звучат по-разному – конечно, это зависит от влажности воздуха, от температуры в доме, все понимаю. И все-таки от чего-то еще. Вместе с моим другом – знаменитым врачом-наркологом и психотерапевтом Марком Гарбером мы проводили удивительные эксперименты по заглядыванию в смежные миры с помощью унисонной игры на этих бубнах, и нам есть что рассказать специалистам, вам это будет неинтересно.

Могу только вас заверить: шаман не просто так бьет в бубен, не для красоты.

Недавно в Москву приезжал японский ансамбль барабанщиков, в общем, эстрадно-танцевальный коллектив. Но на барабанах они играли на настоящих – на древних, огромных. Самый большой был выше человеческого роста, около двух метров в диаметре и больше всего напоминал сталеплавильный ковш. Я не удержался и после выступления пошел смотреть барабаны. Меня познакомили со специальным японцем, который был к ним приставлен и ухаживал за ними, как ассистент дрессировщика за слонами. Я с удивлением заметил, что на этих огромных барабанах отсутствуют приспособления, позволяющие их настраивать – кожа была закреплена на корпусе намертво. «А зачем их настраивать? – в свою очередь удивился японец. – Они сами знают, как им звучать!»

Сами знают.

Искусство имитации сегодня семимильными шагами идет по планете. Человечество легко поддалось этой заразе: нам сегодня уже объясняют, что искусственный ароматизатор «Запах клубники» гораздо лучше самой клубники – и мы привыкаем. Ко всему человек, подлец, привыкает. Со звуками дело пошло значительно дальше – кулинария вообще самый консервативный жанр, а музыка все время замахивается на революцию. И из всех видов имитации звучания живых инструментов на первом месте по качеству (и, соответственно, употреблению) – имитация барабанов. Называется это – «бескорыстный барабанщик». Сами звуки барабанов уже давно не синтезируются, семплеры хранят в своей электронной памяти сотни настоящих ударов по лучшим барабанам, и удары эти произведены лучшими барабанщиками мира. И звучит все очень похоже, вот только эта сволочь играет безукоризненно ровно. Нечеловечески ровно. И какая-либо эмоция в этой игре отсутствует.

Барабанщик всю жизнь учится играть ровно. Неровный, неритмичный барабанщик – беда для команды. И если удары у него непроизвольно отличаются по силе, а значит, по звучанию, пусть лучше меняет профессию. И все равно в игре каждого хорошего барабанщика присутствует свой штрих, своя интонация, что-то живое внутри этого ровного. Господа! Сердце тоже должно биться ровно, иначе доктор скажет, что у вас аритмия, и при всем при этом оно никогда не будет биться как метроном, правда?

У меня нет доказательств, но я знаю, что употребление человечеством музыки, нанизанной на бездушную механическую долбилку, добром для него не кончится. Мы впускаем внутрь себя неживой, нечеловеческий ритм, и живой ритм нашего организма

вступает с ним в резонанс. Нельзя все время есть консервированный заменитель мяса, какими бы приправами его не посыпали. Мы мутируем незаметно для себя самих, но очень быстро. И не воспринимайте это как причитания и брюзжание старого пердуна, который боится электричества. Я абсолютно спокоен. И не хуже вас знаю, что прогресс не остановить. Только большой войной на небольшое время. И мне страшно интересно, во что превратится человечество в результате всего происходящего.

В какие такие флешки на ножках.

Про бас

С басом было совсем смешно. Я в принципе и в юные годы понимал, что то, что бухает внизу оркестра, – это контрабас. Бас-гитара, появившаяся на горизонте неожиданно, в руках у Пола Маккартни, являла из себя загадку. Я видел ее на картинке и знал, что у нее, в отличие от обычной электрогитары, не шесть струн, а четыре, сосчитал по колкам. Было даже видно, что это не самые тонкие струны. Что эта гитара делает и как она звучит, я не знал. С помощью моего крохотного речевого магнитофона «Филипс» узнать это было и невозможно: динамик его величиной с крышечку от кефира низких частот не воспроизводил вообще. Бас-гитара в звучании моих Битлов отсутствовала напрочь (поэтому, кстати, и в первой моей группе «The Kids» барабаны и гитары были, а бас-гитары – нет). Я долго думал, зачем она Полу нужна и решил, что он играет на ней всякие низкие сольные партии, скажем, в песне «Day Tripper», непонятно только было, зачем стоять на сцене с инструментом, который звучит так редко, в одной-двух песнях из всего альбома. По счастью, в шестьдесят девятом году в школу приехала выступить на новогоднем вечере группа «Атланты», я услышал бас-гитару и прозрел.

Святое время наивных открытий!

Бас-гитара потребовалась немедленно. Стало ясно, что это главный инструмент, после барабанов, разумеется. Настоящая бас-гитара была недостижима так же, как и настоящие барабаны. Выход был один – снять с обычной гитары струны и поставить на нее бас-гитарные. Проблема состояла в том, что бас-гитарные струны являлись еще большим дефицитом, чем сами бас-гитары. То есть чешские и немецкие (производства ГДР) басы раз в полгода выбрасывались на прилавки магазина «Музыкальные инструменты» на Неглинке и универмага «Лейпциг» на Ленинском проспекте, и струны на них стояли. Запасных струн в продажу не поступало. Инструменты в течение получаса сметались с прилавков бравыми фарцовщиками, чтобы на следующий день осесть в руках счастливых музыкантов по двойной, а то и тройной цене. Новый хозяин понимал, что гитару ему небо послало со струнами, и новых не будет. Поэтому примерно через полгода игры струны аккуратно снимались, сворачивались бубликом, укладывались в кастрюльку, заливались кипятком с добавлением соды и варились минут пятнадцать. После чего извлекались из кипятка, просушивались и аккуратно ставились на гитару опять. Считалось, что эта процедура продлевает им жизнь.

Не знаю. Теперь уже не знаю.

В общем, я придумал ставить на обычную электрогитару четыре виолончельных струны. Они были чуть толще гитарных и звучали гораздо мягче. Они и сами были гораздо мягче и очень быстро продавливались на ладах и переставали звучать совсем, но их хотя бы можно было купить в магазине. Проблема бас-гитары была временно решена. (Поразительное дело! Сам Маккартни рассказывал, что он в этом же возрасте и в такой же ситуации тайком выдирал басовые струны из школьного пианино. А мы-то думали, что только мы такие бедные были. Нет, рок-н-ролл во всем мире начинался примерно одинаково, на пустом месте.)

С появлением бас-гитары возникла новая проблема: ее надо было во что-то включать. Причем включать ее в транзисторный приемник «Спидола», магнитофон «Айдас» или проигрыватель «Юность», куда включались обычные гитары, было бессмысленно и даже опасно для вышеперечисленных приборов – маленькие хилые их динамики пукали, трещали, пока проводочки наконец не отлетали от диффузора, и прибор замолкал навсегда. Человек с паяльником был самой необходимой составляющей любой группы – гитаристов много, а он один. Для бас-гитары требовался отдельный усилитель со специальным низкочастотным динамиком. Советская промышленность выпускала такой динамик, но купить его в магазине, конечно, было нельзя. Назывался он «2-А-9», размерами и весом приближался с крышке канализационного люка, и располагался в кинотеатрах и домах культуры за экраном. Оттуда его обычно и тырили – либо сами музыканты, либо работники кинотеатра с целью загнать тем же самым музыкантам. А зрители в кинотеатре потом еще долго недоумевали: что-то звук у фильма сделался какой-то комариный – тихий и писклявый. Какую замечательную выставку можно было бы сделать, если бы доплыли до нас по морю времени невероятные рукотворные усилители и колонки – пиленые и рубленые ящики в человеческий рост, обклеенные дерматином или крашеные тушью, украшенные чемоданными уголками, затянутые веселеньким ситчиком или капроном, с неподъемными динамиками ленинградского завода «ЛОМО» внутри! Каким неистовым желанием извлекать звук из электрогитар надо было обладать, чтобы на свет появились эти чудовища! И потрясенные зрители бродили бы среди этих боевых дредноутов семидесятых, смотрели и не верили.

Время, время…

Играть на бас-гитаре оказалось проще, чем ее озвучить. Надо было просто представлять себе, какой аккорд в этот момент

берется на обычной гитаре (или просто следить за левой рукой гитариста) и зажимать самую толстую струну на том же ладу. Если при этом ты еще умудрялся брать эту ноту одновременно с большим барабаном, ты был очень хороший бас-гитарист. Самому мне первые годы на басу поиграть не удавалось – гитара была все-таки важнее, и я применял эту разработанную мной методу к новообращенным битлам, соглашавшимся попробовать себя в роли бас-гитаристов.

Работало безотказно.

Распутывать клубочек времени можно и дальше – и как появилась первая настоящая бас-гитара, и насколько беспомощным сразу оказался агрегат с виолончельными струнами, так любовно мною изготовленный, как мы мотались по городам и весям (чаще – по весям), когда до столицы доползал слух, что где-то в Новочеркасске живет безумный изобретатель, построивший по собственному проекту динамик невиданной силы, и сколько было радости и разочарований. Конечно, очень здорово, что сегодня любой может зайти в магазин и выбрать себе инструмент или усилитель по вкусу и возможностям – были бы деньги и желание. Я не то что не верил в такое будущее – это просто невозможно было себе представить по определению. Единственное, что мы потеряли – это возможность испытать нечеловеческое счастье, когда после всех мытарств и неудач ты наконец становился обладателем долгожданной гитары или ящика с японским динамиком внутри.

Ну да бог с ним, со счастьем.

С контрабасом связаны совсем другие ощущения. Контрабас не являлся битловским инструментом, поэтому любовь к нему возникла значительно позже: когда, уже объевшись разнообразным рок-н-роллом, я стал замечать, что звучит иногда вокруг и другая музыка.

Ходить далеко было не надо. Отец очень любил джаз и слушал его дома постоянно – к этому моменту у нас уже появилась радиола «Эстония», довольно прилично по тем временам воспроизводившая низкие частоты, так что контрабас был слышен. Контрабас нравился со всех сторон: внешним видом, то есть размерами, и звуком. Размеры потрясали – такая огромная скрипка! В этом было что-то сюрреалистическое. Человек, несущий по улице контрабас, вызывал острую смесь сочувствия и уважения. Что же касается звучания – контрабас оказался гораздо более эмоциональным инструментом, чем бас-гитара – он практически разговаривал. Гриф, лишенный ладов, давал музыканту гораздо больше возможностей выражать свои эмоции. Он же по той же причине был значительно более строгим,

требовал более точной игры. В общем, по всем параметрам контрабас получался более серьезным инструментом. Очень хотелось попробовать самому извлечь из него звук, но ни контрабаса, ни контрабасистов в достижимом радиусе не появлялось – в московском рок-н-ролле контрабас не использовался, а джазисты ходили своими дорожками, считая рокеров музыкальными недоносками и не подавая им руки. Поэтому первый контакт произошел не так уж давно – лет десять назад, когда я в поисках новых красок решил записать пластинку с группой «Папоротник». Это была такая развеселая, почти уличная команда, и в составе у них была скрипка, аккордеон, ударные и контрабас. Гитара как раз отсутствовала, что меня и привлекло, хотелось немножко от нее убежать, к тому же моей собственной было вполне достаточно. Наличие же контрабаса сыграло главную роль – я уже влюбился в этот огромный нелепый инструмент. Контрабасист в «Папоротнике» оказался, прямо скажем, не очень. Но, во-первых, выбирать было не из кого, а во-вторых, мне на первых порах хватало самого контрабасного звука – партии можно было играть самые простые. Сочетание низкой бархатной ноты контрабаса с аккордом моей акустической гитары вызывало у меня трепет – особенно если удавалось взять то и другое одновременно.

В искусстве имитации звучания живых инструментов электроника продвинулась далеко, но успехи по всем фронтам разные. Весьма похоже могут звучать барабаны, бас-гитара. Похоже звучит струнный оркестр. С роялем немного хуже. С духовыми хуже. А вот с контрабасом беда – звук его настолько живой, настолько богатый обертонами и настолько разный в зависимости от нюансов игры, что ни в какие электронные консервы он не помещается – обман сразу слышен. Правда, играть на контрабасе должен мастер.

Вообще на любом инструменте должен играть мастер, но при игре на контрабасе нехватка мастерства особенно заметна. Когда я это понял, в команде появился великолепный контрабасист, а еще – потрясающий пианист, а еще фантастический барабанщик, а еще отличный трубач, и называться команда стала «Оркестр Креольского Танго».

Но это уже совсем другая история.

И еще раз про гитару

Казалось бы, хватит уже, сколько можно. Не могу, снова и снова возвращаюсь к великой загадке гитары. Сколько музыкальных инструментов придумало человечество, а именно гитара стала самым любимым и самым народным. Почему? Думаете, из-за Битлов, из-за рок-н-ролла?

А не наоборот?

Не рок-н-ролл ли появился благодаря гитаре? Не гитара ли увела твист и буги от элитарного джаза в народ? Не народная ли любовь заставила умельцев тридцатых годов подарить гитаре электрический голос? А до этого был блюз – и он тоже родился благодаря гитаре. А еще гитара была оружием бардов по всему миру. А еще она пела в руках цыган по всему свету. А еще…

Во первых, гитара – какой-то очень соразмерный человеку инструмент. В соотношении размеров человека и гитары спрятано золотое сечение (не промерял, но убежден – глаз не обманывает). На Гавайских островах играют на маленьких гитарках. Такая гитарка называется «уклел» или «укулелле», она меньше обычной в два, а то и в три раза и звучит гораздо выше (это, кстати, и есть настоящая гавайская гитара, а не то, что мы привыкли ею считать. То, что мы привыкли, называется «steel guitar» и выглядит и звучит совсем иначе). Так вот, это очень забавный инструмент, но всерьез полюбить его на всю жизнь невозможно, хочется сдать в кукольный театр. Как нас при Совке заставляли полюбить русские народные инструменты – балалайку, например. Или украинскую домбру. Гитара, напротив, не поощрялась – она считалась символом мещанства. Не получилось – не заиграли барды на балалайках.

Диапазон гитары совпадает с диапазоном человеческого голоса – это свойственно совсем не каждому инструменту. Поэтому очень часто в песнях – «Поговори же ты со мной, подруга семиструнная…». У гитары человеческий голос, с ней можно говорить дуэтом. Мне кажется, это важное качество.

Далее. Овладеть гитарой просто. Поймите меня правильно. Я говорю не о вершинах исполнительского мастерства. Я говорю о том минимуме, который позволит вам задушевно напевать в компании десяток любимых песен. В общем, три аккорда. Вы освоите их за неделю. Применительно к скрипке этого времени не хватит даже на то, чтобы научиться ее правильно держать. Рояль испугает вас количеством черных и белых клавиш, да и таскать его с собой сложно. Баян… в общем, баян не пошел.

А гитара пошла.

Я берусь за неделю обучить трем аккордам медведя. Если ему постричь когти. И если он проявит хоть малейшее желание.

Исключения крайне редки. Никогда не забуду своего школьного учителя физкультуры Игоря Палыча. Он обожал песни Высоцкого, а я ненавидел физкультуру, поэтому соглашение родилось само собой – я научу его играть на гитаре, а он закроет глаза на мои нерегулярные посещения его предмета.

Игорь Палыч действительно освоил необходимые три аккорда крайне быстро. Он даже запомнил, в какой последовательности их следует зажимать, чтоб получился Высоцкий. Дальше происходило невообразимое: Игорь Палыч брал первый аккорд и начинал осторожно петь. Причем темп его пения чуть-чуть либо отставал, либо опережал темп его игры. И если в первом куплете это еще можно было терпеть, стиснув зубы, то к середине второго песня неумолимо разъезжалась в разные стороны. Я пробовал повторить это чудо полиритмии – у меня даже близко не получалось.

Недавно мы с Сашей Розенбаумом и маленькой компанией друзей путешествовали на лодке по реке Парагвай – это юг Бразилии. Места вокруг простирались дикие, мы днями не встречали ни одного человека. А на пятый день наткнулись на крохотную деревушку – школа и домик учителя. В эту школу свозили индейских детей со всей округи. Их там училось восемь человек разного возраста. Школа представляла собой соломенную хижину – три стены и крыша. И на одной стене висело восемь гитар – по количеству учеников.

Это была не музыкальная школа. Обычная.

Здорово, да?

Человечество глохнет. То есть оно и слепнет, и глупеет, но это темы для другого исследования. Среда, окружающая нас, с каждым днем становится насыщенней и агрессивней, и у нашего организма один выход – спасать себя. А значит – защищаться.

В естественной, природной среде каждый звук ценен, потому что он несет тебе конкретную и важную информацию. Зашумело в ветвях – значит, начинается ветер, застучали капли по листьям – пошел дождь, хрустнула ветка – кто-то идет, не к тебе ли?

Жизнь в городе наполнена несметным количеством совершенно бесполезных для тебя звуков: несутся машины под окном, пролетел самолет, грузчики матерятся во дворе, разгружают трубы и эти трубы жутко гремят, в телевизоре кто-то хохочет или рыдает. Сосед-сволочь второй день сверлит стену – и что тебе от этого знания? Учимся не замечать.

И вот мы начинаем бояться тишины. Чувствуем себя дискомфортно. Придя домой, сразу включаем телевизор – не

смотреть, нет, он вообще в другой комнате – просто чтоб кто-то разговаривал. Я знаю девушек, которые элементарно не могут общаться, если в качестве фона не играет какая-нибудь музыка – все равно какая.

А музыка – это, вообще-то, чтобы слушать.

О каком, к черту, качестве звука мы говорим?

Один мой товарищ рассказал мне об очень интересной теории – теории ухудшающей конкуренции. Представьте себе компанию, выпускающую музыкальные комбайны – бытовую музыкальную технику. Их техника являет собой эталон стабильного среднего качества – хороший ширпотреб. Эта компания завладела рынком, и что должна сделать конкурирующая компания, чтобы ее подвинуть? Самый простой способ – выбросить на рынок аналогичный продукт за меньшую цену. При этом и качество его несколько понизится, это неизбежно, но об этом мы кричать не будем, а вот о том, что на рупь дешевле, – обязательно. Сработало, и вот уже продукция победившей компании заполоняет рынок, и ее чуть пониженное качество назавтра становится эталоном. Что должны сделать следующие конкуренты? Правильно!

Это несколько упрощенная схема, но в целом понятно, правда?

Когда мы записывались на студии «Эбби Роуд» (мы поехали туда не за пафосом и не из желания быть как Битлы, клянусь. Мы поехали за Звуком), я пел в микрофон «Пато Маркони», изготовленный в одна тысяча девятьсот сорок восьмом году. В этот же микрофон в свое время пела Элла Фитцжеральд, Фред Астер, Джон Леннон. Микрофонов этой модели на студии «Эбби Роуд» семь (а самой студии, на минуточку, семьдесят шесть лет!), их там берегут как зеницу ока – не потому что в них пели великие, это студия, а не музей – просто они звучат так, как никакие другие микрофоны в мире не звучат. Самые современные не звучат. Странно, правда? Вроде и наука идет вперед, и технологии не стоят на месте.

MP-3 – очень удобный формат. Скачал две тысячи песен в спичечный коробок и ходишь себе, слушаешь. Звучит, конечно, чуть хуже, чем CD, но ведь это только чуть-чуть – зато две тысячи! А разницу в качестве звука ты через час уже и замечать перестанешь. А завтра и сидишки канут в прошлое – как устаревший носитель. И неуемное человечество придумает новый – какой-нибудь MP-6, и можно будет уже десять тысяч песен мгновенно скачать себе под ноготь или в специальное дупло зуба, а то, что звучит это дело чуть хуже, чем MP-3 – ерунда, привыкнем.

Есть еще в мире обеспеченные безумцы, приобретающие себе за огромные деньги суперхайэндовскую студийную акустику, ламповые усилители, вертушки на мраморных столах и провода с платиновыми контактами чтобы все это соединить. Это не из желания расстаться с деньгами – это ради настоящего Звука. Динозавр последний раз бьет хвостом. В мире даже наблюдается возрастающий интерес к винилу (боюсь, увы, ненадолго), и на нем переиздаются старые альбомы и кое у кого выходят новые. А винил отличается от CD настолько же, насколько CD от MP-3, и словами это описать невозможно – это надо услышать.

Если пока еще есть чем.

Совсем недавно изобрели электронную музыку. (Я имею в виду не электрогитару, где живой звук инструмента усиливается и, если надо, трансформируется. Я говорю о синтезированных звуках.)

Человечество ахнуло – какая красота! Да это новое рождение музыки! Да здравствует прогресс! Прошло несколько лет – наигрались. Новорожденное чудо оказалось пустышкой, годной разве для озвучивания низкобюджетных фантастических фильмов. Ибо жизнь в мертвые звуки не вдыхалась. Все там было – кроме живых обертонов, делающий неживой голос живым. То есть того, что отличает живые инструменты. Человек слышит за время жизни, наверное, сотни тысяч голосов, а голос своей любимой узнает даже через телефонные помехи мгновенно.

Какие мы, оказывается, разборчивые!

Тогда электроника кинулась имитировать живые инструменты. В самом деле – что проще: возить с собой симфонический оркестр или небольшой клавишный инструмент, этот оркестр практически заменяющий?

Практически. Это слово в русском языке выполняет довольно странную функцию, а мы и не задумываемся. «Я практически не опоздал» – это значит, все-таки опоздал. «Я практически попал в цель» – значит не попал! Практически заменяющий – не заменяющий.

Либо заменяющий, согласно теории ухудшающей конкуренции. И соответственно – нашей растущей глухоте.

Стремясь уйти от электронного звука, придумали мелотрон. Это и не электронный инструмент – на кольца пленки записаны ноты, сыгранные на живых скрипках, виолончелях, духовых. Ноты, сыгранные хорошими музыкантами. Нажимая на клавиши, ты включаешь звучание этих записанных нот. В основе все живое, правда?

Попробуйте записать на любой звуконоситель сто слов, произнесенных лучшими чтецами, а потом составить из этих слов

рассказ. Вам станет страшновато – люди так не говорят. Это вы сегодня еще заметите. Пока. А разве со скрипками не то же самое?

Отличите, нет?

Сегодня мелотрон уже стоит в музее. Кольца магнитофонной пленки заменили на микрочипы, несущие цифровую информацию.

И что изменилось?

Хороший биг-бенд – это когда роскошные щеголеватые ребята хором рассказывают тебе веселую и слегка интимную историю. Держат тебя за своего. Партия этого же биг-бенда, сыгранная нота в ноту на электронном заменителе, может, и вызовет в твоем воображении сверкание дудок и белые пиджаки музыкантов, а лиц ты уже не увидишь, и никакой сопричастности не ощутишь, и из истории уйдет весь шарм и вся соль. Анекдот без последней фразы.

Ну, натуральная кожа и кожзаменитель – так понятно? С двух метров – один к одному, а на ощупь – не то, и пахнет дерьмом, и вся спина вспотела.

И вот еще что. Никогда в истории человечества музыка не вела себя по отношению к человеку так агрессивно. Она всего каких-то сто лет назад стала достоянием, как сказал бы Ленин, широких масс. Одновременно с изобретением звукозаписи. А до этого светская музыка была привилегией человеческой верхушки (это, дай бог, одна тысячная часть населения), церковная музыка жила в храмах и соборах, а народ развлекал себя сам, правда, это тоже была музыка. Три этих направления не пересекались, и музыка не гонялась за человеком и не набрасывалась на него. Любое исполнение музыкального произведения – даже в крепостном театре – было единственным и уникальным, и нельзя было поворотом ручки убрать громкость или нажать на «стоп», если, конечно, барин не выходил из себя. С изобретением радио музыка хлынула в наши уши, а звукозапись сослужила двойную службу: с одной стороны, у каждого появилась возможность услышать великих музыкантов и великие произведения, с другой стороны, оказавшись на пластиночке, музыка девальвировалась до «чего изволите?». «Сними Паваротти, поставь Моцарта, сделай потише и пусть несут горячее!»

Сегодня музыка несется на нас отовсюду, только электроутюг еще не поет, но это ненадолго. Причем это не та музыка, которую мы хотели бы слышать. Вы хоть помните, чего вы хотели? Или вам так и не дали понять? Смиряемся, выбираем из того что есть, переключаем диапазоны радиостанций – одна другой лучше.

Жуем кожзаменитель.

Друзья мои. Шесть с половиной миллиардов людей, населяющих нашу планету, плывут в неизвестное будущее бескрайней рекой, и мы с вами – песчинки в этом потоке. И если вы думаете, что вы волей своей и действиями способны изменить это течение, умерьте гордыню. Мы думаем, что мы делаем, а на самом деле с нами происходит (это, кажется, Гурджиев). Но… Нам с вами посчастливилось родиться и жить на удивительном повороте этой реки, в эпоху Великой Музыкальной Революции, и мы свидетели уникальных музыкальных событий и явлений, и чудо нашего момента состоит в том, что еще помнят и чтят Великих Позавчерашних, еще любят Великих Вчерашних, и пока есть возможность услышать Великих Сегодняшних. Будут ли Завтрашние? Бог даст, будут. Конечно, будут. Просто Река бежит быстрее и быстрее, а за поворотом – понесет, и не будет уже ни Позавчерашних, ни Вчерашних, их место займут редкие Сегодняшние и то вряд ли: не такие уж они и великие, а память человеческая стремительно укорачивается обратно пропорционально скорости течения.

Вы еще не поняли, что нет ничего Вечного?

Так вот, мы с вами сегодня на удивительном повороте. И у нас еще есть возможность услышать грозные библейские пророчества Баха, светлые и грустные повести Рахманинова, милые женские рассказы Шопена, безумные саги Майлса Девиса – истории без слов. Есть еще возможность пропустить через себя электричество Битлов, языческие пляски Джаггера, восхититься полетом голоса Эллы Фитцджеральд, с удивлением ощутить улыбку на лице, слушая трубу Армстронга.

Мы еще не потеряли способность вдруг заплакать от сочетания нескольких божественных звуков – как нас ни глушат.

Не упускайте свой шанс, друзья мои. Жизнь коротка.

Что за жвачку вы там жуете? Выплюньте немедленно!

Москва – Кабо Верде, 2008

Евино яблоко

Вместо предисловия

Все персонажи этого повествования, включая Толика, вымышлены, и автор не ставил себе задачу добиться их сходства с реальными людьми. Если кто-то все же такое сходство усмотрел – это его проблемы. В любом случае автор никого обидеть не хотел. Честное слово.

1

– А кстати, почему яблоко – Адамово? Вообще говоря, инициатива целиком исходила от Евы. Адам всего лишь проявил слабость. Это Евино яблоко! А кадык назвали таким образом, видимо, потому, что Евино яблоко встало Адаму поперек горла?

(Из разговоров с Толиком)

2

В привычку Егора не входило анализировать уже случившиеся события – случилось и случилось. Все равно ничего никогда не повторяется. Поэтому даже собственный жизненный опыт – вещь вполне бессмысленная, а о чужом и говорить нечего. По этой причине Егор далеко не сразу заметил, что наличие везения в его жизни, скажем так, превышает среднестатистические параметры.

В конце концов, кто эти параметры установил? Согласно теории вероятности бутерброд должен падать маслом вниз столько же раз, сколько маслом вверх. Желательно через раз. Отрежьте кусок хлеба, намажьте его маслом и проведите эксперимент. Только не жульничайте при броске. Что получится? А вот что: у разных людей результаты окажутся разные, и объяснить это с точки зрения физики невозможно. Был у Егора приятель – тоже, кстати, музыкант, – звонивший ему раз в месяц исключительно в тот момент, когда Егор разговаривать просто не мог: смертельно опаздывал куда-то, или стоял под душем, или тушил пожар. Тут раздавался звонок, Егор, чертыхаясь, хватал трубку и слышал неторопливое, расслабленное: «Привет, Егорушка… Ну, как дела?» С течением времени приятель пришел к убеждению, что Егор просто не желает с ним общаться, и у Егора не находилось аргументов, чтобы его разубедить. Разве что

позвонить самому. Но просто позвонить, чтобы потрепаться, Егор не мог – он этого не понимал. Телефон – это для дела. А общих дел у них не было. В конце концов Егору даже стало интересно: сумеет ли этот приятель хоть раз попасть своим звонком в удобное, нормальное время? Нет, этого так и не произошло. Мало того: оказалось, что он всем знакомым звонил в самый неудачный момент. Всегда. Явление носило ярко выраженный мистический характер. В результате приятель разобиделся на знакомых, а заодно и на страну, и уехал в Израиль. Теперь он звонил Егору из Иерусалима, и Егор, выскакивая из-под душа с намыленной головой, стиснув зубы, слышал знакомое: «Привет, Егорушка… Ну, как вы там?»

* * *

Егор родился в Москве в знаменитом роддоме Грауэрмана – его семья жила совсем недалеко, на Гоголевском бульваре. Позднее Егор пришел к выводу, что другого роддома в центре, видимо, и не было – все его ровесники-москвичи были произведены на свет именно там. Даже странно: такой маленький

зеленый трехэтажный домик в самом начале Арбата. Впрочем, Москва в те времена и была один центр – уже за площадью Гагарина, которая тогда называлась Калужской заставой, начинались глухие окраины с редкими островками новостроек.

Родители Егора относились к тонкой прослойке интеллигенции – мама работала в литературном журнале, отец – в строительном управлении. Наверное, Егор рос в замечательной семье – откуда мы знаем? Детство у каждого бывает один раз, и родители бывают один раз, поэтому сравнить не с чем, да и как оценишь? Глядя на друзей по двору? Вон у Генки отец пьет и Генку иногда лупит – а Генка все равно бегает счастливый. Или нет?

Егору досталось от отца дважды, и это произвело на него сильнейшее впечатление. Один раз он, раздухарившись, наподдал ногой красно-синий резиновый мяч, мяч подлетел вверх и свалил с пианино старую бабушкину вазу. Второй раз, уже позже, в школе, Егор попытался переправить в дневнике двойку на пятерку (ничего не получилось), протер в серой бумаге дырку, обреченно ждал неминуемого. Страшно было не от ударов по попе, а оттого, что отец так рассердился.

Мать Егора была тихая, голоса никогда не повышала и сердиться, кажется, совсем не умела. Она умела только расстраиваться. Сколько Егор ее помнил – она все время сидела за своим письменным столом, закутавшись в большой коричневый шерстяной платок, листала бумаги, что-то подчеркивала, стучала на пишущей машинке «Эрика». Машинка была главным предметом восхищения Егора. Иногда ему удавалось упросить маму, и она давала ему попечатать. Счастье длилось недолго – Егор старался воспроизвести музыку, вылетавшую из-под маминых пальцев, для этого надо было бить по клавишам быстро и ритмично, но буковки на тонких металлических ножках намертво сцеплялись между собой у самой бумаги, машинку заклинивало, мама хмурила брови, снимала с машинки крышку, разлепляла буковки и просила Егора нажимать клавиши медленно и по очереди. Медленно и по очереди было неинтересно.

Еще из детства в памяти остался игрушечный футбол – жестяное граненое поле зеленого цвета, в него натыканы маленькие футболистики в красной и синей форме: «Спартак» – «Динамо». Они играют крохотным стальным шариком, для этого надо щелкать курочками по краям поля – у каждого футболистика свой. Очень трудно запомнить, какой курок от какого игрока. Отец соображает быстрее, обидно. А если поле перевернуть – вообще интересно: от игроков к куркам идут длинные пружинки.

Похоже на пишущую машинку.

Приходила учительница музыки Рита Абрамовна – каракулевая шуба, малиновые ногти. Композитор Майкапар, «В садике». Слегка расстроенное пианино стояло у стены в гостиной, укрытое серым льняным чехлом, и воспринималось маленьким Егором как мебель: мама всего пару раз на его памяти открывала пианино, садилась рядом и извлекала из него тихие печальные

звуки – Шопен. Егор и предположить не мог, что этот черный комод в чехле может стать орудием пытки. Два года фортепьянных мучений запомнились Егору как один бесконечный поход в поликлинику к зубному – не так больно, как страшно и противно. Еще запомнилось ощущение бесконечного счастья – в тот день, когда он узнал, что Рита Абрамовна больше приходить не будет.

* * *

Егору досталось расти в странное время. Про время это написаны книги, сняты фильмы, наворочены горы вранья. Но запах его, дыхание его помнят только те, кто это время застал, кто дышал его воздухом. Огромная неповоротливая страна то грозила миру атомной бомбой, то осыпала золотым дождем новорожденные африканские страны, жители которых только-только вышли из джунглей. А своих сыновей держала в черном теле, и ничего, ловко у нее это получалось, и не было ни богатых, ни бедных, ибо если нет богатых, то как поймешь, что бедные – все, и недосягаемым верхом благосостояния считалась машина «Волга» и дачный участок в шесть соток, и все говорили немножко не то, что думают, и делали немножко не то, что хотелось, и ходили на партсобрания, и дружно поднимали руки, одобряя исторические решения съезда, и панически, безмолвно боялись власти, и занимали пять рублей до получки, и возвращали в срок, и смирно стояли в бесконечных очередях за кефиром, «докторской» колбасой и портвейном «Кавказ», и банку сайры можно было увидеть только в праздничном продуктовом заказе по спецраспределению, а книгу «Три мушкетера» получить, сдав двадцать килограммов макулатуры, и на кухнях говорили вполголоса в синем табачном дыму, и крутились катушки на огромном магнитофоне «Днепр», и тихо пел Окуджава:

– По Смоленской дороге – леса, леса, леса…

* * *

Мама умерла от рака и оттого, что ее вдруг выгнали из издательства. Егор смутно чувствовал, что связано это было с тем, что она выстукивала дома вечерами на машинке, но был он к этому моменту еще мал, и битлы еще не ворвались в его душу, и родители выдворяли его из комнаты, когда в ней велись взрослые

разговоры, и он сидел в спальне на кровати и тупо щелкал рычажками на своем жестяном футболе, и послушно махали ножками плоские футболистики – щелк-щелк!

На мамины похороны пришло неожиданно много народу, никого из них Егор раньше не видел. Мама лежала худая и совсем непохожая на себя, говорились какие-то дурацкие речи, было холодно, страшно, и хотелось скорее уйти. Позже Егор много раз думал: ведь он ничего не знал о том, чем его мама занималась. А теперь уже не узнает – негде и не у кого. Мамина смерть, которая, казалось, должна была сблизить Егора с отцом, напротив, их вдруг отдалила: отец постарел, замкнулся, стал уж вовсе неразговорчив – а он и раньше многословием не отличался, – и было похоже, что никто ему больше не нужен. Приехала тетя из Ленинграда, пожилая, почти незнакомая Егору женщина, семейные отношения с которой у него тоже не сложились. Пара лет пролетели незаметно, а потом до Советского Союза докатилась, сметая барьеры и железные занавесы на своем пути, битловская взрывная волна, и Егора вместе с тысячами его сверстников и сверстниц подняло в воздух, закрутило, понесло, и все остальное на свете перестало иметь для них смысл и значение.

Что это было? Какое диковинное электричество прошло через сердца молодых людей всего мира? Сейчас Егор не смог бы ответить на этот вопрос, а тогда он им и не задавался – все вдруг радостно сошли с ума. Возмущалась главная газета «Правда», плевались политобозреватели с серых экранов телевизоров, трещали заслоны – все это было смешно. В конце концов, спустя полтора десятка лет, не выдержав напора волны, рухнул глиняный динозавр по имени Советский Союз – задолго до того, как Ельцин документально подтвердил его смерть в Беловежской Пуще. А тогда, в шестьдесят девятом, Егора как будто смыло с убогого безлюдного берега в волшебное разноцветное море, полное новых друзей и подруг, и совсем рядом неслась невероятная Желтая Подводная Лодка. И никому не приходило в голову, что битлы уже подписали приговор их угрюмой бескрайней родине – цветы и песни, песни и цветы!

В общем, скоро родительскую квартиру на Гоголевском бульваре разменяли на две однушки, отец уехал в Беляево, а Егору досталась маленькая квартирка в самом начале Ленинского проспекта – рядом с Институтом стали и сплавов, куда он только что поступил. Какие стали, какие сплавы! К этому моменту Егору было совершенно все равно, куда поступать, он просто не хотел огорчать отца и выполнял завет матери – поступить хоть куда-нибудь. Раньше, в детстве, Егору нравилась профессия врача –

холод блестящего металла инструментов, благородная миссия – спасать людей. Еще он заметил – а мама часто таскала его по врачам, – что пациенты всегда немного заискивают перед врачом, а то и побаиваются его, дарят ему конфеты. Врач как бы стоял чуть-чуть выше обычного человека, это не могло не привлекать. Егор уже было собрался в мед, но необходимость изучать там мертвую латынь резко оттолкнула. В одном черепе двести костей! И все по-латыни! Зачем? А про «стали и сплавов» он узнал случайно от своего товарища Вовки Матецкого – они отчаянно обменивались дисками – «пластами». Раз – и поступил. Как такое бывет? Вдруг. Когда не особенно стараешься и переживаешь – обычно получается легко и хорошо. Поэтому и квартиру выменивали в этом районе, и получилось совсем рядом – пять минут пешком.

В квартире Егор оказался почти один. Тетя Фира из Ленинграда вызвалась его опекать, жила на кухне, но это было невыносимо, и тетя Фира сама это понимала, так что Егору осталось чуть-чуть поднажать – и тетя уехала в свой Ленинград, оставив Егору полный холодильник кастрюлек с невкусной едой и какой-то свой легкий специфический запах. Свобода!

* * *

Первый раз Егору повезло совсем давно. Ему было лет семь, и мама возила его в Гурзуф. Гурзуф прилепился своими кривыми белыми домиками и чопорными сталинскими санаториями к склону древней горы, внизу синело невозможное море. Жили они с мамой в хрупкой кривой клетушке во дворике, по которому ходили поджарые крымские куры и всегда сохло белье – в основном всевозможные плавки и купальники: квартирантов было много. В сени дерев на маленьком столике сипел керогаз, что-то варилось, со стуком падали на землю перезрелые сливы. У мамы обнаружился знакомый в военно-морском санатории – какой-то капитан, здоровенный и молчаливый. Он не оставлял маму вниманием: молча потея, сидел с ними на пляже, вечерами они втроем ходили в «Старт» – кинотеатр под открытым небом – и даже протащили Егора на взрослый фильм «Великолепная семерка», практически спрятав его под маминым сарафаном. На третий день Егор почувствовал, что он в этой компании лишний. Это его совершенно не огорчило – наоборот: вокруг было столько интересного! Егор просыпался рано утром, часов в шесть, когда мама еще спала, и бежал копать червей к вонючему арыку, несущему скверну из стоящих на горе пятиэтажек. С этими

червями в баночке из-под майонеза и леской, намотанной на деревяшку, он вприпрыжку спускался к пирсу и до полудня в компании таких же огольцов ловил расписных зеленух и мордастых бычков, держа натянутую леску на пальце. В двенадцать на пирс заходила мама, сзади вышагивал капитан. Егора вели в блинную на набережной, кормили блинами со сметаной, звали с собой на пляж – но на пляже было жарко и скучно, Егор уже тогда не мог просто так валяться под солнцем без дела. И он убегал в Генуэзскую крепость.

Крепость нависала над бухточкой под названием Чеховский пляж на самом краю Гурзуфа – впрочем, до этого самого края было рукой подать. Надо было пройти мимо пирса, к которому уже вовсю причаливали белые прогулочные пароходики, и из их рупоров-колокольчиков несся над морем голос Эдуарда Хиля: «Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда…» Потом следовало обойти поверху Дом творчества художников имени Коровина, в просторечии Коровник, и по узенькой крутой тропке спуститься на Чеховский пляж. Второй путь шел по воде – надо было, наоборот, спуститься у самого Коровника к морю и, перелезая через старые шаланды и ржавые рельсы, ведущие в воду, дойти до скалы Шаляпина – красивого утеса, уходящего основанием в зеленую глубину. Тут спортивные юноши и их загорелые подруги прыгали в море, огибали скалу Шаляпина вплавь и выбирались на берег в безлюдной бухте Чеховского

пляжа. На этот путь Егор не решался – волны с грохотом и брызгами били в отвесную стену утеса, а плавать Егор практически не умел.

Крепость, вернее, то, что от нее осталось, являла собой руины грубо сложенных стен с большими прямоугольными проемами и заваленными проходами в какие-то подземные пространства. Чтобы добраться до нее, приходилось карабкаться вверх по еле заметной и почти отвесной козьей тропке, обдирая колени о сухие колючки и чувствуя спиной море. По кромке крепостных стен ходили чайки, кося на Егора недобрым глазом, кое-где было накакано, но вид сверху открывался волшебный и атмосфера завораживала. Прямо под скалой гуляли темно-зеленые волны, на плоских камнях лежали небольшие человечки спинами вверх – девушки с развязанными шнурочками купальников, – белоснежные чайки висели в воздухе на одном уровне с Егором, и он мог смотреть на них сбоку. Егор обожал это место. В один из таких походов он зачем-то выбрался из проема в дальнем конце крепости, где скала под ней вертикально падала в море. Он потом не мог объяснить себе, зачем туда полез – как будто его что-то толкало. Камни под его сандаликами посыпались, он заскользил вниз и через мгновение обнаружил себя висящим над бездной. На дне бездны ворочалось море.

Егор проехал на спине метра три, собирая колючки, но до воды было еще очень далеко. Моментально покрывшись холодным потом, он понял, что сцепления его рубашки и шортиков со скалой хватает ровно на то, чтобы застыть неподвижно и не дышать – о том, чтобы попытаться выбраться наверх, не могло быть и речи. Егор, скосив глаза, посмотрел вниз. Слева и справа – почти под ним – из кипящей пены выступали темные камни. Еще дальше, правее, на берегу лежали маленькие отдыхающие. Вверх никто не смотрел. Да и кричать было страшно – для этого пришлось бы набрать воздуха в легкие. И тогда Егор, неловко и отчаянно оттолкнувшись всем телом от колючей стены, полетел вниз.

Он даже не ушибся об воду. Она только с неожиданной силой ударила в нос, оказалась где-то внутри головы и потом на протяжении двух дней то и дело вдруг начинала вытекать обратно – в самые неподходящие моменты. Егор не помнил, как он летел, как оказался в воде, как догреб до прибрежных камней – они были совсем рядом. На пляже никто ничего не заметил. Потом Егор приходил посмотреть на это место снизу – снизу казалось не так безнадежно высоко, как сверху, но этажа четыре туда укладывались свободно. И вот что интересно – Егор не мог вспомнить страха. Нет, страх был, пока он висел на скале. А в

момент, когда прыгнул, – не было.

Маме Егор решил ничего не рассказывать. И в крепость больше не забирался.

* * *

Вторая и третья истории произошли несколько позже, одна за другой. Вторая случилась в метро, на станции «Кропоткинская». Егор вбежал на перрон (сколько он себя помнил в этом возрасте – он всегда бежал), а поезд уже собрался отходить, двери зашипели. Егор сделал последний рывок – и одна нога его оказалась в вагоне, а вторая провалилась между вагоном и платформой. Двери закрылись, поезд тронулся. И тут случилось невероятное: какой-то дядька в кепке, по виду – совершенный таксист, одной рукой рванул красную ручку «Стоп-кран – отключение дверей», а другой – втянул Егора в вагон. За шиворот. Слегка встряхнул и поставил вертикально. При этом он не произнес ни слова и даже как будто смотрел немного в сторону, и лицо его с надвинутым на глаза кепарем выражало полнейшую невозмутимость. Вроде как он специально здесь стоял. Через пару секунд двери вагона снова закрылись и поезд поехал. Егор дрожал, пассажиры качали головами: «Носятся, как сумасшедшие…» – дядька вообще отвернулся, как будто ничего и не произошло. Егору казалось, что путь до следующей станции бесконечен. На «Парке культуры» он выскочил – невозможно было находиться в этом вагоне, – даже не сказав дядьке «спасибо», долго сидел на скамейке, переводил дух, рассматривал дыру в штанине и длинный расцветающий синяк – через дыру, представлял себе, как его должно было раскатать. Получалась жуткая картина.

А спустя еще пару месяцев Егор опаздывал в школу и перебегал улицу у самой Арбатской площади – от дома к памятнику Гоголя. Накануне навалило снегу, который превратился на мостовой в кашу цвета кофе с молоком, было скользко. Добежав в четыре прыжка до середины улицы, Егор вдруг увидел боковым зрением, что прямо на него несется черная «Волга». Не успев ни подумать, ни принять решения, Егор обнаружил, что развернулся и бежит обратно к тротуару. Удар пришелся по его желтому ранцу из искусственной кожи, и тот отлетел метров на двадцать. А Егор не то что не упал – он даже не остановился, просто сменил направление бега, подхватил с мостовой ранец за оборванные лямки и свернул в Малый Афанасьевский – от орущего вслед водителя криво затормозившей «Волги», от остолбеневших прохожих, вообще от

ужаса произошедшего. Он чувствовал, как хромированный ободок фары «Волги» дробит ему позвоночник, и никак не мог избавиться от этого ощущения.

Ничего – побродил по арбатским переулкам, привязал оторванные лямки к ранцу узелками (пристегивать было уже не к чему, получилось немного коротковато, но терпимо), пошел в школу. Ко второму уроку.

* * *

А еще через пару лет постылая школа вдруг закончилась – и какая понеслась жизнь! Их команда с гордым названием «Вечные двигатели» уже к третьему году своего существования не то что гремела, но, скажем так, производила некоторый шум в московском подполье. И модные хипповые герлы на стриту уже оборачивались, когда Егор с басистом Митей шли по правой, тусовочной стороне этого самого стрита в направлении кафе «Московское». А когда тебе семнадцать лет, каждый такой взгляд очень много значит. И все кажется возможным.

Все в один момент стали почти независимыми людьми – почти, потому что денег было мало. Но денег было мало у всех, а если вдруг у кого-то их оказывалось больше, то тратили их вместе – быстро и весело. Да и на что было тратить? По ресторанам их компания не ходила – а их и не было, ресторанов-то, в нашем сегодняшнем понимании: те несколько чопорных и унылых заведений, которые и назывались тогда ресторанами, не привлекали совершенно. Исключение составлял ресторан «Пекин» на первом этаже одноименной гостиницы: подавали там диковинные китайские блюда за копейки, и можно было на три рубля напробоваться до невозможности. Советские люди это заведение особо не жаловали, опасаясь, что их накормят червяками, а Егор с друзьями обожал. Ходить туда следовало днем, вместо лекций, когда посетителей нет вообще и официанты просто вынуждены обратить на тебя внимание. Не каждый день, конечно. Раз в месяц. Да нет, вполне хватало на жизнь – отец подбрасывал понемногу, плюс стипендия, пиво стоило двадцать четыре копейки, а джинсы носились вечно и делались от этого ношения только лучше и лучше. Конечно, были еще другие деньги – священная касса для приобретения «аппарата»: динамиков, колонок, усилителей, гитар, струн, клавиш, барабанов, тарелок, проводов, – всего того, без чего невозможен рок-н-ролл, и пополнялась она за счет сейшенов, на которые «движков» приглашали все чаще. Касса медленно и верно росла, и

никому не могло даже в голову прийти взять оттуда, скажем, трояк на бутылку. Хранителем кассы был Егор.

Ух, какая это была жизнь! Она неслась где-то совсем рядом с убогим, вечно будничным существованием советской страны – и

не имела к ней никакого отношения, и вся была – праздник. Граждане государства уныло шли на работу, читали газеты, смотрели по телевизору программу «Время», очередной съезд коммунистической партии принимал исторические решения, страна клеймила позором американский империализм и израильскую военщину, послушно ликовала седьмого ноября и Первого мая, а здесь, в другом измерении, среди верных друзей и внезапных подруг до утра до хрипоты спорили, кто поет верхний голос в «One after 909» – Пол или Джордж, и стирали в кровь пальцы об ужасные струны, безуспешно снимая пассажи Джимми Хендрикса, и курили до одури, и пили все, что можно и нельзя было пить, и были счастливы, и не было для них другого мира. Уже много позже, вспоминая эти годы, Егор поражался – как мало места в его памяти занял институт: ну, какие-то страхи перед экзаменом, ну, какая-то смешная поездка на картошку. Все! И даже когда его вытурили из этого самого института – не за хвосты, нет, хвостов не было, он умудрялся учиться хорошо, а в результате очередной идеологической чистки рядов советской молодежи, – даже это, в общем, обидное неординарное событие никаких воспоминаний не оставило.

3

Интересное дело – «Вечные двигатели», начавшие свое существование еще в школе как шаманская секта по прослушиванию ансамбля «Битлз» с целью извлечения из электрогитар максимально похожих звуков – юная группа, которую никто не принимал всерьез, – эти «Вечные двигатели» постепенно набирали обороты и становились модной командой. Слава пришла к ним не в один день, и, возможно, это уберегло их от головокружения. Да и с самоиронией в команде всегда был полный порядок. Басист Митя, правда, на заре туманной юности любил привести на репетицию какую-нибудь чувиху, чтобы та сидела и смотрела, как он красиво поет и играет, но Егор с клавишником Дюкой так его простебали, что он надулся и водить чувих на репетиции перестал. Репетиции – это было святое, это было служение, медитация, молитва – какие бабы? Егор не заметил, когда команда стала известной, а потом знаменитой, – когда впервые, в семьдесят седьмом, они вырвались на сейшен в Питер и вдруг оказалось, что вся питерская система знает наизусть их песни – только по магнитофонным пленкам? Или в восемьдесят первом, когда они чудом, краешком попали в плохое советское кино, а народ ломился, чтобы увидеть «движков» на

экране, и страна впервые узнала своих героев в лицо? Или раньше, в восьмидесятом, когда директор Московской областной филармонии на свой страх и риск взял группу на договор, и их повезли на гастроли в город Минск, во Дворец спорта, с ужасной сборной солянкой в первом отделении, и Егор не представлял себе, как могут прийти на их концерт шесть тысяч человек, да еще два раза в день, да еще целую неделю подряд, а к Дворцу спорта тянулась километровая очередь, и вся милиция города была стянута для наведения порядка? И ведь не было в группе никаких виртуозов: играли и пели «движки», в общем, посредственно. Дело было в чем-то другом. В песнях, конечно. Но и в чем-то еще.

В начале семидесятых, когда рок-н-ролл еще полагалось петь по-английски, приоритеты были расставлены четко: инструмент, аппарат и умение играть «один к одному». Играй как Хендрикс – и будешь Хендрикс. Никому не приходило в голову, что Хендрикс уже есть и второй никому не нужен. Гитары ревели, чувихи сходили с ума, пипл тащился. А дальше – куда дальше? «Движки» среди этих хендриксов, пейджей и элвинов ли терялись совершенно. И тогда они, пока еще негромко, вслед за Градским и молодой «Машиной», запели по-русски. Свое.

А потом прошло еще несколько лет, и открылись кое-какие двери, и вдруг стало ясно, что никому не интересна эта игра в джимми хендриксов. И пошли хендриксы и сантаны лабать по кабакам и петь про комсомольские стройки в жуткие вокально-инструментальные ансамбли. Сколько судеб тогда было искалечено, сколько кумиров рухнуло с пьедесталов! А «движки» крепчали, матерели, ссорились и мирились, но не разбежались, как многие, и их вязали, но так и не посадили, топтали, но так и не растоптали, и мерли, как зимние мухи, один за другим генеральные секретари Коммунистической партии Советского Союза, а они все играли и пели, с каждым годом крепче и крепче стоя на ногах. И причиной тому, конечно, были их песни – ничем другим они внимания привлечь не могли. Что это были за песни? Егор не занимался анализом такого рода – пишутся, и слава богу. Песни у него получались очень простые – и даже, приглядевшись, можно было понять, что откуда выросло: немножко битлов, немножко Окуджавы, немножко Высоцкого, немножко «Машины». Ирония и жалость. Просто в них было что-то, заставлявшее фанов подхватывать их со второго раза и петь хором вместе с «движками», раскачиваясь в такт. Что это за неуловимая, необъяснимая составляющая? Мы не знаем.

Какой все-таки поразительный организм – группа! Егор часто думал об этом. С чем это можно сравнить? «Коллектив единомышленников» – как писали про них бездарные газетчики,

когда про группы стало можно писать? Чушь собачья, какие они единомышленники? Нет на свете более непохожих друг на друга людей. Просто однажды они отравились каким-то общим ядом, попали под один никому не видимый луч света. Такой изысканной смеси любви, зависти, дружеской верности и причудливых предательств в одном флаконе, пожалуй, не встретишь нигде. Годы – какие годы, десятилетия! – переплели, переплавили этих очень разных людей в совершенно невероятный конгломерат, и годы-то тут ни при чем – вы знаете, что такое таинство создания новой песни? И какое ощущение взаимного обожания и радости заливает команду, когда хорошая песня наконец родилась на свет? А ведь люди эти еще жили какую-то часть жизни, скажем так, «на стороне» – влюблялись, женились, растили детей. Интересно: жены (а периодически женаты бывали все) никогда внутри команды любовью не пользовались. Это что, ревность?

Иногда Егору вдруг на мгновение открывалась бесконечно сложная, хрупкая и, казалось, случайная связь людей, событий и явлений, поступков и результатов – так фотовспышка на долю секунды выхватывает из темноты комнату, заполненную множеством предметов. Все это напоминало хаос, и, хотя начитанный Митя любил говорить, что хаос – самая устойчивая форма существования материи, становилось страшно: как все это не рассыпается, взаимодействует, движется непредсказуемо?

Везло «движкам»? Определенно везло.

4

Первая встреча состоялась во сне.

Когда-то Егор прочел в медицинском журнале, что люди с нормальной психикой видят исключительно черно-белые сны. Егору очень хотелось хоть раз увидеть такой сон, но как он ни старался, не мог себе такого даже представить: это что, как в старом телевизоре? Сны у него случались яркие, запоминающиеся и иногда весьма содержательные – если бы Егор относился к себе с меньшей иронией, он бы, наверное, их записывал. Особенно ясно запоминались как раз цвета. Этот сон по силе ощущений был особенным.

Дело происходило в какой-то квартире на высоком этаже, совершенно пустой. Егор однажды видел такое в конце семидесятых, когда его приятель Игорек со всей семьей уезжал в Америку, как это тогда называлось, на ПМЖ – постоянное место жительства. Отъезд держался в глубокой тайне – а по-другому тогда и быть не могло: засветишься, попадешь в отказники, – и ни

Егор, ни остальные друзья Игорька ни о чем не подозревали до последнего момента, когда разрешение на выезд уже было получено. Игорек вдруг пригласил всех на проводы, Егор вошел в такую знакомую квартиру и обалдел: она была совершенно пуста – голые стены. Все вещи: мебель, пианино, книги – все было уже продано и роздано родственникам, поэтому скатерть с бутылками и бутербродами располагалась посреди комнаты прямо на полу. Во сне не было ни скатерти, ни тоскливой с натужным весельем атмосферы проводов. Комната была полна какими-то друзьями и знакомыми, все оживленно беседовали, кажется, выпивали. Егор потолкался среди народа и вышел на кухню – покурить. Кухня, как и комната, была совершенно пуста – одинокая плита и раковина в углу, а у окна, казавшегося голым без занавески, стояло несколько совсем молодых и совершенно незнакомых Егору ребят. На вид лет по шестнадцать, модные стрижки, модные шмотки – балахончики с капюшонами, узкие джинсы, расшнурованные, как полагается, кроссовки – ничего особенного. Но Егора вдруг окатило горячей волной какого-то невероятного, нечеловеческого счастья. Это было совершенно новое ощущение – Егор потом пытался сравнить его хоть с чем-то ему знакомым и пришел к выводу, что, наверное, так бывает счастлива собака, к которой наконец вернулся хозяин.

Ангелы!

Егор ощутил это мгновенно – всем телом, всем существом. И замер, не зная, что делать, как себя вести. А ангелы – их было, кажется, трое – болтали о чем-то необыкновенно веселом, хохотали, и невозможно было понять, о чем они – слова знакомы, смысл неуловим. А потом один из них повернулся к Егору и сказал: он здесь для того, чтобы сообщить ему, что *там, наверху*, его очень любят. И все – развернулся к своим, и они продолжили свое веселье, как будто никакого Егора тут нет. В другой ситуации это было бы даже обидно, но физическое ощущение счастья настолько заполняло каждую клеточку, что ни на какие другие чувства места не оставалось.

Потом Егор проснулся – сон оборвался, а счастье осталось, и целый день Егор ходил, светясь изнутри и боясь это счастье расплескать.

Назавтра он встретил Светку.

5

Нельзя сказать, что Егор был какой-то невлюбчивый – напротив, его вполне можно было назвать легко увлекающимся.

Бывали даже серьезные, клинические случаи – однажды, будучи безнадежно влюбленным в загадочную красавицу, поехал искать ее в Таллин – тогда это еще так писалось, – не зная ни телефона, ни адреса – только, что живет она в центре, в Старом городе. Красавица появлялась в Москве неожиданными наскоками, останавливалась в каком-то жутком актерском бомжатнике и звонила сама – когда считала нужным. Моросил мелкий дождь, Егор бродил по кривым безлюдным улочкам с сумкой на плече, ощущая себя полным идиотом, и ничего не мог с собой поделать. Без всякой надежды нарезал круги часа четыре, неизбежно выходя на площадь Старого Тоомаса, потом смертельно напился с двумя командированными лейтенантиками, которые умудрились его узнать, и вечером сумел улететь домой. Спустя пару лет красавица рассказала Егору, что тогда она все эти четыре часа ходила за ним следом, пораженная масштабом его безумия, – он не поверил. Впрочем, это на нее было похоже.

Интересно другое. Повстречав свою первую, а потом и вторую жену, Егор с первой секунды знал, что они поженятся. Увидев только что, еще издалека, – знал. Еще не познакомившись, еще не услышав имени. Откуда? Причем это было не желание, не порыв души – именно знание.

Первая жена, наверно, была слишком хороша для Егора – во всяком случае, он впоследствии думал именно так. Она безупречно относилась к себе самой и требовала такого же отношения к себе со стороны близких. Поначалу так оно и происходило, а потом «движков» каким-то чудом взяли в филармонию, и они неожиданно вырвались из постылого подполья, где совсем уже нечем было дышать, на бескрайние оперативные просторы страны – и жизнь закрутилась совсем с другой скоростью: с гастролями, перелетами из города в город, безумными толпами поклонников и поклонниц – кто знал, что их будет так много? – и во всей этой карусели вдруг оказалось, что жена занимает в Егоровой жизни не самое большое место – мы ведь быстро привыкаем к хорошему, верно? А она со своей гордостью этого, конечно, простить не могла.

Что касается второй жены, то она Егора так и не полюбила, хотя честно старалась, отвечая на Егоров порыв. Никакой химии не возникло, она страшно злилась – на себя, но в основном на Егора: больше было не на кого. И в первом, и во втором случае расставание прошло быстро и достаточно безболезненно. Брачные периоды чередовались с полосами восхитительно свободной жизни, лишенной всяких обязательств и полной нечаянных радостей. Хорошо гулять по цветочным полям, думал Егор. Особенно если это просто прогулка и в главную задачу твою не

входит собирание гербария или поиск аленького цветочка.

* * *

Пребывая именно в этой жизненной фазе, Егор поздним вечером забрел в только что открывшийся на Ордынке клубик «Бедные люди». Это был один из подарков перестройки – еще год назад Егор находился в твердом убеждении, что такие стильные, не по-советски уютные кабачки в нашей родной стране в принципе невозможны – ну разве что в Прибалтике, там почти заграница. Чтобы вот так, и группа играла, и без ментов на входе? Да никогда! Ошибался. Распустились, как почки весной.

В «Бедных людях» было до синевы накурено, весело, сидели ребята из «Квартала», какие-то их расписные подруги. Егору обрадовались, усадили, налили. Он машинально – нет, конечно, не машинально, вполне осознанно – огляделся. Двойной лорнет, скосясь, наводим… Наводить особенно было не на что. Вдруг девушка в черном, сидевшая метрах в пяти по диагонали от Егора и почти к нему спиной, коротко обернулась, и Егора ошпарило: он где-то видел это печальное, почти библейское лицо, эти густые темные волосы – где, когда? Он даже не заметил, одна она или нет. А дальше между ними произошел диалог – беззвучный, на радиоволне. Его можно было бы сравнить с обменом эсэмэсками, да только не было тогда еще в природе никаких эсэмэсок, и первые мобильные телефоны «Моторола» величиной и весом с добрый кирпич и ценой в пол-автомобиля «Жигули» только-только появились у самых крутых бандитов.

«Ну вот, я здесь сижу».
«Я вижу, черт возьми!»
«Ты будешь что-нибудь делать?»
«Что?»
«Ну, не знаю. Хотя бы подойдешь».
«Я не могу!»
«Почему?»
«Я не могу просто взять и подойти к незнакомой девушке!»
«Почему?»
«Не знаю. Никогда не мог. Нас должны представить!»
«О, как интересно. Ну ладно, я пошла».

И Егор с ужасом понял, что вот сейчас она встанет, пойдет к выходу, и он никогда больше ее не увидит. Понял – и не мог пошевелиться. И она встала и пошла к выходу – прямо мимо Егора, и тут Арик из «Квартала», почувствовав Егорово отчаянье, схватил ее, проходящую, за руку и легко, одним движением, усадил за стол. Егор не помнил, как их, по его настоянию, представили и о чем они проговорили весь вечер, а потом всю ночь. Когда мужчина и женщина идут навстречу друг другу – неважно, о чем они говорят, смысл слов не имеет никакого значения, ибо вступают в работу совсем иные, могучие механизмы, неведомые нашему сознанию и неподвластные ему. И только чувствуешь, как ток бежит по проводам и согревает их, и как уже привычный хаос, из которого еще вчера состоял твой мир, вдруг уступил место простой и ясной гармонии, и что ты – счастлив, счастлив каждую секунду твоей новой жизни.

И нет от этого счастья ни лекарства, ни спасения.

* * *

Почему, как это происходит? Еще секунду назад ты был нормальным, адекватным человеком, веселым и циничным, и ничто не угрожало твоей свободе – и вдруг, среди бела дня, совершенно незнакомая девушка говорит тебе три слова ни о чем – и ты уже не ты, и отныне не принадлежишь себе, и приоритеты твои вмиг поменялись местами, и некая неведомая сила теперь движет всеми твоими мыслями и поступками, даже не советуясь с тобой. Что это? Евино яблоко? Светка, казалось, была создана для Егора – он не находил в ней недостатков. Хотя был необыкновенно придирчив в мелочах, и такая, казалось бы, ерунда, как визгливый тембр голоса, или неприятный смех, или, скажем, некрасивые пальцы, да еще с облупленным лаком на ногте, могли отвратить его мгновенно и бесповоротно. Какая-нибудь небесная красавица вдруг заводила не к месту дурацкий разговор – и через минуту Егор уже искал выход из помещения. А теперь он изучал Светку – и не находил в ней изъяна. Знал, что так не бывает. Смотрел во все глаза – и не находил. Сколько они пробыли вместе – год, три, пять? Он не помнил. Он не мог вспомнить, о чем они говорили – а они ведь говорили! Не расставались столько лет – и говорили! Изредка даже ссорились – из-за какой-нибудь ерунды – и быстро мирились. Светка обладала редчайшим даром – не доставать. Она занимала исключительно свое место в пространстве и не претендовала на его расширение. Ее мало интересовала музыка Егора, его главное дело жизни – так ему, во всяком случае, казалось. Она не рвалась на концерты «движков» – кроме тех, на которые не пойти было уже неприлично. Егора это даже сначала немного обижало – а потом он понял, что это как раз замечательно, хватит уже фанаток с горящими глазами и разрухой в головах. Егор не мог нарадоваться – дороги его были починены, трещины в стенах исчезли, ветер не бил в лицо, а приятно толкал в спину.

Была ли счастлива Светка? Мы этого не знаем. Она оказалась очень скрытной, и Егор это понял далеко не сразу. Она, например, не хотела переезжать к Егору, хотя тот одно время настаивал – почему нет, в самом деле? А вот не хотела, и не объясняла причину, и они встречались где-нибудь в городе и шли куда-нибудь ужинать или просто в кино, если было что смотреть, а потом ехали к Егору на Ленинский, а утром сонный Егор отвозил ее в дебри Новобасманной, в место ее обитания. Понастаивал-понастаивал – перебирайся! – да и бросил: не хочет, и не надо.

Однажды Светка его сильно удивила. Они тогда втроем с

приятелем поехали путешествовать по Кубе – давно собирались. Все было восхитительно: мохито, сигары, озорные кубинки с животным блеском в глазах, невероятно синий океан. На рынке в старой Гаване черный, как сапог, кубинец продавал цветастые сарафанчики – целая охапка на вешалке: пестрые, разные. Егор решил купить Светке сарафанчик – уж больно она их разглядывала. Светка выбрала два. Два не получалось – денег было мало. Да нет, хватило бы, конечно, и на два – ну, пришлось бы совсем поджаться. Егор попробовал объяснить это Светке, и она вдруг, отвернувшись, беззвучно заплакала – так горько и безнадежно, что Егор оторопел. И подумал в эту секунду, что он на самом деле совсем ее не знает. Не может быть причиной такого горя какой-то сарафанчик. Подумал и забыл.

* * *

А потом, год спустя, у Егора дома Светка выронила в прихожей сумочку, и из нее вдруг выпал презерватив в нарядном пакетике. Это было настолько неожиданно и настолько необъяснимо, что Егор не нашел ничего лучше, чем спросить: что это? Светка покраснела, насколько могло покраснеть это смуглое существо, пробормотала что-то невнятное, нагнулась и спрятала презерватив обратно. Удивительное дело: в Егоре сработала защитная реакция – до такой степени не хотелось верить в увиденное и строить предположения на эту тему, что эпизод был моментально вычеркнут из сознания. Разговор закончился, не успев начаться. Не было ничего.

А еще через полгода, привычно целуя Светку перед сном, он по еле заметному изменению, которое бы не зафиксировал ни один самый точный прибор в мире, вдруг понял, что у нее кто-то есть. Кто-то еще, кроме Егора. И он ее целует. И опять – это было не подозрение, не предположение, а абсолютно твердое знание, и унылые Светкины слова, что никого у нее нет, не имели значения – она сама это чувствовала.

И начался ад.

Все в этот раз было не так, как всегда. С глаз долой, из сердца вон – не получалось. Егор не мог понять: вроде Светка занимала в его жизни твердое, постоянное место, но, скажем так, не закрывала собой весь небосвод – и вдруг на этом месте осталась зияющая дыра, и нечем ее было закрыть, и что бы Егор ни делал и о чем бы ни думал, эта дыра не давала ему покоя, она была в нем самом, и он вытекал из нее по капле – каждую минуту, каждый час, – не остановить.

Соперником Егора оказался ничем не примечательный совсем юный мальчик – лет на пятнадцать моложе Егора и на пять – самой Светки: они, оказывается, все это время работали вместе в издательстве журнала «Не спи, замерзнешь!». Возможно, это тоже подливало масла в огонь: меня, Егора, – и на кого? Но в действительности сам факт ее отсутствия причинял такую невыносимую боль, что с кем она там сейчас, не имело никакого значения. Все потеряло смысл. И тогда Егор сделал то, чего не следует делать никогда: бросился вслед ушедшему поезду.

Ух, как Светка тогда по нему потопталась! Нет, она не бросала трубку, не отказывала в свиданиях. И они шли в ставшие для них любимыми за эти годы ресторанчики, и она словно не видела, что творится с Егором – а он сидел напротив постаревшим полуживым идиотом, не в силах улыбаться и поддерживать разговор, – и мило принимала подарки, которыми он ее заваливал, а потом ехала к своему юноше – нет-нет, подвозить не надо! – оставляя Егора корчиться в пустой машине. Шли месяцы, и ничего не менялось, и время словно остановилось, и Егор понимал, что эту историю надо как-то кончать.

6

На самом деле все просто – надо, сидя на стуле, найти такую позу, чтобы ружье упиралось стволом в грудь чуть левее середины, а большим пальцем ноги можно было нажать на курок. Упереть ствол в подбородок, конечно, еще проще, но тогда в результате все получится очень некрасиво… это просто поразительно, о чем человек в такие моменты думает. «Покойник выглядел нехорошо». Егор поразмышлял на эту тему и, утешая себя, решил, что, видимо, это все-таки происходит от подсознательной заботы о родных и близких – сбегутся, а тут такое безобразие, все забрызгано. Потом понял – нет, вранье: все-таки хочется в последний момент выглядеть красиво. Хотя бы достойно. И перед родными, конечно, тоже, и вообще. Артист хренов. Как же мы смешно устроены!

А страха-то никакого и нет. Просто руки немного холоднее, чем обычно. И лист с последними распоряжениями и пожеланиями написан ровным и разборчивым почерком и даже выглядит стильно (опять!). И лежит на столе на самом видном месте. И дальше ты садишься на стул в вышеупомянутую позу, а ружье – охотничья двустволка Тульского оружейного завода, двенадцатый калибр – уже заряжено «жаканами». (Оба-то ствола зачем? Хотя понятно: никогда не знаешь, какой курок с каким

стволом связан. Вот так соберешь всю решимость, нажмешь на курок, а там – щелк! А патрон в другом стволе. То-то будет противно! Второй раз и нажать не решишься. Прямо заново рожден. Водевиль! Так что оба курка в одинаково рабочем состоянии.) И не надо терять плавность движений.

И дальше – очень интересно: сильный толчок в грудь, а выстрела ты практически не услышал, хотя он у двустволки очень громкий, – просто какой-то маленький шарик лопнул прямо над ухом, и остался звон, который будет теперь затихать долго, и жаркий запах пороха, и даже сладкий вкус на губах – забавно: вкус сгоревшего пороха на губах. И потом ты поплыл медленно вверх и влево, и полет твой не очень управляемый – такое часто бывало раньше во сне: вроде умеешь летать, но довольно коряво, и вот направляешь себя мысленно вперед и вверх, а тебя тянет куда-то вбок – неторопливо, как воздушный шарик под потолком. Откуда могли приходить в сон эти ощущения?

И еще интересно: рук нет. И только сейчас понимаешь, что всю жизнь видел свои руки постоянно: на руле, с вилкой, рюмкой, карандашом, гитарой. Их не видно только в одном случае: если они связаны за спиной. И оказывается, не видеть их даже более непривычно, чем не ощущать. На того, кто лежит внизу, смотреть не хочется. Странно: думал, что будет интересно. Нет, не хочется. И еще – очень сильное и яркое ощущение, ни на что не похожее, все же когда-то посещавшее. Вспомнил: это было лет в четырнадцать, когда ночью в постели юношеская эрекция, подогретая мечтаниями, вдруг разрешилась естественным образом – впервые в жизни. Этим взрывом Егора выбросило в открытый космос, и несколько секунд он с поразительной силой ощущал свою микроскопическую ничтожность и непостижимую бесконечность пространства, его окружавшего. Пространство это было наполнено покоем, чернотой и какой-то мощной, ровной и тихой печалью, и не было слов, чтобы определить и описать это состояние – настолько оно было не похоже на все, что приходилось испытывать раньше. Через несколько секунд картина размылась и исчезла, но Егор тогда долго не мог перевести дух. И – вот оно откуда! Может быть, тело твое, впервые пытаясь подарить кому-то жизнь, само на мгновение умирает? Или все тайны Жизни и Смерти находятся в одном сосуде?

А потом почему-то заносит в спальню – так чудно: никогда не видел ее с этой точки. Неубрано. Странная мысль: сколько вещей сразу стали ненужными. Майки, носки, джинсы, любимая кожаная куртка, висящая на стуле, книги на окне и около кровати – прямо на полу, записная книжка на тумбочке, старая гитара, лежащая поверх одеяла на условно женской половине – все это в

один момент стало никому не нужным. Егор даже почувствовал жалость к этим ни в чем не виноватым вещам, которые никто больше не будет любить. Захотелось потрогать гитару – не получилось. А потом опять потянуло куда-то вверх и влево, на секунду открылась верхняя поверхность шкафа – боже, сколько пыли! – и смятая пустая пачка «Явы» – сколько она тут пролежала? А потом Егор понял, что проходит через окно, и вся улица укутана густым серым туманом – нет, это был не туман: просто пространство теряло конкретные очертания. Две мысли неподвижно зависли в голове (в голове?): «Вот и все» и «Только-то и всего?».

* * *

– Ну что, понравилось?

Он сидел на подоконнике. Тот самый модный юноша из сна. Сидел и болтал ногой. Егор никак не мог опомниться. Его как будто из воды выбросило на берег. Вот они, руки. Вот он, я. Господи ты боже мой.

– Понравилось? – юноша, кажется, веселился.

– Не знаю… Нет… Что это было?

– Ты последнее время слишком много размышлял об этом. Даже мечтал. Пришлось показать тебе, как это бывает на самом деле. Вообще-то это нарушение правил. Но я подумал – вдруг тебе понравится?

Нет, он точно веселился. В другой ситуации Егор бы разозлился – очень уж явно парень демонстрировал свое превосходство, – но, чтобы разозлиться, надо сначала успокоиться, а прийти в себя все никак не получалось. И вообще – что происходит?

– Ты кто? Правда ангел? – Егор подумал, что это самый идиотский вопрос, который он задавал в жизни. Нет, это бред какой-то.

– Ну да. Херувим и серафим. Если тебя это устраивает.

Параметры человеческой психики, оказывается, имеют пределы. Нельзя, оказывается, изумиться двум вещам одновременно. Особенно если в обоих случаях речь идет о сверхъестественном. Только по очереди. Егор понял, что само присутствие молодого человека поражает его значительно меньше, чем то, что он только что испытал.

– Как ты это сделал?

– Элементарно, Ватсон. Это вопрос времени.

– Времени?

– Ну да. Движение вбок. Рассматриваешь варианты.

– Вбок? – У Егора кругом шла голова.

– Я тебе еще не рассказывал про время? Как-нибудь расскажу.

– Ты мне вообще ничего не рассказывал.

– В самом деле? Обязательно расскажу. Только не сейчас. Сейчас ты ничего не соображаешь. Ты мне лучше вот что скажи: попробовал? Больше не будешь?

– Не буду.

– Точно не будешь?

– Я же сказал!

– Вот и славно. Трам-пам-пам.

Да что же это такое!

– Слушай… А как тебя зовут?

– Меня не зовут. Это бессмысленно. Мы приходим сами.

– Пожалуйста, не издевайся. Имя у тебя есть?

– В вашем понимании нет. Обращайся, как тебе нравится. Хочешь – по-ангельски: скажем, Нафанаил. Или Солкосерил.

Сволочь. Ну, ладно.

– А можно – Толик?

– Можно. Почему Толик? – Он, кажется, удивился.

– У меня так кота звали.

Получил?

– Отлично. Никогда не был Толиком. Ну ладно, как-нибудь загляну. Не скучай.

* * *

Раз – и нет никакого Толика. Пустой подоконник. Было, не было?

7

Однажды, в кабинете врача, когда окончательно выяснилось, что Егор не в силах позволить засунуть себе в горло страшную черную кишку с маленькой лампочкой на конце, доктор сделал ему интересный укол. Укол был комариный, куда-то в кисть руки, и доктор сказал, что Егор сейчас заснет, и Егор лежал и ждал, когда он заснет, и все никак не засыпал, а потом доктор сказал, что можно вставать и одеваться. Оказывается, прошло полчаса, и врачи все уже проделали, и что самое поразительное – момент засыпания и возвращения к жизни склеились воедино, а то, что было между ними, – исчезло без следа. Спустя пару лет, когда

процедуру пришлось проделывать еще раз, Егор решил во что бы то ни стало засечь момент отхода ко сну, лежал и тужился изо всех сил – и опять ничего не получилось. Появления и исчезновения Толика можно было сравнить только с эффектом этого удивительного препарата. Почему-то Егор никогда не смотрел в сторону окна, когда там появлялся Толик. Пропустив его появление, Егор старался поймать хотя бы момент его исчезновения, и не сводил с него глаз, и даже пытался не моргать, и все равно неизбежно в какую-то секунду отводил глаза, и этого было достаточно – подоконник уже был пустой. Все это продолжалось из раза в раз до тех пор, пока Толик однажды не посоветовал перестать заниматься ерундой. Впрочем, Толик не всегда утруждал себя визуализацией – иногда он просто заговаривал с Егором, и тогда это больше всего напоминало беседу по мобильнику. Вот только позвонить ему или позвать было невозможно – он появлялся только сам, когда считал нужным. Иногда очень неожиданно.

– Слушай, а что ты здесь делаешь? – спросил однажды Егор, уже освоившись. (Утро. Серая хмарь за окном. Из маленького радиоприемника слышно, как Соловьев снова с задорной яростью топчет Чубайса. На плите жарится глазунья с ветчиной, Толик

неподвижно сидит на подоконнике, свесив одну ногу, как будто всю ночь тут просидел, а ведь минуту назад его в помине не было. Как же быстро человек привыкает к невероятному!) – Ты что, ангел-хранитель?

– Ну да. Из песни Игоря Крутого. «Ангел-хранитель твой». Вневедомственная охрана.

– Ну ладно, серьезно!

– Ну ладно, ведомственная.

Иногда с ним было невозможно разговаривать.

– Хорошо, не обижайся. Не совсем охрана. Охрана защищает в критической ситуации. Мы стараемся ее не допускать. Хотя, конечно, иногда всякое бывает.

– И вы охраняете всех?

– Нет, совсем не всех. У тебя яичница сгорит.

– И за что это мне такая честь?

– Ты катализатор.

– Кто я?

– Катализатор. Ешь давай. Тебя ребята на студии ждут. А в городе пробки.

– Ну пронеси меня по воздуху.

– Щас. Шнурки поглажу.

Раз! Никого. Где он нахватался?

* * *

Шли дни, а Егор все не мог вернуться в нормальное русло жизни. Поразительно – к появлениям Толика он привык очень быстро, а к отсутствию Светки привыкнуть не мог. Нет, все было нормально – он передвигался, общался с людьми, они с «движками» сидели на студии и писали новый альбом, и вообще работа очень спасала, но все происходило на каком-то автомате, а потом приближалась ночь, и наваливалась тоска, и не хотелось ничего: ни зайти в «Маяк» выпить и поглазеть на новых девок, ни позвонить друзьям – никого не хотелось видеть. Никогда еще Егор не расставался так тяжело.

Толик уже ждал его на кухне.

– Ты успокоишься или нет?

– У меня не получается.

– Прежде всего прекрати себя жалеть. Это уже неприлично.

– Ну почему?

– Что – почему?

– Почему так получилось?

– Получилось так, как должно было получиться. Дальше было

бы хуже.

– Почему?

– Ты ведь ее совсем не знал и знать не желал. Тебя все устраивало.

– Она не очень-то о себе рассказывала.

– Правильно. Потому что чувствовала, что тебе это не очень интересно. Ты ее подавлял.

– Я? Я ни разу не повысил на нее голос! Я давал ей все, что она хотела!

– Совсем не обязательно повышать голос, чтобы подавлять. А дать ей то, что она хотела, ты не мог. По своей природе. Подарки не в счет.

– А чего же она хотела?

– Она хотела преобладать. Хоть иногда. Руководить. Хоть в чем-то. Это была глубинная потребность ее натуры. А ты этого не видел. Все решения принимал сам, преподносил ей на блюдечке. Если хочешь, она тебя боялась. Конечно, она в конце концов нашла то, что ей нужно, – мальчика для подавления. Пожелай ей удачи.

– Я всю жизнь был уверен, что женщинам нравится, когда за них принимают решения, помогают им.

– Нравится, но не всем. Они бывают такие разные – не замечал?

– Почему мне всю жизнь с ними так не везет?

– Почему не везет? Ты хотел себе сладкого супружеского счастья длиною в жизнь? Как у Мити? Ты всерьез думаешь, что тебе это нужно? С твоим характером? Ты с ума не сойдешь? Это, часом, не глаза завидущие?

– Не знаю…

– А знаешь, почему ты бесишься? Не так-то уж тебе нужна Светка. А бесишься ты потому, что тебя бросили. Тебя! И бросили. Не ты ушел, а от тебя ушли. Впервые. Вот и вся причина твоей трагедии.

А ведь он прав, сволочь.

– Значит, я не заслужил счастливой совместной жизни?

– Что значит «не заслужил»? Во-первых, она у тебя бывает – периодически. Во-вторых, тебя надо поддерживать в рабочем состоянии. А затянувшееся счастье рождает полусон.

– Я не пишу песен про несчастную любовь!

– И не надо. Ты начинаешь слышать. Пиши другие.

– Не хочу ничего писать.

– Захочешь.

Худсовет за зиму переносили уже в третий раз, и «движки» с начала октября сидели без работы – с волчьим билетом. Весь ужас этого дня сурка заключался в том, что Егору снова и снова приходилось, испытывая неловкость и унижение, звонить известным людям, с которыми он зачастую был не очень-то и знаком, и просить их на этот чертов худсовет прийти – защитить команду. Масштаб известности должен был позволять этим людям появиться там без приглашения со стороны Министерства культуры – чтобы те и не вякнули. На поддержку министерских говноедов Егор не рассчитывал – ни с кем он там не дружил, никому не платил и никого не прикармливал. И вот опять надо было дергать этих известных уважаемых людей, они, внутренне вздыхая, соглашались и приезжали, а худсовет отменяли – без всякого предупреждения: ну, заболел товарищ Сидоров или нежданно отбыла в командировку товарищ Лебедева. Заседание переносили на неделю или две, уважаемые люди разъезжались, разводя руками, и Егор понимал, что еще раз он им позвонить уже не сможет – он и так чувствовал себя обязанным и не представлял себе, чем он мог бы ответить – не конфеты же дарить, в самом деле.

На этот раз все пока, похоже, складывалось – не сглазить! Егор приехал в Калошный переулок за полчаса до начала, ощущая гадкую пустоту внизу живота. Министерские шестерки курили на лестнице, вполголоса рассказывали анекдоты, поздоровались – нет, ничего не отменили. Докурили и ушли по кабинетам. В шахте лифта гулял ветер, противно выли химеры. Егор подумал, что худсовет – это когда разные люди, думающие по-разному, собираются по звонку в одной комнате и говорят то, что следует. Конечно, все это было спектаклем – решение принималось заранее либо в дебрях министерства, либо спускалось сверху, из Отдела культуры ЦК. Или, не дай бог, Отдела пропаганды. Это называлось «Есть мнение». Боже, какая тоска – и эта серая хмарь за окном, и эти серые лица чиновников, эти большие круглые часы на стене и неподвижно висящая в воздухе безнадега. Без десяти.

К двенадцати подтянулись силы поддержки – поднялся по лестнице космонавт Кашко с медальками на пиджаке – какой молодец, что при наградах, это работает. Прошел прямой и торжественный исполнитель правильных советских песен Аркадий Герзон – вот это подарок! С таким не поспоришь. Директор «движков» Виталик привез на своих «Жигулях» композитора Мишульского, этот тоже за нас. Когда все уже рассаживались, в кабинет ярко вошла знаменитая певица Анна Космачева, умело пошутила, министерские услужливо

захихикали. Такой мощной команды «движкам» собрать еще не удавалось. Егора тоже пригласили зайти. Это был хороший знак – обычно просили подождать за дверью. Неужели?

И началось.

Заседание открыл начальник отдела эстрады министерства товарищ Ходоков. Он был немного похож на премьер-министра СССР Косыгина, знал это и, кажется, косил под него сознательно: говорил медленно, весомо, никому не глядя в глаза, и при этом руки его на столе постоянно катали маленькие шарики из рваных бумажек. Партийный зачес, идеологически выдержанный галстук. Ох. Ничего нового во вступительном слове не прозвучало – мы

снова, товарищи, вынуждены собираться по поводу известного всем нам ансамбля «Вечные двигатели», так как с мест продолжают поступать сигналы о сомнительной направленности некоторых произведений коллектива и расхристанном, я бы сказал, поведении молодых артистов на сцене. Вот передо мной письмо из Свердловска, подписанное директором филармонии и партийным руководством города…

Егор огляделся. Дубовые панели на стенах, жуткие фикусы на окнах, длинный стол, покрытый зеленым сукном, в дальнем его конце другой стол, дубовый, три телефона, выше – Брежнев в скромной раме, еще одни большие круглые часы, как в коридоре. Тикают. Наверно, так выглядел кабинет Берии. Интересно – кто-нибудь следит за сохранением этой чудо-эстетики, или она вырастает и живет сама, как плесень, питаясь речами, произнесенными над этим зеленым сукном, принятыми решениями, одобренными постановлениями, всем этим общим затхлым враньем?

Эстафету перехватил товарищ Скворцов – известная министерская крыса. Мы не можем закрывать глаза… размытые идеологические позиции… сегодня, когда вражеские голоса… недопустимую политическую близорукость… слепое подражание не лучшим западным образцам… Неужели он верит хоть в одно собственное слово? Говорили Егору, что надо этого Скворцова заранее «подмазывать»… Не умел он этого, не представлял – как, да и не смог бы побороть собственного отвращения. А у других получалось – запросто шли прямо в кабинет с коробками и пакетами. Помогало. Когда же он замолчит?

Замолчал. Сдулся. Теперь – зав. лит. частью Росконцерта Наташа Холод. Молодая, хорошая, в общем-то, деваха. Господи, чем же ей приходится заниматься… Взгляд в сторону, как у Ходокова: проведена большая работа с автором, да вот он здесь сидит, тексты произведений подвергнуты тщательной редакции… Большая работа заключалась в том, чтобы создать видимость изменений, не касаясь сути: Наташа в принципе была за Егора, просто права голоса не имела – обычный штатный инквизитор. Поэтому она билась за изменения, а Егор – за суть. Всякий раз, когда в стихе приходилось менять «ты» на «кто-то» и «бог» на «судьба», Егор чувствовал, как от него отрезают маленькие кусочки и жизнь его от этого делается короче. Так. Сейчас вступят наши. Все правильно – тут нельзя стрелять первыми, это будет тактическая ошибка, пусть сначала враги нападут, выдохнутся, раскроют карты. И тут мы из окопа – р-раз!

Первым в бой пошел космонавт. Молодежный задор… отдельные недостатки нашей жизни… мы на космической

станции… наряду с песнями Высоцкого…

Вот это он зря. С песнями Высоцкого тоже большие проблемы. Высоцкий умер, а проблемы остались. Ладно. Все равно спасибо. Теперь – тяжелая артиллерия.

Слышал Егор, что певец Аркадий Герзон (звали его за глаза – «барин») иногда помогает в трудную минуту артистам, так скажем, не своего жанра, – и все-таки, когда тот согласился приехать, а потом еще взял и приехал, Егор был потрясен: уж очень разными полянами они гуляли. Воистину не знаешь, кто протянет руку. Егор слушал и восхищался: как же Герзон насобачился разговаривать с этим министерским людом на его суконном языке! В последнем решении съезда партии… не обходить острые проблемы современности… огромный интерес со стороны советской молодежи… мы должны поддерживать… не отворачиваться… Ровная интонация, красивый баритон. Егор вспомнил, как на прошлом худсовете руководитель большого джазового оркестра Иннокентий Тролль (вот уж в ком Егор был уверен – ведь сам небось лет пятнадцать назад получал за свой джаз по голове в этом же кабинете!), вместо того чтобы просто поддержать, вдруг стал укорять Егора за какие-то неправильные гармонические ходы в какой-то песне. Нашел место и время. Ну, министерские тут же за эти ходы и ухватились. Зарубили.

Великая Анна Космачева оставила себя на финал. Режиссура, блин! И сказала очень по-женски и именно то, что было надо в финале – все мы когда-то были молодые и иногда ошибались, а теперь вон какие красивые выросли, и если молодым не помогать, а затыкать рот, то кто же завтра… и давайте все вместе поздравим эту молодую талантливую команду… и будем ждать от них…

Даже странно, что в конце не зазвучали аплодисменты – было бы очень естественно. Как непривычно после голоса Анны Космачевой слышать тишину, подумал Егор. Тишина оказалась длинной. Потом Ходоков, сидевший во главе стола, не поднимая глаз, произнес: «Ну что же, товарищи. Спасибо всем, кто высказал свое отношение. У Министерства культуры свое мнение на этот счет». И аккуратно стряхнул с сукна бумажные катышки – в ладошку.

Двенадцать пятьдесят пять. Все.

9

И иногда я думаю – какой Егор, это же я, я бегу из метро «Библиотека имени Ленина» к остановке автобуса номер шесть,

который перевезет меня через Большой Каменный мост к школе, и опаздываю, а автобус уже отходит, а в руке у меня гитара «Марма» производства ГДР в сшитом мною собственноручно чехле из зеленой байки, и она огромная, а бегу я нелепо (всегда так бегал), и гитара страшно мешает, а автобус уже отходит, и я с разбегу бьюсь гитарой – самым дорогим! – о фонарный столб и каменею от ужаса – цела ли? А автобус уже поехал, и вдруг в окне – бледное, поразительное, грустное женское лицо в окладе черных волос, взгляд куда-то в никуда – Светка! Я узнаю об этом через двадцать лет.

– Толик! Как я мог ее тогда увидеть? Ей было тогда четыре года! Почему я запомнил ее лицо?

– Потому что ты совершенно не понимаешь, что такое время. Это понятие вообще придумали люди. Вроде как ты стоишь, а сквозь тебя течет река – Время. Поэтому в нее нельзя войти дважды. На самом деле ровно наоборот: ну, это довольно грубо, но представь, что время – это не река, а озеро, а скорее – океан, а ты плывешь по нему на своей лодочке. Причем гребешь отчаянно – в заданном ритме. И тебе внушили, что лодка должна двигаться только в этом направлении и только с этой скоростью.

– Это значит, что можно плыть назад?

– Поразительно, как вы все об одном! Только назад! А вбок? А под углом? Да куда угодно! Вопрос – зачем?

– Ну, чтобы что-то исправить.

– Исправить можно только в данном движении. Ну, попробуй на лодке сдать назад, а потом проплыть ровно по тому же месту. Это невозможно. Так что успокойся и делай то, что тебе предназначено.

* * *

И снова, и снова говорю тебе – не заводи любовь, не поддавайся ее чарам, ибо будешь гореть в огне ее и сделаешься безумным, и день для тебя станет ночью, и жизнь твоя потеряет смысл, ибо любовь земная – не услада, но битва, и не дано мужчине в ней победить.

* * *

Интересно – при всей влюбчивости Егора и наличии соответствующих переживаний на п его это не отражалось никоим образом. Не то чтобы он не писал песен про любовь. Просто они приходили к нему из какого-то другого места и к тому, что творилось с Егором в данный момент, отношения не имели. Нет, он мог, конечно, сесть и написать песню на заказ – скажем, для кино, особенно если сценарий и режиссер ему нравились (впрочем, если не нравились – он не брался). Там сразу было понятно, про что, и оставалось придумать – как. Иногда получалось очень неплохо, и некоторые песни даже становились хитами (хотя песня, звучащая в удачном кино, – уже железная заявка на хит), но они были совсем не похожи на те, что приходили сами, и Егор это чувствовал очень хорошо, хотя, кроме него, похоже, никто не замечал разницы. Иногда песня являлась практически целиком, и надо было просто успеть записать ее,

иногда это были четыре строки, но они и составляли сердце песни, и подобрать все остальное было делом нескольких минут. Поэтому, когда какой-нибудь артист рассказывал со сцены историю создания песни («У меня была любимая девушка, и однажды она разбилась на самолете, и тогда я написал песню „Звездочка в небе“…), Егор понимал, что артист безбожно врет. Либо вся эта лабуда являлась предисловием к очень плохой песне.

Егор откуда-то знал, что песни сами решают, когда им приходить и приходить ли вообще, и что пытаться влиять на этот процесс бессмысленно. Музыканты „движков“ этого не понимали, и басист Митя обижался, когда принесенная им мелодия (сам он стихов не писал), на его, Митин, взгляд, очень удачная, полгода лежала у Егора без движения. Егор слышал, что некоторые его коллеги, познавшие, как и он, чудо прихода песни, панически боятся, что однажды это прекратится, звуки иссякнут, – и в результате старались писать без остановки. Егор такого страха никогда не испытывал – глупо переживать по поводу того, что от тебя не зависит. К тому же мы не у конвейера и трудовых обязательств на себя не брали, думал он.

* * *

Дикое, безбашенное время сейшенов семидесятых! Лав, пипл! Завтра двигаем в Электросталь, там в ДК Ленина „Рубиновая атака“ лабает! Вся система будет! Сбор на перроне в шесть! Пипл, дринканут зацепите! Маленькие душные зальчики подмосковных Домов культуры и студенческих общаг. Заветные разрезанные пополам почтовые открытки с замысловатой печаткой – тикета. Дружинники с красными повязками на входе, адская, удалая давка в дверях – проверять открыточки бесполезно, все равно все будут внутри, так или иначе. Продавят. По фойе среди невероятных в красоте своей хиппанов и их подруг (хаера, батники, платформы, клеша – ну и что, что самострок?) мечется в агонии директор клуба: он слишком поздно понял, во что вляпался, и теперь судорожно решает – звонить в милицию или подождать, пока сами приедут? Или обойдется? В своем советском кургузом пиджачке и сбившемся набок галстуке он похож на гибнущего космонавта среди марсиан. Ничего не обойдется, товарищ работник культуры, – завтра положите партбилет на стол строгого, но справедливого секретаря обкома. В сортире дым коромыслом, ботл портвейна с мистическим названием „33“ на этикетке – по кругу из горла. Сейчас будет

праздник! Ну что там, контора не наехала? Сейшен начинают? Айда в зал, у нас там места забиты! По затяжке „Примы“ – и айда!

На сцене, под жутким Ильичем с мускулистой шеей и плакатом „Искусство принадлежит народу“, – нагромождение усилков, в проводах копается рубиновский технарь. На голос – два „Регента-60“, на басу – настоящий „Беаг“! Ништяк аппарат! Фонит – значит, работает. Эй, чуваки, а что это у Рацкевича за усилок? Да это вообще улет, джапановый, родной, у „Машины“ взяли! Да вон Макар – видишь, сидит? Ну вообще улет! А потом технарь наконец отползает, воткнув последнюю спичку в раздолбанное гнездо усилка, и гасят свет, и на сцене загораются два софита – синий и красный, и в этом волшебном ореоле возникает невозможно красивый Баска с бас-гитарой на уровне колен – и!..

Посреди третьей песни вырубают сначала звук, потом по ошибке весь свет, потом загорается люстра в зале. Контора. Ну, облом! Теперь главное – выскочить на улицу и не дать себя повязать. Нас много, их мало, опыт – великое дело. Алло, пипл, на станцию двигать не надо – там ментура! Тут до Москвы бас ходит. Видал – Фагота и Джагера с Гердой повязали!

А „Рубинов“? И „Рубинов“! А клево побитловали, да?

* * *

Недавно „движкам“ довелось играть на каком-то полузакрытом, как сейчас стали говорить, олигархическом мероприятии. То ли день рождения банка, то ли его создателя. Вообще команда такими мероприятиями не злоупотребляла – гораздо приятней было просто работать концерты для людей, которые собрались вместе послушать именно их, а не по какой-либо другой причине. Поэтому свадьбы исключались вообще, день рождения мог получиться лишь в случае, если именинник – их товарищ или хороший знакомый, и понятно было, что позвали их не для пафоса, а действительно из желания побалдеть и попеть любимые песни вместе с их создателями. В данном случае приглашение поступило через клавишника Дюку, у которого в руководстве банка оказались знакомые, – Дюка вообще за последние пару лет вдруг стал невероятно светским и не пропускал тусовок, которых Егор терпеть не мог и не ходил туда принципиально. К тому же сумма, предложенная за часовое выступление, как бы нивелировала все остальные вопросы.

Лететь пришлось аж в Швейцарию, на горнолыжный курорт, из маленького специального аэропортика во Внукове – Егор и не знал, что тут есть такой. Их оказалось целых два – один напротив другого. Улыбчивые тетеньки-пограничницы и дяденьки-таможенники в момент оформили паспорта, загрузили инструменты – оставалось только растерянно улыбаться в ответ. Салон маленького самолета из фильма про Джеймса Бонда был отделан темным деревом и кремовой замшей, невероятная стюардесса, не говорившая по-русски, носила то блюда с морскими деликатесами, то бутылки с лучшими напитками мира. Приземляться не хотелось.

В горы приехали уже затемно. Посреди горнолыжной деревеньки высился надувной шатер, поигрывая всеми цветами радуги и попыхивая паром в черное ночное небо, – инопланетный корабль, гость из другого мира. Над ним в небе медленно шевелились лучи прожекторов. Вышколенные мальчики и девочки в черных костюмах провели „движков“ в приготовленную для них артистическую, которая убранством стола сильно напоминала салон недавно покинутого самолета – не хватало только дерева, замши и модельной стюардессы. До выхода на сцену оставалось еще часа два. Праздничная программа оказалась большой: „Виртуозы Москвы“, Вилли Токарев, Эми Уайнхаус, и в

финале – „Вечные двигатели“. Состав участников говорил о необыкновенной широте вкусов и дремучей толерантности приглашающей стороны. Немного грела мысль, что знаменитая Эми Уайнхаус будет работать на разогреве у „движков“. „Смешно“, – подумал Егор, совершенно, впрочем, не веселясь. Вот ведь странно – вроде все шло замечательно: и добрались через пол-Европы без приключений и вовремя, и деньги уже получили (за этим директор команды следил строго), и сидели за отличным столом, собираясь заняться любимой работой, а пока отдыхали, вон Борзый пошел курить под звездное небо, пять минут без сигареты не может, бедняга, а вон Дюка и Митя выбирают из сверкающей батареи бутылок какой-то особо древний молт и уже делают Егору глазами знаки – кончай, мол, хандрить, иди сюда, – а никак не получается почувствовать себя в своей тарелке – что такое? Как маленькая противная мошка – влетела в ухо и зудит: то ли вот-вот случится какая-нибудь гадость прямо здесь, сейчас, то ли, наоборот, в Москве прямо сейчас, а то вдруг – „зачем я здесь, что я тут делаю?“. Митя называет это – „шуга“. Наверно, Толик где-то далеко; когда Толик рядом, Егор ни разу ничего подобного не испытывал. Правда – выпить, что ли?

Послушать Эми Уайнхаус „движков“ не пустили: в зал выходить было неприлично, к тому же группу готовились подать главным сюрпризом вечера. Попробовали пройти за кулисы, но на пути встали охранники Эми – двухметровые черные мордовороты, и вступать с ними в диалог желания не возникло. Егор поймал себя на том, что не испытал никакого огорчения, и еще подумал, что каких-нибудь лет пять назад ему бы в голову не пришло так позорно смириться и упустить такую возможность, все равно извернулся бы и нашел способ посмотреть концерт – хоть одним глазком. Что с нами со всеми происходит?

Когда „движки“ вышли на сцену, веселье было в самом разгаре: почти весь народ – кто мог – уже стоял на нетвердых ногах у сцены, где было специально оставлено пространство для танцев, так что обстановка скорее напоминала сейшен, чем ресторан. „Движки“ грянули что-то общеизвестное-развеселое, вспыхнули лучи лазеров, стократно отраженные зеркальными шарами, толпа заколыхалась, заплясала, запела, на заднем плане несколько девушек полезли на столы, никто их не удерживал. Как часто бывало на подобных вечеринах, Егор непроизвольно раздвоился: голос и руки продолжали выполнять давно известную работу, а сознание и глаза переключились на происходящее вокруг. Была в этом состоянии опасность, чересчур увлекшись, вдруг потеряться среди песни – какой куплет пою? – и, скажем, спутать слово, но Егор знал о ней и старался до такого не

доводить.

А вокруг творилось интересное: юные девушки-модельки в смелых платьях демонстрировали чудеса пластики, молодые и не очень молодые бизнесмены, сняв пиджаки и потея, топтались вокруг них в опасной близости. Эротика, казалось, повисла в воздухе тяжелым душным облаком – и опять что-то было не так. Егор присмотрелся и вдруг понял, ощутил, что никакой эротики нет и в помине – это была имитация. Однажды, в детстве, Егор уже испытал такое потрясение, когда оказалось, что древнеримские колонны на сцене театра – из папье-маше. Все было очень похоже, и все было ненастоящее: девки уныло и деловито производили в головах какие-то одним им понятные расчеты, мужики вообще думали черт знает о чем. Никто никого не хотел, хотя обоюдный интерес изображался очень достоверно. Происходящее напоминало гигантский спектакль неизвестно для кого. Егор вспомнил, какое общее возбуждение вызывала в семидесятые-восьмидесятые какая-нибудь яркая герла, попавшая в их удалой музыкантский круг. Причем возбуждение явно не умозрительное – иногда невозможно было встать со стула, предварительно не успокоив плоть. Он даже начал сочинять в голове эпический рассказик, который начинался так: „Это было в те давние-давние времена, когда юноши и девушки собирались вместе с одной-единственной тайной, хотя, впрочем, явной мыслью – познакомиться и потрахаться…“ – но тут обнаружил, что Митя поет „Зигзаг удачи“ – суперхит „движков“, которым вот уже много лет заканчивались их выступления.

* * *

Над этими давними-давними временами (как быстро они стали давними!) Егор размышлял много раз, пытаясь понять: это времена так изменились или просто он стал настолько старше? Получалось, что все-таки времена, хотя и второе целиком отбрасывать не стоило. Невероятно: казалось, еще вчера „движки“ считались самой молодой командой Москвы, и Егор даже немножко важничал по этому поводу, а сегодня они – в старейшинах, а многих их фанов уже нет на свете, да и мир вокруг совсем другой – где тот воздух, где та страна? Пару лет назад Егор вдруг обнаружил, что совершенно потерял способность общаться с девушками младше двадцати. Какое там общаться – не получалось сказать двух фраз: общие темы исчезли напрочь. Девушки превратились в марсиан, причем произошло это не постепенно, а в один день. При этом девушки одного с

Егором возраста (да какие там девушки!) уже давно его не интересовали, а все хорошее, находящееся в возрастном промежутке между первой и второй категориями, оказалось крайне малочисленно и напрочь связано узами – в основном супружескими. Толик, Толик, что со мной происходит?

10

Барабанщик „движков“ Борька по прозвищу Борзый являл собой восхитительную и необъяснимую смесь из глубокой музыкальной продвинутости и совершенно дремучего черносотенного православия, вдруг накрывшего его недавно. Как все это в нем мирно уживалось, Егор не понимал. Иногда, выпив, Егор затевал с Борзым богословские беседы, неизменно переходившие в споры. Спорить, впрочем, было бессмысленно, так как Борзый принимал аргументы единственной стороны – православной. Если, скажем, речь заходила о масонах, он выкладывал все, что сказано о них адептами православия (а знал он немало), а когда Егор осторожно говорил, что есть и другая литература на эту тему, Борзый заявлял, что он этих книг не читал и читать не будет, так как все это ложь и бесовство. На этом споры, как правило, заканчивались.

Однажды Егор, не утерпев, рассказал Борзому о своих тайных беседах. Борзый неожиданно встревожился и устроил Егору форменный допрос – как и где происходили беседы, во сне или наяву, как выглядел собеседник. Ибо сказано, пояснил он, что ангел может являться только святым людям. Во всех остальных случаях это бес, прикинувшийся ангелом, стало быть, самое банальное искушение.

– Кем сказано? – изумился Егор.

– Святыми людьми. В их трудах.

– Святыми людьми про святых людей?

– Ну да. И про грешных тоже.

Это было неожиданно и даже как-то обидно. Простому человеку отказывали в праве на чудо. Святым себя Егор никак не считал. Но и на черта Толик похож не был. Егор решил при случае непременно поговорить с ним об этом.

* * *

Случай представился скоро. Толик снова сидел на окне и смотрел на дымный московский закат. Егор некоторое время не

мог придумать, с какой стороны завести разговор – не спрашивать же, в самом деле, человека, не черт ли он. Наконец плюнул и задал вопрос напрямую.

– Я – черт? Нет, – Егор видел, что в глазах у Толика пляшут желтые искры, и он из последних сил сохраняет серьезность – вот-вот прыснет. – Я не черт. Это ты – черт!

– Что? – растерялся Егор.

Тут, видя лицо Егора, Толик не выдержал. У него был поразительный смех – люди так легко смеяться не умеют. Егор терпеливо ждал, пока Толик успокоится.

– Ладно, извини. Так ты думаешь, что если есть Создатель, то есть и черт? С рогами и хвостом? С копытами и вилами? Слушай, а тебе никогда не приходило в голову, что люди придумали черта, чтобы было на кого валить свои слабости? „Это не я, это меня лукавый попутал! А так-то я белый и пушистый! Отойди от меня, Сатана!“ А он не отходит, да? Решили все свое несовершенство запихнуть в черта? Детский сад! Егорушка, если трезво смотреть на происходящее, то вы сами – черти и есть! А нарисовали-то как! И ноги козлиные, и хвостище, и нос как у еврея! Нет, друг мой, не надейся – нет никакого черта.

И вдруг, неожиданно оборвав веселье и посмотрев Егору прямо в глаза, тихо повторил:

– Нет никакого черта. Кроме вас самих.

* * *

Власть заметила „движков“ довольно поздно – они были самые молодые во всей шобле этой волосато-гитарной шпаны. Года с семьдесят третьего начали гнать из Домов культуры, где они репетировали. Года с семьдесят шестого стали вязать на сейшенах – сотрудники ОБХСС с комсомольскими бригадами. Но это тоже было не сильно страшно: ОБХСС – Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности, крепкие ребята в плохом штатском, привыкшие ловить директоров заводов, на худой конец, хозяев продуктовых баз и магазинов (там ворочали сотнями тысяч), – разводили руками: одни хипаны сыграли для других, а третьи собрали им деньги – и чего такого украли они у страны? Поэтому практически не били – так, чуть-чуть; держали в КПЗ день-два, вяло и формально допрашивали, зная, что ничего особенного им не расскажут, и в конце концов выпускали. Ну, слали вслед телегу по месту жительства или в институт. Однажды описали и отобрали весь аппарат и инструменты. Это было уже нехорошо. Егор проконсультировался со старшими товарищами и

накатал письмо в какие-то заоблачные выси – в Отдел пропаганды ЦК КПСС. Выше были только звезды.

Через десять дней пришел ответ в большом красивом конверте. Егор и директор Виталик приглашались на беседу в Московский горком партии к товарищу Моисееву Ивану Александровичу. Строгий часовой внимательно проверил паспорта. Поднимаясь по широкой лестнице, покрытой красным ковром, Виталик усиленно репетировал самую главную, с его точки зрения, фразу: „А вы докажите, что нам платили!“ Егор собирался действовать по обстоятельствам. Один ментовской прокол он помнил – следователь кричал: „Вот вы получаете как старший лаборант восемьдесят рублей в месяц, так? А пиджачок у вас, между прочим, рублей на сто пятьдесят!“ (Егор к этому времени уже вылетел из института, числился лаборантом в НИИ. А пиджачок и вправду был хорош – короткий, светло-серый, как у Джона Бонама из „Лед Зеппелин“ – у фарцы брал.) „Значит, вы считаете, что в нашей стране на восемьдесят рублей жить невозможно?“ – очень спокойно спросил Егор. „У нас – нет!“ – отрезал следователь (зарвался, молодой еще). „Тогда странно, что в стране существует такая зарплата“, – закончил Егор. Стало тихо, следователь покраснел. Его быстро сменили. Какие же все были нежные!

Егор с Виталиком постучались, с трудом открыли трехметровую дубовую дверь и оказались в длинном пустом кабинете. В самом конце за столом располагался хозяин – Иван Александрович Моисеев. Кстати, кому служил Моисеев, Егор потом так выяснить и не смог: Комитету коммунистической партии или госбезопасности. Моисеев служил Родине.

Их пригласили сесть – не через стол, совсем близко. Молодой, в общем, парень, модно одет, стильные очки, приветливый взгляд. И речь какая-то непартийная – без фрикативного „г“. Егор уж было думал, что таких на „ответственную работу“ не берут. И потек неторопливо разговор о том, что вот он, Иван Александрович, давно и с интересом, а иногда, что и говорить, с восхищением наблюдает за творчеством „Вечных двигателей“. Конечно, дело это у нас молодое, не все готовы к восприятию новых форм, случается непонимание и даже перегибы, но это-то мы исправим, это несложно. Сложности в другом, они глубже.

– А вы докажите про деньги! – не выдержал Виталик.

– Господи, при чем тут деньги! – тонко улыбнулся Иван Александрович. – Мы же с вами не в милиции. Это пусть они доказывают.

Виталик сник – его размазали как муху. Несколько секунд

висела нехорошая тишина, Иван Александрович поскрипывал пером.

– Вот, – сказал он, закончив. – Приносим извинения за неправомерные действия сотрудников милиции – надеюсь, ничего не сломали. По этой бумаге вам все вернут. А с вами, Егор, мне очень хотелось бы поговорить по поводу музыки и вообще творчества. И, конечно, не в этом казенном кабинете. Как насчет бара Дома журналистов? Отличное место! А хотите – могу прийти к вам в гости. С хорошим чаем или бутылкой.

Ого!

Вечером того же дня Егор, надев на себя свежее хипповое, маялся у входа в Домжур – без специальной корочки туда не пускали. Мимо, оставляя за собой облачко французского парфюма и калифорнийского дыма, проплывали настоящие журналисты в кожаных пиджаках и темных очках и их невероятные подруги. Иван Александрович появился вовремя, кивнул швейцару, пропихнул Егора в душистую темноту. Усадил за стеклянный столик, принес два коктейля „шампань-коблер“. Начался разговор – никакой, обо всем понемногу. Прощупывает. В планы Егора никак не входило становиться сотрудником КГБ – просто было интересно увидеть их человека, говорящего на человеческом русском, с чувством юмора, читавшего книги – вот, оказывается, какие еще бывают! Это, черт возьми, расслабляло.

Речь товарища Моисеева постепенно сводилась к простой идее: имея уже такую аудиторию и, соответственно, неся за нее ответственность (вы ведь осознаете, Егор?), пора бы определиться в позициях. С кем вы, мастера культуры? Если с Галичем и Солженицыным, с Даниэлем и Синявским – что ж, они сильные враги, мы их уважаем за принципиальность, но и бьемся с ними. Так что, если вы склоняетесь на их сторону – бога ради, мы даже можем помочь вам уладить формальности с отъездом. А вот если вы патриоты своей Родины и сыновья своей страны, то ваши песни должны помогать ей, вселять в нее веру. Нет-нет, не надо петь Пахмутову и Добронравова – у нас таких артистов много. Вы – другие, вас нельзя чесать под одну гребенку, вы нашли свой индивидуальный музыкальный стиль и свой ни на чей не похожий поэтический язык – и молодежь вам поверила! И пошла за вами! И что мы с вами будем делать?

Егор уныло и спокойно отвечал, что не собирается за границу и в задачу „движков“ не входит свержение советской власти. А если эта власть периодически совершает глупость за глупостью и все это видят, то грех закрывать глаза и не петь про это, их как раз за это и любят, и еще очень важно, где все поется и в каком контексте звучит: если, скажем, в театре „Ленком“ или на Таганке

– то это сатира, а стало быть, можно; а если на сейшене „движков“ или „Машины“ – то это антисоветчина, и, стало быть, нельзя; и что вражеские „голоса“ начинают крутить „движков“ всякий раз, когда про них выходит какая-нибудь пакостная статья или их опять повязали, и возникает ощущение, что и газетчики, и менты специально льют воду на вражескую мельницу и готовят им диссидентскую биографию, а они, „движки“, просто хотят заниматься любимым делом в своей стране и петь о том, что происходит вокруг. Товарищ Моисеев возразил, что аудитория театра – это четыреста человек рафинированной интеллигенции, которые и так уже всё знают, а к „движкам“ ломятся тысячи идеологически неокрепших молодых людей, да еще с магнитофонами. Сильно и несколько фальшиво сокрушался, что он вот сам природный либерал, а начальник у него – ого-го, и не дай Егору бог с ним когда-нибудь встретиться. Егор предложил товарищу Моисееву не выпихивать команду за границу, а помочь устроиться в какой-нибудь хороший театр – на ту же Таганку, например. Моисеев почесал репу и неожиданно согласился – Егор и не подозревал, что таким образом „движки“, превращаясь из подпольных самодеятельных тунеядцев в профессиональных артистов театра, выходят из сферы деятельности и контроля любезного Ивана Александровича и попадают под крыло совсем другого гэбэшного куратора, пасущего этот сектор отечественной культуры.

Прощались уже почти радостно и чуть не хлопая друг друга по плечу. Под конец Иван Александрович предложил в целях общей безопасности заранее сообщать ему, где и когда намечается концерт „движков“, а он пробьет информацию по своим каналам и сообщит, стоит там выступать или нет. Это выглядело уже полным бредом: они радостно покивали друг другу, причем обоим было совершенно ясно, что это мечты несбыточные.

* * *

В театр, по примеру „Аракса“ и „Машины“, „движки“ так и не попали – не срослось. Зато довольно скоро оказались в Московской областной филармонии. Егора очень устраивало словосочетание „московская“ и „областная“ – вроде как и в центре, и с краешку. Название, правда, оказалось чисто условным – никаких привилегий в плане выступлений в столице эта филармония не давала. Но это было уже неважно. До свидания, прокуренные подвалы и жуткие дома культуры, менты и

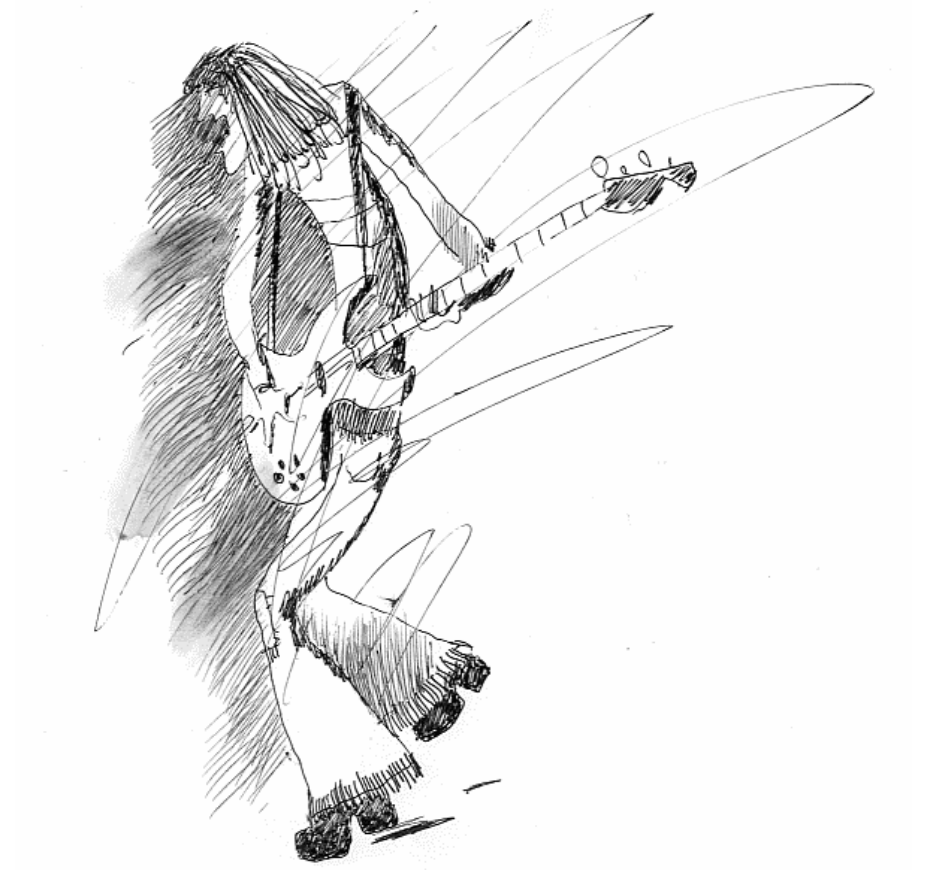
ментовки, протоколы задержания, объяснительные и телеги на работу! Мы настоящие битлы, ясно? Приехал, как обещал, товарищ Моисеев на черной „Волге“, очень убедительно изложил мнение горкома партии, из коего следовало, что пора давать дорогу творческим коллективам с активной жизненной позицией, пожелал молодому ансамблю больших творческих побед, вытер пот со лба. „Ох и выпьет он сегодня вечером“, – подумал Егор почти беззлобно. В зале поаплодировали, и рок-группа „Вечные двигатели“ была принята в Московскую областную филармонию на договорной основе. Ставки на общей волне оформили довольно быстро, причем высшие – десять рублей за выход! Во Дворце спорта – двадцать! Ну ладно, за вычетами – восемнадцать, все равно бешеные деньги! И послезавтра уже на гастроли! С ансамблем танца „Сувенир“! Они, говорят, самые лучшие! Чего не жить-то?

11

Вся гастрольная жизнь состоит из дороги, а половина дороги состоит из перемещения по дороге железной. Нет, бывают еще авиаперелеты, заряженные заботливым „Аэрофлотом“ в нечеловеческое время суток, на самом стыке ночи и утра, поэтому ты прилег подремать, собрав чемодан, часа на два-три от силы, ибо кто же сразу ложится в койку после последнего концерта – а посидеть? И вот сквозь регистрацию и по трапу в самолет, практически не раскрывая глаз, и всегда очень пасмурно и холодно, и ветер лезет за воротник, и вот ты наконец сел в кресло и закрыл глаза окончательно, и сон начинает осторожно обнимать тебя мягкими лапами, и тут стюардесса с ненавистью начинает орать в микрофон, что мы рады приветствовать вас на борту – сначала по-русски, потом по-башкирски, потом, как ей кажется, по-английски, и она орет тебе прямо в ухо, и увернуться невозможно, и голову сверлит одна мысль – за что? И вообще Егор не любил самолет – не за то, что он может упасть, а за то, что скорость его перемещения в пространстве как-то непропорциональна нормальной, земной, человеческой скорости. Триста метров в секунду – что это такое? Это было против природы, и Егор смутно чувствовал, что просто так человеку это с рук не сойдет.

Иное дело – поезд. И пусть он даже старый, полутемный, скрипящий, слишком душный или слишком холодный. Он – земной. И вот все уже в вагоне, и раскидали барахло и инструменты по камерам, и уже решили, в каком купе гуляем, то

есть гадим (у директора, конечно, – у кого же еще?), и он уже завалил стол закуской – домашняя баночка с селедкой, еще горячая картошка в фольге, „бородинский“ хлеб, огурчики-помидорчики, – правильно комплектует поляну, насобачился, а Дюка еще притащил из дома каких-то невероятных котлет, ему жена навертела, она здорово у него готовит, и Виталик уже приволок стаканы (попробуйте выпросить стаканы у проводника, пока поезд еще стоит, но все в порядке, проводник нас узнал, а потом – на то и Виталик-директор!), и разлить уже можно, но пить еще не пора, поезд не тронулся, это будет неправильно, и все рады друг друга видеть – соскучились, и Дюка, как всегда, пришел с парой новых анекдотов, а Митя где-то скачал последний альбом Планта – он, по-моему, еще и не вышел; и вот поезд вздрогнул и неслышно поплыл от перрона, и – ну, давайте! А потом – почти сразу по второй, за успех, и можно абсолютно расслабиться, потому что в воздухе растворены мир и любовь, и так хорошо будет еще минут сорок, а потом, после пятой, Дюка и Митя, как всегда, затеют спор про музыку, и тут лучше незаметно уйти – спор их неизменно бессмысленный, музыку они любят совершенно разную, а Дюка уже хорош, он в этом состоянии становится надменен, и честный Митя завтра с утра будет дуться, так что праздник окончен, можно идти спать, но сначала – по покачивающемуся коридору со сбитой ковровой дорожкой – в дребезжащий, неожиданно ледяной сортир, а в тамбуре курит барабанщик Борзый с технарями – сколько же он курит, господи, – а ручка сортира мокрая, и на полу набрызгано, и стараешься, проявляя чудеса эквилибристики, наступать где посуше, и нажимаешь заветную педаль, и в черное отверстие, громыхая стыками, рвется ночь. А потом падаешь в пустом пока купе на комковатый матрас, застеленный серой простыней, и снимаешь с себя все-все – еще в школе папа друга-одноклассника Женьки, большой кагэбэшник и рыболов, научил: хочешь восстановиться за несколько часов – сними с себя все-все: одежду, часы, кольца, цепочки, – и накройся простыней. И накрываешься простыней, а сверху – страшным доисторическим одеялом, и оно колет тебя то тут, то там, и маленькая лампочка за головой светит тускло, и читать трудно, а книжка должна быть не очень интересная, иначе не уснешь, а чай стоит рядом с тобой на столике, и он еще почти не остыл, и если его сейчас выпить залпом – ложечка в подстаканнике начнет тихонько звенеть, и вот уже книжка выпадает из рук, и тут надо, не упустив момент и совершая минимум движений, положить ее на столик и быстро выключить свет. Доброй ночи. Завтра великий день – завтра берем Казань!



* * *

Говорят, каждому артисту периодически снится страшный сон: он играет на сцене, и играет божественно, а потом случайно смотрит в зал и видит, что зал почти пустой и последние зрители, пригибаясь, пробираются к выходу. Со снами у Егора все было в порядке – он не жаловался на их отсутствие. В юности, полной битловского помешательства, ему часто снились парни из ливерпульской четверки: то они приходили к Егору в школу и он показывал Полу каморку, где репетируют „движки“, и – стесняясь, – свою ужасную гитару отечественного производства, то водил Леннона по улице Горького, а тот хотел купить какие-то иконы, и Егор вел его к своему приятелю, у которого дома была пара икон, но в квартире оказывалась мамаша приятеля, жуткая мегера, ненавидевшая волосатых, и выгоняла Егора с Ленноном на лестницу, где они потом смущенно курили.

Позже, уже когда музыка стала постоянной работой, случались сны и с концертами, но пустых залов не было – наоборот, во сне зал был переполнен, третий звонок прозвенел, и давно надо было начинать, но все время что-то мешало: то не хватало кого-то из ребят, и Егор безуспешно метался по бесчисленным гримеркам и выбегал на улицу, то он вдруг в последний момент не мог найти свою гитару, а тянуть уже больше было нельзя, и ему приносили чужую – дикий, непонятный, ни на что не похожий инструмент, и они начинали играть, а гитара издавала комариный писк, и гриф гнулся под пальцами, как пластилиновый. Егор знал – это навсегда оставшиеся на подсознании шрамы от давних подпольных сейшенов, когда над всеми рок-н-ролльными радостями висели два постоянных страха: „повяжут“ и „накроется аппарат“, причем второй страх мучил гораздо сильнее – и небезосновательно. И оба эти страха меркли перед ни с чем не сравнимой жаждой достойно отлабать сейшен: выйти на сцену перед забитым под потолок залом, где все свои и все сидят друг на друге и ждут только твоего выхода, выйти подчеркнуто не спеша, зная, что твоя волшебная гитара, висящая чуть ниже, чем надо, и твои невозможные клеша из черного бархата делают тебя божественно красивым, и специально чуть-чуть потянуть последние секунды до взрыва – потому что сейчас Борзый даст отсчет, и „движки“ вонзят в этот зал первую долю, как только они умеют, и зал утонет в оргазме. Ну что на свете может быть дороже этого, с чем сравнить это божественное электричество?

Как же взвились, как заверещали продвинутые адепты подполья, когда „движки“ каким-то непонятным образом обвели вокруг пальца совок и вырвались из тесноты столовых студенческих общаг и убогих зальчиков Домов культуры в огромные ангары Дворцов спорта и на поля стадионов! „Двигатели“ продались!» Кому, за что – выяснять было бесполезно. Егора утешало то, что тех, кто ждал их музыки в этих самых Дворцах спорта, было гораздо, в тысячи раз больше. А потом вдруг пришел Горбачев, и совок лопнул, как грязный мыльный пузырь, и все стало можно, и остальные команды ломанулись во Дворцы спорта и на стадионы, и теперь уже никто ничего такого им вслед не кричал, зато оказалось, что стадионы эти далеко не всем по размеру. Долгожданная свобода, о которой пару лет назад и не мечтали, нежданно предъявила серьезный счет. Оказалось, что пока делаешь то, чего нельзя, уже сам этот факт возводит тебя в герои – пусть маленькие, пусть среди своих. А когда это «нельзя» вдруг становится можно – на первый план выходит вопрос, насколько хорошо ты это делаешь. И тут многое

становится на свои места. Недавно Егор встретил одного из былых героев, не выдержавших испытания свободой. Герой сильно постарел, обрюзг. Занимался непонятно чем, подрабатывал случайными уроками. Не виделись лет двадцать, на радостях выпили, потом радость вдруг улетучилась, он долго что-то доказывал Егору с исступленностью неудачника… Он прожил всю жизнь и так ни черта и не понял.

А «движки» летали по стране, которая готова была носить их на руках, херачили по два концерта в день, пили как черти, не спали, кажется, вообще, сочиняли песни и, наверное, были счастливы, да? И аппарат уже давно звучал как надо и не вылетал посреди концерта, и играть, похоже, научились, и новые песни посещали Егора с завидной регулярностью. И день пролетал как мгновение, а год – как день.

Недавно Егора уломали прийти в школу на вечер встречи выпускников. Он не хотел, чувствовал, что ходить туда не надо, но – очень звали, не смог отказать. Пришел и ужаснулся: ну ладно одноклассники, кое-кого еще можно было узнать, но девочки, их девочки-красавицы превратились в толстых стареющих теток! Егор бежал, наврав что-то про работу, и всю дорогу домой с грустью думал, что ведь и с ним наверняка произошла такая же метаморфоза – чудес ведь не бывает, верно? Понятно, что, глядя каждый день на себя в зеркало, перемен не замечаешь, но ведь не до такой же степени? А еще он думал, что уже давно не мечтает о какой-нибудь новой гитаре – у него уже есть все гитары, о которых он мечтал. А еще – что каждое утро, когда он просыпается, у него что-нибудь болит, и это уже привычно и не удивляет, а удивляет, когда вдруг ничего не болит, но это все реже и реже.

Почему ничего не бывает хорошо и долго? Почему все кончается? Куда все уходят?

12

А потом земля тихо вздрогнула, и что-то изменилось в воздухе, и вдруг перестали быть нужными песни – песни, которые полвека заменяли людям молитвы. Их еще писали и пели, и иногда получалось так же хорошо, как вчера, – просто мир перестал вибрировать в ответ. Егор почувствовал это раньше всех, потому что песни перестали к нему приходить – их оставалось только выпиливать, но это как делать детей без любви, и дети от этого рождаются чуть-чуть неполноценными. Дерево, которое «движки» растили столько лет, не дало потомства и продолжало

стоять одиноким нелепым памятником самому себе, а равнины вокруг поросли неведомой колючей травой. Нет, их по-прежнему боготворили постаревшие фаны, и народ ломился на концерты, но Егор отлично видел, что они любят не их песни, а себя молодых в их песнях – слишком долго все прожили вместе, дыша одним кислородом. А молодые, наверное, усматривали в их музыке какое-то диковинное прикольное ретро, сами же дышали уже совсем другой смесью, и пространство вокруг них заполнилось совсем другими звуками, приправленными стебом – иногда даже смешным. Егор любил стеб, особенно талантливый, но когда количество его в десятки раз превысило максимально допустимую концентрацию в окружающей среде, стало ясно, что за ним пытаются спрятать отсутствие чего-то очень важного, может быть, самого главного, вдруг исчезнувшего из воздуха. Так шутят на тонущем корабле. Никакой зависти к новым гуру Егор не испытывал, честно пытался поймать вибрации, идущие от их монотонных электрических ритмов, и – не получалось. А за модой «движки» никогда не гонялись, может быть, поэтому пару раз в прошлом опережали ее. «Заигрывая с молодежью, ты заигрываешь со своими могильщиками», – прочитал когда-то Егор у Кундеры и запомнил на всю жизнь.

Шел второй час ночи. Егор рассеянно курил, полулежа на своем многофункциональном диване и кося одним глазом в телевизор, где мелькала очередная лабуда с бесконечной стрельбой. Толик сидел на своем обычном месте – Егор не видел его, но знал, что он там. Только что уехали две старинные веселые подруги Егора – Анька и Ленка, дружба с которыми обострялась в холостые периоды Егоровой жизни. При всей озорной своей простоте подруги обладали невероятным природным тактом и сваливали ровно в тот момент, когда Егор понимал, что хочет остаться один, а на то, что в периоды супружества Егор исчезал с их горизонта, не обижались – или умело делали вид. Забавно – Толик иногда появлялся, когда они втроем выпивали и хулиганили, но никогда на эту тему разговора не заводил, и Егор точно знал, что ни Анька, ни Ленка Толика не видят. Сколько они уже знакомы? Десять лет? Или пятнадцать? Егор подумал, что он пропустил момент, когда время потеряло привычный счет и потихоньку пошло быстрей, а потом и вовсе полетело. Это ведь еще вчера он, не дыша, держал, как ребенка, в руках свою первую настоящую японскую электрогитару, и не мог уснуть всю ночь, и снова открывал красивый футляр и брал ее на руки. Это ведь вчера обезумевшие питерские фаны после концерта в «Юбилейном» оторвали их автобус от земли и, вопя, протащили несколько метров, а они хохотали внутри, мокрые,

молодые и совершенно счастливые. Это вчера, двадцатого августа девяносто первого, они сидели с Костей Кинчевым на баррикаде из покореженных троллейбусов, в темноте, под проливным дождем, и орали песни под расстроенную гитару, и было весело и совсем не страшно. Это вчера, в восемьдесят восьмом, они, чуть не взявшись за руки, шли ночью по теплому асфальту Сансет-бульвара и не верили – неужели это они, «Вечные двигатели», в Штатах и только что отдолбили отличный концерт для американцев, которые, конечно, ни черта не поняли, но с восторгом приняли новых русских братьев по разуму? Когда это было? Сколько дней, сколько лет назад?

– Толик! – Егор знал, что тот его слышит. – Зачем мы живем?
– Я же тебе говорил. Чтобы выполнить свое предназначение.
– Это ничего не объясняет. Правда, зачем?

– Отстань.

– Я не отстану. Зачем?

– Тебе не понравится.

– Зачем?

– Тебе правда не понравится.

– Зачем?

– Ну ладно. Я тебя предупредил. Смотри: у тебя есть шарики – гладкие, красивые, разноцветные – целая коллекция. Зачем эта коллекция и кому она нужна – я правда объяснить тебе не сумею, не нашего ума дело. И вдруг ты замечаешь, что один шарик отсырел, покрылся плесенью, разрушается. Что делать? Спасать, посылать чистильщиков. Плесень – это жизнь, чистильщики – вы. Вы быстро, а главное – гарантированно уничтожаете и плесень, и самих себя.

– Ты шутишь?

Толик не шутил.

Егор вдруг почувствовал, что он отъезжает куда-то, и это не он, а кто-то другой уже по инерции задает Толику вопросы, а он, Егор, просто наблюдает за происходящим.

– А что, нет другого способа… навести порядок?

– Этот самый радикальный. Пробовали смыть водой – не помогает, плесень выживает. Метеоритом – работает, но шарик при этом портится, появляются утраты.

– А, скажем, подвинуть поближе к Солнцу?

– Нельзя вмешиваться в положение шариков в пространстве. Это нарушение условий игры.

Господи, о чем он думает!

– Погоди… А как же тогда «Выполняй свое предназначение»?

– Все правильно. Выполняй свое предназначение. Оно в этом и состоит.

– А зачем тогда ты… со мной?

– Ты катализатор. Помнишь, я тебе говорил? Катализаторы ускоряют процесс. Дрожжи в тесте.

– Да я же всю жизнь кричу о другом!

– А это не имеет никакого значения. Ты что, всерьез думаешь, что результат соответствует поставленной задаче? Крикнул: «Станьте добрее!» – и все стали? Ладно, стали – те, кто услышал. Их тут же грохнули те, кто не слушал. Вы никогда не видите дальше двух ходов. Но важно даже не это. Катализаторы ускоряют брожение масс, и гораздо больше, чем ты думаешь, – любое движение начинается в головах. А любое брожение приближает конечный результат. И вектор тут не имеет значения. Тебе будет трудно это принять, но и Леонардо, и Гитлер, и Пушкин, и Элвис, и Эйнштейн всего лишь катализаторы. Их мало, их надо беречь,

это наша задача. Благодаря им ускоряется прогресс, появляются штуки, сильно двигающие ход событий. Например, колесо или электричество. Или ядерная реакция. Или Интернет. Ты думал, прогресс ведет к благу человечества? К благу – только не человечества. К выполнению главной задачи.

Егору показалось, что мир вокруг стал черно-белым. Почему-то было особенно страшно закончить разговор – тем более что Толик, похоже, не рвался его продолжать.

– Что же Пушкин у вас так мало прожил? Не уследили?

– Нет, он просто выполнил свое предназначение. Но вообще мы катализаторами не разбрасываемся.

– Воскрешаете, что ли?

– Перебрасываем на другой участок. Они, правда, об этом не догадываются.

Молчание.

Егор обнаружил, что медленно возвращается в себя. Там было темно и пусто. Мысли рассыпались, не успев связаться в слова. И вдруг – вспышка. Елки-палки! Выходит, Борзый был прав?

– Так вы дьяволы! Вы хотите уничтожить мир!

– Послушай, мы ведь говорим серьезно. Совершенно не имеет значения, как ты будешь нас называть – богами, дьяволами или санинспекторами вселенной. Если тебе больше нравится семантика слова «дьявол» и ты согласен считать своих создателей дьяволами – пожалуйста. Ради бога.

В комнате висела какая-то необычная тишина. И из-за окна не доносилось ни звука – так в Москве не бывает, даже ночью. Только где-то далеко, за стеной, капала вода. Как метроном. Как часы.

– Ну вот. Я же говорил – тебе не понравится.

Егор вздрогнул и обернулся. Толик стоял прямо за его правым плечом. Он оказался выше Егора – почти на голову.

* * *

И был день, и была ночь, и снова день, и снова ночь. Что мы знаем о времени? Егор чувствовал, что он провалился в какой-то колодец, где времени нет вообще, – и он теперь никогда не долетит до дна. И был еще день, и еще ночь. Подоконник оставался пустым, и Егор почему-то знал, что Толик больше не появится. Да и не хотелось его видеть. А потом – днем, ночью? – пришла песня. Слова в ней еще не звучали, но Егор знал, что они есть – надо только дать им проявиться. И он взял гитару. Сколько он не держал ее в руках – неделю, месяц? Или несколько

мгновений? Что мы знаем о времени? Что мы знаем вообще? Аккорды не пришлось подбирать – осталось только сложить их один к одному – кирпичик к кирпичику. Егор напевал мелодию снова и снова, и с каждым разом она становилась все более земной, все более человеческой. И наконец проступили первые слова. «Ну вот и слава богу», – сказал Толик. Или показалось?

13

Егор зачем-то посмотрел на часы. Восемнадцать сорок пять. Двадцать шестое мая, восемнадцать сорок пять. А потом обнаружил, что сидит на подоконнике в любимой позе Толика. А потом раскрыл окно и посмотрел вниз. Еще и не начало темнеть. И машин на проспекте было совсем мало – ах да, выходные, все разъехались на дачи. Начался было и почти сразу прекратился редкий крупный дождь – непонятно откуда, из чистого неба. Мостовые потемнели, заблестели, по-другому зашелестели шины по асфальту. Сразу в комнату ударил невероятный, невозможный запах – запах весны и продолжения жизни. Егор вдыхал медленно и осторожно, стараясь не расплескать, не упустить ни капли, ни мгновения этого чуда. Мысли? Не было никаких мыслей. Было чувство необъяснимой благодарности – за все, что нам дано и не дано, за все наше знание и незнание, за все, что было, и то, что еще будет. Он дотянулся до пачки сигарет, закурил и глубоко затянулся. Господи, как хорошо! Несовместимые вещи – запах дождя и молодой, только распустившейся листвы, мокрого асфальта, проезжающих автомобилей и Егоровой сигареты, шум мокрых шин, шорох невидимых деревьев под легким ветром и какая-то легкомысленная, дурная музыка, доносящаяся неизвестно откуда, – все, собираясь под единым куполом, обретало чистоту и мудрость неведомой, ясной гармонии, вечной симфонии жизни. Внизу по тротуару бежала, перепрыгивая через высыхающие лужицы, совсем молодая девчонка в невозможно короткой юбке. Прямо под окном она вдруг резко остановилась и посмотрела вверх.

Егор знал, что она улыбнется.

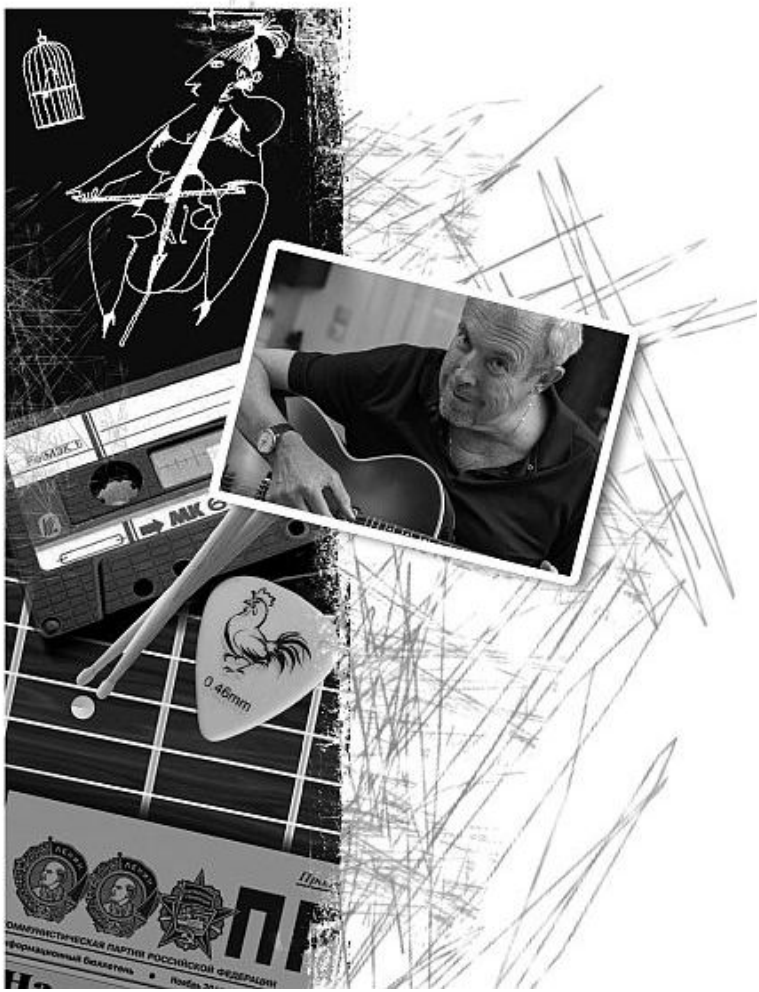
Послесловие

Егор так и не дождался конца света. Спустя семь лет после последней беседы с Толиком его забили насмерть арматурой бойцы радикального молодежного движения «Новая Россия» – прямо после концерта. Поскольку к этому моменту в стране происходили уже совсем серьезные беспорядки – никто это дело толком и не расследовал. Да не очень-то и хотелось.

Он выполнил свое предназначение.

Март 2011

Живые истории



Новогоднее

А правда, что это мы его так любим? При всей любви наших трудящихся к праздникам вообще Новый год все-таки стоит на особом месте. Ну, понятно, традиция.

Хотя во многом – советская традиция. Нет, конечно, праздновали его и раньше, но он мерк в свете Рождества Христова. Советской властью было решено оттянуть внимание от религиозного Рождества к вполне себе нейтральному Новому

году. И вот мы забываем уже, что звезда на елке – не кремлевская, а Вифлеемская, да и сама елка – рождественское дерево. И что подарки наши новогодние – это подарки волхвов к рождеству младенца Христа. Да и сам Дед Мороз – переодетый волхв или, в крайнем случае, Санта– Клаус.

В Америке, кстати, еще смешнее. Там, правда, празднуют все-таки Рождество, Новый год его догоняет. Толпы народа в магазинах, от Санта-Клаусов не продохнуть, все светится, крутится, подмигивает. Люди бредут, увешанные подарками, как елки на ножках. Прикидываюсь дурачком и обращаюсь к нагруженной коробками бабушке – фиолетовые букли, модные очки:

– А что это за праздник у вас такой?

– Как, сэр, вы не знаете? – изумляется бабушка. – Кристмас!

– А что это за кристмас? – продолжаю юродствовать я.

– Как, сэр? Это такой праздник, когда все дарят друг другу подарки!

И пошла.

О как! Тоже не очень помнит.

А ведь интересно – не такая это старая традиция – советский Новый год, а прижилась! И еще как! Вот новые праздники (я их даже запомнить не могу – День России, День Независимости – как там?). Какие-то искусственные. Направленные на рихтовку нашей национальной гордости.

А Новый год – это письмо из детства. Причем каждому из нас – лично. Это единственный неполитический праздник в нашей стране и поэтому человеческий. Теплый. И гордость наша национальная – это салат оливье с докторской колбасой и килограммом майонеза, сельдь под шубой, заливная рыба, шампанское в холодильнике и прочие милые домашние радости.

И бой курантов по телевизору – чтобы не пропустить! И поздравлять друг друга. И желать счастья. Удобная форма заклинания – пусть все наши беды и проблемы останутся в прошлом году! Действительно, пусть. Может, и работает. Если веришь – наверняка работает. И вообще – когда одновременно очень большое количество людей, глядя друг другу в глаза, желает счастья и добра, да еще выпивает за это – это очень мощный энергетический всплеск. Земля должна вздрогнуть. Она и вздрагивает – вы просто не обращали внимания. И жизнь становится чуть-чуть лучше.

Может, благодаря этому мы все еще живы? А кто знает?

Нет, можно, конечно, не возиться дома, а пойти в модный дорогущий ресторан – а только какой же это Новый год? А куранты? А «Огонек» по Первому – смотреть и ругать? Да что вы,

в конце концов, в ресторанах не бывали?

А я лежу в маленькой комнате под одеялом, и прямо передо мной – восхитительно душистая елка в шарах, бусах и лампочках. Под елкой – вата, и среди ваты – бумажно-ватный Дед Мороз, строгий и кривоватый. Ему очень много лет, он еще довоенный. А мне уже шесть, и я слушаю, как стихают в соседней комнате голоса. Гости расходятся, становится слышно, как елка потрескивает и как падают с нее иголки. Сейчас все уйдут, а потом мама и папа принесут мне под елку подарок – его же там сейчас нет, а утром точно будет! И я в который раз решаю ни за что не заснуть, чтобы увидеть, как это произойдет – ну не Дед Мороз же, в самом деле!

И – засыпаю.

Так ни разу и не подсмотрел. Теперь уже не подсмотрю. Жалко.

А вас – с Новым годом! И поздравьте всех-всех, и посмотрите в глаза, и улыбнитесь! Сделайте этот мир добрее – хотя бы ненадолго.

Живые истории

В. Любарову

Если бы мы умели объяснять Искусство, мы бы давно поставили его производство на конвейер.

Невозможно объяснить присутствие Ангела. Довольно легко заметить его отсутствие, и тогда сразу можно объяснить все что угодно – только к Искусству наш объект уже относиться не будет, разве что к чему-то около. Любой искусствовед растолкует вам, чем отличается стилистика и цветовая гамма Боттичелли от Модильяни, и никто никогда не объяснит, почему к ним приходил один и тот же Ангел. Легко рассказать, во что была одета певица, – ты попробуй рассказать, как она поет.

Один мой товарищ – тоже, кстати, художник – однажды поведал мне свою теорию оживления картины. Согласно этой теории, надо было в какой-то части холста уйти в беспредельное уменьшение. То есть, например, если это пейзаж, то пусть вдалеке за лесом будет маленькая избушка, а в ней – совсем уже маленькое окно, а в окне – стол, а на столе – чугунок с картошкой и краюха хлеба, а рядом – таракан. И если в силу своего мастерства достигнешь беспредельности уменьшения, то случится чудо и завтра увидишь, что таракан взял и переполз чуть-чуть в

другое место. А там и все остальное заживет.

Володя Любаров этим приемом практически не пользуется, хотя, безусловно, секретом таким владеет. Иначе откуда эти крохотные деревеньки под ногами у главных героев, а там еще заборчик, а за ним – собака, и глядишь – накакала. Когда успела? Еще вчера было чисто.

Я сказал – «главные герои»? Вообще-то это литературный термин. Он предполагает сюжет. А я терпеть не могу сюжет в изобразительном искусстве. «Скажите, что вы рисуете?» Да не «что», а «как», дура. Настроение я рисую.

А Любаров – загадка. Конечно, настроение. Причем всегда – светлое. Даже если на холсте два выпивших перемиловских мужика бьют друг другу морды. Но еще – всегда история (язык не поворачивается назвать эти истории вяленым словом «сюжет»). По его картинам дети в школах могли бы писать дивные изложения. И истории эти на его картинах не зафиксированы, а происходят. Живут. Это невероятно, но факт. Я, например, точно знаю, что если повесить в гостиной портрет под названием «Коля не любит приезжих», то Коля и будет тебе с утра до ночи талдычить, как и почему он этих приезжих не любит. И замучишься с ним спорить.

У меня дома висят три работы Любарова. На одной Яша, не вынимая бычка из бороды, привычным движением лепит халу, на второй – толстая еврейская девочка в очках все еще думает, что она – Жизель, на третьей – тихое доброе провинциальное наводнение, и Ангел (ну а кто он еще?), посадивший себе на плечо спасенного дядьку в исподнем, одет, как полагается председателю сельсовета, – в пиджак и шляпу.

Я выхожу каждое утро в гостиную, и Яша, и Жизель, и дядька на плече здороваются со мной и продолжают каждый заниматься своим делом, и на душе у меня становится спокойней и светлей.

А вы спрашиваете – что такое искусство.

По-моему, Любаров – очень хороший человек.

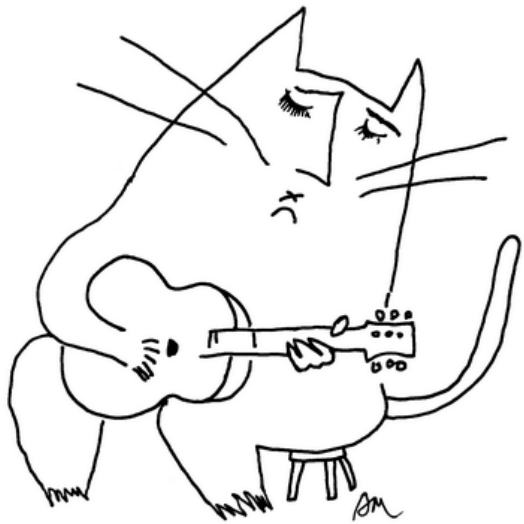
Этим хоть что-то можно объяснить.

К тому же к плохим Ангелы не прилетают.

А на «Наводнении» вода – глядишь – чуть-чуть отступила.

Хорошие песни

Т. Лазаревой



Подарил мне тут знакомый книгу. Какого-то совершенно неизвестного издательства. Смотрю на автора – Леонард Коэн. Проза. «Вот тебе раз, – думаю, – а мы его за певца держим». Прочитал, не отрываясь. Сильнейшая литература! А если бы не приятель – так и слушал бы «I'm Your Man», и все.

Великий Юрий Никулин очень хотел играть трагические роли, а его не звали. Почти. Потому что все знали: Никулин – клоун. Балбес. Ну зачем ломать стереотипы?

Таня Лазарева? А, это которая по телевизору шутит. С Шацем. Верно?

Верно. Только не совсем. Потому что это не вся Таня Лазарева. Довольно небольшая ее часть.

Мне очень повезло – мы с Таней дружим, и давно. И я знаю много такого, чего не знаете вы.

Знаю, например, что она великолепная актриса. От Бога. Просто нереализованная. Надеюсь, пока.

Знаю, что она божественно поет. Не использую тут слово «певица», потому что оно какое-то убитое. Представляете себе визитку – «Андрей Макаревич. Певец». Ужас, правда? Нет, Таня поет.

Поет она по-настоящему. Друзья-музыканты знают, не дадут соврать. А умение петь, между прочим, – это редкий и мистический дар. Некоторые думают, что уметь петь – это попадать в ритм и чисто брать ноты. Так думают певцы. Ну, отчасти они правы – это тоже важно, и у Лазаревой, кстати, с этим тоже всё в порядке. А только секрет умения петь не в этом. А знаете, в чем? Это когда тебе спели песню, а ты вдруг заплакал. Сидел за столом, веселился, ни о чем плохом не думал, а тут раз – и заплакал. Почему, из-за чего – объяснить не можешь. Вот это и есть искусство. Остальное: ноты, ритм – ремесло. Этому можно научить. Или научиться. А самому главному – научить невозможно, и не тратьте время. Или есть, или нет.

Я очень давно подбивал Татьяну записать пластинку – как-то она не рвалась: то некогда, то – где взять музыкантов, то еще что-нибудь. Это мне так казалось. А сейчас понимаю – дозревала, и думала все время об этом, и мучилась, наверно. Потому что то, что мы с вами сегодня держим в руках, с кондачка не делается. Это уж я вам как музыкант говорю.

Таня мне рассказала, что записала песни, которые пели ее родители. Или у нее феноменальная память, или я не знаю, где она их раскопала – при затянувшейся моде на все советское мы год за годом всем скопом топчемся по десятку шлягеров сороковых-шестидесятых. Ну, «Темная ночь», ну, «Слушай, Ленинград, я тебе спою…», ну, «Зачем вы, девушки, красивых любите?». Заканчиваем, как правило, «Призрачно все в этом мире бушующем…». Не волнуйтесь, это все Таня тоже знает. И не взяла из них ни одной. Многого из того, что она записала, нет нигде – даже в интернете. А там, говорят, все есть. Пытал я ее, пытал – не колется.

Татьяна выбрала для записи отличных музыкантов – из «Хоронько оркестра». Она добилась от них всего, чего хотела. Она, наверно, перфекционист.

Я раньше думал, что время – самый справедливый судья: поют песню сто лет – значит, она того достойна, забыли – ну, стало быть, не заслужила долголетия. Недостаточно хороша. Это не так. Время очень часто бывает несправедливо. И эта пластинка – лучшее тому подтверждение.

Называется она – «Хорошие песни». Конечно, хорошее – у каждого свое. Кому и «Белые розы» хорошая песня. И не поспоришь. Ну, нравится ему. Но на этой пластинке – правда хорошие песни. Так считает Татьяна. И так думаю я. Нас уже двое. Вы нам верите?

Я поздравляю сотрудников «Огонька» – у вас прекрасный вкус, спасибо!

Я поздравляю Татьяну – это великолепная работа, ею можно гордиться!

И я поздравляю нас с вами – у нас в руках чудесный подарок от Тани Лазаревой и от журнала, и вас ждет радость!

И еще знаете что? Как только сядете в машину – сразу выключите эту радиолабуду, которая включается у вас одновременно с зажиганием, – только сразу. И поставьте пластинку. Увидите, что будет.

Умище не скроешь

По танцору совершенно невозможно определить – идиот он или нет.

По тому, как он танцует, естественно, а не по опыту личного общения.

И то не совсем так. Кое-что увидеть можно. Правда, смотреть надо внимательно и долго. Потому что в первую очередь мы оцениваем танцора по его мастерству. По высоте прыжка, пластике движения, отточенности пируэтов. Для большинства из нас оценка на этом и заканчивается. И только продравшись сквозь все это, начинаешь замечать юмор или его отсутствие, самоиронию или самолюбование. Трагедию или ее изображение. Очень тонкие вещи.

Это все ведь имеет отношение к уму, правда?

Когда танцует Барышников, я понимаю, что идиот так танцевать не сможет. И дело не в мастерстве. Там что-то еще. Огромное, между прочим.

С музыкантом уже проще. Нет, с исполнителем классики – примерно так же, как с танцором, а, скажем, с джазовым музыкантом, который импровизирует в команде, – уже проще. Он тоже прикрывается техникой, наработанными фразами, и все-таки

по тому, как он ведет себя в компании: как перекликается, отвечает, уступает дорогу, слышит остальных или, наоборот, тупо тянет одеяло на себя, все ясно, все видно. Может быть, не всем и не сразу.

Многие режиссеры не любят умных артистов. Сейчас мне ясно – умный артист автоматически становится сорежиссером своей роли. А вдруг видение не совпадает? А если он, не дай бог, умнее режиссера (думаете, не бывает?). В общем, неудобно с ним. Не все режиссеры нуждаются в соавторстве. А я никогда не понимал (да и сейчас не очень понимаю) – как может не блещущий умом талантливый артист сыграть гения? Говорят, животная органика. Это что такое? Это ему режиссер так хорошо объяснил, что делать? Но ведь всего же не объяснишь! Ну да, рисунок роли задан, а дальше-то, в мелочах – он сам! И смотришь, и веришь, и не можешь понять – как это? Как может неумный человек сыграть умного? Они что, правда перевоплощаются?

Бесовская профессия.

Или все-таки не такие они дураки?

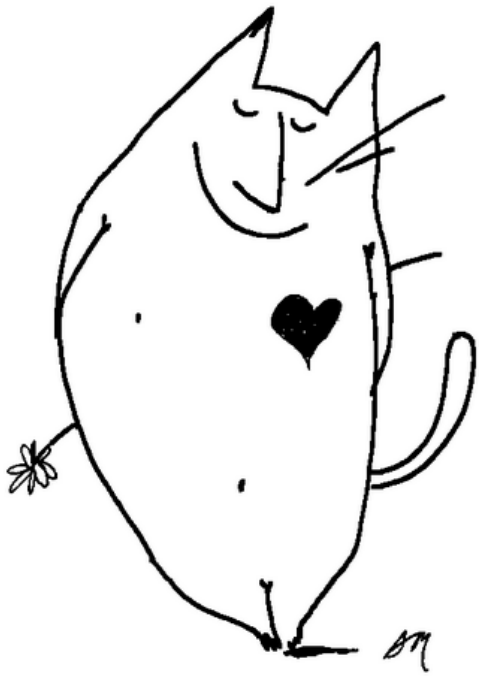
И вот только с певцами все ясно. Сразу. И бесповоротно. Причем вот что интересно – даже не важно, на каком языке он поет, – ты можешь не понимать ни слова, но про исполнителя поймешь все. Пение удивительным образом раздевает. И тут же все как на рентгене: и насколько он влюблен в себя, и вообще видит ли себя со стороны, и какой юмор ему ближе – Петросяна или Жванецкого, и даже уровень его интеллекта в цифровом обозначении. Не надо длинных тестов при приеме на ответственную работу – попросите товарища спеть!

И еще раз – дело ведь не в содержании слов, которые он в данный момент пропевает. Хотя умный певец совсем уже бредятину петь не станет – но отбросим этот показатель. Иной политический человек час говорит, не останавливаясь – и без бумажки! – и слушаешь и не можешь понять: умный, нет?

Пусть что-нибудь споет.

То, что ему нравится.

Почему мы такие злые



Я был на Олимпиаде в Ванкувере. Почему сейчас вспоминаю? Я ведь, в общем, не болельщик. Совсем. Помню, в первый же день мы вышли из гостиницы, разодетые в яркие костюмы нашей сборной от «Боско». К нам бросились два огромных местных полицейских, увешанных, как в кино, дубинками, наручниками, рациями и револьверами. «Регистрацию проверить хотят», – смекнул я. Нет, они бежали поприветствовать гостей из России. Атмосфера доброжелательности была разлита в воздухе, ощущалась просто физически. Мы ее чувствуем гораздо острее других – мы от нее отвыкли. Вернее, привыкли к ее отсутствию.

Почему мы такие злые?

Ой, я знаю, мне сейчас объяснят: это потому, что у нас такая жизнь. «Это не мы, мамаша, такие – это жизнь такая!» – ключевая фраза из фильма «Бумер». А ведь все ровно наоборот, мальчики, – это не жизнь такая, это мы такие. Потому что мы эту жизнь делаем. Каждый день, каждую секунду.

Нам, правда, помогают. Помогают найти виноватого. А это ведь кто угодно, кроме нас с вами, правда? Вариант для первого уровня умственного развития: это все американский заговор (или

жидомасонский – какая разница?). Это они сделали так, что нам плохо. Вот суки. Вариант номер два: да что вы, какие американцы! Это – наши! (Дальше по списку: Ленин, Сталин, Горбачев, Ельцин, Путин, а во главе всех – Чубайс. Странно, Брежнева не ругают – добрый был дедушка.)

Ребята, а это не мы сами, а?

Вы можете себе представить какого-нибудь Сталина во главе Америки? Да не пытайтесь. Там у людей другое чувство собственного достоинства и личной свободы. Не лягут под такого.

А мы легли.

Что, страшно было вякнуть? Конечно! А только ведь страх не спасал – все равно и сажали, и расстреливали. А мы – ничего: радовались и на демонстрации ходили. А чего? Хозяин был. Твердая рука. А с нами так и надо – построже. А невиновных у нас «не содют».

А теперь вдруг – обозлились. На всех и на все.

Отношение к нам милиционеров сравнимо с отношением солдат вермахта к жителям оккупированных территорий. Я не преувеличиваю – это у вас глаза замылились. А ведь они – это мы, это наши сограждане. Что с вами, ребята? Заболели?

Когда один журналист поддержал идею беспощадно отстреливать бездомных собак (тех самых, которых мы с вами вчера сделали бездомными, выкинув их на улицу) – я уже знал: завтра придет очередь бомжей и беспризорных детей – от них тоже одно воровство и зараза. Я почти дождался – другой журналист предложил дать матерям право лишать жизни детей, родившихся с психическими отклонениями (ему повезло – когда родился он сам, такого никому в голову прийти не могло. Его бы точно усыпили).

А ведь этот «гуманист» – это тоже мы. Не с Марса же он прилетел.

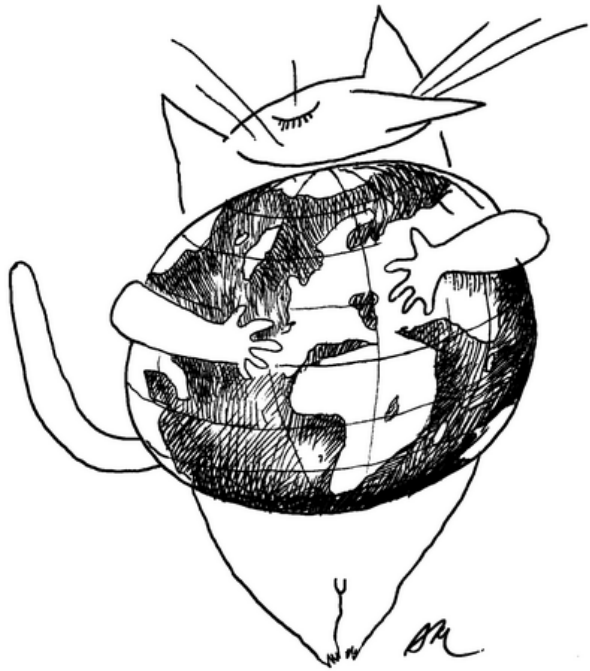
И церквей, казалось бы, понастроили, понаоткрывали. И ведь ходим. Особенно по праздникам. Для красоты.

И знаете, что? Если мы сами – прямо сейчас – не сделаем себя добрее, нам ничто не поможет. Ни Путин, ни патриарх, ни Господь Бог. И конец наш будет ужасен, поверьте. Мы ведь на планете одни такие остались.

Только сами.

Похоже на проповедь, правда?

Студенческое



Недавно совершенно случайно проходил по улице Жданова мимо родного архитектурного. Улица Жданова теперь не Жданова, а Рождественка – вернули историческое название. Не могу привыкнуть. Смешно – кто-то когда-то не мог привыкнуть к тому, что она – Жданова. За оградой на фонтане точно так же, как тридцать лет назад, сидели студентики и студенточки, курили. Волосатые ребята тащили подрамники. Страшно вдруг захотелось зайти внутрь и посмотреть – как там сейчас? Как было у нас или все по-другому? И – не смог зайти, испугался: а вдруг все не так?

Если тебе посчастливилось быть студентом – до последних дней ты будешь вспоминать свое студенчество как лучшее время жизни. Если посчастливилось. А на что же ты потратил эти волшебные годы? На армию и флот?

У нас было так. Не знаю, как сейчас.

К десятому классу школа уже трещит по швам. Ты вырос из нее – из школьной формы, из постылых школьных правил: сели-встали, учебники на край стола, Макаревич, дайте дневник. Последние месяцы невыносимы. И – вот она, свобода! Нет больше никаких дневников! Некуда писать замечания родителям! Не в

зачетку же. Ты – взрослый! Во всяком случае, преподаватели делают вид, что относятся к тебе именно таким образом. Как же ты, оказывается, ждал этого отношения! После убогой школьной тюрьмы духа и тела пространство, в которое ты попадаешь, кажется ярким и бесконечным. Не знаю, как сейчас. У нас было так.

И весь мир – у твоих ног. Ты – молодой красивый орел, уже догадывающийся, что не будешь жить вечно, но совершенно еще не думающий о том, сколько это будет продолжаться. Твой возраст заточен под счастье. Фабрика твоих гормонов работает в бешеном режиме. Тестостерон, адреналин и серотонин прут из тебя, как квашня из кадушки. Твой порох сух, заряды забиты, курки взведены.

Конечно, бузить. Студенческая буза – это не школьное шалопайство. Мы хотим изменить мир. Здесь и сейчас. Мы не очень хорошо знаем как, зато отлично видим – что.

Да практически все.

Мы не спим. Вообще. Ну, разве что на лекции. Все остальное время отдано изменению мира. От КВН до студенческих революций. Наша юная правда дороже нам всех истин человечества. Как же это наивно и как прекрасно!

У нас было так. Как сейчас – ей-богу, не знаю.

Да, наверно, так же.

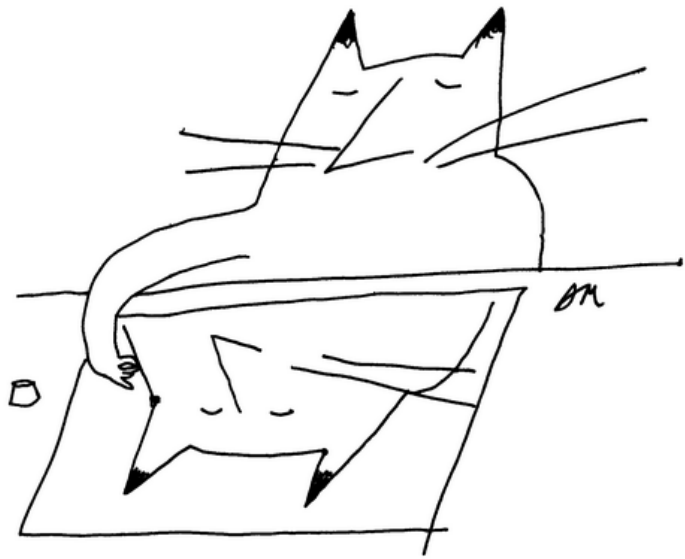
А наши девушки? Да нет, это отдельный разговор!

И – вот еще что. Ты, оказывается, не совсем взрослый – у тебя еще осталась детская потребность собираться в стаю, гуртоваться. Скоро это пройдет – навсегда. А пока – мы не можем друг без друга: талантливые с талантливыми, бездарь с бездарями, художники с художниками, технари с технарями. Эта дружба, это лицейское братство оставит след в твоей душе на всю жизнь. По нему мы узнаем друг друга.

У нас было так.

Про красоту

Моему отцу



Отец одно время преподавал на первом курсе Московского архитектурного. Первый курс назывался ФОП – факультет общей подготовки. Он выходил к этим юным, победившим в жестоком конкурсе, прошедшим суровые вступительные экзамены без пяти минут гениям, ставил мелом на доске две точки – на расстоянии чуть больше метра друг от друга – и стремительно соединял их идеальной прямой. Потом предлагал студентам проделать то же самое. Ни у кого не получалось. Даже близко. «Вот за этим, – говорил отец, – вы сюда и поступили».

И за этим тоже.

Идеальный художник – это идеальный глаз плюс идеальная рука. И работают они в жесткой сцепке, как единый организм. Так было всегда, когда художник рисовал. До недавнего времени. Пока не появился концепт. Он как бы не отрицает ни глаза, ни руки, но делает их не главными, не обязательными. Главное – идея. А прямая линия – вообще чушь: компьютер дает такую линию, что прямее не бывает.

Что такое красота? У Даля нет ответа: «Красота, краса, украса, услада». В историко-этимологическом словаре современного русского языка – «то, что доставляет эстетическое наслаждение». Спасибо, объяснили. В Большом энциклопедическом словаре вообще бред: «Красота – квантовое число, характеризующее адроны». Я подумал, я с ума сошел. Толковый словарь русского языка Ушакова – нет объяснения! Словари кончились.

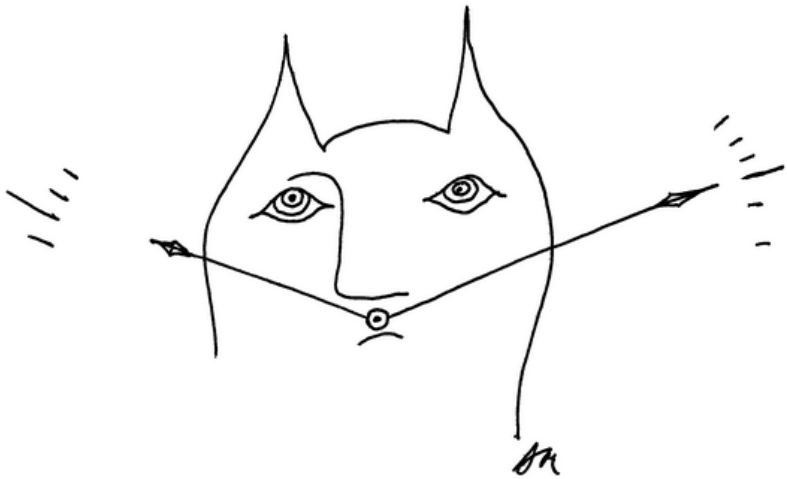
По-моему, красота – это когда через наше корявое, рукотворное, бытовое вдруг проступает божественное совершенство. Оно бесконечно далеко от нас, но оно есть, вот оно, и это для меня одно из бесспорных доказательств существования Всевышнего. И ты не можешь объяснить, почему эта линия заставляет твое сердце чаще биться, почему это лицо на холсте светится тихим светом и слезы наворачиваются у тебя на глаза. Чувствуешь, а объяснить не можешь. Вот в словарях и пусто.

Гоните к черту тех, кто будет вам объяснять, что красота – понятие субъективное, у каждой эпохи, у каждого этноса свое представление о красоте. Это они так маскируют свое убожество. Они путают конфету и фантик. Фантики меняются, это правда. Меняются моды, направления, стили. А божественный свет – непреходящ. Он проступает из древних наскальных изображений и из фресок Феофана Грека, из холстов Боттичелли и Модильяни, из «Пьеты» Микеланджело и трактирных вывесок Пиросмани. Или не проступает. Из «Черного квадрата» ничего не проступает. Черный квадрат – и все. Ломать – не строить.

Мне семь лет, и я смотрю, как отец рисует. У нас с ним одна комнатка на двоих, у стены – мой раздвижной диванчик, у окна – его рабочий стол. Отец берет новый лист, несколько секунд смотрит на него, сощурясь, и вдруг стремительно проходит по нему толстой кистью, движения его резки и непредсказуемы, и через пару минут я, затаив дыхание, вижу, как разрозненные линии и пятна соединяются в портрет женщины необыкновенной красоты. Образы этих женщин рождались у отца в голове – почему, как, откуда? Еще минута – и работа ложится сохнуть на пол рядом с двумя другими. Отец берет новый лист. Он будет рисовать, пока на полу не останется места. Я наблюдаю почти каждый день, как рождается Красота под рукой безупречного художника. Я готов наблюдать за этим бесконечно.

Как же мне повезло!

Анатомия памяти



Время недоступно нашему пониманию. Потому что оно необратимо. И оно делает необратимым все, к чему оно прикасается. Фильм можно прокрутить туда и обратно десять раз, и мы там как живые, но – пленка поцарапалась и осыпалась. А завтра выцветет вовсе. По любой дороге можно пройти туда и обратно, но – пролетел день, и ты уже не тот, и дорога не та.

Время – дорога в одну сторону.

Как это – голос звучит, и ты слушаешь и плачешь, а человека этого уже давным-давно нет?

Фотокамера сегодня превратилась в приложение к телефону, фотографирование – в милую домашнюю забаву. А сто лет назад это было чудо, священнодействие. И человек шел к фотокамере, как на исповедь. Поэтому в отражении глаз этих людей можно разглядеть все: как они любили, как страдали и радовались, как текла их непохожая на нашу жизнь. Разглядеть – если захочешь.

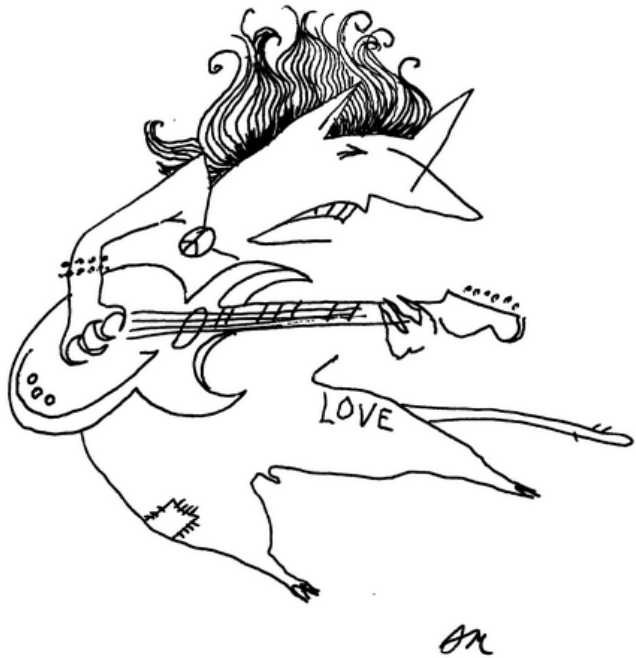
Время – дорога в одну сторону.

И все-таки, думаю я. Если законы природы едины – может, мы просто чего-то не знаем? Ведь можно заставить ток бежать в другую сторону – надо только поменять полярность.

Стрелкам, в сущности, все равно, в какую сторону вращаться.

Герои рок-н-ролла

К выставке «30 лет питерскому року»



Они были совсем не такие, как мы.

То есть нет, конечно, они были точно такие же, как мы: битлы в сердцах и в головах, и джинсы – больше, чем джинсы, и хаер – больше, чем хаер. И мы, и они были модниками на грани идеологического скандала. И все-таки. Сейчас попробую объяснить. Мы, как герои «Властелина колец», шли, таясь, ночами к одной нам ведомой цели. А они – они плыли в одной лодке. С прекрасным и безумным Колей Васиным на мостике. Я сейчас говорю далеко не о всех красавцах с этих фоток – многие питерские (и те, кого принято считать питерскими) – Гаркуша, Цой, Кинчев, Борзыкин, Шевчук – были тогда еще маленькими. А мы – «Машина», «Аквариум», «Зоопарк», «Мифы» – мы были просто невероятно молодыми. Я про семьдесят шестой год.

В семьдесят шестом году мы познакомились с БГ и «Аквариумом» на фестивале в Таллине (можно я буду писать по-старому? Тогда писалось именно так). А до семьдесят шестого года никаких фестивалей подобной музыки в стране и не

случалось – и не могли мы нигде познакомиться, интернета, пардон, еще и в планах человечества не стояло, так что все произошло очень вовремя. И уже спустя несколько недель мы ехали в Питер по приглашению Борис Борисыча.

Они встречали нас на вокзале хлебом-солью и, кажется, портвейном – прекрасные волосатые парни и девки. Они хохотали и пели «Yellow Submarine». Два последующих года пролетели, как один сумасшедший сейшн. Мы совершали наши вылазки практически раз в неделю. Мы сводили с ума питерских фанов, сидели ночами в странных огромных облупленных комнатах питерских коммуналок, пили все, что льется, курили все, что исторгает дым, и говорили обо всем на свете. Хотя – какое обо всем? О музыке, конечно.

Питерцы копали вглубь. Помню, меня поразило тогда, что и Боря и Майк великолепно знают рок-н-ролльную поэзию – Боба Дилана, Донована. Я владел английским не хуже их, но мне почему-то не приходило в голову нырять в это море настолько глубоко – мне вполне хватало музыкального драйва. И вообще я с самого начала чувствовал, что они какие-то по-хорошему другие – а в чем именно, понять не мог. Если мы были добрые и непрактичные фанатики, то они были совсем добрые и отчаянно непрактичные. С ними было тепло.

Еще тогда казалось, что в Питере посвободней, что ли. Они нам казались посвободней. За два года нас там так ни разу и не повязали. Хотя пытались.

Ну да, можно анализировать: столица, близость к Кремлю и всему, что в нем сидит, со всеми вытекающими, с другой стороны – сыновья и дочки разного рода дипломатических работников, пропадающих за границей, заморские чудеса: акустика, диски, гитары.

Вот гитары у нас были получше.

У них был Питер – в те годы серый, обветренный, вдруг невероятно просторный, когда выходишь к Неве, строгий, грустный и прекрасный город. Ничего от того Питера не осталось. Я выхожу из поезда на Московском вокзале, иду вниз по Невскому – как тогда – ни черта не узнаю.

Впрочем, от той Москвы осталось еще меньше.

Как же мы давно живем!

И как хорошо, что мы такие разные!

Еще раз про любовь

Несколько лет назад меня пригласили участвовать в благотворительной акции – «Раскрась корову». В мире такие акции проводят довольно часто, но в нашей стране это случилось впервые. Разным художникам раздали белоснежных пластиковых коров в натуральную величину, каждый расписал свою как мог, а потом их продали на аукционе. Я быстро придумал для своей коровы довольно смешную концепцию, сделал все за пару дней, и, помню, работа моя очень хорошо продалась; было приятно – не зря старался. С тех пор меня не покидало ощущение, что я не до конца высказался в этом жанре. Я решил продолжить – уже для себя. Оставалось найти собственно корову.

Я вспомнил, что в прошлом году что-то похожее видел в магазине «Твой дом». В магазине мне сказали, что да, была у них такая корова, но никто ее так и не купил, и теперь она стоит на складе. Я поехал на склад в какую-то глухомань, и веселые толстые дядьки выволокли из лабиринта коробок и контейнеров и поставили передо мной роскошную корову – белую в черных пятнах и с большими грустными стеклянными глазами. Корова томилась на складе давно, была вся в пыли, на ней имелись утраты, и мне продали ее за полцены. Мой пес Гек, бернский пастух, человек добрейший и мечтательный, увидев корову, жутко

перепугался. Он спрятался за кустом и оттуда наблюдал, трепеща, как два грузчика затаскивают в гараж непонятное чудовище. Заставить его подойти и познакомиться с коровой было невозможно.

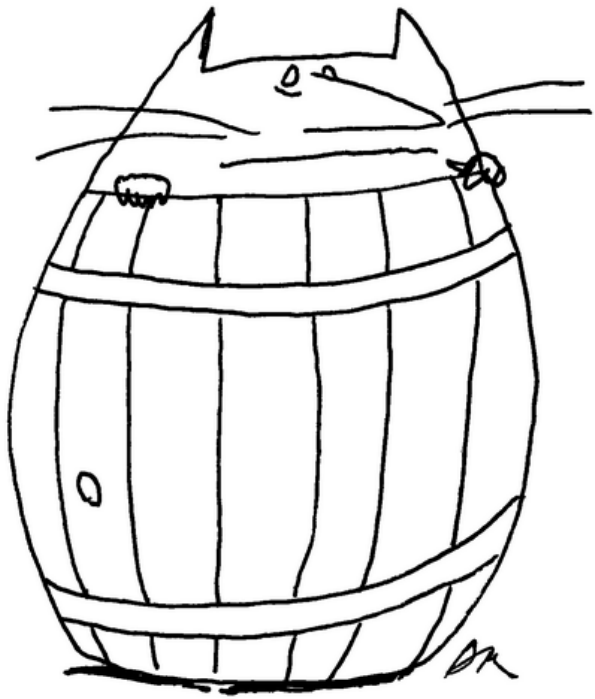
Наутро я приступил к работе. Я решил сделать корову черно-золотой. Такое черненое золото можно увидеть на древних японских украшениях и эфесах самурайских мечей, сочетание невероятно благородное. Первым делом я покрыл всю корову матовой черной краской из аэрозольного баллончика. Гек поборол страх, пришел в гараж и завороженно наблюдал, как животное на глазах меняет цвет. Потом настало время золочения. Дело это кропотливое и нудное – надо намазать небольшой участок коровы клеем, потом плотно прижать к нему кусок пленки с золотой амальгамой и, когда клей застынет, резко сорвать пленку – позолота останется на поверхности. Постепенно корова покрывалась золотой патиной – получалось даже красивее, чем я ожидал.

И случилось невероятное – Гек влюбился. Он лежал у ног медленно золотеющей коровы и, улыбаясь, смотрел на нее блаженными глазами идиота. Таких глаз я не видел у него никогда – ни во время любовных игр со всякими, извините, суками, ни в дни, когда он, прыгая, встречал меня у ворот после долгой разлуки. Нет, это было что-то совсем иное. Он забыл про еду, питье и отказывался покидать гараж. Утром я заставал его у ног возлюбленной в той же позе, что и вчера. Три дня ушло у меня на процесс золочения, и три дня Гек не покидал свой пост. По-моему, он даже не отлучался пописать. На четвертый день с золотом было покончено, оставалось покрыть корову лаком. Лак жутко пах, я чуть не терял сознание, Гек морщился, но оставался неподвижным. Это была вахта безнадежно влюбленного раба у ног недоступной королевы.

Еще день корова сохла, а потом настало время искать ей место. Вещь немаленькая, в комнату не поставишь. К тому же мне хотелось поднять ее высоко, как знамя. И два мужика за бутылку помогли мне затащить ее на второй этаж и выставить на единственный балкончик – она чудом вошла во все двери и вот теперь скромно сияла золотыми боками прямо над входом в дом. Туда Геку уже было не добраться, а он и не рвался – он знал, что несчастная его любовь обречена. Теперь он сидел у порога дома, задрав голову, и неотрывно смотрел ввысь. К вечеру ветер стихал, и тогда было слышно, что он тихонько поет.

Я даже хотел написать сказку про неразделенное чувство сторожевого пса к золотой корове, но вспомнил, что все это уже давным-давно сделал Андерсен.

В. П. Аксенову



Все эти долгие месяцы, пока Василий Павлович лежал в больнице, я понимал, что надежды практически нет. И все-таки верил в чудо.

1968 год. Я возвращаюсь из школы. Отец дома – ходит по квартире, читает вслух журнал «Юность» – сам себе. Восхищенно: «Нет, но как пропустили?»

«Затоваренная бочкотара».

Слышу унылый голос юного эстета из наших дней: «Ну что там было запрещать? Милая такая проза, романтическая, позитивная. С юморком».

Эх, ребята…

Я не знаю другого писателя, текст которого дышал бы такой свободой. Он учил нас, затюканных совком, дышать свободой – каждой своей строкой. И вот это было – нельзя. Вся судьба его – большое чудо. В любой момент могло повернуться гораздо хуже.

А мы сидели с засаленным до прозрачности «посевовским»

«Островом Крым» и до утра сочиняли – вот если бы снять такой фильм (да, конечно, никто и никогда!) – кто бы кого играл? Скажем, Андрея Лучникова? Получалось, что Янковский.

Вот и Олега нет.

И литература вроде не кончилась. Напротив – развивается в полном соответствии со временем. Сейчас такие прозаики есть – головы кошкам откусывают. А вот так свободно не дышат. Не могут. Свобода – это ведь не то, какая погода стоит на дворе и кто там у нас царь. Свобода – это то, из чего ты сделан внутри. Или не сделан.

Сейчас **таких** не делают.

Календарь и даты условны. Я вдруг понял, что вот сейчас закончился двадцатый век – с его революциями, Великой Победой, репрессиями, оттепелью, холодной войной, джазом, «Битлами» и Василием Аксеновым.

Земля вам пухом, Василий Павлович.

Манхэттен

Я безумно люблю Манхэттен. Если кто-то из моих друзей оказался в Нью-Йорке впервые, я веду его на Манхэттен, и переживаю его радость и изумление вместе с ним, и вообще чувствую себя так, как будто я имею к созданию этого самого Манхэттена какое-то отношение. С чего бы это?

Я раньше думал – люблю за архитектуру. Эти великие небоскребы, рожденные небывалым полетом инженерной и художественной мысли, из зданий будущего на наших глазах превратились в милое ретро – как же летит время! И город приобрел новое обаяние: нигде в мире больше нет такого ансамбля ретро-небоскребов (наши сталинские высотки, одиноко торчащие из коровьей лепешки старой Москвы, считать не будем). Вот интересно, строят на Манхэттене новые, современные высотные здания – земля-то на вес золота! – а они уже из другой эстетики. Такие сейчас строят везде – и в Китае, и в Сингапуре, и все они какие-то инкубаторские, хотя и разные, – дух изменился, мир изменился. А старый Манхэттен стоит.

Теперь понял – конечно, за архитектуру тоже, но главное – за другое: на Манхэттене как нигде чувствуется пространство личной свободы каждого человека, по нему идущего. Независимо

от плотности потока. Мало того, ты вдруг понимаешь, что и ты окружен таким же собственным пространством. Надо же, а в Москве ничего похожего не ощущалось! Пространство это не мало и не велико и имеет четкие границы, как кокон, и находиться внутри него – очень непривычное и совершенно божественное ощущение. Поэтому обязательная поголовная рациональная вежливость. (Помню, любили у нас сетовать на то, что американцы-де неискренне улыбаются. Конечно, неискренне – это форма общения. И лучше формальная улыбка, чем искренняя злобная харя.) Поэтому ты можешь выйти на Бродвей в розовых колготках и с ведром на голове – никто на тебя не посмотрит. До тех пор, пока твой демарш не начнет задевать пространства личной свободы других граждан – тут тебе быстро объяснят, где ты не прав. Поэтому – калейдоскоп наций, оттенков кожи, акцентов – и все равны, даже бродяга, с достоинством стреляющий мелочь у прохожих. Лозунг «Америка для белых» умер где-то полвека назад. Примерно на столько мы от них и отстаем. Поэтому энергия города очень схожа с московской, и градус ее столь же высок, но при этом она совершенно лишена негатива и агрессии, висящих над москвичами черной тучей. Да нет, конечно, хватает и тут проблем, в том числе и этнических, и любой американец будет рассказывать вам о них до утра – я говорю об ощущении человека, приехавшего издалека и вышедшего на Манхэттен.

Манхэттен, спускаясь к океану, делится на несколько маленьких миров – Гринвич-Виллидж, Чайна-таун, Сохо. Они разные, как планеты, по которым путешествовал Маленький Принц, и надо просто перейти улицу, чтобы попасть из одного в другой. Каждый со своей историей, культурой, архитектурой, населением. Гулять по этим мирам – наслаждение. А дальше за мостом еще Бруклин, Брайтон-Бич…

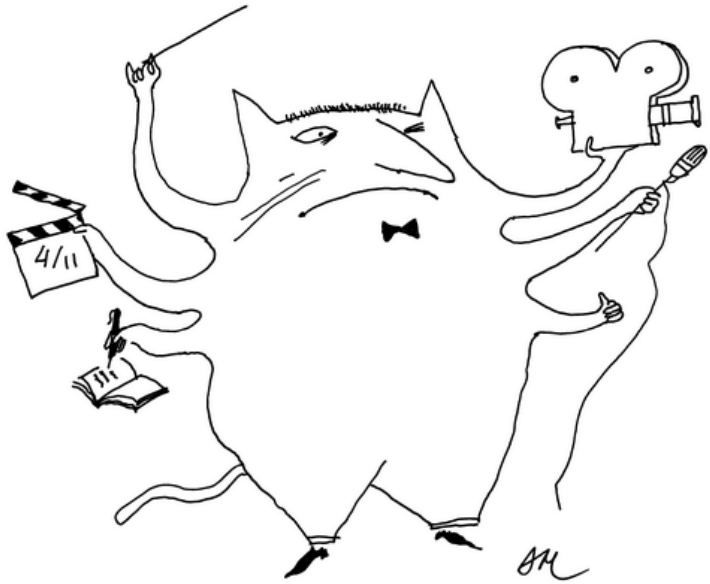
Да, вот еще откуда ощущение там свободы. Поразительно отношение американцев к закону. Закон – это то, что избавляет тебя от необходимости думать по данному поводу. Закон – это чтобы исполнять. Нашего человека такое отношение бесит. Потому что для нас закон – это препятствие в достижении собственной цели, следовательно, закон – это чтобы обходить (ну, или нарушать – кто что любит), и поэтому думать тут как раз необходимо.

Аэропорт в Чикаго, бар, группа наших соотечественников, людей среднего возраста. Заказывают выпить. Чернокожая милая девушка за стойкой бара: «Ваши АйДи, пожалуйста». АйДи – это любое удостоверение личности, где указана дата рождения. Соотечественники в шоке – зачем?! Девушка должна убедиться,

что каждому исполнился двадцать один год. Мужикам где-то под сорок, и с ними случается истерика: «Да ты на нас посмотри, дочка! Глаза разуй!» На чистом английском, разумеется. И не могут мужики взять в толк, что не надо ей на них смотреть – закон освобождает ее от необходимости определять на глаз возраст каждого посетителя бара. Да выгляди ты хоть на семнадцать, хоть на шестьдесят! Ты показал, она проверила. И все! Ей удобно, тебе нетрудно. И ошибки исключены. Нет, мы не можем. Потому что для американцев закон – это нечто упрощающее твое существование. У нас – осложняющее. Они думают, как его соблюсти, мы – как обойти. Я сейчас не о качестве законов – это второй вопрос. Я об отношении к нему как к обстоятельству жизни. Сам факт существования закона у нас вызывает раздражение. Независимо от качества. И вот ведь забавно – у них уважение к закону и при этом ощущение свободы. У нас – ни того, ни другого.

Или это потому, что у нас законы не для всех?

Система



Система непобедима. Она воспроизводит саму себя. Система представляет собой цепочку элементов, взаимосвязанных по одному принципу. Казалось бы, замени любой кирпичик на инородный, и система рухнет. Но именно поэтому ничего инородного система внутрь себя не допускает. Ни под каким видом.

Скучно? Сейчас объясню.

Вот режиссер заказал композитору музыку для фильма. Композитор – халтурщик и записал всю музыку на дешевой корейской электронной клавишной игрушке. На такой «пукалке» даже корейские пионеры к музицированию не допускаются. А он записал все – рояль, скрипки, трубы, барабаны. Нет, конечно, платили бы серьезные деньги – он бы позвал на запись государственный оркестр кинематографии с дирижером Скрипкой. А тут – на какие шиши?

В общем, звучит чудовищно. А режиссер эту музыку покупает. И вставляет в фильм. Ну, во-первых, у него что-то с ушами. А во-вторых, бюджет и правда позорный; он и этот-то еле выбил, а надо еще на актеров, на производство, на павильоны, на натуру…

Ну, и себя не обидеть. И не думает он о том, что такая музыка – уже волчий билет на любой международный фестиваль: не возьмут там такое. Он на эти международные фестивали не очень-то и рвется. Подумаешь! У нас свои есть. «Кинотавр». Чем не Канны?

А актеры тоже не очень-то рвались в этом кино сниматься. Потому что все понимают. А с другой стороны, окончили ВГИК, подавали надежды, год, два – не звонит Скорсезе! И Сокуров не звонит. А кушать надо. А на театральную зарплату не покушаешь. Да и там, у них, между нами говоря, не Петер Штайн ставит. Некоторые, у кого психика покрепче, снимаются в рекламе прокладок. И в сериале «Счастливы вместе-12». Но не у всех же актеров такая крепкая психика. Она обычно расшатана профессией. Вот и пошли с надеждой – а вдруг что получится! Бывают же чудеса. Все-таки кино. Полный метр.

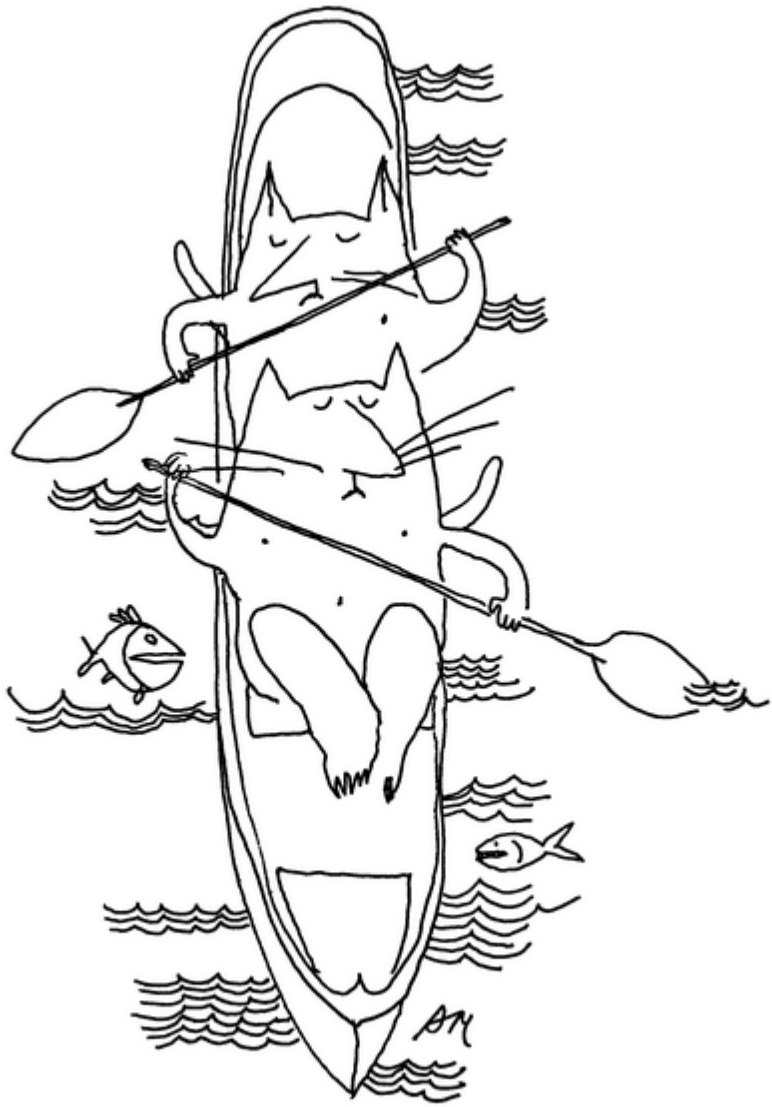
Не получится. Потому что сценарист на фильме был как раз очень известный. И в силу этого исключительно востребованный. И именно на этом отрезке времени он интенсивно работал сразу над двумя сериалами. Ну, так получилось. Он, конечно, к этим сериалам относился с должной иронией и даже некоторым презрением. А киносценарий писал для искусства. Для вечности. Но вот на эту самую вечность все время не хватало то сил, то времени. Нет, задумано было неплохо. Но – недотянул. По объективным причинам. Он и не думал, что режиссер этот сценарий возьмет. А ему что-то там вдруг понравилось. Он, правда, просил кое-что переделать и дописать, но когда? Не жизнь, а сплошной цейтнот!

Ой, я забыл про оператора. Оператор как раз мечтал на этом фильме поработать. Потому что всю жизнь снимал телевизионные программы. В основном кулинарные. И они у него очень хорошо получались. И на телевидении его хвалили. Но хотелось в искусство. Пленка, полный метр. Он правда очень старался. Но у него не очень получалось не кастрюли снимать. Оказывается, разучился, сбил планку. Да и не очень-то умел, видимо. А режиссер сначала думал пригласить вместо него великого, а тот занят. С Германом снимает. Уже двенадцать лет.

А зритель постоял-постоял перед афишей, да и не пошел на фильм. Во-первых, вон в соседнем зале «Аватар против чужих» дают. А во-вторых, если все-таки кто-то из знакомых посмотрит и окажется, что можно смотреть, посмотрим дома. На пиратском диске.

Приятного просмотра!

А. Я. Розенбауму



Очень легко писать о каком-нибудь неизвестном талантливом человеке. Такое ощущение, что открываешь глаза человечеству. И все вокруг восклицают: «Как? Кто это? А мы не знали!»

Об очевидном писать чудовищно сложно. Ну что неожиданного можно рассказать про Сашу Розенбаума? Тем паче что он постоянно рассказывает о себе сам – своими песнями. От

чьего бы лица он их ни писал.

Лет десять назад он вдруг позвонил мне ночью – а мы, между прочим, еще не были так сильно знакомы. И с ходу предложил отправиться на Амазонку. Да нет, я и сам с детства мечтал пройти по Бразилии маршрутом полковника Фосетта: выпьешь, бывало, с друзьями и мечтаешь – на Амазонку бы! И никуда не едешь – дела. А тут были не мечтания, а серьезное мужское предложение. Я страшно удивился. И мы поехали. В джунгли. В дикую глушь. В мечту нашего детства.

Лучше попутчика я не встречал.

А ведь если бы не он – я бы так и не собрался. Так бы до сих пор и грезил.

Нет, вы не понимаете. Я сам обожаю путешествия и вообще очень легкий на подъем человек. И больше всего люблю связку «придумал – сделал». Но тут Саша оказался главней меня.

Потом мы с ним путешествовали по самым разным местам, но это уже потом.

Недавно за столом в хорошей компании я спел несколько Сашиных одесских песен (не удивляйтесь, это со мной бывает). Сидевший рядом со мной режиссер Павел Лунгин сказал, что по каждой из них он может хоть сейчас снять маленькое кино. Потому что это идеальные готовые раскадровки. Вплоть до чередования планов – общий, средний, крупный. И все уже придумано, все нарисовано.

Думаете, это Саша так специально старался? Или просто по-другому не умеет?

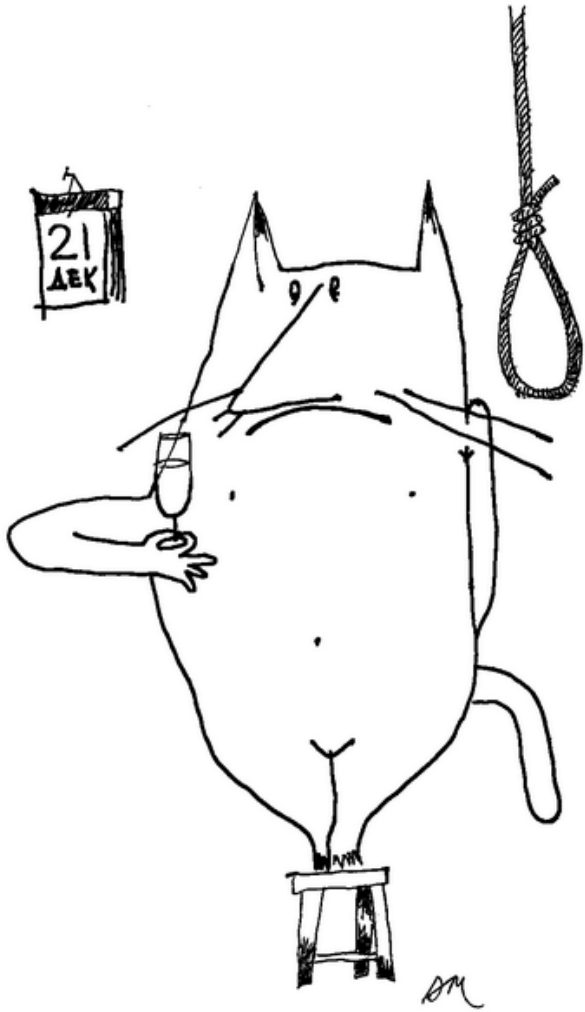
А еще кто-нибудь так умеет?

На этом же, кстати, вечере один товарищ с пеной у рта доказывал мне, что эти самые песни написал вовсе не Розенбаум – на самом деле они очень старые и народные.

Ну-ну.

Разве это не высшая похвала для музыканта и поэта?

21.12.12



А признайтесь-ка, господа, не надоел ли вам постоянный трындеж про конец света? Вот этот, ежедневный и еженощный? Безграмотный и назойливый? Бессмысленный и беспощадный? Мне лично надоел смертельно.

Я читал интервью с женщиной, посвятившей жизнь изучению культуры древних народов Латинской Америки. Это интервью с бесконечно усталым человеком, который вынужден по десять раз на дню повторять, что пингвины не нападают на людей. И календарь этот пресловутый вовсе не майя, а ацтеков, и никакого конца света он не сулит – просто заканчивается определенный

цикл, по их индейским представлениям. Раньше у нас были страшно популярны отрывные настенные календарики – в день по листочку. Они заканчивались первым января следующего года – что, тоже конец света? Все бесполезно. Люди не хотят слышать. Они жаждут историй про кровожадных пингвинов. А раз жаждут – их и кормят.

Зачем они это делают?

А для ужаса. Ужас, оказывается, хороший товар. Его покупают. Так что кормят-то не просто так, а за деньги. И какое-то в последнее время сильное перепроизводство этого товара, вам не кажется? Каждая утренняя новость у нас начинается с того, что очередной пьяный идиот за рулем во что-то врезался, а потом – все остальные новости человечества. Конечно, ужасно, но уж один-то пьяный идиот за сутки в такой большой стране непременно, увы, найдется. И при советской власти врезались, просто об этом не сообщали по радио на всю страну. Начинали с Брежнева. Тоже ужас, конечно, но все-таки другого порядка.

А ведь правда, вспомните: вот едем-едем, и вдруг раз – пробка. Машины поползли со скоростью пешеходов. А это впереди авария. Она, правда, произошла два часа назад, и разбитые машины уже оттащили к обочине, проезду они не мешают. Откуда же пробка? А это мы все смотрим. Проезжаем и притормаживаем посмотреть – как это там они грохнулись, чего разбили, может, погиб кто? Интересно же.

Ну да, живет в людях такой интерес. В силу их природы. Но в людях вообще много чего живет. Приятно, например, ковырять в носу. Но это считается неприличным. Вот и не ковыряем на людях. Пока.

Тут недавно питерские депутаты, устав от ужаса, предложили эту болтовню о конце света в средствах массовой информации как-то ограничить – ну сколько можно. Некоторые интернет-сайты отозвались с молодежным задором: а мы специально вам в пику устраиваем Неделю конца света! Баба-яга против.

Ай, молодца!

Друзья мои. Я не хочу повторять навязшую в зубах пошлятину вроде того, что мысль материальна. И все же массовое сознание влияет на реальность, никакой мистики тут нет. Искалеченное массовое сознание влияет на реальность нехорошо. Нас обкормили ужасом. Давайте сменим тему. Нам ведь тут жить.

И давайте двадцать второго декабря, когда последние кликуши наконец успокоятся, попробуем сообща подумать о чем-нибудь хорошем. Может, поговорить об этом. Надо же когда-то начинать.

Новый год все-таки.

Рекомендации лучших стоматологов

На протяжении моих детских лет отец несколько раз выезжал по работе за границу – он проектировал наши советские выставки за рубежом. Возвращение его напоминало возвращение астронавта из космоса – он привозил с собой «невероятные данные и неизвестные науке предметы». Все, что он видел на орбите, он фиксировал на домашнюю любительскую кинокамеру 2 на 8 (кто помнит – знает: производство ГДР, черно-белая

пленка, звук отсутствует). Однажды он минут десять просто снимал телевизор, переключая телевизионные программы (у нас в стране тогда их было всего две). Так вот, на экране беззвучно сражался какой-то Джеймс Бонд, и вдруг картинка исчезла, поплыли улыбающиеся тетки вперемежку с флаконами духов. «Что это?» – изумился я. «Это реклама, – объяснил отец, – она идет каждые пятнадцать минут». Я, помню, страшно испугался, что, пока будет тянуться эта самая реклама, Джеймс Бонд еще кого-нибудь убьет или, наоборот, погибнет, а я не увижу. Я ее уже тогда не полюбил.

Знаете, почему Лондон сегодня – один из самых красивых городов мира! А там нет наружной рекламы, так называемой «наружки». Поэтому видим мы старую благородную архитектуру, а не бордельных девок в лифчиках и с дрелями в руках. Да, кто-то там, в Лондоне, серьезно недополучает. У нас этот номер не проходит. Девка должна быть максимально раздета независимо от того, что она в данный момент рекламирует – нижнее белье или строительные материалы. В Питере наконец сняли с Невского растяжки (спасибо Саше Розенбауму) – боже, как хорошо стало!

В Каннах ежегодно проходит фестиваль видеорекламы «Каннские львы». И призы получают необыкновенно остроумные, блестяще снятые работы. Только у меня ощущение, что к повседневной рекламе, которой фаршируют наши головы, эти работы имеют такое же отношение, как произведения высокой моды к повседневной одежде – очень красиво, но видим мы это только на подиуме. А в жизни – вот что.

Я представляю, как клиент заказывает производителю рекламу: она должна быть точно такая же, как у конкурента (потому что она у него, у собаки, работает!), только лучше. Задача ясна? И вот бесконечным потоком льется слегка замедленно в кружку пенное пиво на красивом контровом свете – только названия меняй! Думаете, это пиво льется? Это подкрашенный глицерин с шампунем. Реклама вся соткана из вранья. Геббельс говорил – ложь должна быть огромна, иначе ей не поверят. «Рекомендации лучших стоматологов!» Каких стоматологов, кто их видел? И кто сказал, что они лучшие? И где эти самые рекомендации? «Черная карта» – будешь счастливой! В самом деле? Только девочки? «Якобс Монарх» – сближает! Да неужто? А остальные сорта кофе, видимо, разделяют? Или сближают, но не так активно? Там что, виагра? «Самая вкусная защита от кариеса!» Неужели правда защищает? И при этом самая вкусная? Чтобы вранье приобрело видимость правды, в рекламу необходимо вставить цифры – любые, они на нас, дебилов, действуют. На 15 процентов сильнее! В 3 раза дольше! В течение

24 часов! Прощайте навсегда, восемь признаков старения! Кто их считал?! А когда врать уже нечего и даже цифру стыдно употребить, на помощь приходят слова: «Автомобиль „Волга“ – впечатляющая динамика разгона!» Действительно, впечатляет. Вроде бы запрещено в рекламе использовать детей и животных – они не умеют врать и поэтому обезоруживают. Ну это где нельзя, а где и можно – и чудно врут и кривляются в этой жвачке и дети, и собачки, и кошечки. И ничего.

Одно утешает – как вспомню недавние партийные дебаты – понимаю, что все на свете относительно. Нет предела совершенству.

Ко дню святого Валентина

Наша тяга к праздникам необъяснима и безгранична. Если бы где-нибудь в Новой Гвинее существовал День людоеда, мы бы его всенародно отмечали, не сомневаюсь. Наряжались бы, ходили, щелкали зубами. А че, прикольно. Но я сейчас не о святом Валентине, мир его праху. Я о любви.

Бывает ли взаимная влюбленность? Ну да, у Шекспира. Кстати, помните, чем кончилось? В жизни в девяноста девяти случаях из ста влюбленность – чувство одностороннее. Неразделенная влюбленность – это ад. Единственный ее плюс – то, что рано или поздно она проходит. В то же время благосклонно принимать эту самую влюбленность, не испытывая ответных чувств, как-то, простите, подло. Хотя довольно часто из этого вырастают вполне благополучные семейные истории. И чаще всего держатся они на привычке, сцементированной годами. Замена счастию она.

Любовь к детям, в общем, взаимна. Если забыть, как часто мы мучаем друг друга. Они нас – своей детской жестокостью, мы их –

своим непониманием. Лет в четырнадцать, когда нашим детям начинает казаться, что они уже все могут сами, родительская любовь превращается в чудовищную обузу – надень шарф, съешь хоть что-нибудь, прекрати курить, обязательно позвони, а кто эта девушка? Иногда спасает воспитание. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Давай заходи, сними ботинки, целуй. И беги. Летом увидимся.

Любовь к Всевышнему. Возлюби Господа своего. Не знаю, правда, как любовь может совмещаться с «прости» и «помилуй». И еще с «побойся Бога». Ибо боящийся несовершенен в любви. С трудом представляю себе любовь раба к своему хозяину, если мы говорим о Любви. Остается надеяться, что Всевышний любит нас. Хотя судя по тому, что происходит…

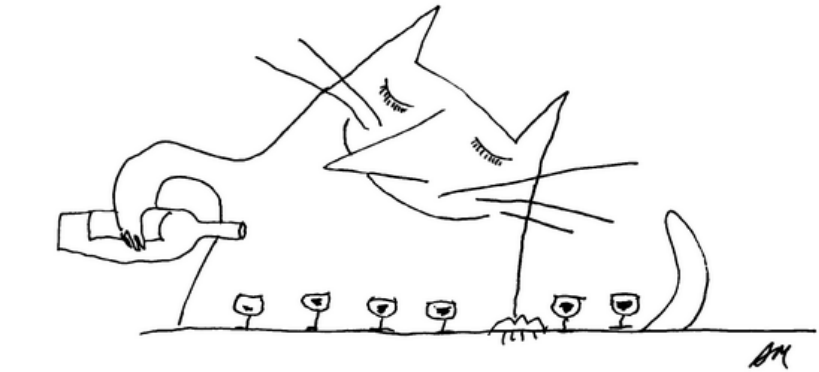
Любовь к Родине. Тут надо разделить любовь к партии, правительству и лично товарищу Сталину и любовь к березкам. Если говорить о первой части, то уж тут-то про взаимность следует забыть. Раз и навсегда. И не тешить себя иллюзиями. Как бы государство ни лезло к нам со своей любовью – с мылом или без. Любовь к березкам – явление глубоко мистическое и заслуживающее отдельного серьезного изучения. А по поводу взаимности – вы правда верите, что березки, те, которые еще остались, любят нас? С чего бы?

Осталась любовь к нашим братьям меньшим – кошкам и собакам. И тут их любви к нам можно поучиться. Хотя бесполезно – не научимся. А наша любовь к ним не мешает нам выбрасывать их на улицу, а молодым недоноскам, именующим себя красивым словом «догхантеры», – стрелять по ним из разного вида оружия.

И, заметьте, при всей своей святой любви ни кошки, ни собаки не отмечают День любви к хозяину. Как-то без показухи.

В общем, с Днем святого Валентина вас, ребята. Наливай.

Однажды в Америке



Меня бесило, когда Задорнов называл американцев тупыми. Конечно, они не тупые. Они – правильные. Их правильность для них настолько же естественна, как для нас наша извечная неправильность. Это противоречие и создает порой непонимание в сфере жизненно важных вопросов. Хотя…

Дело происходило в Нью-Йорке лет пятнадцать назад. Подчеркиваю, это важно. Америка, может, и стала с тех пор поцеломудренней, но уж найти выпить на Манхэттене среди ночи сегодня не проблема. Так было не всегда.

Я задержался в городе на неделю – уже не помню, по какой причине. На то, чтобы повидать друзей, хватило двух дней, еще два ушли на шатание по музеям и мюзиклам. А потом я заскучал. И вечером шестого дня совершенно случайно встретил прямо посреди Бродвея свою старую знакомую. Пропала лет пять назад, а сама, оказывается, вот где! Мы обрадовались встрече, пошли в какой-то ресторанчик, хорошо выпили и говорили, говорили, пока нас деликатно не попросили вон по той причине, что настала ночь и ресторанчик закрывался. Мы категорически не наговорились, на улице было холодно. Подруга предложила поехать к ней (жила она в Бруклине) с целью продолжить общение. Мы сели в ее машину, и она вспомнила, что дома у нее совершенно нечего выпить. А наш уровень общения к тому моменту никак не допускал снижения градуса. И я сказал: «Давай остановимся, и я что-нибудь достану». Она посмотрела на меня с сожалением, как на больного ребенка, и объяснила, что в час ночи на Манхэттене достать ничего нельзя. Closed. Illegal.

Как это нельзя? А вот так. Здесь вам не совок. Но я вошел в раж. Вопрос начал принимать принципиальный характер. По моему настоянию мы затормозили у открытого бара – уже у самого Бруклинского моста. В баре толпился народ, за стойкой возвышалась средних лет блондинка выдающихся форм – wholesome lady по-американски. Я включил все свое обаяние и рассказал ей историю нашей дружбы, расставания и нечаянной встречи. Будущее наше счастье оказывалось в руках блондинки и имело форму бутылки водки. Когда я окончил речь, вокруг было тихо, многие плакали. Но блондинка посмотрела на меня с уже знакомым сожалением и произнесла:

– It's illegal.

Никогда еще мой мозг не работал с такой лихорадочной скоростью.

– Позвольте, – сказал я, – мы ведь можем выпить водки у вас?

– Да, сэр, – с достоинством ответила королева.

– И целую бутылку?

– Да, сэр.

– Ну так давайте ее сюда!

– No, it's illegal.

Что теперь? Оказывается, она должна разлить бутылку на порции – получилось двенадцать с половиной стопариков по сорок граммов, точно отмеряла, собака. Но я уже понял, что делать.

– Вы знаете, у нас в России не принято пить водку из этих наперстков. Мы ведь можем все это перелить в два больших стакана?

– Да, сэр, – сказала барменша, ничуть не удивившись, и дала мне два высоких стакана для колы.

– А вот теперь смотрите, – сказал я, закончив процедуру переливания и рассчитавшись, – вот сейчас я возьму в руки эти два стакана и быстро побегу с ними в сторону двери. Ваши действия?

В глазах блондинки отобразилась работа мысли, это продолжалось несколько секунд. Потом она взглянула мне прямо в душу и сказала:

– Двадцать долларов.

Возможно, это была стоимость двух пустых стаканов.

Мы ехали через Бруклинский мост, я бережно держал в руках два заветных стакана, налитых с поверхностным натяжением.

Подруга потрясенно молчала.

А вы говорите – illegal. Legal!

Еще раз про евреев

Про евреев уже написано столько, что касаться этой темы – моветон. И все-таки – что такого особенного в этой нации, заставляющего разные части человечества то и дело поворачивать удивленные и раздраженные головы в их сторону? В чем секрет этого болезненного интереса? Отношение к евреям мне напоминает отношение шестиклассника, неосознанно и безнадежно влюбленного в красивую отличницу, – он бьет ее портфелем и дергает за косы. Что заставило молодого художника Шикльгрубера настолько возненавидеть проходящего по улице еврея, что он чуть было не лишил мир этой нации? Они что, вырезали его семью? Да нет, они вообще к тому времени человеческой истории никого не завоевывали (да и сегодня отбиваются). Мирно ушли из Египта. Попросившись неоднократно. Рассеялись по миру? Так их гнали. Итальянцы тоже рассеялись по миру (а было дело – этот мир и завоевывали). И чего? Конечно, фашисты уничтожали и русских, и белорусов, и кавказцев, но только евреев уничтожали за то, что они евреи.

Ну да, видели Бога. Сами. И Бог говорил с ними. И передал Скрижали – из рук в руки. Это, конечно, обидно. Но с другой стороны, древние греки со своими богами вообще жили запанибрата – и ссорились и обнимались – и ничего! (Правда, греки – со своими, а евреи – с нашим, с Единым. Действительно

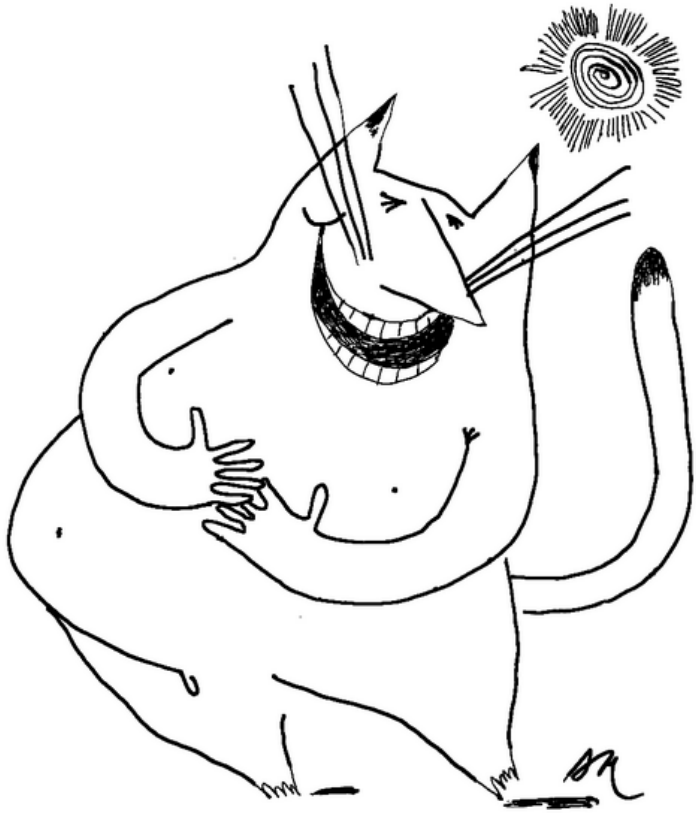
обидно.) Что еще? Нашего Христа продали? Ну, во-первых, не без помощи Рима, а во-вторых, это, грубо говоря, их внутренние разборки. Может, их не любят за их исключительную талантливость? Перестаньте. Очень распространенный тип еврея – громогласный бездарный идиот, все встречали. И скрипачи есть китайские, и ученые русские, и битлы английские. Нет, не в этом дело. Может, дело в семейственности, во взаимопомощи? Да нет, на Кавказе да на Востоке это дело посильнее будет, а у тех же итальянцев вообще семья знаете как называется? Мафия! Может, секрет в спасительной самоиронии? Нет, этим чувством вполне наделены и грузины, и англичане, и французы – вспомните кино.

Наша Великая Сакральная Русская Народная Кабацкая Эстрада – от Вяльцевой и Паниной через Дмитриевича к Бабкиной, Ротару, Шуфутинскому и Сукачеву – на самом деле, по точному определению Троицкого, «еврейско-цыганская калинушка». Я о музыкальных корнях. Наш любимый народом и теперь уже почти государственный блатной язык наполовину состоит из слов еврейских – нет, не одних скрипачей родит нация! (Три примера, с ходу пришедших на ум: «шмон» – это на иврите «восемь». В восемь часов на зоне шмонали. «Халява» – это молоко. Его бесплатно раздавали в синагоге бедным в шабат. А «шабат» – это время шабашить. Достаточно?)

А ведь я, кажется, знаю, что отличает их (простите, нас) на самом деле. Вы когда-нибудь видели, как еврей относится к своей маме? «Видели» – тут плохое слово. Чувствовали? Это любовь, которая не поддается описанию. Поэтому она не афишируется, ее не выносят на флаг. Это любовь до самой смерти. Не маминой, нет. Твоей собственной.

Может, в этом главный секрет?

О природе смешного



Юмор – одно из самых необъяснимых явлений природы. Юмор иррационален. Человечество бьется над загадкой юмора столетия. Результат – ноль. Вот вам пример: вы видите, как человек ударил палкой другого человека. Вам неприятно и даже страшно – вы прямо физически ощущаете, как эта палка опускается вам на голову. Теперь представьте себе, как один клоун бьет другого в провинциальном шапито – совсем не страшно, но и не смешно. Скучно. А теперь вспомните, как это происходит у Чарли Чаплина. В чем секрет?

Чувство юмора живет в нас само по себе (если, конечно, живет). Оно неконтролируемо, как эрекция. Смех сдержать труднее, чем слезы. Смех, правда, бывает еще от щекотки. Я о юморе.

Человек – единственное существо в мире, которого Бог

наградил этим чувством. Животным оно не присуще. Вы когда-нибудь видели хохочущую корову? Шутящего льва? Я видел улыбающихся собак, но это было скорее от радости. Это другое.

Развить в себе чувство юмора невозможно. Можно накачать мышцы, изучить историю искусств и высшую математику, овладеть мастерством игры на мандолине. С юмором бесполезно. Он, как лысина, – или есть, или нет.

В годы моей юности очень популярна была книжка Джозефа Хеллера «Уловка-22» – такой американский вариант бравого солдата Швейка. Существовало два советских издания этой книжки с разными переводами. Переводы были очень похожи, местами практически идентичны: только один был невероятно смешной, а второй – несмешной совершенно. Я открывал обе книжки на одном и том же месте, сравнивал тексты и недоумевал – ну почему? Где эта самая смешинка?

Нет ничего страшнее, чем несмешной юморист. Это кара божья. Просто плохую книжку ты равнодушно закроешь, а от несмешного юмора тебе сделается тошно. А если этот юморист еще шутит с эстрады – я, например, испытываю мучительное чувство стыда. Объяснить не могу.

У Даля: «Юмор – веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев». Ну да, все верно, но секрет не раскрыт. Словарь Ушакова: «Незлобивая насмешка, добродушный смех». И все? А вот у Фасмера действительно интересно: «Юмор – от англ. humour, то же, что и лат. humor – влажность. Развитие значения становится ясным на основании учения средневековой медицины о соках тела, которые определяют темперамент человека, сравните выражение – „сухой человек“».

Может, правда дело в соках?

Я боюсь людей, лишенных чувства юмора. Хотя понимаю, что среди них масса положительных, добропорядочных и иногда исключительно начитанных граждан. Меня не покидает ощущение, что все беды человечества – от них.

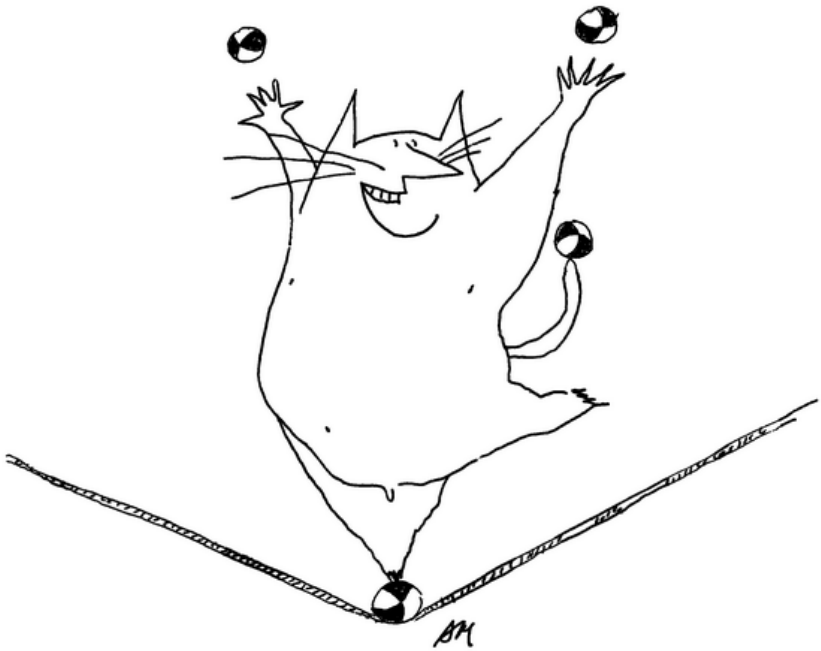
Ну, большая часть.

И я всегда вспоминаю Горина – «Улыбайтесь, господа! Серьезное выражение лица – еще не признак ума!».

А вот улыбаться научиться можно. Попробуйте.

Увидите – будет лучше!

Лас-Вегас



Я абсолютно лишен склонности к азартным играм. Только если родина прикажет. Видимо, потому, что радость от выигрыша меркнет перед расстройством от поражения. Поэтому сквозь бескрайние игровые пространства Лас-Вегаса я проходил совершенно спокойно, не отвлекаясь. При том, что миновать их физически невозможно – любой маршрут откуда угодно и куда угодно проложен через стандартный игровой зал размером с футбольное поле. Притом что открыты эти залы двадцать четыре часа в сутки, и, например, в бар, расположенный тут же, за перилами, с ребенком войти нельзя, а в игровой зал – ради бога.

Поражает другое: когда наконец иссякают ряды поющих каждый на свой голос игровых автоматов (зря, кстати, упразднили металлические жетоны, их теперь нет, все на бумажках, а как они, бывало, зазывно звенели, когда кому-то улыбалась удача!), тебе открываются неожиданные и уходящие в бесконечность пространства. Неожиданные – потому что я архитектор и, находясь внутри здания, всегда автоматически представляю себе, как это выглядит снаружи. Так вот, здесь этот номер не проходит. И ты идешь по широкой улице (иначе и не назовешь, только улица это крытая, никаких окон нигде нет, а для некой достоверности над тобой нарисовано и подсвечено

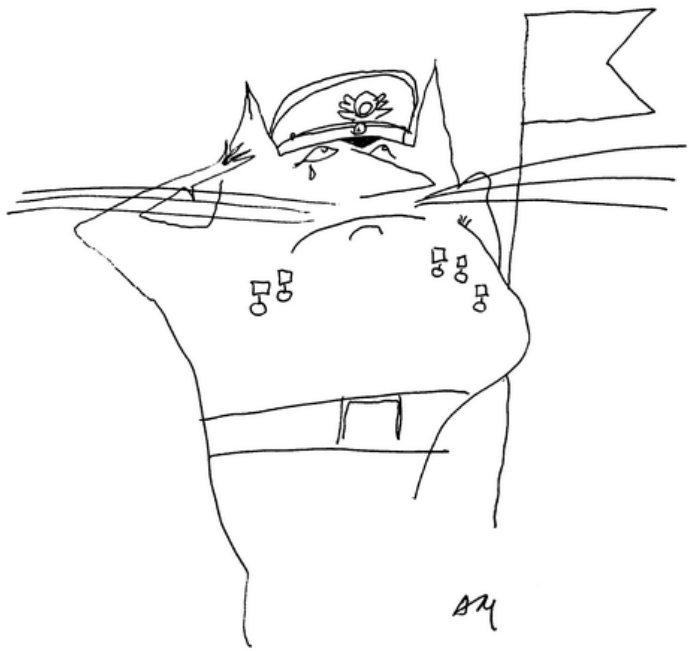
небо), а слева и справа – сплошные магазины, кафе и рестораны, поэтому и нет никаких окон. Ты ждешь, что она вот-вот кончится – должна же она когда-то кончиться! – а она вдруг выходит на круглую площадь, и в центре ее римский фонтан, и от площади уходят под неожиданными углами уже три улицы, а небо все нарисовано и нарисовано, и кафе и магазины не повторяются. А там – театры, снова игровой зал – над тобой уже другой отель, и скоро ты уже теряешь всякую ориентацию, не испытывая при этом никакого дискомфорта. Можно пройти пол-Лас-Вегаса, не выходя на воздух. Все – игра, все чуть-чуть ненастоящее, и сделано это не от бедности (вот уж!), а совершенно сознательно, и ты сам не замечаешь, как включаешься в эту игру. Перед моей гостиницей Эйфелева башня – совсем как в Париже, только где-то в треть размера, а дальше египетская пирамида в таком же масштабе, а потом какой-то дикий замок из диснеевского мультфильма – сочетание этой вампуки и безупречного современного дизайна интерьеров и архитектуры отелей почему-то совершенно не раздражает. Нам внушали, что Лас-Вегас – игрушка для зажравшихся миллионеров. Чушь: здесь все рассчитано на людей самого разного достатка. И людей на вид совсем небогатых множество – со всего мира. Кризис, говорите?

Цирк «Дю Солей» – отдельная песня Вегаса. Лучшие спектакли можно увидеть только там, возить их не позволяет технология. И поставить их могут только там, потому что, родись у нас самый талантливый режиссер в мире и собери он лучших художников и артистов – не найдет он сто миллионов долларов на постановку. А найдет – не вложит: вы что, с ума сошли? А вложит – никогда не вернет: это же надо, чтобы шоу шло десять лет, да по два раза в день в пятитысячном зале, и аншлаги! Кто же к нам поедет это смотреть?

И еще что противно – солнце. С утра до вечера. Каждый день. Это если ты все-таки вырвался на воздух. Ну почему?

В общем, стоит. Один раз в жизни. Пройти по этому чуду снаружи и внутри. Постоять у гигантских светящихся фонтанов. Посмотреть спектакль «О» – один из самых старых и лучших представлений цирка «Дю Солей». И еще десять других. Да, вот еще – ни в коем случае не садитесь играть! Зачем вам эти глупости?

О патриотизме



МАРХИ, институт, который я заканчивал, мой любимый архитектурный, признан неэффективным. Институт, который 150 лет учил студентов постигать Гармонию. Маяковский, Бурлюк, Данелия, Вознесенский, Ирина Архипова, Алексей Козлов – это «побочная» продукция, я намеренно не называю архитекторов. В семидесятом году, когда я поступал, конкурс был, кажется, восемь человек на место. Бывало и побольше. Я примерно представляю себе, как определить эффективность консервного завода. Как определить эффективность вуза – не понимаю, убейте меня. Или стране больше не нужны архитекторы? Будем Фостера по любому поводу приглашать?

Впрочем, я не об этом. Хотя и об этом тоже.

Сейчас много говорят о патриотизме. О том, что его нет и надо, стало быть, его поднимать. Машут хоругвями, наряжаются казаками, кричат по поводу и без повода о нашей великой истории, к которой мы не имеем никакого отношения. Ну да, слава нашим отцам, дедам и прадедам, но мы-то тут при чем?

Очень трудно поднять то, чего нет. Патриотизм – это любовь

к Родине. Невозможно полюбить по приказу или в результате наглядной агитации. Можно прикинуться влюбленным, что многие с успехом исполняют. Их патриотизм не мешает им хранить наворованные миллионы в офшорах и учить детей в Лондоне. Количество вранья в атмосфере превысило все допустимые санитарные нормы.

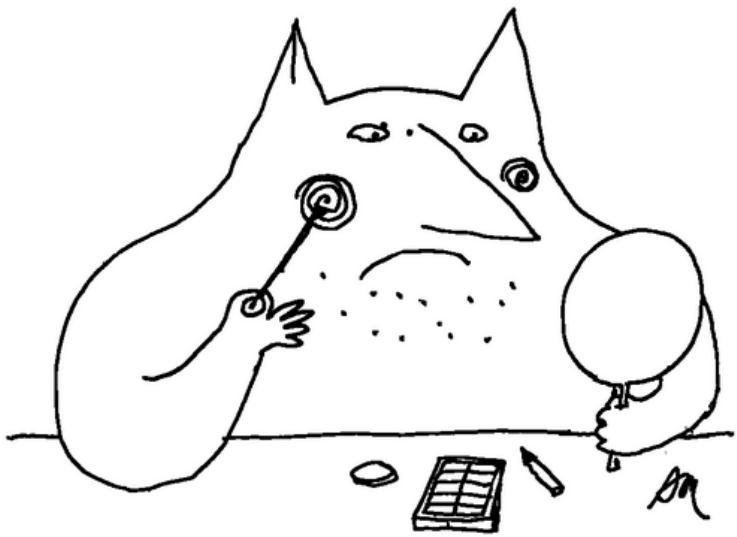
А ведь я знаю, как воспитать патриотов. И это очень просто. Нужно просто взять очень много денег и вложить их в образование. Не в самую дорогую в мире Олимпиаду (одной десятой части хватило бы), не в показушные форумы, не в ракеты, которые завтра будут запущены в нашу сторону теми, кому сегодня мы их продаем, – в школы, колледжи, детские спортивные лагеря, стадионы. Сделать как было при советской власти, только лучше. Сделать все образование бесплатным. Скажете, дорого? Ни фига не дорого, Советский Союз справлялся. А если и дорого, то вот как раз на этом экономить не надо. Не надо экономить на собственных детях. Поднять зарплату учителям в пять раз, чтобы перестали они в борьбе с нищетой пахать на две ставки и еще добивать репетиторством. Полицейским же подняли – и ничего, не разорилась страна. Не думаю, что учителей у нас больше. Понятное дело, демонстрации разгонять – важная работа. А учить наших детей?

И если бы наш президент решился на такое (а ведь, кроме решимости, ничего и не надо, все остальное – вопрос техники), это был бы Поступок. И мир взглянул бы на нас с удивлением и завистью. И не надо было бы переименовывать Волгоград в Сталинград, а потом обратно и устраивать прочую клоунаду – через десять лет выросло бы поколение россиян, любящих свою Родину. Потому что любовь к Родине – с детства. Нелюбовь – тоже. А наши дети – это мы завтра.

Кто-то умный сказал: если сегодня мы не потратим деньги на образование, завтра мы потратим их на тюрьмы.

Уже тратим. Пока не разорились.

Любовь и нелюбовь



Общеизвестно, что в мире никто никого не любит – в международном, так сказать, масштабе. Во-первых – исторические территориальные претензии, конфликт религий, обычаев, во-вторых, не любят вообще: с чего бы? И все-таки кого-то почти любят. Например, кубинцев: веселые, сальсу танцуют, сигары, мохито, Че Гевара у них красавец. То, что Че Гевара – обычный преступник, никто не помнит. С Бразилией почти такая же история – ну прям все ужасно благородные обаятельные бандиты, чисто Бандерасы. Знаете, что оказывается? Отношение к народу – это стереотип массового сознания, сложившийся в результате подачи происходивших событий (а вовсе не сути событий, а иногда, все чаще и чаще – и вовсе не происходивших) силами и средствами культурной экспансии – музыки, кино, литературы.

Стереотипы эти четкие до карикатурности и иногда весьма далеки от оригинала. Американец: одинокий честный парень, который в нужный момент достает «кольт» и наводит порядок и справедливость в несправедливом мире. Хошь – в Аризоне, хошь – в космосе. Всех спас и медленно ускакал вдаль на фоне заходящего солнца. Немец: педантичен, невероятно

дисциплинирован, сентиментален, туповат в смысле юмора. Француз: неизменно весел, носат, любит вино и не пропускает ни одной юбки. Юбки в восторге. Ребята, это не из фильмов? А откуда тогда?

И тут становится понятно, что литература, кино, музыка – это не просто удовольствие для масс – это, если угодно, портрет нации на фоне других народов. Особенно сегодня, когда мир делается все меньше и прозрачнее и мы все больше верим громким крикам в интернете, чем фактам.

Вот японцы. Культура в себе – до сих пор. А каких-то сто лет назад они вообще не пускали к себе иностранцев. За сто лет что-то просочилось. И как мы их представляем себе? Жестокие и честные самураи в красивых костюмах (кино!), Фудзияма в облаках (акварели!), хокку и танка (литература!). Ну, еще муравьиная работоспособность – об этом с изумлением рассказывают те, кто там побывал. Все. Вообще японцы, как мне кажется, совершенно не озабочены своим международным имиджем. Да думайте что хотите.

Мы – озабочены. Результат – либо нулевой, либо обратный. Ибо: все наши культурные вехи, впечатлившие мир, – литература, музыка – остались в девятнадцатом веке. Ну да, кто-то помнит еще русское слово «интеллигент» (нет в других языках этого слова): страдает, копается в своей загадочной русской душе, все никак не накопается. А только память человечества становится короче с каждым днем, и на старом багаже уже не уедешь – да и какое отношение имеют эти великие писатели и композиторы к нам сегодняшним? Были еще всплески – в начале 60-х. Америка восхищенно аплодировала Евтушенко – да кто ж помнит? В годы перестройки мир радостно распахнул объятия нашим художникам и музыкантам – и через пару лет изумленно спрятал руки за спину: пища пошла обратно. Неудобно получилось.

Можно сколько угодно ругать американское кино или музыку, но весь мир сегодня смотрит и слушает именно это. Они что, насильно нас заставляют? Или просто очень качественно работают?

Какие-то наши имена, конечно, известны. Скажем, Виктор Ерофеев, «Русская красавица». Книжка мощная, но как портретик нации – так себе. То есть портретик как раз достоверный, но к любви не располагает. Совсем.

И вот эти огромные пустые пространства мы успешно заполняем кипучей деятельностью – раз уж с искусством не задалось. Законом Димы Яковлева, например.

Чудо фотографии

Я не люблю постановочную фотографию. При наличии таланта, терпения и хорошей техники рано или поздно все равно все поставишь как надо. Есть другие фотографии – остановившие мгновение. В них помимо мастерства (а мастерство зачастую заключается в быстроте реакции – успел поймать момент) всегда присутствует что-то неуловимое, не поддающееся объяснению. Смотришь, скажем, на фотографию Тверской в перспективе, и детали настолько мелкие, что невозможно разглядеть, во что люди одеты, какие у них прически и что за машины едут по тротуару, а сразу понятно – шестидесятые. И ошибиться невозможно. Как, почему? Фотография схватила воздух, пахнущий твоим детством, и ты можешь, глядя в нее как в открытое окно, вдохнуть его снова. Как бабочка в янтаре – летела, летела – и застыла.

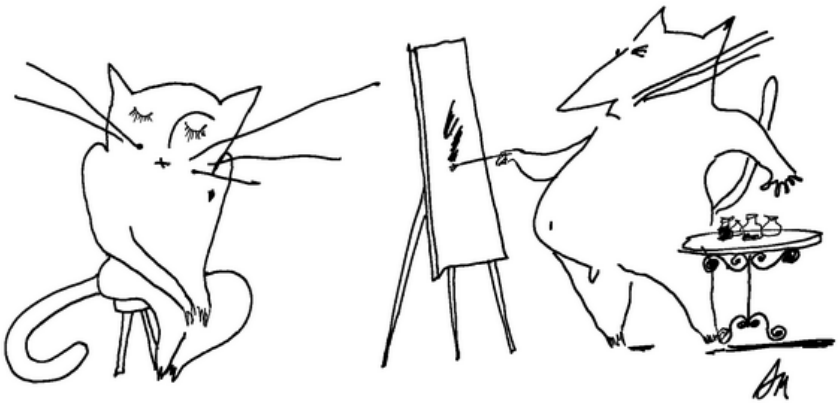
Выставка «Иконы 90-х» оказалась огромной – я даже не ожидал. В каждой фотографии замерло Время – это ощущается просто физически. Странно – мне казалось, что я больше запомнил конец восьмидесятых – время розовых надежд, ощущение внезапно свершившегося чуда. А тут нахлынуло.

Конечно, девяностые были жестче. Но мы уже хлебнули воздуха свободы и могли ради него вынести что угодно – и бандитов в «адидасе» на открытии кинофестиваля, и танки у Белого дома, и водку у таксистов по тройной цене, и все, что угодно. Свобода была нам важнее. Мне кажется, она была нам важнее, чем вам, сегодняшним. Или просто привыкли? К хорошему ведь быстро привыкаешь! Это мы еще не всегда могли поверить, что теперь можно говорить то, что думаешь, и ехать туда, куда хочешь. В девяностые было трудно и весело. Они нас здорово закалили.

А еще – воистину большое видится на расстоянии. И со многих икон осыпалась мишура и позолота и – боже мой, на кого мы смотрели, раскрыв рот, кого слушали, что носили?! Зато лица некоторых героев стали только прекраснее – жаль, что многих уже нет. Очень многих.

А еще – как же хороша молодость и как коротка наша жизнь!

На этюды



С Нателлой я познакомился в пионерском лагере. Познакомился – это не совсем верно: я в те поры был застенчивым меланхолическим юношей, не склонным к массовому веселью, она же являла собой полную противоположность, и все вокруг нее пело и хохотало, а я тихо наблюдал за ней со стороны. С некоторым восхищением.

А потом мы вдруг встретились в Гурзуфе. Оба только что поступили в институты – она в художественный, я в архитектурный, оба приехали к морю уже без родителей – такие настоящие взрослые молодые художники. Гурзуф в советские времена выполнял для советских же художников, как я сейчас понимаю, функции Италии – древний городок, кипарисы, море, солнце, и располагался там Дом творчества Худфонда имени Коровина, и деятелей искусства вокруг наблюдалось как собак. Искусство было практически растворено в воздухе. И совершенно неудивительно, что Нателла предложила мне завтра утром пойти с ней на этюды.

Утром мы встретились в самом начале набережной у железных тюремных ворот международного молодежного лагеря «Спутник» (она – с деревянным этюдником, я – с папкой бумаги и пастелью) и двинулись в сторону города. Солнце стояло низко, справа еле плюхало еще не проснувшееся море, первые

курортники, волоча за собой детей, спотыкаясь и дыша вчерашним, брели занимать шезлонги. От первой бочки с рислингом нас отделяло метров тридцать.

Бочки эти (стандарт тех лет – в них еще могло содержаться пиво или квас) на двух грузовых колесах и со станиной, как у пушки, являлись самым типичным элементом летнего городского пейзажа. Выкрашены они были в нежный фисташковый цвет, в торце располагался кран, алюминиевый фонтанчик для мойки кружек и тетка в нечистом белом халате, отпускавшая продукт трудящимся. В нашем конкретном случае это был рислинг. Кислейшее белое сухое вино ялтинского розлива. Я не знаю, почему тетка вышла на службу так рано. В этой истории вообще много загадочного. Невинным детским голоском Нателла предложила освежиться по маленькой. Маленькая кружка вмещала в себя двести пятьдесят граммов (были еще большие по пятьсот). Пятнадцать копеек, по-моему. Лично я при всей своей толерантности не стал бы настаивать на приеме четверти литра гадкого сухого в это раннее время суток, к тому же имея впереди высокую цель, но даме отказать не мог. Да и сопляком выглядеть не хотелось. Ледяной рислинг огнем прошел по желудку и бросился в голову, идти стало веселее.

Во вторую бочку мы уткнулись минуты через полторы. Не подумайте, что мы ее искали – она просто преграждала нам путь, и обойти ее было невозможно. Как и игнорировать факт ее существования. В общем, всего на пути нам их встретилось четыре (они весьма равномерно размещались по набережной, и обижать какую-то из них было уже нельзя). Потом набережная кончилась, мы свернули прочь от моря и по истертым древним ступеням вскарабкались в городок. Страшно хотелось рисовать. Мы выбрали узенькую кривую улочку, опустились прямо посередине на теплые пыльные камни мостовой и ушли в искусство. Огромные автобусы с трудом втискивались между домами, удивленно сигналили, свернуть им было некуда, и они, кажется, проезжали прямо над нами – нас это совершенно не волновало. А потом вдруг настал вечер, и все вокруг сделалось розовым, и мы, преодолев какие-то заборы и колючие кусты, забрались на невысокую скалу – она росла прямо из конца улицы – и оказались над Гурзуфом, и над морем, и над уходящим в него солнцем. И мы сидели молча посреди этого великолепия, а потом взяли из моей папки чистый лист, оставили на нем Послание Потомкам в две руки, свернули его в трубочку и, как мэр Собянин в Триумфальную арку, вложили в расщелину в скале.

Лет двадцать спустя оказался я в Гурзуфе, выпил, растрогался, полез искать Послание – ободрался об колючки, ни

черта не нашел.

А Нателла теперь известная художница. Встречаемся раз в год, случайно. Зовет на свои выставки. Все время собираюсь – очень хочу. Никак не дойду.

Научный подход

Слава Ученому, раздвигающему денно и нощно занавес мрака Неизвестности во имя торжества света Истины! Честь и хвала вечному Солдату Науки, презревшему ради этого света убогие радости нашего серого быта и жалкие условности существования! Слава несущему в своих ладонях крупицы Знания нам, недалеким и нищим духом, и без сожаления бросающему их к нашим ногам!

Настоящих ученых я в жизни практически не наблюдал. Хотя мама занималась научной работой. Я помню, как вечера напролет (мне было лет шесть) они с отцом перепечатывали и перечитывали ее диссертацию и как отец все время спотыкался на латинских названиях атипичных микобактерий туберкулеза (M. scorfulaceum, M. cansassi). В остальном в нашей семейной жизни мама качеств, присущих ученому, не проявляла и таковой не воспринималась. Настоящие ученые жили в книжках – от «Детей капитана Гранта» до «Тайны двух океанов». Ученые рисовались добрыми рассеянными чудаками со взглядом, устремленным в неведомое. Помню также две маленькие книжечки карикатур какого-то, кажется польского, художника – «Похождения профессора Филютека». Профессор был худ, лыс, яйцеголов, имел

усики и бородку. Носил черный старомодный костюм и зонтик, и с ним все время приключались смешные глупости.

А вот с истинно научным подходом к жизни я однажды столкнулся. Было это на третьем курсе института. Жили мы тогда потрясающе весело, бедно и бесшабашно. Всякий рубль тут же шел в дело, и я не помню ни одного раза, чтобы это было не вместе. Приближался день рождения нашего товарища (назовем его Боря), и для места празднования была выбрана квартира наших одногруппников Игоря и Гали – они только что поженились и жили в отдельной квартире (чудо невозможное.) Нас не остановил даже тот факт, что накануне у них рванула тридцатилитровая бутыль, в которой настаивалась бражка – для последующего перегона либо непосредственного употребления. Бражка равномерным слоем растеклась по квартире, ее собирали полотенцами и тряпками и выжимали в таз – качеств своих для перегона она не утратила. Дом восхитительно и возбуждающе пах.

Выпивку мы, интеллигентные люди, несли с собой, стол девочки накрывали в складчину. Кто-то принес в подарок Боре диковину: шесть чешских небьющихся стаканов из толстого стекла. В подтверждение невозможного стакан был торжественно уронен на пол, подскочил и – остался цел! Даритель ликовал, а Боря, напротив, вдруг глубоко задумался. Он забыл про гостей, отошел в угол и снова и снова ронял стакан на пол. Что-то не сходилось в его картине жизни. Мы не заметили, как он с коробкой стаканов тихо исчез.

Вернулся Боря, когда веселье было уже в самом разгаре, – минут через пятнадцать. Он вышел к нам из кухни, и глаза его светились счастьем. «Бьются!» – радостно сообщил он. В руке его был молоток.

Мой друг художник

А. Ю. Белле

Он совершенно не похож на художника. Он вообще не вызывает ассоциации с какой-либо профессией. Если его позвать в телепрограмму «Интуиция» и поставить на подиум – хрен кто догадается, чем он в жизни занят.

Художник: рассеян, застенчив, бородат, неопрятен. Вытянутый на локтях черный свитер, склонность к крепким напиткам и философии негативного толка. Ничего общего. Или – из актуального искусства: истерическая одежда, адские темные очки, загадочная сексуальная ориентация, набор никому не известных имен на языке, один концепт да спонсоры на уме. Еще дальше.

Нет, я правда не знаю, на кого он похож.

Мы познакомились сто лет назад, и я даже не мог предположить, что вообще-то он художник. В те былинные времена он добровольно служил директором группы «Аквариум». Просто ему очень нравилась группа «Аквариум». И вот БГ рассказал мне, подводному охотнику, что у них в команде работает директор, который стреляет в Неве огромных рыб. Я не поверил, настоял на немедленном знакомстве. Знакомство

состоялось, и через несколько дней мы уже лезли в ледяную Неву с ружьями и фонарями. Ивановские пороги, ночь, конец октября. Кто понимает – оценит, остальным объяснять бесполезно. В общем, мероприятие за гранью экстрима. Пока я кувыркался, борясь с диким течением на десятиметровой глубине в обстановке, несовместимой с жизнью, он уже деловито выполз на берег со здоровенным лососем на гарпуне. Я был раздавлен – я-то до этого момента считал себя неплохим охотником.

Потом оказалось, что он в превосходной степени умеет делать все, что он любит. А любит он огромное количество совершенно разных вещей. Но любить – одно (я тоже люблю), уметь – совсем другое. Он может починить радиоприемник, остановить сердечный приступ, вырастить цветок лотоса в условиях Русского Севера, обезвредить бомбу. Может, кстати, и взорвать – если надо будет. Он профессионально вобьет гвоздь (я останусь без пальца), сложит сруб (откуда?), покрасит стену, предварительно загрунтовав (причем знает, собака, чем именно и в какой последовательности!), и вообще построит дом – что он и сделал. Своими руками. Дом этот наполнен невероятным количеством удивительных и совершенно бесполезных с точки зрения нормального человека штуковин. Он обожает игрушки со страстью приютского ребенка, лишенного детства. Лучший способ отвлечь его от всех проблем мира – сунуть в руки новую модель телефона или фотоаппарата. И через два дня он будет этим аппаратом делать снимки, которые вызовут острую профессиональную зависть людей, посвятивших свою жизнь фотографии. Я не преувеличиваю. Он обожает водить машину, которую он ощущает как продолжение себя, и, когда я сажусь к нему в эту машину, я всю дорогу молюсь. Не потому что плохо, а потому что очень быстро. Впрочем, все пока целы. Он обожает путешествия (как и я), и иногда мы оказываемся с ним в весьма отдаленных диких местах планеты в весьма сложных условиях. В походе он собран, неприхотлив и поражает запасом практических знаний, необходимых именно в данной ситуации.

Нет, это все чепуха. Вот вам совершенно правдивая история про этого человека – я был ее участником и отвечаю за каждое слово. Мы возвращались из похода по югу Кубы в Гавану – это километров пятьсот по местам, практически лишенным признаков цивилизации. Дорога, впрочем, все же была. Раз в два часа по ней проезжали попутки – грузовики, идущие на север. Мы тормозили грузовик, закидывали в кузов нашу поклажу, забирались сами и продвигались в нужном нам направлении. Когда до Гаваны оставалось километров семьдесят, наступила ночь. Утром улетал наш самолет, и я начал нервничать. Но нам повезло: очередной

грузовик остановился, мы вскарабкались в кузов в полной темноте и наконец доехали до нашего посольства. Где и обнаружилось, что мой друг потерял темные очки. Не просто очки – чей-то подарок. Чуть не Билли Джоэла. Что сделал бы в этой ситуации нормальный человек? Вздохнул бы, плюнул, выпил рюмку и забыл. Что сделал бы я? Проныл бы и просокрушался остаток ночи. Что делает наш герой? Он выпрашивает у посольского парня машину и едет на место нашей последней пересадки – он уже проанализировал весь ход событий и убежден, что очки он выронил именно там. Отговаривать его бесполезно. Ребята, пригородная дорога на Кубе – это вам не Садовое кольцо: фонарей нет, а тропическая ночь не дает возможности разглядеть пальцы на руке. Найти в таких условиях место, где ты остановился два часа назад в этой же темноте, невозможно. Вы уж мне поверьте. Он вернулся через два часа. С очками. Правда, к этому моменту по ним уже проехало несколько грузовиков, но это было неважно. Он нашел. Вставил стекла и носит до сих пор. Таких историй я мог бы рассказать множество. Я не знаю, как это у него получается.

Это, кстати, не от жадности – ах, очки! Это от нежелания подчиняться обстоятельствам.

Хорошее качество для художника – нежелание подчиняться обстоятельствам.

Вообще нежелание подчиняться.

На Байкале наш катер был готов к отплытию – уходили на неделю на противоположный берег. Распаковал рюкзак, схватил фотоаппарат, прыгнул в машину, исчез. «Сейчас вернусь». Ждали четыре часа. Оказывается, он, проезжая по Иркутску, углядел на старых покосившихся деревянных домах восхитительные съеденные временем двери и ставни – из окна машины на ходу. Вернулся, отснял, сделал великолепную выставку.

А я по Иркутску гулял много раз. И конечно, видел эти двери и ставни. И даже восхищался. Повосхищался – внутри себя – и пошел. И все.

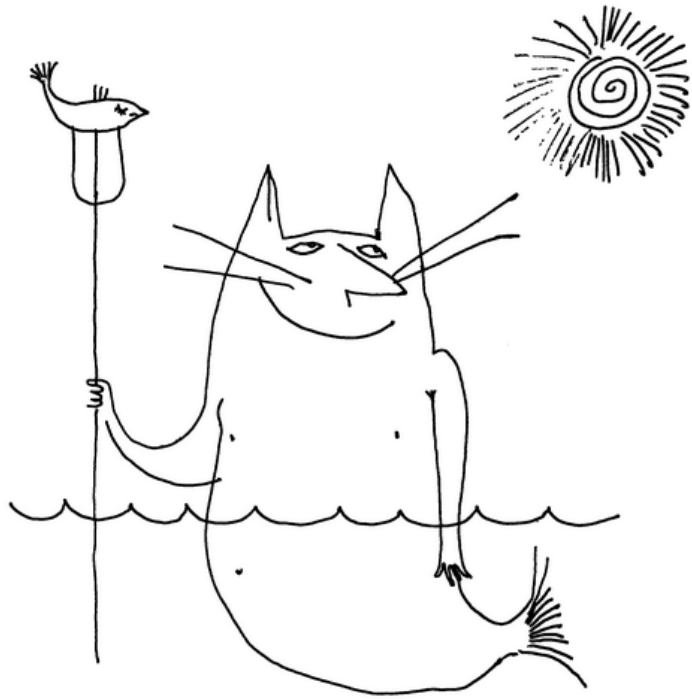
Однажды мы затеяли с ним совместную работу – на основе старинных фотографий, которые мы оба любим (мы вообще почти все любим совместно). Рисование (во всяком случае, для меня) – это вещь очень интимная, это не на пианино в четыре руки. Я, даже будучи студентом, не мог терпеть, когда преподаватель принимался править своей рукой поверх моего рисунка – куда он лезет? И ждал я начала этого процесса с некоторым страхом – вдруг не пойдет? Мы работали лихорадочно быстро, вообще не разговаривая – обмен информацией происходил на энергетическом уровне. Мы сделали удивительную серию под

названием «Анатомия памяти». Смело могу хвалить, потому что это не мое, а наше. Человечество просто еще не разглядело плод нашего труда. У него пока не было возможности. Вот мы умрем – и мир ахнет.

А по поводу картин моего друга – не знаю, как о них писать, это дело искусствоведов. На картины надо смотреть. Я смотрю на них каждый день – у меня ими увешан дом. И мне делается лучше. А расхваливать очевидное – зачем?

Имеющий глаза да увидит.

Жизнь в раю

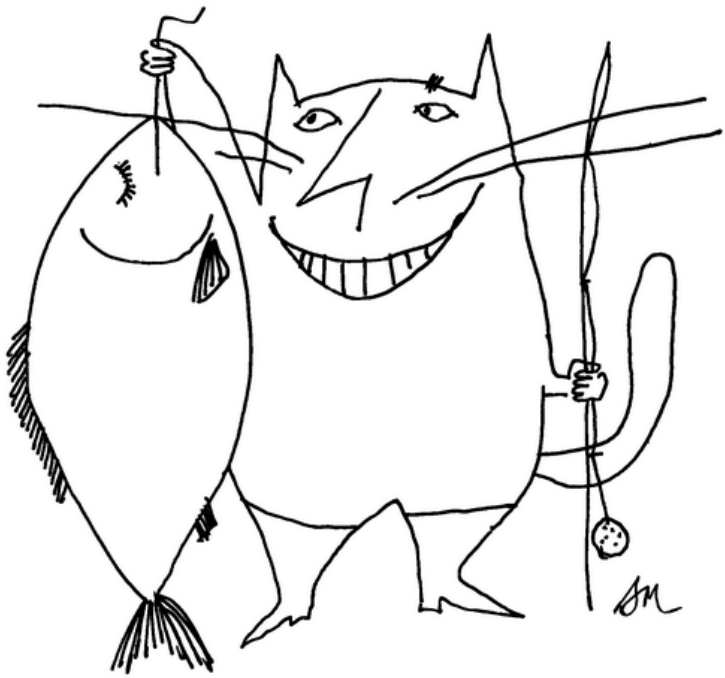


Вы слышали про такое место на карте – Палау? Я вам помогу: найдите Филиппины и двигайтесь по глади Тихого океана направо – уткнетесь в группу крохотных островков. Население страны – 16 000 человек (так что их президент, по нашим меркам, – председатель ЖЭКа), язык – аутентичный, островной, температура воздуха – 32 градуса, воды – 30, солнце восходит ровно в шесть утра и заходит в шесть вечера, и так круглый год – экватор. Дальше – сложнее: как мне описать вам невероятный, нечеловечески лазурный цвет океана, гладкого, как стекло? В океан, насколько хватает глаз, посажены острова, островки и островочки. Отличаются они только размерами, форма у всех одинаковая, больше всего это похоже на грибок – высокая круглая шляпка, сплошь покрытая темно-изумрудными непроходимыми зарослями, и короткая скалистая ножка – приливы и отливы подточили основания островков равномерно со всех сторон. Вот интересно – приливы и отливы есть везде, а островков такой формы я не встречал нигде в мире. Все это залито тропическим солнцем, и от картины исходит ощущение удивительного покоя и гармонии. Представляете себе? Ни черта вы не представляете!

Мой знакомый родился в израильском кибуце, к концу семидесятых имел кое-какой бизнес, в начале восьмидесятых продал все, купил маленькую парусную яхту и вдвоем с женой отправился в плавание в поисках рая на земле. Они путешествовали четыре с половиной года. Они побывали на Галапагосах и острове Кокос, в Австралии и на Соломоновых островах, на Сейшелах и Мадагаскаре, в Новой Гвинее и на Багамах. Они объехали весь свет. И бросили якорь в Палау. И знаете что? Я бывал практически во всех местах, которые они посетили. И я понимаю их выбор – такой позитивной энергетики я не ощущал нигде. Она исходит от воды, земли и местных жителей, которые веселы и застенчивы. И еще от неба – нигде я не видел таких закатов. Сегодня мой приятель – владелец крупнейшего дайв-центра и большого дома на горе. Налог на бизнес в государстве Палау – четыре процента (независимо от того, как он у тебя идет). За спутниковый интернет, правда, приходится платить под три тысячи долларов в месяц – стекловолокно туда не протянули. Если бы не бизнес – на хрена этот интернет там был бы нужен? В океане – потрясающая рыбалка и очень красивый дайвинг, особенно в часы приливов и отливов – на сильном течении. Во всех мировых подводных заповедниках за последние десять лет количество всего живого катастрофически сократилось. Настолько, что не хочется туда возвращаться. В Палау этого не произошло – не пускают они к себе китайских браконьеров, и все тут. Так что страна маленькая, но гордая. Гражданином ее, кстати, ты можешь стать только в том случае, если в тебе течет кровь аборигена. Даже если ты в ней родился – это ничего не значит.

Ранним утром мы идем на катере – нырять. На одном из островков вижу деревню – шесть домиков, крытых пальмовым листом, лодки, у берега плещутся дети. «Интересно, – думаю я, – а они знают, что живут в раю?»

Последняя рыбалка



Не замечали ли вы, господа, одной любопытной жизненной закономерности? Получение удовольствия состоит из собственно процесса и сопутствующих предметов (для рыбалки – снасти, для охоты – ружья и т. д.). Так вот, чем больше у тебя становится сопутствующих предметов и чем лучше их качество, тем реже ты обращаешься к процессу получения данного удовольствия. Не замечали?

Первая моя удочка была из бамбукового прутика и стоила 50 копеек. Я забрасывал ее в каждую лужу и находил там рыбу. Было мне лет шесть-семь, наверное. Вторая удочка, уже взрослая, тоже, правда, бамбуковая, но составная, трехколенная, стоила уже четыре тридцать (деньги!), была, конечно, несравненно больше и лучше, но – на рыбалке я оказывался уже не так часто. Не каждый день. Потом пошли спиннинги, катушки, телескопы, японские лески… А на рыбалку я выбирался реже и реже. И все же был для меня один святой день в году – в районе девятого мая. Это время, когда плотва собирается на нерест и клюет как бешеная. И было любимое место – река Шоша по Ленинградке, километров сто десять от Москвы. Там трасса вдруг вырывается на длиннющую

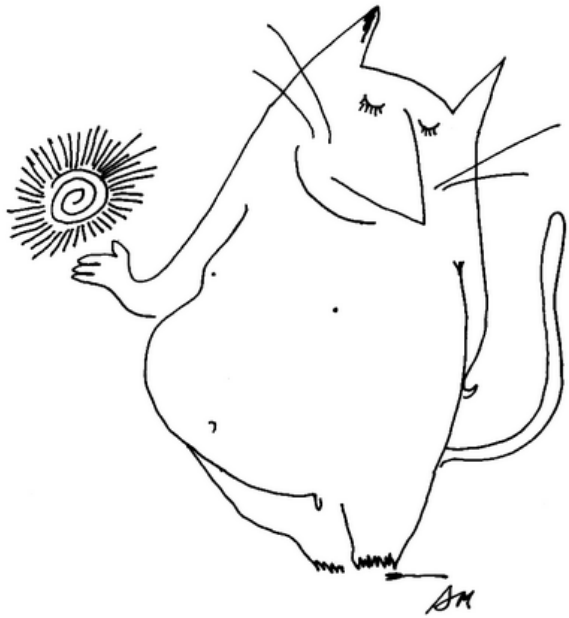
дамбу, слева и справа – бескрайняя водная гладь, Шоша сливается с Волгой, и всегда у меня от этого вида захватывало дух. Я оставлял свой «Жигуль» на обочине (тогда еще было можно, не было никаких отбойников), надевал рыболовные сапоги, забирался в прибрежную траву насколько мог и весь день ловил восхитительную серебряно-черно-красную шершавую плотву. Годы шли, но традиция жила.

И вот я купил себе восхитительную надувную лодку. Маленькую, одноместную, удобную. Снастей к этому моменту у меня уже было невероятное количество, а на рыбалку я выбирался практически раз в год – как раз на Шошу. Какой-то противный голос из глубин подсознания нашептывал мне, что этой покупкой я вбиваю последний гвоздь в крышку гроба своего юношеского увлечения, но соблазн оторваться от берега и выгрести на водное зеркало к дальним островкам осоки был так велик! Я еле дождался мая.

Накануне я даже не ложился – собирал снасти. Да и ночи-то в это время года практически нет – только стемнело, и вот уже светает. Выехал часа в четыре утра. Путь, надо сказать, неблизкий – почти половина Окружной, потом подмосковная Ленинградка, потом город Клин, который никак не объехать, и только потом – финишная прямая. Добрался до места, встал на обочине, надул лодку и понял, что весла остались дома. Даже отчетливо вспомнил где – у ворот гаража. Лодка без весел – машина без колес. Знаете, что я сделал? Стиснул зубы, выпустил из лодки воздух, убрал ее в багажник, развернулся и поехал домой за веслами. Вернулся я на Шошу уже в начале одиннадцатого. Все равно, плевать. Я снова надул лодку, сложил в нее чертовы весла и снасти и поволок ее по травяному склону к воде. И уже у самой воды услышал страшный звук: лодка шипела. Громко. Она наделась боком на единственную в округе арматурину, торчавшую из земли. Это был приговор. Законы устройства мира оказались сильнее меня. И тогда я медленно свернул уже бесполезную лодку, разобрал удочки, сложил все в багажник и поехал домой – никуда не торопясь.

Думаете, в лодке дело?

О раздражении



Я так и не научился следовать совету Славы Полунина. Он сохраняет хорошее настроение таким образом: с утра изучает список предстоящих дел и, если существует хоть малейшая возможность какое-то из них не делать, – не делает. Я честно пытался – не получается. И вот каждое утро я сажусь в машину и еду эти дела делать – независимо от степени важности предстоящего. Я двигаюсь в плотной толпе машин. Нет, это давно уже не поток – это толпа. Причем толпа исключительно сильно раздраженная. Все ненавидят всех. Толкаются. Бессмысленно прыгают из ряда в ряд. Причем степень права на приоритет определяется стоимостью автомобиля – зависимость линейная. «Газели» не в счет – они вне конкуренции. О таком простом приспособлении, как сигнал поворота, уже давно никто не вспоминает. Нет, неправда – еще недавно вспоминали. Хотя бы через раз. Теперь уже нет. Потому что явление прогрессирует. Это особенно заметно, когда возвращаешься из-за границы.

В Америке есть такое выражение – «chinese driver» – «китайский водитель». Это идиоматическое выражение означает – ну очень плохой водитель. Недавно я был в Китае, провел там десять дней. Ребята, я не видел за десять дней ни одной аварии,

клянусь! Ну да, они странно ездят, могут, например, вдруг начать разворачиваться из правого ряда. Им посигналят, конечно, но – пропустят! В Москве, если я не видел в течение дня трех аварий, мне уже чего-то не хватает. Какое-то облако общего озверения висит над городом. Надеюсь, пока не над страной – еще не всех накрыло. Хотя…

А ведь знаете – в Китае живут не лучше, чем у нас. Объективно хуже. И, наверно, поводов для раздражения у них должно быть, во всяком случае, не меньше. Я вам больше скажу: и мы сами еще совсем недавно жили хуже – в коммуналках, в очередях за кефиром и колбасой и в баню ходили раз в неделю по субботам. Может, не так было обидно, потому что практически все? Кроме ответственных работников за забором, но из-за забора было не видно, поэтому не раздражало? Помягче были, подоброе. Тоже, конечно, хамили иногда друг другу, но в трамвае – к авариям это не приводило.

Ну да, я понимаю – орут по телевизору, так сейчас положено. Особенно в общественно-политических программах. И просто в общественных. Называют, скажем, передачу «Пусть говорят», а они там орут. Причем все одновременно. Брызгают слюнями. Ну ладно, тут хоть повод есть – мама ребеночка в стиральной машине утопила. А в политических-то чего? Ребята, успокойтесь, с вас ваши избиратели пример берут! И как вы микрофонами об пол швыряетесь, мы уже сто раз видели, и кто президент у нас будет, нам уже давно сказали – чего вы психуете? Хватит играть в сумасшедший дом!

И вот если бы спрыгнул ко мне с елки желтый ангел, я бы сказал ему: «Послушай, если можешь, сделай так, чтобы мы все остыли. Выдохнули, что ли. Улыбнулись друг другу. Одновременно. Купили подарки любимым и детям. И не торопясь, пропуская вперед женщин и тех, кто старше, пошли друг к другу в гости – сидеть за столом, говорить только приятное, шутить необидно, радоваться жизни».

О несбыточном

Я очень хорошо знаю, как он выглядит. Я знаю, какая у него машина. Это дешевый корейский джип. Когда-то он был серебряный, но сейчас серый от покрывающей его пыли. На заднем затемненном стекле расположена какая-нибудь пошлейшая надпись типа «Спасибо деду за победу!». На крыше багажник, на торпеде освежитель воздуха в виде золотой короны в натуральную величину, пара иконок, в салоне надрывается «Радио Шансон». Он тормозит на обочине, там, где лес подходит прямо к дороге, и вылезает из машины. Он еще достаточно молод, но склонен к полноте, волосы ежиком, под глазами мешки, выражение лица сонное и крайне не располагающее к общению. На нем сильно не новая майка из Антальи, плотно облегающая его свиные бока, пестренькие шорты и шлепанцы. В углу рта прилип окурок. Он не спеша обходит машину, открывает багажник и выволакивает оттуда два пластиковых мешка с мусором. Один из них надорван, оттуда лезут мятые пивные банки и прочая дрянь, но его это совершенно не смущает. Он бухает мешки на обочину (от этого тот, что надорванный, лопается совсем) и поворачивается, чтобы вернуться в джип. В

этот момент раздается тихий щелчок, что-то больно обхватывает ногу в районе щиколотки, и через долю секунды неведомая сила швыряет его ввысь, прямо в крону огромной ели, стоящей рядом, и вот он уже висит вниз головой, медленно вращаясь вокруг собственной оси, слегка задевая мохнатые колючие ветви. Он похож на большую нелепую елочную игрушку, впрочем, снизу, из-за веток, он практически не виден, да и любоваться им некому – машины тут не останавливаются.

Он пытается кричать, но оказывается, вися вниз головой, кричать не получается – желудок, по меткому выражению Жванецкого, давит на глаза. Скосив глаза влево, он видит еще одного подвешенного. Этот, похоже, висит тут уже несколько дней и выглядит совсем нехорошо. На него присаживается ворона, оценивающе смотрит на новенького круглым блестящим глазом. Знаете, сколько времени может провисеть вниз головой толстый человек, сохраняя сознание? Совсем недолго. Попробуйте. Примерно столько же простоит на обочине открытая машина с включенным двигателем – не стройте себе иллюзий. Вот с мусором хуже. Ночью бездомные собаки разорвут мешки в клочья и растащат мусор по обочине. Убирать его не будет никто, ленинские субботники ушли в прошлое, поэтому новая помойка будет радовать нам глаз долго-долго, до зимы. А потом весной. Бумага и картон разложатся года за два, алюминий – лет за сто. Стекло и полиэтилен не разложатся никогда – смешно, правда? Так что все-таки однажды придется найти время, собраться и навести порядок.

А вот с теми, кто на дереве, ничего делать не надо. Природа все сделает сама. И очень быстро.

Скажете, не бывает такое? Бывает-бывает. Еще как бывает.

Вот ведь штука

Вот ведь штука. Ну да, я понимаю, что живем мы все в эпоху патриархата (а другой-то, по моему ощущению, и не было – сказки это все про амазонок) – и тем не менее. Пьяного мужика мы прощаем. Все. И мужчины, и, между прочим, женщины. Ну, выпил мужик. С кем не бывает. «С кем не бывает» подразумевает только мужскую часть населения планеты. Пьяную женщину не прощает никто. Не будем сейчас обсуждать, кто в этом состоянии противней – не в этом дело. Все равно несправедливо, правда? А вот интересно, почему?

Может быть, потому, что пьяный (ну ладно, выпивший) раскрывается? Ничего плохого в этом нет, просто мужчина никогда не позиционировал себя в этом мире как загадку. Ну раскрылся, и чего такого мы узнали?

А вот женщина – загадка. Во всяком случае, так принято считать. И вдруг – на тебе: выпила, раскрылась, и – никакой загадки, сами себе мы все напридумывали. Ничего там нет, одно дно.

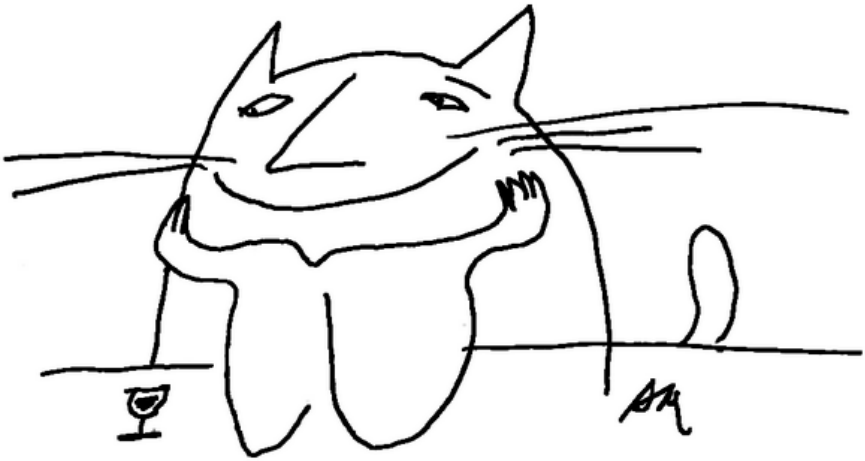
Знавал я женщин, умевших пить. То есть выпивать, не пьянея. Интересное дело: становились они моими товарищами, даже близкими друзьями, но из категории Женщин мое сознание (или подсознание?) их вычеркивало. Сидим и пьем. И все.

Есть, правда, одна тонкость. «Пьяный» и «выпивший» – не

одно и то же. Даже у мужиков. Хотя близко. У женщин – дистанция несравнимо ощутимей. Выпившая – слегка – женщина может быть очаровательной. Мало того, она может, слегка выпив, вдруг СТАТЬ очаровательной – совершенно неожиданно для отвернувшихся было от нее мужчин. И вот уже они бегут обратно, на ходу сбрасывая пальто и возвращая обаяние на лица. Что это? Зацвела сирень, побежало по проводам электричество, зайцы запрыгали, самолеты залетали. Каких-то пятьдесят граммов!

Милые женщины. Выпивайте, прошу вас. По чуть-чуть. И мир будет вращаться вокруг вас. И дары его упадут к ногам вашим. Только не перебирайте, умоляю. Нам – можно. Вам – нет.

О прекрасных внезапностях



Никогда заранее не знаешь, что именно будет тебе вспоминаться из длинного увлекательного путешествия годы спустя – события сами решают, кому из них приходить на память.

Мы возвращались с новогодних каникул, проведенных в Лас-Вегасе, большой компанией. Компания сложилась довольно разнородная, и у каждого в этом городе были свои интересы: кто-то прилетел на выставку электроники (выставок там в это время множество), кто-то – походить по магазинам, кто-то – поиграть. Лично я планировал посмотреть новые представления цирка «Дю Солей» и задачу свою выполнил. Вечерами собирались вместе на ужин, и тут случались накладки. Лас-Вегас и в лучшие годы не блистал изысканной кухней, а тут еще кризис. Товарищи мои, люди в массе своей небедные, но в ресторанных тонкостях не сильно искушенные, выбирали ресторан по принципу «дороже – значит, лучше», и мои деликатные предупреждения по поводу того, что данная система, как правило, не работает, никто не слышал. В результате официанты танцевали вокруг нас балеты, сомелье чмокал губами и закатывал глаза, тарелки и бокалы меняли по десять раз без всякой нужды, торжественно вносились четырехзначные счета, а вот с едой было не очень. В какой-то день мой товарищ Валера Кефт, замечательный клоун из моего любимого спектакля «О» (он, будучи местным жителем, просто не мог на это смотреть), выкрал меня с моей сестрой из компании и отвез туда, где надо есть. На окраине Лас-Вегаса оказался маленький чайна-таун. Туристы – добровольные заключенные отелей и казино – о нем и не подозревают. Там живут артисты и

прочий рабочий люд города. Во вьетнамском ресторанчике были накрытые клеенкой столы, дешевые пластмассовые стулья – советская столовая 70-х. Из еды подавали огромную миску супа – лапша, овощи, а дальше хошь – креветки, хошь – курица, хошь – говядина. Стоило это чудо пять долларов. Вкуснее супа я не ел в жизни.

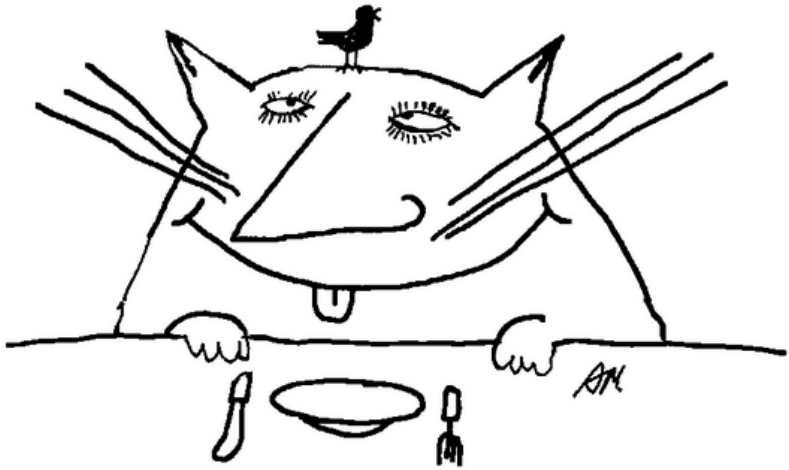
Улетали все в разное время и из разных мест. Мы с моим другом Мишей оказались на пересадке в аэропорту города Хьюстона. Аэропорт был никакой, мы покорно брели к нашим воротам, посадку уже объявили, и вдруг в нос мне ударил фантастический запах – за стойкой маленького бара жарились сосиски, хот-доги. Помоечная, в общем-то, еда. Я не знаю, что со мной произошло. Меня просто притянуло к прилавку. «Мэм, ду ю хэв водка?» – спросил я, затаив дыхание. Огромная роскошная барменша африканских кровей, настоящая Опра Уинфри, посмотрела на меня сверху вниз и с достоинством объявила: «Смирнофф, сэр!» – «Два хот-дога и два шота, плиз!» – выпалил я, готовясь привычно объяснять, что лед в водку класть ни в коем случае не надо. Но чернокожая королева сощурилась и спросила: «Два двойных, я полагаю?» Мудрейшая!

Через минуту мы с Мишей уже сидели в самолете, переживая только что рухнувшее на нас счастье. Но Миша был не готов расстаться с ним так быстро – он, ликуя, продемонстрировал мне пакет, где лежали еще два горячих хот-дога. Когда он успел? Стюардесса, очаровательная японочка, краснея, сообщила нам, что по правилам авиакомпании до взлета разрешено только шампанское, а все остальные напитки – потом. Видя нашу трагедию, она пообещала организовать взлет как можно быстрее. Мы укутали наши хот-доги всем чем возможно, как замерзающих детей. Тепло уходило из них каждую секунду. Я упал в свое кресло (мы сидели в разных рядах) и горько задремал. Как легко испортить праздник!

Я очнулся от легкого прикосновения. Самолет уже вовсю набирал высоту. Надо мной стояла японочка, лицо ее светилось. «Вас приглашают в третий ряд, сэр!» – торжественно произнесла она.

P.S. К моменту, когда вы будете читать эти строки, наверняка еще один идиот устроит в самолете пьяный дебош, наша стремительная Дума примет очередной закон и спиртное в самолетах запретят. Из-за десятерых ненормальных десятки тысяч нормальных будут лишены маленькой радости – все, как мы любим. Придется летать иностранными компаниями. А возвращаться и так уже не очень хочется.

Запахи детства, или еще раз про оливье



Ну где еще, в какой другой стране люди имеют счастье праздновать Новый год два раза за две недели? В большинстве стран и один-то Новый год не очень отмечают – Рождество главнее. Так у нас Рождество тоже есть, причем аккурат между Новыми годами. Кому в мире расскажешь – не поверят: это ж какая поляна для трех мощных праздников подряд! Не все доходят до финала – есть риск не рассчитать силы. Это, правда, сейчас, когда государство подарило нам каникулы. Мудро – все равно никто ни черта не работал. Хотя на работу ходили. Мучились, а ходили. А Старый Новый год все равно отмечали – куда ж деваться?

Как ни верти, а из детского Нового года всплывает не елка, не подарки под ней – нет – предновогодние запахи стола. Они проецируются на радостное всеобщее ожидание праздника, а праздников-то было – Седьмое ноября, Первое мая и Новый год, самый главный. Отмечали всей коммуналкой, у нас в комнате раздвигали стол, соседи тащили стулья и гладильную доску – класть между стульями, когда не хватало. Стол собирали вскладчину. Сосед дядя Дима нес селедку, окруженную кружочками вареной картошки и припорошенную луком, мама делала фирменный салат: размятый лосось из банки с рисом,

луком и майонезом (как я сейчас понимаю – совсем не гурмэ, а тогда нахваливали – ого-го!). Бабушка делала заливного судака, его ставили за окно на мороз, и тертую свеклу с грецкими орехами, чесноком и тем же майонезом. Оливье же вертели общими усилиями, и получался его целый таз. Мне, пятилетнему, до самого Нового года сидеть не разрешали, да с шумными взрослыми было и неинтересно – я уходил под стол, рассматривал ботинки и туфли, пока меня не вытаскивали и не относили в кровать. Зато утром можно было на цыпочках подобраться к холодильнику «Саратов» (все еще спали) и наковырять всего разного до отвала. Странно – есть я в детстве ненавидел, а вкус этих праздничных яств волнует меня до сих пор.

Как-то недавно мой товарищ Гарик Писарский устроил фестиваль оливье. Поводом послужил тот факт, что товарищ его восхищался салатом оливье из одного известного ресторана, а Гарик, напротив, это изделие осуждал. В общем, предложено было товарищу привезти из означенного ресторана оливье, а людям, неравнодушным к этому продукту, приготовить свои варианты – каждому на свой вкус.

Для начала я решил копнуть историю и выяснить наконец, что из себя представлял настоящий «Оливье», названный в честь его создателя – шеф-повара Оливье из ресторана «Эрмитаж». Перелистал несколько старинных кулинарных книг, нашел только в пятой. Нашел – и поразился: ничего общего с тем, что мы едим сегодня. Вареный картофель, свежие огурцы, рябчики (филе), раковые шейки, оливки, трюфели – все режется крупными кружками, укладывается послойно и перемежается смесью майонеза с… соевым соусом! Все достал (включая трюфели), собрал как положено – вкусно! Но не из детства. И тогда я сделал еще один салат – Из Детства Улучшенный.

Конечно тот, старинный, был с колбасой. Докторской. Подозреваю, что мясные ингредиенты на этом и заканчивались. Но ведь жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. В общем, вот мои ингредиенты (кстати, почти по Новикову – уже потом прочитал): вареная картошка, вареная морковка, огурец (свежий и соленый – пополам), яйца, зеленый горошек, куриная грудка, телячий язык, немного копченой утиной грудки (не переборщить!), репчатый лук, каперсы. Главный фокус – все должно быть исключительно любовно порезано на кубики с ребром не более 5 миллиметров. При этом ни картошка, ни яйца не должны рассыпаться. Предупреждаю – это адский труд, не всем дано. Можно обратиться за помощью к спокойной и доброй пожилой женщине. А вот в майонез добавьте пару ложек соевого

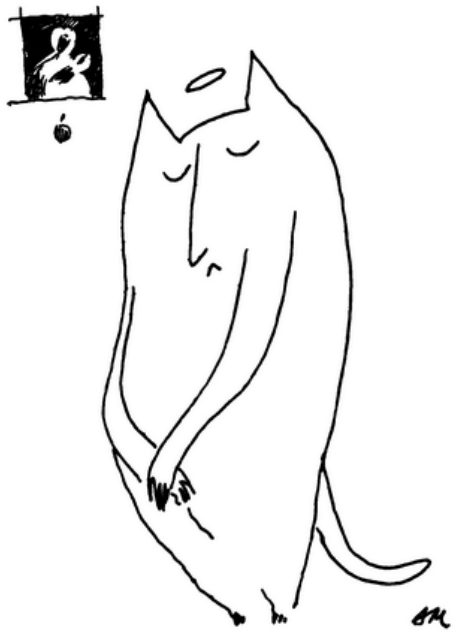
соуса – в память о господине Оливье. Не пожалеете.

Забавно, что оба моих салата в результате заняли первое место. Хотя спортсменов на старте было – знаете сколько? Штук сто! Ну ладно, десять.

В общем, рекомендую оба изделия – если, конечно, найдете трюфели и спокойную добрую пожилую женщину. Удачи!

Подушкино, 2001

Иконы



Само слово «икона», сама музыка этого слова – удивительна: там смирение и тихая печаль, запах воска и Времени, уложенного в столетия. Немного так точно звучащих слов в русском языке.

Никогда я не считал себя ни знатоком, ни коллекционером икон. Всегда, как казалось мне, разделял: икона как произведение искусства, написанное художником, и икона как предмет поклонения, нечто сакральное. Первое интересовало меня больше.

Середина восьмидесятых. Мы небольшой компанией путешествуем по Северу – Архангельская область, Мезенский уезд, деревня Кимжа. Огромные, как дредноуты, дома из черных необхватных бревен, из оставшихся жителей – бабки, правнучки сбежавших сюда староверов. Здесь никогда не было крепостного права. Бабки суровы, и восхитительный их северный юмор под этой суровостью разглядишь не сразу – сначала тебя должны принять. Или не принять. В нашей компании – мой товарищ, человек ушлый, имеющий к иконам явный интерес, причем отнюдь не альтруистический. Мы пьем чай в доме бабки Матрены. Бабка Матрена жалуется на здоровье, говорит, что осенью собирается в дом престарелых в Архангельск – зимой одной совсем тяжело. В красном углу у Матрены висит очень необычный

Георгий Победоносец – старый, ковчежный, квадратной формы. Мой товарищ не сводит с него глаз, и глаза его горят. Весь вечер потом он уговаривает меня побеседовать с Матреной насчет продажи – сам что-то робеет. Никогда с ним такого не бывало. «Нет уж, друг мой, – говорю я, – тебе надо, ты и проси. Зайди и сам попроси. И учти – продать не продаст, а просто отдать может». Я этих северных жителей знаю лучше, чем он.

Утром следующего дня я иду на рыбалку, а мой товарищ направляется к бабке Матрене. Я вижу, как он доходит до ее калитки и – останавливается. Я возвращаюсь с реки через пару часов и с изумлением застаю его, стоящего на том же месте в той же позе. Он так и не смог войти. И не попросил. Язык не повернулся. При том, что опыт в этой области имел большой.

Так что где кончается икона-картина и начинается икона-чудо – большой-большой вопрос.

Песни про любовь

Примерно год назад отчаянные ребята из арт-группы «Война» молниеносно и слаженно нарисовали тридцатиметровый хер на половине питерского моста непосредственно перед его разведением, то есть поднятием. После чего мост развели, хер медленно и торжественно восстал. Было много смеха и шума, ребятам присудили высшую художественную награду.

А что, я бы тоже дал. За храбрость.

Прежде чем говорить о чем-либо, следует определиться в понятиях. Что такое искусство? И я полез в словари. Начал, как обычно, с Даля. И знаете, что? Не поверите. Нет в словаре Даля слова «искусство»!

Ни фига себе!

И у Фасмера я это слово не нашел – стоит ссылка, я так и не понял куда. Прочие словари, имеющиеся в моей библиотеке – Ушаков, БСЭ, – дают примерно одинаковые ответы: искусство – творческая художественная деятельность, художественное творчество в целом. Подходит это определение под то, что сегодня принято называть актуальным искусством? Ну, в общем – да.

Есть, правда, тут же второе значение слова «искусство» – это

владение предметом в совершенстве, высшая степень мастерства.

С этим сложнее.

В начале прошлого века Казимир Малевич нарисовал черный квадрат. И родился концепт. Он этих квадратов, собака, как выяснилось, штук восемь нарисовал. Как чувствовал.

Концепт не требует мастерства. Он освобождает художника от этой химеры. Роди идею – и самовыражайся…[5]. Станешь великим художником, как Леонардо. И неважно, что ты не можешь рисовать как он, неважно, что ты вообще не умеешь рисовать. Зачем? Он уже все нарисовал!

Кстати, кто это?

У меня на книжной полке лежит несколько открыток времен Первой мировой. Боже, какой у людей был почерк! И это не художник – какой-то поручик пишет с фронта своей любимой. Я уверен, сегодня так уже никто не напишет. Через пару лет многие страны перестанут учить детей держать в руках ручку. Зачем? Вот она, клава, давай стучи. На фига тебе мастерство выведения букв?

Потому что это красиво, идиоты.

Футуристы сбросили Пушкина с корабля современности – даешь новое пролетарское искусство! Дыр бул, гыл щур. Не вышло – не утоп Пушкин у футуристов, кишка у них тонковата оказалась. На тот исторический момент.

Возвращаясь к определениям, рискну дать свое. Примерно так: искусство есть стрельба в неведомое, где степень точности попадания соответствует степени приближения человека к Богу.

Фи, как старомодно, правда?

А ведь Бог есть любовь.

Поэтому и Мадонна с младенцем – это любовь, и рождение Весны – это любовь, и портрет неизвестной – любовь, и девочка на шаре, и…

Актуальное искусство бежит от любви, как черт от ладана. А знаете почему? Потому что, когда поешь песню о Любви – нельзя сфальшивить: сразу будет слышно. Шилов получится. Вот все остальное можно замечательно уместить в концепт: стеб, еще стеб, разрушение, смерть, многозначительность и еще немного стеба.

Мне кажется, чтобы заниматься актуальным искусством, надо иметь внутри себя очень большой запас нелюбви.

Что произошло с миром? Может быть, в ноосфере, во вселенской кладовой прекрасного запас Любви вдруг иссяк? А может быть, человечество просто перестало слышать песню Любви, радостно оглушенное какой-нибудь новой электронной «пукалкой»?

И вот еще что – о названии: актуальное искусство. Клянусь

вам – я не старый пердун, не воинствующий ортодокс и на данный момент отнюдь не лишен чувства юмора. Просто хочу разобраться.

Во-первых – «актуальное». Это значит – востребованное сегодня. Кем? Критиками, которые кормятся на этом деле, как мухи на повидле? Кем еще? Это вроде как самих себя назвать героями или патриотами, тем самым отказывая другим в этом праве. Теперь – «искусство». На протяжении веков у человечества как-то не возникало проблем с тем, чтобы отличить искусство от неискусства, и помогало второе значение этого слова – мастерство. То, что в актуальном искусстве не является критерием, чаще всего вообще не существует.

Дивный анекдот для тех, кто хочет разбираться в современном арте: если накакал под дверью, позвонил и убежал – это инсталляция. Если сначала позвонил, а потом накакал – это уже перформанс. От себя добавлю: если все это снимал на телефон – это видеоарт.

У меня предложение. Смотрите: «Мерседес» – это автомобиль. И «Форд» – это автомобиль. И даже «Лада Калина» – автомобиль, как ни верти. А вот табуретка – не автомобиль. И не кричите, что табурет – это актуальный автомобиль. Не дурите людей. Давайте придумаем более точное название тому, чем вы занимаетесь. Концептуальное самовыражение, например. Или современный прикол. Только не искусство. Жалко искусства.

А ведь не примут мое предложение. Знаете почему? Потому что именно слово «искусство» позволяет торговцам этим делом приписать к цене на продукт еще один нолик. А то и два, и три. И богатые дураки во всем мире, боясь признаться вслух, что король-то голый, ведутся за милую душу – не фуфло какое-нибудь покупаем, искусство. Вон критики хвалят.

Что? Говорите, это все не ради денег и славы, все за чистую идею?

Врете, собаки. Плох тот солдат, который не метит в генералы.

Разве что…[6] на мосту. Правда, смешно.

Художник – такой же человек, как и мы. Просто он слышит, видит, чувствует сильнее, чем мы, убогие. И он не может об этом не рассказывать. Чтобы рассказать, нужно владеть языком. Это – второе значение слова «искусство» – мастерство. Мастер – высокий ремесленник. Он знает, как провести линию. Но, как правило, не испытывает внутренней необходимости ее проводить. Художник может болеть, голодать, умирать – он все равно не может не работать – он ДОЛЖЕН. Должен небу. Ремесленник берется за кисть после получения аванса. Иногда художник не владеет ремеслом, чаще он сознательно отказывается от

общепринятых приемов – так рождается новое направление. Ремесленник никогда не создаст нового направления – он будет достойно двигаться в русле, удовлетворяя общественный спрос. Поэтому всегда будет Рембрандт и – школа Рембрандта. Да нет, тоже хорошо. В гостиной отлично смотрится.

По поводу совести

«У тебя совесть есть?!» – очень яркий окрик из детства. Ничего хорошего не предвещающий.

Между прочим, слова, которыми мы пользуемся чаще всего, обычно с трудом поддаются расшифровке. Ну-ка, что такое совесть? Как всегда, полез в словари.

Первый сюрприз: у Даля в словаре слово «совесть» отсутствует. Вот те на. Такое русское понятие. Казалось бы.

В остальных – примерно одинаково: происходит от старославянского, а старославянское – от греческого, означает понятие морального сознания, внутреннюю убежденность в том, что является добром и злом (чепуха, кстати: внутренние убеждения по этому поводу могут быть очень разными), чувство нравственной ответственности за поведение. Отдельная песня в «Философском словаре», издательство политической литературы, 1981 год. Это надо прослушать целиком, стоя. «Совесть – этическая категория, выражающая высшую форму способности личности к моральному самоконтролю, сторону ее самосознания. В отличие от мотива (чувство долга), С. включает и самооценку уже совершенных действий на основе понимания человеком своей

ответственности перед об-вом. С. обязует человека своими действиями не просто заслужить уважение к себе (не унижать себя), как, скажем, чувство чести и личного достоинства, но полностью отдавать себя служению об-ву, передовому классу, человечеству. С., кроме того, предполагает способность индивида критически относиться равно к своим и чужим мнениям в соответствии с объективными потребностями об-ва, а также ответственность человека не только за собственные действия, но и за все то, что происходит вокруг него. С. – общественно-воспитуемая способность человека. Она определяется мерой его исторического развития, а также его социальной позицией в тех объективных условиях, в к-рые он поставлен. Как активная ответная реакция человека на требования об-ва и его прогрессивного развития С. является не только внутренним двигателем нравственного самосовершенствования личности, но и стимулом ее деятельно-практического отношения к действительности. С. может проявляться как в рациональной форме сознания нравственного значения своих действий, так и в комплексе эмоциональных переживаний („угрызения С.“). Воспитание в каждом человеке С. – одна из важных сторон формирования коммунистической нравственности».

Господи, как мы во всем этом жили? Вот повезло молодым!

А по мне, совесть – это присутствие Бога в человеке. Только-то и всего. И она, совесть, как и благородство, заставляет человека поступать вопреки собственной выгоде – во всяком случае, очень часто. И придумал это не я – я эту мысль вычитал у Толстого, давным-давно, названия работы сейчас так и не вспомнил. Он и само слово расшифровывает соответственно: «-весть» (читай – благая) и «со-» – то, что с тобой. В словарях такого нет. Человек без совести – человек без Бога в душе. Сплошь и рядом.

Один американский солдат сказал: «Бог соткан из веры. Больше веры – больше Бога. Нет веры – нет Бога». Все правильно. Только веры настоящей, а не призванной на временную службу государством. Можно сколько угодно кричать о защите чувств верующих, размахивая кадилом, – Бога в нас больше не станет. Боюсь, наоборот. И еще боюсь – им это совершенно неважно.

Вот и все. Извините за несколько излишнюю серьезность.

А Толстого церковь уже тогда долбала. Может, не так уж все и изменилось?

В режиме

Солнце только что село, но еще светло. Свет совершенно необычный, он идет отовсюду, тени исчезают. У кинооператоров это время суток называется «режим». Снять удачно эпизод в режиме – показатель высшего мастерства. Это очень сложно, потому что освещение меняется каждую минуту. Вот сейчас дорога вдруг посветлела и почти сравнялась по яркости с небом. Лес, наоборот, стал темным и непрозрачным, глубина потерялась. Оказывается, у художников есть специальные кисточки, чтобы писать листву деревьев: они совсем расплющенные, и щетинки их развернуты веером – знай тыкай, и получится множество маленьких листочков. Помню, когда узнал – расстроился: очень уж как-то ремесленно. Надо же!

За лесом – уже далеко – полоса большой воды. Это проще: белила цинковые, немного берлинской лазури, чуть-чуть умбры, было еще чуть-чуть розового, но розовое уже ушло, перемешиваем, но не до конца, потом плоская жесткая кисть и – раз! – проводим одну широкую полосу: похоже. Небо того же цвета, но краски в нем совершенно размыты, поэтому добавляем масла, растворителя, закрываем его «по-мокрому». Между небом и водой на том берегу опять лес, он совсем далеко, он темен, и деревьев в нем уже не различить. В кино это была бы длинная

медленная панорама слева направо, за кадром тихо звучит Рахманинов. Вариант Тарковского – панорама еще в два раза медленнее, никакой музыки, только вдруг налетел ветер, смял воду, заволновались деревья, зашумела листва. Сейчас все замерло – ни ветерка, поэтому сходство с театральной декорацией необычайно. А вот и дорога темнеет, и только застывшая вода продолжает по яркости спорить с небом. Маленьким силуэтом по воде идет моторка, оставляя за собой длинную пунктирную линию. В моторке (не вижу, но знаю) сидит деревенский мужик в брезентовом балахоне, и балахон его уделан мазутом и прилипшей рыбьей чешуей. Зовут мужика скорее всего Лехой. Леха курит, держа сигаретку в кулаке, и все равно встречный поток воздуха выдувает из нее искорки, они летят ему в глаза, он щурится. Леха неподвижен, думает о чем-то своем грустном, бессмысленно-удалом. Вот моторка скрылась за лесом, а след на воде еще остался, он выглядит нарисованным и все не исчезает. И вода уже потемнела, теперь самое светлое пятно – небо, но и это ненадолго. И свет фар становится видным на дороге, да и в воздухе – в нем яркими точками вспыхивают вечерние мошки и редкие капли дождя. Вот тебе и раз – дождик. Холодный электрический свет вносит в картину дисгармонию, хочется, чтобы это скорее прекратилось – пусть уж стемнеет совсем, не с чем будет спорить. Да вот уже и стемнело.

Разошлись кто куда.
На глазах опустела дорога.
Небо тихо спустилось на землю бесцветным дождем.
Нам осталось немного.
Мы плохо учились у Бога.
Небо, дождь и дорога.
Дорога. И мы под дождем.

notes

Примечания

не самый сообразительный человек.

к чертовой матери.

то, что совсем никуда не годится.

наиболее распространенное бранное слово.

шарашь в свое удовольствие.

наиболее распространенное бранное слово.